

ПЕЧУНЬИ

Bar

Дж. Р. Морингер

ПУЛИТЦЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ
ЛУЧШАЯ КНИГА ГОДА ПО ВЕРСИИ
*The New York Times, Esquire,
The Los Angeles Times Book Review,
The Wall Street Journal*

821.11(43)-31
M49 | 2015/129-
8630

Морингер П. #.
Нежный бар -
M. 2010 - 496
440

2015/129

- 8630

Государственный институт
автоматизации и информатизации

GELEOS

МОСКВА

J.R. Moehringer

The Tender Bar

Illustrations by *John Burt Foster*

Hyperion

Дж.Р. Морингер

Нежный бар

Перевод с английского О. Рогозиной

GELEOS Publishing House

УДК 821.111(73)-31 ~~Морингер Дж. Р.~~ - Прусев,

ББК 84(7Сое)-44

М79

амер. лит-ра

Главный редактор Мария Григорян

Морингер, Дж.Р.

Нежный бар / Дж.Р. Морингер; [пер. с англ. О. Рогозиной]. — М.: GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2010. — 496 с. — Доп. тит. л. англ.

ISBN 978-5-412-00125-8

Принято считать, что бар — не лучшее место для юноши. Особенно если у него нет отца.

Ореховый аромат барной стойки, сигарный смог и хмельные пары... Десятки мужских голосов — умопомрачительные байки обо всем на свете: машинах, женщинах, работе... Все, что нужно, чтобы стать мужчиной.

Именно здесь наш герой впервые услышит Синатру, узнает любовь и почувствует горький привкус взросления.

«Из призрака, которого едва замечают, я превратился в реального человека».

Дж. Р. Морингер

Пулитцеровская премия.

Лучшая книга года по версии *The New York Times*, *Esquire*, *The Los Angeles Book Review*, *The Wall Street Journal* и других изданий.

Сайт книги — www.tenderbar.com.

Ko'makeki fond

This edition published by arrangement with **Janklow & Nesbit Associates** and Synopsis Literary Agency.

Это издание выпущено по договоренности с **Janklow & Nesbit Associates** и литературным агентством «Синописис».

© J.R. Moehring, 2005

© GELEOS Publishing House Ltd, перевод на русский язык, издание на русском языке

Alisher Navoiy

2015/129

8630

ИСКУССТВО И

ИСКУССТВО

И
247400

Дж. Р. Морингер

НЕЖНЫЙ

Бар

ПРОЛОГ

Посвящается моей матери

Этот пролог посвящен моему матери

и посвящен моему матери

и посвящен моему матери

ПРОЛОГ



Там, где нет морей, волны сердца
Порождают приливы и отливы.

*Дилан Томас,
«Свет пробивается туда, где не светит солнце»*

ПРОЛОГ | ОДИН ИЗ МНОГИХ

Мы шли туда в поисках всего того, в чем нуждались. Голодные и смертельно усталые, шли набраться сил. Поделиться радостью или погрузиться в печаль. Забегали пропустить стаканчик для храбрости перед свадьбами или похоронами и приходили после — успокоить нервы. Мы шли туда в надежде найти ответ. В поисках любви, секса, неприятностей на свою голову или встречи с кем-то, кого потеряли из виду, ведь рано или поздно там появлялись все. Но чаще всего мы оказывались там, когда хотели, чтобы нашли нас.

Список моих собственных потребностей был длинным. Меня — единственного ребенка — бросил отец, и мне не хватало семьи, дома и мужского общения. Особенно последнего. Мужчины были нужны мне в качестве наставников, героев, примеров для подражания и противовеса моим матери, бабушке, тете и пяти двоюродным сестрам, с которыми я в то время жил. В баре нашлось множество кандидатов на роль отцовской фигуры, хотя была и парочка персонажей, в обществе которых я нуждался меньше всего.

Бар стал моим прибежищем задолго до того, как я получил законное право приходить туда. Он помог мне вновь обрести веру, когда я был мальчишкой, заботился обо мне-подростке, а когда я превратился в юношу, бар принял меня как своего. Конечно, сильнее всего нас привлекает то, чего мы никогда не получим, или то, что нам вряд ли удастся удержать, но я верю: лучше всего характеризует человека то, что принимает его в свой мир. Став в баре «своим», я был счаст-

лив, пока однажды вечером меня оттуда не выгнали. Этим окончательным изгнанием бар спас мне жизнь.

На том перекрестке бар, как бы ни менялось его название, находился всегда: с сотворения мира или с момента отмены сухого закона, что для моего родного города Манхассета на Лонг-Айленде, где пили все, было почти одним и тем же. В тридцатые годы в нашем городке останавливались кинозвезды по пути в расположенные неподалеку яхт-клубы и на шикарные океанские курорты. В сороковые годы бар стал раем для солдат, возвращавшихся домой с войны. В пятидесятые — местом сбора латиносов и их подружек в пышных юбках. Но в местную достопримечательность, в желанный для всех приют бар превратился лишь в семидесятые годы, когда его купил Стив и переименовал в бар «Диккенс». Над дверью Стив повесил профиль Чарльза Диккенса, а под профилем написал старинным английским шрифтом: *Диккенс*. Такая откровенная англофобия не очень пришлась по душе Кевином Флинном и Майклом Галлахером* из Манхассета. Они смирились с этим только потому, что целиком и полностью одобряли главное правило, введенное Стивом: каждая третья рюмка бесплатно. Помогло и то, что обслуживать столики Стив нанял семь или восемь человек из семейного клана О'Мали, а также прибегнул к всяческим ухищрениям, чтобы «Диккенс» выглядел так, будто его по кирпичику перевезли из ирландского графства Донегал.

Стив хотел, чтобы его бар был похож на европейскую пивную, но в то же время оставался типично американским заведением для простой публики. Его публики. В сердце Манхассета, деревенского пригорода с населением в восемь тысяч человек, в семнадцати милях к востоку от Манхэттена, Стив хотел создать своего рода убежище, где его соседи, друзья, собутыльники и особенно школьные приятели, воз-

* Флинн и Галлахер — ирландские фамилии. Большинство жителей Манхассета были потомками ирландских переселенцев (*здесь и далее — примечания переводчика*).

вращавшиеся из Вьетнама, смогли бы почувствовать себя в безопасности, как дома. Начиная любое предприятие, Стив верил в успех — эта вера была его самым привлекательным качеством и самым трагическим недостатком, — но «Диккенс» превзошел самые смелые его ожидания. Вскоре для жителей Манхассета слово «бар» стало означать именно бар Стива. Так же, как мы говорим «город», подразумевая Нью-Йорк, и «улица», подразумевая Уолл-стрит, мы всегда говорили «бар», подразумевая тот самый бар, и ни у кого никогда не возникало вопроса, о чем идет речь.

Потом, незаметно, «Диккенс» стал чем-то большим, чем просто бар. Он стал тем местом, где можно было укрыться от любых жизненных бурь. В 1979 году, когда расплавился ядерный реактор на АЭС «Три-Майл-Айленд» и северо-восточные районы Америки охватил страх Апокалипсиса, многие звонили Стиву, чтобы зарезервировать места в герметичном подвале под его баром. Конечно, у всех имелись собственные подвалы. Но «Диккенс» был чем-то особенным. Каждый раз, когда впереди маячил конец света, люди в первую очередь вспоминали о нем.

Бар являлся не только убежищем. В заведении Стива давали ежевечерние уроки демократии — ведь алкоголь делает всех людей равными. Стоя в центре бара, можно было наблюдать, как мужчины и женщины, выходцы из всех слоев общества, поучают друг друга и вступают в перебранки. Самый нищий человек в городе обсуждал «нестабильность рынка» с президентом нью-йоркской фондовой биржи, а местный библиотекарь читал бейсболисту, портрет которого висит в зале славы бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкиз», лекцию о том, как правильно рассчитать время перед ударом битой. Слабоумный швейцар вдруг выдавал такую оригинальную и в то же время такую мудрую фразу, что преподаватель философии из колледжа записывал ее на салфетке, которую затем прятал в карман. Можно было услышать, как бармены в перерывах, между записью ставок и смешиванием коктейлей «Розовая белка», изъясняются подобно древнегреческим мыслителям.

Стив считал бар на перекрестке самым демократичным заведением в Америке, а уж он-то знал, что американцы благоговеют перед своими барами, салунами, тавернами и забегаловками (одно из его любимых словечек). Он знал, что американцы отводят барам особое место в жизни и приходят туда по любому поводу: чтобы поделиться радостью, за поддержкой, а самое главное, за панацеей от чумы нашего времени — одиночества. Но Стив и не догадывался, что пуритане, приплыв в Новый Свет, сначала построили бар, а потом уже церковь. Он не думал, что американские бары являются прямыми потомками средневековых трактиров из «Кентерберийских рассказов» Чосера, которые произошли от саксонских пивных, а те, в свою очередь, от древнеримских придорожных *таверн*. Предками бара Стива были раскрашенные пещеры Западной Европы, где во времена каменного века, почти пятнадцать тысяч лет назад, старейшины посвящали юношей и девушек в традиции племени. Хотя Стив и не знал всех этих фактов, он придавал огромное значение этому заведению, и умудрился построить такой странный, ни на что не похожий и удивительно совпадающий по характеру с его посетителями бар, что слава о нем распространилась далеко за пределами Манхассета.

Мой родной город славился двумя вещами: лакроссом и алкоголем. Год за годом Манхассет взращивал непропорционально огромное число великолепных игроков в лакросс и еще больше людей с испорченной печенью. Многие также знали Манхассет как место, где разворачивались события «Великого Гэтсби». Сочиняя главы своего шедевра, Фрэнсис Скотт Фицджеральд сидел на обдуваемой ветрами веранде в Грейт-Нек и смотрел через Манхассетский залив на наш город, который превратил в выдуманный Ист-Эгг, — исторический факт, придававший некий шик нашим пиццерии и аллее для игры в боулинг. Мы жили в месте действия романа Фицджеральда. Мы назначали свидания в его декорациях. Это возбуждало — и в то же время льстило нам. Все, кто бывал в Манхассете, понимали, почему в романе Фицдже-

ральда спиртное течет рекой. Не только в книге мужчины и женщины напивались на шумной вечеринке до потери сознания или до тех пор, пока кого-то не собьет машина. Для нас таким был обычный вечер вторника.

Манхассет, с его самым большим винным магазином в штате Нью-Йорк, был единственным городом на Лонг-Айленде, в честь которого назвали коктейль («Манхассет» — это «Манхэттен» с большим количеством алкоголя). Главная улица города длиной в полмили, Пландом-роуд, — мечта любого пьяницы: один бар за другим. Многие в Манхассете сравнивали Пландом-роуд с деревенской дорогой из ирландских мифов, по которой движется шумная процессия мужчин и женщин, накачавшихся виски. Баров на Пландом-роуд было так же много, как звезд на голливудской «Аллее славы», и мы упрямо гордились их количеством. Когда один из владельцев поджег свой бар на Пландом-роуд, чтобы получить страховку, полицейские нашли его в другом баре на этой же улице и вызвали на допрос. Тот приложил руку к сердцу, как священник, обвиняемый в поджоге креста. «Разве я бы смог, — спросил он, — разве кто-нибудь смог бы *поджечь бар?*»

Со своим любопытным делением на аристократию и рабочий класс, этнической смесью ирландцев и итальянцев и тесным кружком самых богатых семей в Соединенных Штатах, Манхассет был странным городом. Городом, где чумазые горбуны и карлики собирались на Мемориальном поле, чтобы поиграть в «велосипедное поло»; городом, где соседи прятались друг от друга за аккуратными живыми изгородями, но тем не менее знали все о судьбах и слабостях друг друга; где на рассвете все ехали на Манхэттен, но никто не уезжал навсегда, разве что в сосновом гробу. Хотя Манхассет производил впечатление маленького фермерского городка, а агенты по продаже недвижимости, как правило, называли его спальным районом, мы придерживались мнения, что это «барный» район. Бары служили местом встреч для групп людей с разными интересами. Малая бейсбольная

лига, лига софтбола, лига боулинга, Юношеская лига — все они не только порой сталкивались в баре Стива, но и зачастую собирались в один и тот же вечер.

«Медный пони», «Веселый дом», «Свет лампы», «Килмедс», «Джоан и Эдс», «Вылетающая пробка», «Дом 1680», «Кабриолет», «Метка» — названия манхассетских баров казались нам роднее и ближе, чем названия улиц и имена основателей города. Продолжительность жизни баров была как периоды царствования королевских династий: по ним мы измеряли время и находили своеобразное утешение от осознания того, что как только закроется один бар, занавес поднимется над следующим. Как рассказывала бабушка, раньше старую поговорку, что дома пьют только алкоголики, в Манхассете понимали буквально. Если пить на людях, а не в одиночку, то это совсем не пьянство. Отсюда и бары. Великое множество баров.

Конечно, в Манхассете, как и в любом другом городе, многие бары представляли собой отвратительные заведения, где пьяницы топили в вине свои печали. Стив хотел, чтобы его бар был иным — безупречным. Чтобы он соответствовал разным настроениям Манхассета. Уютный паб, способный мгновенно превратиться в сумасшедший вечерний клуб. Семейный ресторан ранним вечером и таверна для простого люда ночью, где мужчины и женщины будут травить байки и пить, пока не свалятся под стол. Главная идея Стива заключалась в том, что «Диккенс» станет противоположностью внешнему миру. Он будет прохладным в жару и теплым с наступлением первых заморозков и до начала весны; чистым и хорошо освещенным, как уютная комната в идеальной семье, в существование которой мы все безнадежно верим. В «Диккенсе» каждый почувствует себя особенным, но никто не будет выделяться. Наверное, моя любимая история про бар Стива — это история про человека, который зашел туда, сбжав из ближайшей психушки. Никто не бросал на него косых взглядов. Никто не спрашивал, кто он такой, почему одет в пижаму и почему у него такой безумный блеск в

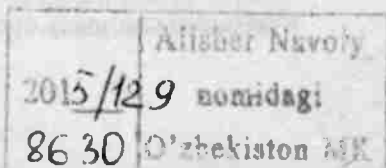
глазах. Посетители бара просто приняли его в свои объятия. Ему рассказывали анекдоты и целый день приносили выпивку. Единственной причиной, по которой его все-таки попросили уйти, стало то, что он неожиданно и без всякого очевидного повода снял штаны. Но даже тогда бармены лишь мягко пожурили его, используя стандартное предупреждение: «Пóлно — так здесь делать нельзя!»

Как и в случае любовной связи, успех бара зависит от совокупности многих факторов: подходящего момента времени, взаимного притяжения, грома среди ясного неба и, может быть, самого главного — великодушия. С самого начала Стив заявил, что в «Диккенсе» ко всем будут относиться с уважением, вместо бургеров подавать филе миньон с трехдюймовым суфле, наливать с верхом — *почти через край*, а закрывать заведение с последним посетителем, что бы там ни говорил закон. Обычный стакан выпивки в «Диккенсе» будет размером с двойную порцию в любом другом баре. От двойной порции можно и окосеть. А третья порция отправит тебя прямо в рай, как говорил младший брат моей матери, дядя Чарли, — первый бармен, приглашенный Стивом на работу.

Будучи истинным сыном Манхассета, Стив верил в алкоголь. Спиртному он был обязан всем, что имел. Его отец, занимавшийся продажей пива «Хайнекен», умер, когда Стив был еще маленьким, оставив сыну небольшое состояние. Дочь Стива звали Бренди, моторная лодка называлась «Дипсомания»*, а лицо его от непомерного потребления алкоголя было предательски красного цвета. Он чувствовал себя волшебником, заманивающим посетителей в алкогольные сети, и пучеглазые жители Манхассета тоже считали его таковым. С годами у него появились фанатики-последователи — легион преданных почитателей культа Стива.

У каждого из нас есть свое сокровенное место, убежище, где душа и разум очищаются, где чувствуешь себя ближе к Богу, к любви или к правде — чему бы ты ни поклонялся. И в радости, и в горе таким сокровенным местом для меня

* Алкоголизм (мед.).



был бар Стива. Я открыл его для себя в детстве, потому питал к нему то особое благоговение, которое дети испытывают к местам, где чувствуют себя в безопасности. У кого-то подобные чувства вызывает школьный класс или детская площадка, театр или церковь, лаборатория или стадион. Или дом. Люди склонны привязываться к тому, что рядом. Если бы я вырос возле реки или океана, то, возможно, я боготворил бы водоемы. Но я вырос в ста сорока двух шагах от знаменитой американской таверны, а это совсем другое дело.

Конечно, встав поутру с постели, я не проводил каждую свободную минуту в баре. Я шел в мир, работал, терпел неудачи, влюблялся, валял дурака, страдал от неразделенных чувств и преодолевал испытания на прочность. Но благодаря бару Стива все события в моей судьбе были взаимосвязаны, так же как и люди, которые встречались на моем пути. Первые двадцать пять лет жизни каждый, кого я знал, отсылал меня в бар, подвозил меня до бара, шел со мной в бар, спасал меня из бара или уже был в баре, когда я туда приходил, словно ждал меня там со дня моего появления на свет. К последним относились Стив и его друзья.

Я, бывало, говорил, что в баре Стива обрел необходимых мне отцов, но это не совсем так. В какой-то момент бар сам стал моим отцом, десятки мужчин слились в один огромный силуэт, склонившийся надо мной, — необходимая альтернатива моей матери, игрек-хромосома к ее хромосоме икс. Мама не знала, что ей приходится конкурировать с мужчинами из бара, а мужчины не подозревали, что соперничают с ней. Но тем не менее они являлись живым олицетворением ее представления о мужественности. Моя мать считала, что быть хорошим мужчиной — искусство, а плохим — трагедия, как для всего мира, так и для тех, кто зависит от этого конкретного мужчины. Именно в баре у Стива я ежедневно убеждался в справедливости этих слов. В бар Стива приходили самые разные женщины, но, будучи мальчишкой, я замечал лишь невероятное количество хороших и плохих мужчин. Непринужденно слоняясь среди альфа-самцов, слушая рассказы

солдат и бейсболистов, поэтов и полицейских, миллионеров и букмекеров, актеров и мошенников, облокачивающихся каждый вечер о барную стойку Стива, я вновь и вновь осознавал, как они отличаются друг от друга, и находил причины этим различиям.

Урок, жест, историю, философию, отношение — у каждого из мужчин в баре Стива я что-то позаимствовал. Я был специалистом по краже личности, когда это преступление еще не считалось таким серьезным. Я стал саркастичным, как Атлет, манерным, как дядя Чарли, грубым, как Джо Ди. Мне хотелось быть солидным, как Боб Полицейский, и невозмутимым, как Кольт, и я оправдывал свои приступы ярости, убеждая себя, что они не хуже праведного гнева Вонючки. В конце концов, общаясь с друзьями, родителями, начальством, даже с незнакомцами, я научился перевоплощаться в тех, кого встречал в баре «Диккенс». Бар выработал у меня привычку видеть в любом человеке, с которым сводила меня судьба, наставника и личность, и я благодарю бар и в то же время корю его за то, что сам я превратился в отражение или в искаженный образ всех этих людей.

Завсегдатаи бара обожали метафоры. Один пожилой любитель бурбона поведал мне, что человеческая жизнь состоит из гор и пещер — гор, на которые мы должны взбираться, и пещер, где мы прячемся, когда не можем преодолеть горы. Для меня бар являлся и тем и другим. Самой уютной пещерой и самой опасной вершиной. А его посетители, хотя они и были в душе троглодитами, стали моими шерпами*. Я любил их искренне, и, думаю, они это знали. Хотя они повидали всякое — войну и любовь, славу и бесчестие, богатство и нищету, — мне кажется, они никогда не встречали мальчишку, который смотрел бы на них с таким благоговением и блеском в глазах. Моя преданность была для них внове, и я

* Шерпы — народность, проживающая в верховьях Гималаев. Незменные участники большинства гималайских экспедиций. Часто нанимаются для подъема грузов в базовый лагерь и промежуточные высотные лагеря и привлекаются для работы на больших высотах.

думаю, она заставила их по-своему полюбить меня, поэтому они и похитили меня, когда мне было одиннадцать лет. Мне и сейчас кажется, что я слышу их голоса: «Эй, пацан, при- тормози, ты слишком шустрый».

Стиву я так прямо и сказал, что влюбился в его бар, и эта любовь была взаимной, и именно она предопределила все остальные романтические отношения в моей жизни. В нежном возрасте, стоя как-то в «Диккенсе», я решил, что жизнь — это череда любовных романов и каждый новый роман является продолжением предыдущего. И я был не одинок в своем убеждении: в баре Стива нашлось множество романтиков, веривших в цепную реакцию любви. Именно эта вера, так же как и сам бар, сплотила нас, поэтому мой рассказ — всего лишь одно из звеньев цепи, связавшей воедино все наши любовные истории.

ЧАСТЬ I

В любом человеке дремлет бесконечное множество возможностей, которые нельзя попусту тревожить. Потому что это ужасно, когда внутри человека раздаются разные эхо и ни одно из них не становится настоящим голосом.

Элиас Канетти, «Записки из Хэмпстеда»

1 | МУЖЧИНЫ

Почти каждый мужчина может с большей или меньшей точностью проследить свою эволюцию от мальчишки до взрослого человека. Моя началась жарким летним вечером 1972 года. В семь лет я ехал с мамой в машине по Манхассету и, выглянув в окно, увидел девятерых мужчин в оранжевой форме с черным профилем Чарльза Диккенса на груди, которые играли в софтбол на Мемориальном поле.

— Кто это? — поинтересовался я у матери.

— Это ребята из «Диккенса», — ответила она. — Видишь своего дядю Чарли? И его шефа Стива?

— Можно мне посмотреть?

Она поставила машину на стоянку, и мы заняли места на трибунах.

Садилось солнце, и фигуры мужчин отбрасывали длинные тени, которые словно были нарисованы той же краской, что и профили у них на груди.

Кроме того, животы игроков украшали отвисшие складки жира, и потому их силуэты становились похожими на кляксы. Все в этих мужчинах казалось каким-то нереальным, будто они были героями мультфильма. Редкие волосы, огромные ботинки и слишком крупные торсы делали их похожими на Плуто, Пучеглазых и стероидных Элмеров Фаддов*, за исключением моего дяди Чарли, который патрулировал поле как фламинго с больными коленями. Я помню, что у Стива в руках была деревянная бита размером с телефонную труб-

* Герои американских мультфильмов.

ку и всякий раз, когда он ударял по мячу, тот улетал в небо, как вторая луна.

Малыш Рут* пивной лиги, Стив потоптал ногами грязь и рывкнул питчеру, чтобы тот сбрызнул землю. Питчер выглядел одновременно испуганным и удивленным. Стив не переставал улыбаться. Его улыбка напоминала луч света, от которого всем становилось спокойнее на душе. Улыбка была своего рода командой. Она заставляла всех улыбаться в ответ.

Стив и его ребята из «Диккенса» были азартными игроками, но игра никогда не мешала их главному жизненному кредо — смеху. Каков бы ни был счет, они не прекращали хохотать, как и болельщики на трибунах. Я смеялся громче всех, хотя не понял шутки. Меня смешили улыбки этих мужчин и комичная синхронность их движений — такая же плавная и подвижная, как переход в двойной аут.

— Почему эти люди так глупо себя ведут? — спросил я у своей матери.

— У них просто... хорошее настроение.

— А почему у них хорошее настроение?

Она взглянула на поле и задумалась.

— От пива, милый. У них хорошее настроение от пива.

Каждый раз, когда кто-нибудь из них пробежал мимо, он оставлял после себя душистое облачко. Пиво. Лосьон после бритья. Кожа. Табак. Тоник для волос. Я глубоко вдохнул, запоминая их аромат, их сущность. С тех пор каждый раз, когда я чувствовал запах, исходящий от бочонка «Шафера», бутылки «Аква Вельвы», недавно протертой маслом бейсбольной перчатки «Спольдинг», дымящейся «Лаки Страйк» или фляжки «Виталиса», я мысленно переносился в тот день, когда сидел рядом с мамой и смотрел на пивных гигантов, топчущихся на ромбовидном поле.

Матч ознаменовал собой многое, но самое главное — он положил начало новому этапу в моей жизни. Мои воспоминания о событиях, происходивших до этого момента, бес-

* Профессиональный бейсболист американской Высшей лиги 1914–1935 гг.

связны и отрывочны, а после — организованны и упорядоченны. Возможно, мне судьбой было предназначено найти бар — один из двух столпов моей жизни. Я помню, как повернулся ко второму столпу и сказал, что мне хотелось бы смотреть на этих мужчин всегда.

— Это невозможно, сынок, — ответила мама, — игра окончена.

— Что? — Я запаниковал.

Они уходили с поля, обнявшись, исчезая в сумерках, надвигающихся на Мемориальное поле, крича друг другу: «Увидимся в «Диккенсе». Я расплакался. Мне хотелось пойти за ними.

— Зачем? — спросила мама.

— Чтобы узнать, почему им так весело.

— Мы не пойдем в бар, — сказала она. — Мы поедем... домой. — Она всегда запиналась на этом слове.

Мы с мамой жили в доме моего дедушки. Доме, который являлся одной из достопримечательностей Манхассета и был почти так же знаменит, как и бар Стива. Люди часто показывали пальцем на дедушкин дом, а один раз я слышал, как прохожие сказали, что дом, наверное, страдает от какой-то тяжелой болезни. Но от чего он действительно страдал, так это от сравнений. Стоявший среди элегантных манхассетских особняков в викторианском стиле и симпатичных голландских колониальных домиков, полуразрушенный дедушкин домишко в стиле кейп-код* представлял собой жуткое зрелище. Дедушка заявлял, что не может позволить себе ремонт, но, по правде говоря, ему просто было наплевать. С легким пренебрежением и извращенной гордостью он называл этот дом «дерьмовым домишкой» и не обращал внимания, что крыша начала проседать словно цирковой купол. Он почти не замечал, как краска облезает струпами размером с

* Архитектурный стиль, зародившийся в XVII веке в Новой Англии, характерными чертами которого являются низкие, широкие каркасы зданий (обычно одноэтажных) и остроконечные крыши с большой трубой.

игральные карты. Он зевнул в лицо бабушке, когда та заметила, что на площадке у дома образовалась рваная трещина, будто туда ударила молния, — на самом деле так оно и было. Мои двоюродные сестры видели, как молния прошипела перед домом, чудом не попав в него. Даже Бог, подумал я, указывает на дедушкин дом.

Под этой самой проседающей крышей мы с мамой и жили: вместе с дедушкой, бабушкой, взрослыми братом и сестрой моей мамы — дядей Чарли и тетей Рут, — а также пятью дочерьми тети Рут и ее сыном. «Куча дармоедов, коптящих воздух» — так называл нас дедушка. Пока Стив создавал святилище для народа по адресу Пландом-роуд пятьсот пятьдесят, дедушка держал ночлежку в доме номер шестьсот сорок шесть.

Дедушка тоже мог бы прибить силуэт Чарльза Диккенса над дверью, поскольку его жилище напоминало работный дом времен вышеупомянутого писателя. Двенадцать жильцов и один туалет, в который всегда выстраивалась очередь, а толчок был заполнен под завязку («дерьмовый домишко» был дерьмовым в буквальном смысле). Горячая вода могла пойти для того, кто принимал душ вторым, изредка баловала третьего, а затем дразнила и резко заканчивалась на четвертом. Мебель, большая часть которой относилась к третьему сроку президентства Франклина Рузвельта, не разваливалась лишь благодаря клейкой ленте. Единственными новыми вещами в доме были стаканы, «одолженные» в «Диккенсе», и новый диван в гостиной из магазина «Сирз», обитый тканью с завораживающе омерзительным узором из колокольчиков, лысых орлов и лиц отцов-основателей. Мы называли его «двухсотлетним» диваном, слегка преувеличивая возраст, но дедушка говорил, что название очень подходит: диван выглядел так, будто сам Вашингтон использовал его для переправы через Делавэр.

Самым неприятным в дедушкином доме был шум: круглосуточные проклятия, возгласы и ссоры, вопли дяди Чарли о том, что он пытается заснуть, крики тетушки Рут на своих

шестерых детей душераздирающим голосом чайки. За всей этой какофонией раздавался равномерный барабанный бой, поначалу слабый, затем усиливающийся по мере того, как вы начинали привыкать к нему, похожий на сердцебиение в глубинах дома Ашера*. В дедушкином доме стук раздавался, когда открывали и закрывали входную дверь, когда люди входили и выходили — *тук-тук, тук-тук*, а также от грохота шагов, так как все в нашей семье, словно кавалеристы, громко топали ногами. От скрипов входной двери, ссор и топота, к наступлению сумерек нам хотелось лаять и биться в конвульсиях больше, чем собаке, которая удирала из дома, пользуясь любой возможностью. Но сумерки являли собой крещендо, самую напряженную часть дня, потому что на закате мы все вместе ужинали.

Сидя вокруг кривобокого обеденного стола, мы все одновременно говорили, пытаясь не фокусировать внимание на том, что мы едим. Бабушка не умела готовить, а дедушка почти не давал ей денег на продукты, поэтомустряпня, которую мы получали в битых мисках, была одновременно и несъедобной, и нелепой. Чтобы приготовить то, что она называла «спагетти с фрикадельками», бабушка варила целую коробку макарон до тех пор, пока они не превращались в клей, и заправляла их томатным супом-пюре «Кэмпбелл», а сверху клала сырые сосиски для хот-догов. Соль и перец по вкусу. Но причиной коллективного несварения желудка был все-таки дедушка. Нелюдим, мизантроп, скряга, к тому же еще и заика, — каждый вечер он садился во главу стола с двенадцатью незванными гостями, не считая собаки. Ирландский вариант «Тайной вечера». Когда он мерил нас взглядом, мы, казалось, читали его мысли: *«Все вы испортили мне жизнь»*. К его чести нужно сказать, что дедушка никогда никого не прогонял. Но с другой стороны, он никому не оказывал радушного приема и частенько вслух желал, чтобы все мы просто «убрались отсюда к чертовой матери».

* Дом из мистической драмы Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеро».

Мы с мамой с радостью ушли бы, но идти нам было некуда. Она очень мало зарабатывала, а мой отец, который знать не хотел свою жену и единственного ребенка, денег ей не давал. Он был тяжелым человеком — вспыльчивым и агрессивным, хоть и обаятельным, — и у моей матери не осталось другого выхода, кроме как уйти от него, когда мне исполнилось семь месяцев. В отместку тот исчез и отказал нам в какой-либо помощи.

Поскольку отец испарился, когда я был совсем маленьким, я не знал, как он выглядит. Знал только, какой у него голос. Будучи популярным рок-н-рольным диск-жокеем, мой отец ежедневно говорил в большой микрофон где-то в Нью-Йорке, и его аристократический баритон разлетался над Гудзоном, пересекал залив Манхассет, взмывал над Пландом-роуд и через тысячную долю секунды раздавался из оливково-зеленого радиоприемника, стоявшего на дедушкином столе. От голоса моего отца, такого глубокого и зловещего, дрожали приборы на столе, а у меня начинала вибрировать грудная клетка.

Взрослые в дедушкином доме старались оберечь меня и потому делали вид, что отца не существует. (Бабушка даже не произносила его имени — Джонни Майклз, — а просто звала его «Голос».) Услышав голос моего отца, они бросались к приемнику и иногда вообще прятали его, а я ревел в знак протеста. Окруженный в основном женщинами, я видел в Голосе единственную связь с миром мужчин. Более того, он был единственным способом отключиться от всех прочих отвратительных голосов в дедушкином доме. Голос, который каждый вечер правил бал в оливково-зеленом ящике вместе со Стиви Уандером, Ваном Моррисоном и «Битлз», стал противоядием от происходящего вокруг. Когда между бабушкой и дедушкой разгоралась война из-за денег на продукты, когда в припадке гнева тетя Рут швыряла что-нибудь об стенку, я прижимал ухо к радиоприемнику и Голос рассказывал мне что-нибудь смешное или ставил песню группы «Пепперминт рейнбоу». Я с таким исступлением слушал

Голос, что происходило чудо: другие голоса пропадали, а я становился гением «избирательного слуха», который считал даром, пока он не оказался проклятием. В жизни главное умение настраиваться на нужные голоса, выключая другие. Мне потребовалось немало времени, чтобы научиться правильно это умение использовать.

Я помню, как-то, включив передачу, я почувствовал себя особенно одиноко. Первой песней, которую поставил отец, была «Ищу возможность вернуться к тебе» в исполнении «Фо Сизонз», а потом он сказал своим сладким, ласковым голосом, по которому можно было понять, что он улыбается: «Я ищу возможность вернуться к тебе, мама, но наберись терпения, потому что я пока еще только наметил маршрут на бумаге». Я закрыл глаза, рассмеялся и на несколько минут забыл о том, кто я такой и где нахожусь.

2 | ГОЛОС

У отца было множество талантов, один из них — способность исчезать. Он мог без предупреждения выйти в эфир не в свою смену или перейти на другую радиостанцию. Поэтому я выносил портативный радиоприемник из дома на крыльцо, где прием был лучше. Поставив радио на колени, я крутил антенну и медленно поворачивал ручку настройки, чувствуя себя потерянным, пока вновь не находил Голос. Однажды меня застукала мама.

— Что это ты делаешь? — поинтересовалась она.

— Ищу своего отца.

Она нахмурилась, потом повернулась и ушла в дом.

Я знал, что такого успокаивающего эффекта, как на меня, на маму Голос не имел. Для нее в нем «звучали деньги», как написал Фицджеральд о другом беззаботном голосе Манхасета. Услышав голос из приемника, мать не различала в нем ни иронии, ни обаяния, ни интонаций. Ей слышались только

алименты, которые он не выплатил. Слушая Голос, я часто видел, как мама просматривает почту, ища чек от него. Вывалив пачку конвертов на обеденный стол, она смотрела на меня пустыми глазами. Ничего. Опять ничего.

Из-за матери я старался включать радио негромко. Время от времени я даже пытался перестать слушать Голос, но это было невозможно. Каждый жилец дедушкиного дома обладал хоть одним пороком: пил, курил, играл в азартные игры, лгал, ругался, бездельничал. Моим пороком был Голос. По мере того как усиливалась зависимость, росло и мое к нему снисхождение. Потом просто слушать стало недостаточно. Я начал отвечать. Рассказывал Голосу о школе, Малой лиге, здоровье матери. Она приходила по вечерам с работы такой замученной. Мы с Голосом постоянно о ней беспокоились. Если я находил правильный ритм — слушал, пока Голос говорил, и говорил, пока Голос молчал, — получался почти диалог.

В конце концов мать меня поймала.

— С кем ты разговариваешь? — спросила она.

— Ни с кем.

Она прикрыла рот рукой. Вид у нее был потрясенный.

Как-то днем, когда Голос только закончил свою передачу, в дедушкиной гостиной зазвонил телефон.

— Ответь, — сказала мама странным голосом.

Я взял трубку:

— Алло?

— Здравствуй, — произнес Голос.

Я сглотнул.

— Папа?

Никогда раньше я не произносил этого слова. Я почувствовал облегчение внутри, будто пробка вылетела из бутылки. Он спросил, как у меня дела. «В каком ты классе? Правда? Тебе нравятся твои учителя?» Он не сказал, что мама тайком организовала этот телефонный звонок, услышав мою беседу с радиоприемником. Не объяснил, где он находится или почему никогда не навещает нас. Он вел со мной непринужден-

ную беседу, будто мы были старыми армейскими приятелями. Потом я услышал, как он затянулся сигаретой так глубоко, что казалось, клубы дыма вырвутся из телефонной трубки. В голосе чувствовался дым, и я подумал, что голос и *есть* дым. Так я и представил себе отца — как говорящий дым.

— Ну что ж, — сказал он, — хочешь пойти со своим стариком на бейсбольный матч?

— Ух ты! Правда?

— Конечно.

— На «Метс» или «Янкиз»?

— «Метс», «Янкиз» — какая разница.

— Дядя Чарли говорит, что «Метс» как-то вечером заходили в «Диккенс».

— Как поживает твой дядя Чарли? Как у него дела в баре?

— Они завтра вечером играют с «Брэйвз».

— Кто?

— «Метс».

— А, понятно.

Я слышал позвякивание кубиков льда в бокале.

— Договорились, — сказал он. — Завтра вечером. Я заеду за тобой к дедушке в полседьмого.

— Я буду готов.

Готов я был уже в половине пятого. Сидя на крыльце в своей новой бейсболке с эмблемой «Метс», запихнув кулак в новую бейсбольную перчатку, я всматривался в каждую машину, приближающуюся к нашему дому. Я ждал отца, но не знал, как он выглядит. Мама не сохранила ни одной его фотографии, а я еще не бывал в Нью-Йорке и не видел его лицо на афишах и бортах автобусов. Вдруг у отца стеклянный глаз, парик или золотой зуб? Я не смог бы опознать его в полицейском участке, — хоть дедушка и предполагал, что однажды мне придется это сделать.

В пять часов в дверях появилась бабушка.

— Я думала, он придет в полседьмого, — сказала она.

— А если раньше?

— Твой отец? Раньше? — Бабушка цокнула языком. — Мама с работы звонила. Сказала, чтобы я напомнила тебе взять куртку.

— Слишком жарко.

Бабушка снова цокнула языком и ушла. Она недолюбливала моего отца, и ее мнение разделяли многие. Вся семья бойкотировала свадьбу моих родителей, за исключением непокорного старшего брата мамы, дяди Чарли, который и вел ее под венец. Мне было стыдно, что я так радуюсь приходу отца. Я знал, что неправильно приглашать его к нам, думать о нем, любить его. Будучи единственным мужчиной в семье, маминым защитником, мне следовало подготовиться и потребовать с отца денег, едва тот появится. Но мне не хотелось его отпугнуть. Я жаждал увидеть его сильнее, чем в первый раз посмотреть, как играет «Метс».

Я стучал резиновым мячом по крыльцу и старался сосредоточиться на том хорошем, что знал об отце. Мама как-то сказала, что до того, как отец начал работать на радио, он был комиком и на его выступлениях зрители просто валялись в проходах от смеха. «Кто такой «комик»?» — спросил я. «Тот, кто смешит публику», — сказала мама. «Интересно, — подумал я, — будет ли отец смешить меня? Может, он окажется похож на моего любимого актера Джонни Карсона?» Я на это надеялся. Я пообещал Богу, что больше ничего не попрошу у него, если папа будет похож на Джонни Карсона — с его блестящими глазами и тенью доброй улыбки, притаившейся в уголках рта.

Внезапно мне в голову пришла мысль настолько страшная, что я перестал кидать мяч о крыльцо. А что, если отец, зная, как относится к нему наша семья, не захотел подъезжать на площадку перед домом? Что, если он притормозил на Пландом-роуд и, не увидев меня, уехал? Я понесся к проезжей части. Теперь, если бы он подъехал, я смог бы прыгнуть к нему в окно и мы быстро скрылись бы из виду. Я встал у дороги, как будто ловил попутку, и стал всматриваться в каждого, кто проезжал мимо, пытаюсь понять, не мой ли это отец.

Мужчины бросали на меня ответные взгляды, встревоженные и раздраженные, размышляя, почему этот семилетний мальчишка так напряженно на них смотрит.

В начале девятого я вернулся на крыльцо и стал смотреть на закат. Горизонт окрасился в оранжевый, в цвет формы игроков софтбольной команды «Диккенса» и букв «NY» на моей бейсболке. Дядя Чарли ушел в бар. Шагая через лужайку с опущенной головой, он был так занят полировкой солнцезащитных очков салфеткой «Клинекс», что не заметил меня.

В восемь тридцать в дверях появилась бабушка.

— Зайди в дом и поешь чего-нибудь, — сказала она.

— Нет.

— Тебе нужно поесть.

— Нет.

— Хоть кусочек.

— Мы будем есть хот-доги на стадионе.

— Хм.

— Он просто опаздывает. Он придет.

Я слышал, как дедушка включает девятый канал, по которому показывали матч «Метс». Обычно из-за плохого слуха и из-за шума в доме он врубал телевизор на полную мощность. Тем вечером он сделал звук тише ради меня.

В девять вечера я решил испробовать новую тактику. «Если я не буду смотреть на следующую машину, — подумал я, — если даже не взгляну на водителя, он точно окажется моим отцом». Я испытал эту стратегию, в которой был полностью уверен, на тридцати машинах.

В половине десятого я стал потихоньку смиряться с неизбежным. Снял бейсболку «Метс». Снял перчатку и положил ее под голову как подушку. Съел кусок бабушкиной курицы.

В десять я забежал домой пописать. Пробегая по коридору, я слышал, как ревет толпа на стадионе «Шиа», восторженно приветствуя забитый в базу мяч.

В одиннадцать игра закончилась. Я вошел в дом, надел пижаму и забрался под одеяло. Через несколько секунд после

того, как я выключил свет, у изголовья моей кровати появился дедушка. Я никогда не видел его более удивленным.

— Мне очень жаль, — сказал он, — насчет твоего отца.

— О, — сказал я небрежно, вытягивая торчащую нитку из одеяла, под которым прятался, — я даже рад, что он не приехал. Мне все равно не очень нравятся брюки, в которых я сегодня был.

Дедушка кивнул и вышел из комнаты.

Я лежал в темноте и слушал, как дедушка с бабушкой на кухне обсуждают отца. Они замолчали, когда во двор въехала машина. Я услышал хруст гравия под колесами и шум мотора. Отец! Я выпрыгнул из кровати. В конце узкого коридора, который вел к входной двери, стояла мама.

— О нет, — сказала она. — Что ты здесь делаешь? Разве вы не пошли на матч?

Я покачал головой. Она быстро подошла ко мне, и я обвил ее руками, поражаясь тому, как глубоко я люблю ее и как сильно она мне нужна. Пока я обнимал маму, прижимался к ней и плакал, я неожиданно понял, что она все, что у меня есть, и что если я не буду о ней заботиться, я пропаду.

3 | «СПАСИТЕЛЬНОЕ» ОДЕЯЛО

Когда я не слушал Голос, склонившись над радиоприемником, я был настроен на частоту матери, контролируя ее настроение. Я наблюдал за ней, анализировал ее, ходил за ней из комнаты в комнату: нечто большее, чем привязанность, большее, чем желание защитить. В какой-то степени это было недоумение, потому что, как бы внимательно я ни наблюдал и ни слушал, мама оставалась для меня загадкой.

Когда мать была счастлива, она могла удивительно шумно выражать радость или любовь. Но если она печалилась или обижалась, пугалась чего-то или переживала из-за денег, то могла замолчать надолго, и ее лицо не выражало ничего.

Некоторые объясняли это холодностью. Как же они ошибались! Даже в свои семь лет я понимал, что за внешним безразличием кроются кипящие страсти. То, что другие принимали за отсутствие эмоций, было скорее их переизбытком. Соблюдая приличия, мама пряталась за маской фальшивого спокойствия, как люди иногда укрываются за ширмой, чтобы переодеться.

Бабушка рассказала мне одну историю. Когда мама училась во втором классе, преподаватель задал детям вопрос и мама подняла руку. Она знала ответ и еле сдерживалась, чтобы не выкрикнуть его. Но учитель спросил кого-то другого. Через несколько минут учитель заметил, что мамина рука все еще поднята. «Дороти, — сказал он, — опусти руку». «Я не могу», — сказала мама. «Опусти руку», — повторил учитель. Мамины глаза наполнились слезами. Учитель отправил маму к директору, который отослал ее к медсестре, и та подтвердила, что девочка не притворяется. Ее рука и кисть действительно зафиксировались в поднятом положении и не сгибались. Бабушку вызвали в школу. Она описала мне тот долгий, странный путь домой, когда мама шла чуть позади с поднятой вверх прямой рукой. Бабушка уложила дочку в постель — это единственное, что пришло ей в голову, — и к утру, когда мама, видимо, оправилась от разочарования, рука опустилась.

Хотя загадочность была свойственна матери, эта ее черта порой казалась нарочитой. Самый честный человек из всех, кого я знал, она прекрасно умела лгать. Чтобы не причинить боль или смягчить плохую новость, она сочиняла что-нибудь и без малейших колебаний выдавала придуманную историю. Ее ложь подавалась в таком профессиональном исполнении, что никто никогда в ней не сомневался. Потому, перебирая детские воспоминания, я вновь и вновь обнаруживаю какую-нибудь выдумку матери, словно затейливо раскрашенное пасхальное яйцо, слишком хорошо спрятанное и забытое.

Впервые я столкнулся с ложью, когда мы с мамой переехали в маленькую квартирку в пяти минутах от дедушкиного

дома. «Наконец-то, — сказала она, — нам удалось сбежать». Она громко и безудержно радовалась, пока ее не сократили на работе. Вскоре я нашел у нее в сумке талоны на еду. «Что это?» — спросил я. «Купоны», — весело ответила она.

Она не хотела, чтобы я знал, что мы нищие. Не хотела, чтобы я еще больше переживал. Именно поэтому она солгала, когда я попросил ее купить телевизор. «Ты знаешь, я собиралась купить телевизор, — сказала мама. — Если бы только не эта забастовка производителей телевизоров».

Я приставал к ней с расспросами о забастовке на телевизионной фабрике, и она на ходу изобретала подробности о пикетчиках и результатах переговоров. Когда ей удалось отложить достаточно денег, чтобы купить подержанный черно-белый телевизор, она подошла ко мне и объявила, что руководство фабрики приняло требования бастующих. Много лет я верил, что в свое время рабочие телевизионной фабрики Лонг-Айленда прекращали работу на долгий срок, пока как-то в гостях за обедом, упомянув об этом, не увидел удивленных взглядов.

В те редкие моменты, когда маму ловили на лжи, она совершенно не раскаивалась. У нее сложились свои отношения с правдой, спокойно объясняла она, а в них, как в любых отношениях, необходим компромисс. Мама считала ложь не большим грехом, чем приглушение звука радиоприемника, чтобы я не услышал Голос. Она всего лишь делала правду чуть потише.

Ее наиболее вдохновенная ложь стала определенной вехой в наших отношениях, потому что касалась самого дорогого, что у меня было, — «спасительного» одеяла. К этому сделанному из мятно-зеленого атласа, прошитому толстой белой ниткой одеялу я привязался почти так же, как к Голосу. Я нервничал, если одеяла не оказывалось поблизости. Я носил его как пончо, как кушак, как шарф, а иногда как шлейф, я считал свое одеяло верным другом в жестоком мире, в то время как мама, глядя на происходящее глазами взрослого человека, видела в этом зарождающееся эмоцио-

нальное расстройство. Она пыталась урезонить меня, говоря, что семилетнему мальчику не пристало все время кутаться в одеяло, но разве может разум бороться с зависимостью? Она пыталась забрать у меня одеяло, но я ревел так, будто она вырывала мне руку из сустава. Однажды я проснулся ночью и увидел, что мама сидит на краю моей кровати. «Что случилось?» — спросил я. «Ничего. Спи».

Через несколько недель я заметил, что «спасительное» одеяло уменьшилось в размерах. Я спросил об этом маму. «Может быть, оно садится от стирки, — сказала она. — Я буду стирать его в холодной воде». Много лет спустя я узнал, что каждую ночь, прокрадываясь в мою комнату с ножницами, мама незаметно отрезала кусочки от «спасительного» одеяла, постепенно превращая его в «спасительную» шаль, «спасительную» тряпочку, а потом и в «спасительный» лоскуток. Со временем появились другие «спасительные» одеяла: люди, идеи и в особенности места, к которым у меня развивается нездоровая привязанность. Как только жизнь лишает меня одного из них, я вспоминаю, как осторожно, по кусочкам, мать отбирала у меня мое первое «спасительное» одеяло.

Единственное, о чем мама не могла лгать, — это о том, как глубоко обидел ее дедушкин дом. Она говорила, что по сравнению с дедушкиным домом дом ужасов Амитивилля^{*} просто святыня. Она утверждала, что дедушкин дом был ответом Манхассета Алькатрасу^{**}, только в дедушкином доме еще более неровные матрасы и за столом люди ведут себя еще непристойнее. Мама сбежала из этого дома, когда ей было девятнадцать, поступила работать в «Юнайтед Эйрлайнз» стюардессой и летала по стране в форме и шапочке цвета морской волны. Она попробовала себя и в других областях: например, работала помощницей в «Кэпитол Рекордз», где

* Имеется в виду дом из триллера «Ужас Амитивилля» Стюарта Розенберга 1979 года, по мотивам которого впоследствии было снято семь сиквелов.

** Алькатрас — федеральная тюрьма на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско.

познакомилась с Натом Кингом Коулом* и подслушивала через коммутатор телефонные разговоры своего начальника с Фрэнком Синатрой. Теперь она, тридцатидвухлетняя мать-одиночка без гроша в кармане, вернулась в дедушкин дом, что стало для нее горьким поражением, вынужденным шагом назад. Мать работала на трех работах — секретаршей, официанткой и няней — и постоянно откладывала деньги на то, что называла «следующим великим побегом». Но каждый побег оборачивался разочарованием. Через шесть или девять месяцев наши сбережения таяли, арендная плата вырастала, и мы снова оказывались в «дерьмовом домишке». К тому моменту, как мне исполнилось семь лет, мы три раза съезжали из дедушкиного дома и три раза возвращались обратно.

Хотя я и недолюбливал «дерьмовый домишко», я не презирал его так, как мама. Покосившаяся крыша, перетянутая клейкой лентой мебель, переполненный до краев унитаз и «двухсотлетний» диван — все это казалось справедливой платой за возможность жить с двоюродными сестрами и братом, которых я обожал. Мама это понимала, но то, что служило некоторой компенсацией для меня, ее не радовало. Дедушкин дом высасывал из нее силы. Она говорила, что устала. Ужасно устала.

Больше всего мать расстраивалась, когда понимала, что очередное возвращение неизбежно. Помню, как-то, вернувшись в очередную арендуемую нами двухкомнатную квартиру, я зашел в кухню и увидел, как мать барабанит по клавишам калькулятора. Она стучала по клавишам с рассвета, но выглядела так, будто это калькулятор стучал по ней. Я давно подозревал, что она разговаривает с калькулятором, как я с радиоприемником, и в то утро я поймал ее с поличным. «С кем ты говоришь? — спросил я. Она подняла на меня ничего не выражающие глаза. — Мама?» Никакой реакции. Она превратилась в ту самую оцепеневшую девочку с поднятой вверх рукой.

* Натан Адамс Коулз (1919–1965), известный под псевдонимом Нат Кинг Коул, — популярный американский джазовый певец, композитор и пианист.

Когда мы возвращались к бабушке, мать настаивала, чтобы мы время от времени выезжали на прогулку — развеяться и восстановить душевное равновесие. В воскресенье днем мы сели в наш тронутый ржавчиной «Ти-Берд» 1963 года, звук мотора которого напоминал выстрелы пушки времен гражданской войны, и отправились на прогулку. Сначала мы ехали на Шор-драйв, самую красивую улицу Манхассета, где стояли дома с белыми колоннами, превосходящие по размерам городскую ратушу; у некоторых задний двор выходил на пролив Лонг-Айленд. «Представь, что ты живешь в одном из таких роскошных домов», — говорила мама. Она парковала машину возле самого большого особняка — единственного, у которого были желтые ставни и терраса, опоясывающая все здание. «Представь, что ты лежишь здесь летним утром, — говорила она, — окна открыты, а с воды дует теплый бриз, покачивая занавески».

Во время наших прогулок почему-то всегда стоял туман и шел дождь, поэтому мы не могли выйти на улицу и получше все рассмотреть. Мы сидели в машине с заведенным мотором и включенной печкой, и «дворники» ездили туда-сюда по лобовому стеклу. Мать разглядывала дом, а я разглядывал ее. У нее были блестящие каштановые волосы до плеч и зеленовато-карие глаза, которые становились еще зеленее, когда она улыбалась. Однако самым типичным для нее выражением лица являлась маска самообладания, будто она аристократка, позирующая для портрета. Женщина, которая могла быть не только нежной и хрупкой, но и, вне сомнения, жестокой, когда защищала тех, кого любит. Глядя на некоторые фотографии матери, я вижу, что она осознавала эту свою способность — в тяжелые времена забыть о деликатности и бороться насмерть — и в какой-то степени гордилась ею. Фотоаппарат сумел запечатлеть ее гордость, которую семилетним мальчишкой я не замечал. Единственное, чем, по моим детским наблюдениям, мама гордилась, — это своим чувством стиля. Она казалась миниатюрной и стройной и интуитивно понимала, что ей идет. Даже когда мы бедствовали, она умудрялась выглядеть элегантно.

Мы сидели так некоторое время, пока владельцы дома, услышав шум мотора «Ти-Берда», не начинали выглядывать из своих окон. Тогда мама трогалась, и мы отправлялись на юг, в сторону Пландом-роуд, через торговый квартал, начинавшийся от «Диккенса» и заканчивавшийся у церкви Святой Марии. Мне нравилось, что противоположными полюсами Манхассета были два по-своему священных места, где собирались посвященные группы взрослых. За церковь Святой Марии мы поворачивали налево на Северный бульвар, потом сразу направо на Шелтер-Рок-роуд, проезжали сам Шелтер-Рок — ледник весом в тысячу восемьсот тонн, сползший из южной части штата много веков назад, словно один из стеклянных шариков, которыми я играл на детской площадке в начальной школе. Школа находилась в миле отсюда и тоже называлась «Шелтер-Рок». Шелтер-Рок окружали легенды. Несколько столетий назад твердыня ледника якобы служила естественным укрытием для людей, защищая их от зверей, непогоды и врагов. Монументальный камень, к которому с благоговейным трепетом относились все, кто жил вдоль залива Манхассет, был затем восхвален голландскими фермерами, выращивавшими коров, приехавшими в Манхассет в поисках лучшей жизни в начале XVII века. Потом камень перешел к миллионерам, которые в начале XIX века построили вдоль него свои огромные поместья. Если у дедушки нам станет совсем плохо, думал я, мы с мамой смогли бы жить у Шелтер-Рока. Мы могли бы спать в его тени и готовить пищу на открытом огне — условия суровые, но не намного хуже того, как мы жили тогда.

Сразу после камня мы с мамой ехали на улицу, усеянную холмами, где дома были еще прекраснее тех, что стояли у воды. «Самые красивые дома в мире», — говорила мама.

Сквозь запертые на замок ворота из кованого железа мы видели лужайки шире и зеленее, чем поле стадиона «Шиа», а за ними — копии ирландских замков из моей книги сказок. «Здесь живут Уитни, — говорила мама. — А здесь живут Пейли. А здесь Пейсоны. Мило, правда?»

Разворачиваясь перед последним особняком и направляясь обратно к дедушке, мать всегда начинала напевать. Для разминки она пела «Милый, у меня есть ты», потому что ей нравилась строчка «Любовью не заплатишь за квартиру — и сколько ни работай, денег нет». Потом она запевала нашу любимую мелодию:

Пусть в карманах у нас пусто
И одежда вся в заплатках,
Все равно продолжим путь свой,
Эту песню напевая.

Мама всегда пела бодрым голосом, но не могла скрыть раздражения. Эти особняки расстраивали мать так же сильно, как и завораживали, и я это понимал. Я чувствовал то же самое. Прижавшись лбом к оконному стеклу, за которым мелькали шикарные дома, я думал: «В мире так много прекрасных мест, и все они нам недоступны». Очевидно, главной целью в жизни было понять, как туда попасть. Почему мы с мамой не могли сообразить, как это сделать? Мама заслуживала свой собственный дом. Необязательно особняк, просто маленький коттедж с розовым садиком, кремовыми занавесками и чистыми мягкими коврами. Этого было бы достаточно. Меня просто бесило, что у моей матери нет хороших вещей, еще больше бесило, что я не могу их ей дать, и ничего этого я не мог сказать вслух, потому как мама пела, пытаюсь поднять себе настроение. Заботиться о матери означало не говорить того, что поколебало бы ее оптимизм. Я прижимался лбом к стеклу все сильнее и сильнее, пока не начинал чувствовать боль, и мое внимание переключалось с особняков на собственное отражение в стекле.

Хотя я и прятал чувства глубоко внутри, в конце концов, перебродив, они вырывались наружу, проявляясь в определенных поступках. За одну ночь я превратился в невротика с навязчивыми идеями. Мне пришла в голову мысль привести в порядок дедушкин дом — постелить ровнее ковры, сложить аккуратными стопками журналы, сменить клейкую ленту на

мебели. Двоюродные сестры смеялись надо мной и дразнили чистюлей, но я не просто стремился к порядку — это было чистой воды безумием. Я не только старался сделать все возможное, чтобы маме стало приятнее жить в этом доме, но также пытался навести порядок в хаосе — стремление, которое в результате привело к тому, что я стал искать более кардинальные решения по переустройству реальности.

Я начал раскладывать жизнь на абсолютные понятия. Если эти правила действуют в Манхассете, то почему бы не применить их ко всему миру? В Манхассете все болели либо за «Янкиз», либо за «Метс», были либо бедными, либо богатыми, трезвыми или пьяными, завсегдатаями либо церкви, либо бара. Все были либо ирландцами, либо засранцами, как сказал мне один школьный учитель, и я не смог признаться ни ему, ни себе, что среди моих предков были как ирландцы, так и итальянцы. Жизнь состоит из полных противоположностей, решил я, что подтверждалось ярким контрастом между «дерьмовым домишкой» и особняком Уитни. И вещи, и люди бывают либо абсолютно хорошими, либо абсолютно плохими — для меня не существовало противоречивых, двусмысленных понятий. Я превращал любую неудачу в трагедию, любой успех в грандиозный триумф и делил всех людей на героев и злодеев. Не в состоянии выносить неоднозначность, я возвел вокруг себя баррикады из иллюзий.

Другие мои иллюзии были гораздо очевиднее и по этой причине служили предметом беспокойства для моей матери. Я стал экстравагантно суеверен, начал коллекционировать страхи подобно тому, как другие мальчишки коллекционируют бейсбольные карточки. Я избегал лестниц и черных кошек, сыпал соль через плечо, стучал по дереву и задерживал дыхание, проходя мимо кладбища. Я старался не наступать на трещины, боясь, что тогда мама сломает спину, и шел по тротуару зигзагами, как пьяный. Я трижды произносил «волшебные» слова, чтобы отпугнуть несчастья, и опасался знаков и знамений свыше. Общался с камнями, деревьями и с неодушевленными предметами, особенно с «Ти-Бердом». Как за-

клинатель лошадей, я гладил приборную панель автомобиля и умолял его не ломаться. Я переживал, что если «Ти-Берд» сломается, для матери это станет ударом. Меня преследовали беспричинные страхи, и самым худшим из них был страх заснуть последним в доме. Если все кроме меня спали, я чувствовал себя невыносимо одиноким и мои конечности немели и холодели. Может быть, это из-за того, что в доме больше не звучали голоса. Когда я признался в этом страхе двоюродной сестре Шерил, которая была на пять лет меня старше, та обняла меня и сказала совершенно правильную вещь: «Даже если мы спим, можешь не сомневаться, что дядя Чарли и вся остальная компания в «Диккенсе» бодрствуют».

Мама надеялась, что с годами это пройдет. Но все только ухудшалось, и когда у меня начались приступы раздражения, мама повела меня к детскому психиатру.

— Как зовут мальчика? — спросил психиатр, пока мы с мамой усаживались напротив его стола. Он делал заметки в большом блокноте.

— Джей Ар, — сказала мама.

— Его настоящее имя.

— Джей Ар.

— Это ведь его инициалы, разве не так?

— Нет.

— Ну что ж, — психиатр бросил свой блокнот на стол, — вот вам и ответ.

— Простите? — сказала моя мать.

— Очевидно, мальчик страдает от личностного кризиса. У него нет индивидуальности, поэтому он злится. Дайте ему имя — *настоящее* имя, — и приступы гнева пройдут сами собой.

Поднявшись, мать сказала, чтобы я надел куртку и что мы уходим. Она бросила на доктора такой взгляд, от которого Шелтер-Рок раскололся бы пополам, и сдержанным тоном сообщила, что семилетние дети не страдают от личностных кризисов. Пока мы ехали домой к бабушке, она крепко держала руль и исполнила весь свой репертуар за три четверти

обычного времени. Вдруг она перестала петь. Она спросила, что я думаю о словах доктора. Нравится ли мне мое имя? Страдаю ли я от личностного кризиса? Что или кто был причиной моих приступов?

Я отвел глаза от пролетающих мимо особняков и медленно повернулся к матери — в этот раз именно у меня был ничего не выражающий взгляд.

4 | ДЕДУШКА

Однажды меня осенило. Я понял, что мою мать оскорбляет не столько дедушкин дом, сколько сам его владелец. Необходимость ремонта печалила ее потому, что напоминала о человеке, который отказывался этот ремонт делать. Я увидел, как мама бросает взгляд в дедушкину сторону, а потом падает в тоску, и предположил, что ей также очень не нравится то, как дедушка выглядит.

Дед перестал следить не только за домом, но и за собой. Он носил штаны в заплатках, дырявые ботинки, рубашки с пятнами слюны и остатков от завтрака, мог не причесываться по несколько дней, не вставлять свою искусственную челюсть и не мыться. Он столько раз использовал одно и то же лезвие для бритья, что казалось, будто его щеки расцарапала дикая кошка. Он был покрыт струпьями, помят, от него воняло тухлятиной, и еще он ленился, чего мама не выносила. Дедушка давно уже не пытался чего-то добиться в жизни. Еще в молодости он растерял все амбиции. Когда его мечта стать профессиональным игроком в бейсбол разбилась в пух и прах, он занялся страховым бизнесом и добился успеха, от которого его тошнило. Как жестока судьба, думал он, вынудившая его быть успешным в работе, которую он ненавидит. И он отомстил судьбе. Как только он накопил достаточно денег, чтобы обеспечить себе надежный доход до конца своих дней, дедушка бросил работу. С тех пор единственным его

занятием было наблюдать, как разваливается дом, и заставлять родственников лебезить перед ним.

Когда ему надоедало наше раболепство, он выходил на улицу. Каждый вечер в сумерках дедушка шел пешком в город встречать поезда, приходящие в час пик из центра города. Когда пассажиры выходили на платформу и выкидывали свежие газеты, дедушка запускал руку в урну и выуживал номер, чтобы сэкономить несколько центов. Глядя на то, как он роется в мусорном контейнере, пассажиры и представить себе не могли, что этому старому бродяге свежая газета нужна для того, чтобы проверить последние котировки акций и облигаций из своего внушительного портфеля.

У дедушки была фотографическая память, поразительный словарный запас, хорошее знание греческого и латыни, но он не давал нам возможности насладиться его талантами, потому что никогда не вел с нами интеллектуальных бесед. Нам приходилось довольствоваться бесконечными цитатами из телевизионных передач, рекламными слоганами и бессмысленной болтовней. Мы рассказывали ему, как прошел наш день, а он в ответ кричал: «Это свободная страна!» Когда его просили передать фасоль, он говорил: «Приятна на вкус, как косячок». На замечание о том, что у собаки завелись вши, он отвечал: «Никому не говорите — будут завидовать!» Болтовня была забором, которым дед огораживал себя. Однажды он услышал, как одна из моих двоюродных сестер уговаривала «сделать ка-ка» страдавшую запором собаку. С тех пор это стало коронной дедушкиной фразой. Раз по десять на дню он говорил: «Сделай ка-ка», что означало «здравствуйте», или «садитесь за стол», или «Метс» проиграли» — или вообще ничего не означало. Возможно, таким образом дедушка старался компенсировать свое заикание — фразы, которые повторяешь по многу раз, легче произнести. Однако не исключено, что он просто потерял рассудок.

У дедушки было две страсти, одна тайная, другая явная. Каждое субботнее утро он спускался вниз причесанный, с вставной челюстью, в выглаженной и безусловно чистой

одежде. Над карманом синего костюма в тонкую полоску подобно гейзеру вздымался кружевной платочек. Не говоря ни слова, он сел в свой «Форд Пинто» и уезжал, чтобы вернуться только поздно вечером, а иногда и на следующий день. Никто не спрашивал, куда ездит дедушка. Его воскресные randevu были как переполненный унитаз — так очевидно непристойны, что не требовали комментариев.

Его явной страстью были слова. Дедушка часами сидел в своей спальне, разгадывая кроссворды, читая книги, рассматривая в лупу словарь. Он считал Шекспира величайшим человеком из всех живших на Земле, «потому что он *изобрел* Анг». «Анг» — это «английский язык». Когда дедушка не мог найти подходящее слово, он его придумывал. Он объяснял свою страсть к этимологии влиянием учителей-иезуитов, которые вбивали в него слово, если не могли заставить его запомнить. Хотя битье помогало в учебе, дедушка считал, что именно из-за этого он начал заикаться. Священники заставили его полюбить слова, но ему стало тяжело эти слова произносить. Первый парадокс, с которым я столкнулся.

Однажды дед случайно ответил на телефонный звонок. Поскольку он заикался и плохо слышал, то старался избегать телефона, но случилось так, что он проходил мимо, когда телефон зазвонил, и взял трубку. Возможно, просто машинально. Или, может быть, от скуки. Не в состоянии расслышать, что говорят на том конце провода, он сделал мне знак подойти.

— Переведи, — сказал он, сунув мне телефонную трубку.

Звонила девушка, проводившая опрос для компании, изучавшей мнения потребителей. Она выпалила список товаров, машин и продуктов, которые дедушка никогда не использовал, не водил и не пробовал. Дедушка высказал свое мнение о каждом пункте списка, наврав с три короба.

— Теперь скажите, — спросила девушка, — что вам больше всего нравится в городе, где вы живете?

— Что тебе больше всего нравится в Манхассете? — перевел я.

Дедушка тщательно обдумывал вопрос, как будто у него брали интервью для «Таймс».

— Близость к Манхэттену, — ответил он.

Я передал его ответ девушке.

— Прекрасно, — сказала она. — И последний вопрос, каков ваш годовой доход?

— Какой твой годовой доход? — перевел я.

— Повесь трубку.

— Но...

— Повесь трубку.

Я положил трубку на рычаг.

Дедушка сидел молча, закрыв глаза, а я стоял перед ним, потирая руки, — всегда так делал, когда не знал, что сказать.

— Что такое «близость»? — спросил я.

Дед встал. Сунув руки в карманы, забренчал мелочью.

— Соседство, — сказал он. — Напри... напри... например, у меня слишком большая близость с моей семьей.

И рассмеялся. Сначала он фыркнул, потом раздалось хриплое «ха-ха», которое рассмешило и меня. Мы оба смеялись, закатываясь, пока дедушкин смех не превратился в приступ кашля. Дед вынул носовой платок из кармана и промокнул им мокроту, потом потрепал меня по голове и ушел.

После этого короткого инцидента я почувствовал новую эмоциональную близость с дедушкой. Мне стали приходить в голову идеи, как завоевать его расположение. Может быть, стоит не замечать его недостатков, сосредоточиться на его положительных качествах, какие бы они ни были? Я написал стихотворение о нем, которое помпезно преподнес ему однажды утром в ванной. Помазком из бобровой шерсти дедушка намазывал на щеки мыльную пену, чтобы побриться, и был похож на гигантский гриб. Прочитав стихотворение, он вернул его мне и повернулся к своему отражению в зеркале. «Спасибо за ре... ре... рекламу», — сказал он.

Потом я стал испытывать душевные муки. Не будет ли дружба с дедушкой предательством по отношению к маме? Я сообразил, что мне нужно получить ее разрешение, пре-

жде чем предпринимать дальнейшие шаги, поэтому перед сном решил все у нее выведать и попросил еще раз рассказать мне, почему мы ненавидим дедушку. Она подоткнула мне под подбородок уменьшившееся «спасительное» одеяло и начала старательно подбирать слова. Мы не ненавидим дедушку, объяснила мама. На самом деле она надеется, что я смогу найти способ поладить с ним, пока мы живем под его крышей. Я должен продолжать общаться с дедушкой, сказала она, даже если он не отвечает. И мне не следует обращать внимание на то, что сама она с ним не разговаривает.

— Но почему ты с ним не разговариваешь? — спросил я. — Почему ты так огорчаешься всякий раз, когда смотришь на него?

Она бросила взгляд на отходящие от стены обои.

— Потому что дедушка — настоящий Скрудж, и это касается не только денег.

Дедушка копит в себе любовь, сказала мама, как будто боится растратить ее. Он не уделял внимания ни ей, ни тете Рут, ни дяде Чарли, когда они росли, не дарил им любви. Мама рассказала мне о семейной поездке на пляж, когда ей было пять лет. Наблюдая, как ласково отец ее двоюродной сестры Шарлин играет со своими детьми, мама попросила дедушку посадить ее на плечи и искупаться вместе с ней. Он посадил ее и отнес в воду, и когда они были уже далеко от берега, мама испугалась и стала умолять отпустить ее. И дедушка бросил ее в воду. Мама погрузилась чуть ли не на самое дно и наглоталась морской воды. С трудом выплыв наверх, судорожно вдыхая воздух, она увидела дедушку, который... смеялся. «Ты же хотела, чтобы я тебя отпустил», — сказал он, не замечая слез дочери. Когда девочка, шатаясь, вышла из воды, у нее возникло не по годам взрослое убеждение: ее отец — нехороший человек. С пониманием этого, сказала она, пришло облегчение. Она почувствовала себя независимой. Я спросил ее, что означает «независимый».

— Свободный, — объяснила мама. Она еще раз взглянула на отстающие от стены обои и повторила ласковой: — Свободный.

Но был момент, призналась она, который ранил еще сильнее. Дедушка запретил маме и тете Рут учиться в университете. Это произошло в то время, когда не существовало студенческих ссуд или финансовой помощи, поэтому сестры никак не могли перехитрить отца. Этот удар повлиял на траекторию маминой жизни гораздо значительнее, чем пренебрежение дедушки. Она так рвалась учиться в университете, готовилась к захватывающей карьере, но дедушка не дал ей ни единого шанса. Девушки должны становиться женами и матерями, заявил он, а жены и матери университеты не заканчивают.

— Поэтому ты получишь образование, которое не получила я, — сказала мама. — Гарвард или Йель, мой мальчик. Гарвард или Йель.

Скандальное заявление из уст женщины, зарабатывавшей двадцать долларов в день. И это было еще не все. После университета я должен поступить в юридическую школу. Я не знал, что такое «юридическая», но звучало это ужасно скучно, и я попытался возражать.

— Нет, нет. Ты станешь адвокатом. Тогда я смогу нанять тебя, чтобы отсудить алименты у твоего отца. Вот. — Мама улыбалась, но было непохоже, что она шутит.

Я задумался о будущем. Когда я стану адвокатом, мама, может быть, осуществит давнюю мечту об учебе в университете. Я так хотел, чтобы у нее это получилось. Если для этого нужно стать адвокатом, я стану. А пока я не буду дружить с дедушкой.

Я лег на бок, отвернулся от мамы и пообещал ей, что с первой же своей адвокатской зарплаты я отправлю ее в университет. Я услышал судорожный вдох, как будто она пыталась всплыть со дна океана, а потом мама поцеловала меня в затылок.

За несколько дней до моего восьмилетия в дверь дедушкиного дома постучали, и я услышал Голос из уст человека, стоящего в проходе. За спиной человека было солнце. Оно светило прямо мне в глаза, поэтому у меня никак не получалось разглядеть лицо гостя. Я видел лишь очертания его корпуса: массивный слепок мускулов в обтягивающей белой футболке на кривых ногах. Голос был гигантом.

— Обними своего отца, — потребовал Голос.

Я потянулся, пытаюсь обвить его руками, но плечи гостя оказались слишком широкими. Это было все равно что обнимать гараж.

— Это не объятие, — сказал Голос. — Обними отца как следует.

Я встал на цыпочки и прижал его к себе.

— Сильнее!

Я не мог обнять его сильнее. Я ненавидел себя за то, что был таким слабым. Раз я не мог достаточно крепко обнять отца — он больше не придет.

Обсудив что-то в стороне с моей матерью, которая все это время бросала на меня нервные взгляды, отец сказал, что отвезет меня в город, чтобы познакомить со своей семьей. По дороге он развлекал меня, пародируя разные наречия. Очевидно, Голос был не единственным его голосом. Кроме того, что он когда-то работал комиком, он однажды выступал и в качестве «пародиста» — это красивое слово было новым для меня. Отец показал мне, что это такое. Он превратился в нацистского коменданта, потом во французского повара. Потом стал убийцей-мафиози, затем английским дворецким. Резко меняя голоса, отец напоминал радиоприемник, если его быстро переключать туда-сюда, — это нервировало меня и в то же время смешило.

— Ну, что ж, — сказал он, закуривая сигарету, — тебе нравится жить в дедушкином доме?

— Да, — сказал я. — То есть нет.

— Когда как?

— Да.

— Твой дедушка — хороший человек. Немного не от мира сего, но мне он нравится.

Я не знал, что ответить.

— А что плохого в дедушкином доме? — спросил отец.

— Маме здесь грустно.

— А что хорошего?

— Близость к маме.

Отец тряхнул головой, затыкнулся сигаретой и устремил взгляд вдаль.

— Твоя мать говорит, что ты часто слушаешь своего старика по радио.

— Да.

— И что ты думаешь?

— Ты смешной.

— Хочешь стать диск-жокеем, когда вырастешь?

— Я буду адвокатом.

— Адвокатом? Господи Иисусе, почему именно адвокатом?

Я не ответил. Он выдохнул облачко дыма на ветровое стекло, и мы вместе наблюдали, как оно поднялось по стеклу, а потом соскользнуло вниз, как волна.

У меня остались размытые воспоминания об отце. Я слишком нервничал, потому толком не рассмотрел его. Меня завораживал его голос. К тому же я сосредоточился на речи, которую собирался произнести. Я хотел потребовать у отца денег. Если бы я мог найти идеальные слова, если бы у меня получилось правильно их произнести, я вернулся бы к маме с пачкой денег, мы смогли бы сбежать из дедушкиного дома и ей больше никогда не пришлось бы петь от злости или теревить клавиши калькулятора. Я мысленно репетировал, делая глубокие вдохи и пытаюсь набраться решимости. Это было как прыжок с вышки в общественном бассейне. Закрыв глаза, я сказал себе: «Раз. Два. Три».

Я не смог. Не хотел говорить нечто такое, от чего Голос исчезнет снова. Вместо этого я уставился в окно — на трушобы, винные магазины, груды мусора вдоль дороги. «Должно быть, мы уже далеко от Манхассета», — думал я, задаваясь вопросом, что я буду делать, если отец увезет меня и никогда не вернет назад. Я чувствовал себя виноватым оттого, что эта мысль вызвала у меня прилив восторга.

Мы вошли в чей-то кирпичный дом, где пахло тушеными помидорами и жареными сосисками. Меня оставили в углу кухни, откуда я мог рассматривать ряд огромных женских поп. Пять женщин, включая ту, которую звали Тетушка Толстушка, стояли у плиты и варили обед. Проглотив не жуя несколько ломтиков кабачка, приготовленного Тетушкой Толстушкой, отец отвел меня в соседнюю квартиру, чтобы познакомить со своей «бандой». Меня снова посадили в угол и наказали не скучать. Мне пришлось наблюдать, как отец и три пары сидели за столом, играли в карты и выпивали. Вскоре они начали раздеваться.

— Ты блефуешь, — сказал кто-то из них.

— Правда! Хорошо, что я чистое белье сегодня надел.

— Хорошо, что я вообще сегодня белье надел, — сказал отец под общий смех.

Отец остался в трусах и в одном черном носке. Потом он проиграл носок. Он разглядывал карты, поднимая бровь, и все задыхались от смеха, изображая панику по поводу проигрыша им последнего предмета туалета.

— Джонни, — сказал ему кто-то, — что у тебя там?

— Мамочки, на мне уже больше ничего нет — вы все видите!

— У Джонни ничего нет.

— Ах, черт, я не хочу любоваться на причиндалы Джонни!

— Совершенно верно, я поддерживаю, Джонни выходит из игры.

— Подождите! Мальчик! Я ставлю мальчика! — Отец позвал меня, и я вышел вперед. — Посмотрите на этого молодца. Разве вы не предпочтете взять этого хорошенького

мальчишечку вместо того, чтобы любоваться на мое мужское достоинство? Разве плод моих чресл хуже нижнего белья? Делайте ставки. Моя ставка — ты, сынок!

Отец проиграл. Его друзья сползли со стульев, кашляя от смеха, и, конечно, не удержались от обсуждения, кто будет платить за мое образование и кто объяснит ситуацию моей матери, когда отец не привезет меня домой.

Я не помню, что случилось после того, как он использовал меня в качестве ставки в игре, но это было еще хуже, чем если бы он меня избил. Я не помню, как он протрезвел, оделся и отвез меня домой, и не помню, что я говорил матери об этой поездке. Помню только, что правды не сказал.

Через несколько недель, заранее включив радиоприемник в ожидании передачи отца, я намеревался поведать Голосу тревожные слухи о том, что «Метс» собираются обменять моего кумира, Тома Сивера, на другого игрока. Красавец с аккуратной стрижкой, бывший морской офицер, а среди питчеров «Метс», Сивер начинал бросок, поставив руку под подбородок, как будто молясь, затем перемещал сильное тело вперед, опускаясь на правое колено, как будто собираясь предложить руку и сердце бьющему. Страшно было даже представить, что «Метс» обменяют Сивера. Я хотел услышать, что скажет Голос. Но настало время эфира, а Голоса все не было. Отец опять менял расписание или перешел на другую радиостанцию. Я вынес радио на крыльцо и стал медленно вращать ручку настройки туда-сюда. Это не помогло. Я вернулся в дом, нашел мать и спросил у нее, не знает ли она, что случилось с Голосом. Она не ответила. Я спросил снова. Она бросила на меня ничего не выражающий взгляд. Я настойчиво повторил вопрос. Вздохнув, она посмотрела на облака.

— Ты же знаешь, я годами просила твоего отца помочь нам.

Я кивнул.

Мама наняла адвокатов, подала документы в суд, пришла на слушание с судьей, но отец все равно не заплатил. Тогда

мать сделала последнее усилие. Она добилась, чтобы был выписан ордер на арест. На следующий день двое полицейских надели на отца наручники и оттащили от микрофона в прямом эфире, и все это слышала изумленная публика. Когда на следующий день отца выпустили из тюрьмы, он обезумел от гнева. Он заплатил только небольшую часть того, что был нам должен, и не явился в суд через неделю. Его адвокат сообщил судье, что отец бежал в другой штат.

Мать подождала, пока я все это переварю. Потом сказала, что в течение последних суток отец звонил ей. Он не сообщил, где находится, но пригрозил, что если она не перестанет требовать денег, то он меня похитит. Через много лет я также узнал, что отец пригрозил убить маму, и по его голосу та поняла: это не блеф. Прошло несколько недель после их разговора, а у нее все еще дрожали руки всякий раз, когда она заводила «Ти-Берд».

Отец не хотел меня видеть, но мог похитить? Полная ерунда. Я украдкой посмотрел на мать.

— Возможно, он просто пытается меня напугать, — сказала она. — Но если твой отец появится здесь или кто-нибудь предложит отвезти тебя к нему, ты не должен ни на что соглашаться. — Мама взяла меня за плечи и развернула к себе. — Ты слышишь?

— Да.

Я повернулся и пошел назад к крыльцу, обратно к радиоприемнику. Может быть, она ошибалась. Наверное, отец теперь работает на другой станции и говорит одним из своих смешных голосов, чтобы его никто не узнал. Я покрутил ручку, потеревил антенну, вслушиваясь в каждый голос, но ни один из них не был таким забавным, как у моего отца, ни один из них не был достаточно глубоким, чтобы я ощутил вибрацию в грудной клетке или чтобы задрожали приборы на столе. Пришла мама и села рядом.

— Хочешь поговорить об этом? — спросила она.

— Нет.

— Ты никогда не рассказываешь о своих чувствах.

— Ты тоже.

Она побледнела. По моим щекам потекли слезы. Мне было больно слышать правду об отце, но, разумеется, мама многого недоговаривала. В последующие несколько лет она один за одним раскрывала факты, постепенно развеивая чары, которыми меня опутал Голос. Я до сих пор помню тот эпизод на крыльце, потому что именно тогда мама сделала первый болезненный надрез.

В отце невероятным образом сочетались притягательные и отталкивающие качества: харизматичный, сочувствующий, утонченный, склонный к суициду, веселый, раздражительный и, прежде всего, опасный. На собственной свадьбе отец ввязался в драку. Напившись, он толкнул мою маму и ударил шафера, когда тот возмутился такому обращению с невестой. Несколько гостей кинулись к отцу, пытаясь остановить драку. Когда приехала полиция, отец бегал по улице, размахивая кулаками и оскорбляя прохожих.

На медовый месяц папа повез маму в Шотландию. По возвращении она обнаружила, что эта поездка полагалась победителю конкурса, проводимого среди слушателей радиостанции. Отцу повезло — его не арестовали. За те два года, что они были женаты, отец все время балансировал на грани закона и беззакония, водил дружбу с гангстерами, угрожал водителям такси и официантам и избил одного из своих начальников. В конце концов его разбойничьи повадки коснулись и моей матери. Когда мне было семь месяцев, отец швырнул жену на кровать и попытался задушить подушкой. Она вырвалась. Через две недели он предпринял новую попытку. Мама опять вырвалась, но в этот раз он бросился за ней и загнал в ванную, угрожая лезвием. В отвратительных подробностях описал, как собирается изуродовать ее лицо. Затем рванулся к ней, но его отвлек мой плач в соседней комнате. Именно в тот день мы ушли от него и вернулись в дедушкин дом, поскольку больше нам было некуда идти.

— Почему ты вышла за него замуж? — спросил я в тот день на крыльце.

— Я была молодая, — ответила мама. — И глупая.

Я не хотел больше ничего слышать об отце. Но мне нужно было выяснить еще одну вещь, прежде чем закрыть тему навсегда.

— Почему у отца не такая фамилия, как у нас?

— На радио он использует псевдоним.

— Что такое «псевдоним»?

— Выдуманное имя.

— Как его по-настоящему зовут?

— Джон Джозеф Морингер.

— Отец называл меня Младшим. Почему?

— О... — Мама нахмурилась. — Ну ладно. Твое полное имя Джон Джозеф Морингер-младший. Но мне не нравилось имя Джон, а звать Джозефом не хотелось. Тем более Младшим. Поэтому мы с отцом договорились звать тебя Джей Ар. Сокращенно от «Джуниор»^{*}.

— Ты хочешь сказать, что меня зовут точно так же, как отца?

— Да.

— И Джей Ар означает «Джуниор»?

— Да.

— Кто-нибудь об этом знает?

— Да, бабушка. И дедушка. И...

— Давай не будем больше никому об этом говорить? Пожалуйста, давай говорить, что Джей Ар — мое настоящее имя? Пожалуйста!

Мамин взгляд был полон тоски.

— Конечно, — согласилась она.

Затем она обняла меня, и мы сцепили мизинцы. Это была наша первая общая тайна.

^{*} Junior (англ.) — младший.

6 | ГОСПОДИН С НАЖДАЧНЫМ ГОЛОСОМ

Я хотел найти замену Голосу. Мне просто нужен был другой человек мужского пола, другой придуманный отец. Я понимал, что придуманный отец даже лучше настоящего, если я смогу его видеть. Мужская сущность рождается в подражании. Чтобы стать мужчиной, мальчик должен наблюдать за мужчиной. Дедушка для этого не подходил. Естественно, я обратил свое внимание на второго мужчину из моего окружения, дядю Чарли, — а там было на что посмотреть.

Едва ему перевалило за двадцать, у него начали выпадать волосы, сначала маленькими прядками, потом клоками, потом целыми участками, а потом полезли также волосы на груди, ногах и руках. И наконец облетели, как пух с одуванчика, ресницы, брови и волосы на лобке. Доктора диагностировали алопецию — редкое заболевание иммунной системы. Болезнь опустошила дядю Чарли, но опустошение было больше внутреннего характера, чем внешнего. Оголив тело, алопеция также обнажила его душу. Чарли стал патологически стеснительным, не мог выйти из дому без шапки и темных очков — маскировки, которая, наоборот, делала его заметнее. А он хотел быть человеком-невидимкой.

Лично мне нравилось, как выглядит дядя Чарли. Задолго до того, как лысина вошла в моду, еще до Брюса Уиллиса, у дяди Чарли был гладкий череп. Но бабушка сказала, что дядя Чарли терпеть не может свою внешность и шарахается от любого зеркала, как от заряженного ружья.

Хотя для меня индивидуальность дяди Чарли проявлялась скорее не в том, как он выглядит, а в том, как он разговаривает, — пестрая смесь слов из стандартного школьного учебника и гангстерского сленга делала его похожим одновременно на преподавателя Оксфорда и на главаря мафии. Еще забавнее было то, что, обрушив на собеседника град вульгарной лексики, Чарли вдруг извинялся за то, что вста-

вил какое-нибудь заумное словечко — будто эрудированность могла шокировать сильнее, чем нецензурщина. «Вы не возражаете, если я скажу «пробабилизация»?» Дядя Чарли унаследовал дедушкину любовь к словам, но, в отличие от него, произносил каждое слово четко, энергично артикулируя. Мне иногда казалось, что дядя Чарли нарочно выпендривается, чтобы утереть дедушке нос: дескать, я-то не заикаюсь!

После исчезновения Голоса я стал обращать на дядю Чарли больше внимания. Когда он садился за стол ужинать, я переставал жевать и не сводил с него глаз, ловя каждое слово. Иногда он ел, не произнося ни звука, но если начинал говорить, то всегда на одну и ту же тему. Закончив ужин, дядя Чарли отодвигал тарелку, закуривал красный «Мальборо» и на десерт рассказывал нам историю про «Диккенс». Он поведал нам о двух мужчинах из «Диккенса», которые поспорили не на жизнь, а на смерть насчет результата матча по борьбе. Проигравший должен был надеть бейсболку «Бостон Ред Сокс» и высидеть в ней на матче девять подач на стадионе «Янкиз». «Больше мы этого парня не увидим», — хохотал дядя Чарли. Как-то вечером он рассказал нам про Стива и ребят из бара, которые угнали грузовик кондитерской фирмы «Энтенманн». Они похитили несколько сотен пирогов и устроили ожесточенную потасовку вокруг бара, швыряя друг в друга и в ни в чем не повинных прохожих на Пландом-роуд кремом и безе. Дядя Чарли назвал это энтенманнским Геттисбергом* — кровавым месивом. В другой раз Стив и его банда купили целый парк старых драндулетов и выдали их за гоночные автомобили. Они наполнили багажники цементом, запаяли двери и припарковали машины вдоль Пландом-роуд. На следующий день они собирались найти поле и устроить дерби, но потом напились, и Стив решил не терять времени. В три часа утра они стали носиться по Пландом-роуд, врезаясь друг в друга на головокружительной скорости. Полицейским это, естественно, не понравилось. Полицейским

* Битва при Геттисберге — самая кровавая битва в американской гражданской войне (1–3 июля 1863 г.).

вообще не нравится происходящее в «Диккенсе», хвастливым тоном заявил дядя Чарли. Ребята из бара долго враждовали с одним полицейским — крепким орешком, — который сидел в будке возле Мемориального поля. Как-то поздно ночью они собрались все вместе и закидали полицейскую будку горящими стрелами, спалив ее дотла.

Горящие стрелы? Дерби? Пирожковые бои? События в «Диккенсе» казались мне одновременно глупыми и мистическими, как детский день рождения на пиратском корабле. Мне хотелось, чтобы время от времени мама ходила туда и брала с собой дедушку с бабушкой, потому что всем им необходима была доза глупости. Но мать практически не пила, бабушка пила только дайкири на свой день рождения, а дедушка всегда выпивал два пива за ужином, ни больше ни меньше. Он был слишком прижимист, чтобы стать алкоголиком, как говорила мама, к тому же плохо переносил спиртное. По праздникам, выпив рюмку «Джека Дэниелса», он начинал распевать: «Чики на карте, а карт не едет в гору — вот как пишется Чикаго». Потом вырубался на «двухсотлетнем» диване, и храп его был громче, чем шум мотора «Ти-Берда».

Дядя Чарли не производил впечатления человека, который поддался бы глупостям «Диккенса». Слишком меланхоличный, постоянно вздыхающий, он был для меня загадкой, как и мать. И чем больше я его изучал, тем загадочней он становился.

Каждый вечер звонил телефон, и какой-то мужчина голосом, похожим на наждачную бумагу, просил позвать дядю Чарли. «Чаз дома?» — спрашивал мужчина, произнося слова так быстро, будто за ним гнались. Дядя Чарли большую часть дня спал, и мы с двоюродными сестрами знали главное правило: если звонил кто-то из «Диккенса», нужно было спросить, что передать; если звонил господин с наждачным голосом, следовало позвать дядю Чарли немедленно.

Обычно это выпадало мне. Мне нравилось отвечать на телефонные звонки — я думал, что, может быть, это звонит Голос, — и когда звонил господин с наждачным голосом, я

просил его подождать, потом бежал по коридору в спальню дяди Чарли. Тихонько постучав, я приоткрывал дверь. «Дядя Чарли! — говорил я. — Тот человек звонит».

В темноте раздавался скрип пружин матраса. Потом стон, за ним едва слышный вздох: «Скажи ему, что я иду».

К тому времени, как дядя Чарли подходил к телефону, натягивая рубашку и сжимая в зубах незажженную сигарету, я уже сидел на корточках за «двухсотлетним» диваном. «Привет, — говорил он господину с наждачным голосом. — Да, да, послушай, Рио ставит пять на «Кливленд», Тони ставит десять на «Миннесоту». Все ставят по пятнадцать на «Джетс». Дай мне фору по «Бears». Они должны покрыть. Да, восемь с половиной, ладно? Ладно. Какой максимум на «Соникс»? Двести? Угу. Поставь за меня тоже. Хорошо. Увидимся в «Диккенсе».

Старшая двоюродная сестра сказала мне, что дядя Чарли «игрок» и занимается чем-то незаконным. Но мне казалось, что это не более незаконно, чем переходить улицу на красный свет. Позже я осознал, что такое мир азартных игр, и понял, что своеобразная «близорукость» игроков лежит за пределами моего понимания. Это произошло, когда я зашел навестить своего друга Питера. Дверь открыла его мать. «Мне кажется, ты больше не можешь это носить», — сказала она, указывая на мою грудь. Я посмотрел вниз. На мне была трикотажная рубашка с надписью НЬЮ-ЙОРКСКИЕ «НИКС» — ЧЕМПИОНЫ МИРА, которую я любил, пожалуй, так же, как и свое «спасительное» одеяло. «Почему?» — спросил я ошеломленно. «Никс» проиграли вчера вечером. Они больше не чемпионы».

Я разрыдался. Побежал к себе, вломился в дом через заднюю дверь и ворвался в спальню дяди Чарли, что было возмутительным нарушением правил — ломиться в святая святых разрешалось, только когда звонил господин с наждачным голосом. Дядя Чарли подскочил в кровати: «Кто там?» На нем была маска героя вестернов, только без прорезей для глаз. «Никс» не проиграли вчера? — завопил я. — Ведь правда? Не может быть, чтобы они проиграли! Правда?»

Чарли стянул с себя маску, откинулся на постель и протянул руку за пачкой «Мальборо», всегда лежавшей на тумбочке у кровати. «Все гораздо хуже, — сказал он со вздохом. — У них не было страховки».

Летом дядя Чарли и его компания из «Диккенса» оккупировали дедушкин гараж и устраивали там партии в покер с высокими ставками, которые длились по нескольку дней. Мужчины играли в карты по шесть часов, потом шли в «Диккенс» подкрепиться, затем домой заняться любовью со своими женами, поспать, принять душ, а затем возвращались обратно в гараж, где игра все еще была в полном разгаре. Мне нравилось лежать в постели поздно ночью, открыв в комнате окна, и слушать их голоса, которые становились все громче, переключались, потом замолкали. Я слышал шелест карточных колод, шелест покерных фишек, шуршание кустов, когда игроки искали укромное место, чтобы отлить. Эти голоса убаюкивали лучше, чем колыбельная. По крайней мере, тогда мне не приходилось беспокоиться о том, что я засну последним.

Я наблюдал за игрой дяди Чарли с возрастающим интересом, а взрослые в дедушкином доме делали вид, что ничего не происходит, особенно бабушка. Однажды зазвонил телефон и я не успел взять трубку, поэтому ответила она. Поскольку звонил не господин с наждачным голосом, бабушка отказалась будить дядю Чарли. Звонивший умолял позвать его. Бабушка не сдавалась. «Что-нибудь передать? — спросила она, роясь в кармане халата в поисках списка покупок и огрызка карандаша. — Говорите. Да. Угу. «Бостон» — десять? «Питсбург» — пять? «Канзас-Сити» — сколько?» Возможно, бабушка понятия не имела, о чем идет речь. Но я подозреваю, что она просто не желала знать.

Бабушка считала, что дядя Чарли не может сделать ничего плохого. Он был ее единственным сыном, и их связывали особые узы. Однако, в отличие от моей матери, бабушка не настаивала, чтобы сын относился к ней вежливо и с уважением. Как бы дядя Чарли ни разговаривал с бабушкой — а

во время похмелья он бывал очень злым, — она баловала его, души в нем не чаяла, звала его «мой бедный мальчик», потому что его неудачи вызывали в ней бесконечную жалость. «Слава богу, что у нас есть Стив», — часто повторяла она. Стив принял дядю Чарли на работу в этот милый темный бар, когда дяде Чарли один за одним делали болезненные и совершенно бесполезные уколы в череп. Тому нужно было место, чтобы укрыться, и Стив пришел на помощь. Стив спас Чарли жизнь, как говорила бабушка, и я понял, что она делает то же самое, позволяя дяде Чарли прятаться в его детской спальне с обоями с изображениями мультяшных бейсболистов, которые наклеили, когда ему было столько же лет, сколько и мне.

По ночам, когда дядя Чарли был в «Диккенсе», я порой слонялся по его спальне, разглядывая вещи. Тщательно рассматривал корешки от ставок, нюхал футболки с эмблемой «Диккенса», наводил порядок в выдвижном ящике, заваленном деньгами. У бабушки не всегда хватало денег на молоко, а здесь лежали пятидесятидолларовые и стодолларовые купюры. Я подумывал о том, чтобы взять немного денег и отдать их матери, но знал, что она не возьмет, а только рассердится на меня. Я раскладывал банкноты аккуратными стопками, замечая, что Улисс Грант* похож на одного из мужчин из «Диккенса», которых я видел на Мемориальном поле. Потом я ложился на кровать дяди Чарли, подоткнув под себя его набитые гусиным пухом подушки, и воображал, будто я — дядя Чарли. Я смотрел матч «Метс» и представлял, что я тоже «поставил на них большие бабки». Я задавался вопросом, ставит ли дядя Чарли большие бабки против «Метс», и это волновало меня больше, чем то, что он нарушает закон.

Однажды игру задержали из-за дождя, я переключил канал, надеясь увидеть старый фильм с Эбботтом и Костелло**, и наткнулся на «Касабланку». «Я в шоке — в шоке, — когда

* Президент США (1869–1877).

** Американский комедийный дуэт, снимавшийся в кино, а также выступавший по телевидению и радио в сороковых годах.

вижу, что вы здесь играете в азартные игры». Я сел. Человек во фраке был дядей Чарли. Такое же лицо с чертами гончей, грустный взгляд, размашистые брови. Хамфри Богарт не только был точной копией моего дяди — только с волосами, — он еще и разговаривал, как дядя Чарли, разжимая губы ровно настолько, чтобы помещалась сигарета. Когда Богарт сказал: «Я тебя вижу, парень», у меня мурашки поползли по спине, потому что мне показалось, что дядя Чарли со мной в комнате. Богарт даже ходил, как он, — как фламинго с больными коленями. И самое главное: Богарт проводил в баре все дни напролет. Его тоже, похоже, преследовали неудачи, и бар был местом, где он предпочитал отсиживаться вместе с другими отверженными, играющими в прятки с судьбой. «Диккенс» в моих глазах всегда имел некий романтический ореол, но после того, как я открыл для себя «Касабланку», ситуация стала безнадежной. В восьмилетнем возрасте я начал мечтать о походе в «Диккенс», как другие мальчишки мечтают о поездке в «Диснейленд».

7 | НОКОМИС

Каждый раз, находя меня в спальне дяди Чарли, бабушка пыталась меня оттуда выманить. Войдя в комнату со стопкой чистых футболок с эмблемой «Диккенс», чтобы убрать их в шкаф, она замечала, как я валяюсь на кровати, и выразительно смотрела на меня. Затем оглядывала комнату — пачки денег, корешки от ставок, шляпы, игральные кости и сигаретные окурки, — и ее голубые глаза с ледяным отливом темнели. «У меня к чаю есть пирог «Энтенманн», — говорила она. — Приходи, съедим с тобой по кусочку».

Ее слова казались отрывистыми, движения поспешными, будто комната была заразной и нам нельзя в ней оставаться. Я не особо об этом задумывался, потому что бабушка всегда чего-нибудь боялась. Страх отнимал у нее по несколько часов

в день. И это был отнюдь не беспричинный страх. Бабушка четко знала, каких трагедий ждать. Она боялась пневмонии, грабителей, быстрого течения, метеоритов, пьяных водителей, наркоманов, серийных убийц, торнадо, врачей, бессовестных продавцов супермаркета и русских. Всю глубину ее страхов я прочувствовал, когда бабушка купила лотерейный билет и уселась перед телевизором смотреть розыгрыш. Когда сошлись первые три цифры, она начала яростно молиться, чтобы не совпали остальные. Бабушка боялась выиграть, опасаясь, что у нее не выдержит сердце.

Я относился к бабушке снисходительно и закатывал глаза, глядя на то, как она всего боится, но тем не менее, проводя время вместе с ней, я вдруг замечал, что тоже начинаю бояться. Я и так никогда не отличался храбростью и, оставаясь с бабушкой, беспокоился, что наши страхи сложатся воедино и в конечном итоге парализуют меня. К тому же бабушка вечно учила меня всяким бабским штучкам, например гладить или шить, и хотя мне нравилось узнавать новое, я волновался о том, в кого меня могут превратить подобные умения.

Но все равно, как бы я ни боялся бабушкиного влияния, я жаждал ее внимания, потому что она была самым добрым человеком в доме. Так что, когда бабушка приглашала меня в кухню на пирог, я отрекался от постели дяди Чарли и покорно шел за ней.

Не успевал я положить в рот первый кусочек пирога, как она начинала что-нибудь рассказывать. Дядя Чарли был замечательным рассказчиком, так же как и моя мама, но бабушка просто не имела равных. Она научилась этому искусству в ранней молодости, когда не вылезала из кинотеатров в злачных кварталах Нью-Йорка. По многу раз пересмотрев вестерны или мелодрамы, которые шли в кинотеатрах, в сумерках она возвращалась домой, где вокруг нее скапливались еще более бедные дети, у которых не было денег на билет. Окруженная толпой, представлявшейся мне как нечто среднее между парнями с Боуэри* и «маленькими

* Боуэри — район дешевых баров Нью-Йорка.

негодьями»*, бабушка воспроизводила диалоги и разыгрывала сцены из фильмов, а дети охали, ахали и аплодировали, отчего маленькая Маргарет Фриц чувствовала себя настоящей кинозвездой.

Бабушка знала свою аудиторию. Она всегда выделяла в истории мораль, которая должна была иметь особое значение для слушателей. Со мной, например, она говорила о своих братьях, трех ирландских крепышах, будто сошедших со страниц сказок братьев Grimm. «С этими ребятами не стоило шутить», — начинала бабушка, и это было ее вариантом «Жили-были...». Ее классическая история про братьев Фриц повествовала о том, как как-то вечером они пришли домой и увидели, что отец бьет мать. Они тогда были еще мальчишками моего возраста, но взяли своего старика за горло и сказали ему: «Еще раз тронешь маму — мы тебя убьем». Мораль: настоящие мужчины заботятся о своих матерях.

Потом бабушка переходила к историям про других моих двоюродных братьев и сестер, Бирн, живших в восточной части Лонг-Айленда. (Я никак не мог запомнить, кем они мне приходится, — они были внуками бабушкиной сестры.) Бирнов было десять — одна девочка и девять парней, которых бабушка возводила на пьедестал точно так же, как и собственных братьев. Мальчишки Бирн были сильными и воспитанными, говорила она, называя их «настоящими джентльменами», чего я терпеть не мог. Легко им быть настоящими джентльменами, думал я, у них-то есть отец. Дядя Пэт Бирн был брюнетом, ирландским красавцем. После работы он каждый вечер играл со своими мальчишками в футбол.

В восьмилетнем возрасте я был необыкновенно наивным и легковерным, но тем не менее угадывал скрытый мотив многих бабушкиных историй. Хотя бабушка и недолго любила моего отца, она понимала, чего я лишился, когда Голос исчез, и делала все возможное, чтобы дать мне другие мужские

* Маленькие негодяи — герои популярного американского телевизионного комедийного сериала «Наша банда» о приключениях детей из бедных семей (1922–1944).

голоса. Я был благодарен ей, но смутно понимал, что это не единственное назначение наших посиделок с пирогами и рассказами. Бабушке приходилось также заменять мне мать, которая подолгу работала, как никогда преисполненная решимости уехать вместе со мной из дедушкиного дома.

Чем больше времени мы проводили вместе, тем крепче становилась наша привязанность друг к другу, но мы оба начали беспокоиться, что скоро бабушке нечего будет мне предложить. И наши опасения оправдались. Запас историй иссяк, и бабушка вынуждена была обратиться к литературе, начав читать мне лирические отрывки из Лонгфелло, ее любимого поэта, стихи которого выучила еще в школьные годы. Мне Лонгфелло нравился еще больше, чем истории про братьев Фриц. Затаив дыхание, я слушал, как бабушка читает «Песню о Гайавате», и с восторгом узнавал, как отец индейского мальчика исчез вскоре после его рождения и как затем умерла мать Гайаваты и мальчика растила его бабушка, Нокомис. Несмотря на предостережения Нокомис, несмотря на предчувствие беды, Гайавата отправился на поиски отца. У мальчика не было выбора. Его преследовал голос отца, приносимый ветром.

Мне нравились воспоминания бабушки о ее братьях-героях и стихи Лонгфелло про героических мужчин, но больше всего, хоть я и стыдился этого, я любил, когда бабушка рассказывала о женщине — о ее матери, Мэгги О'Киф. Мэгги была старшей из тринадцати детей, и ей приходилось заботиться о младших братьях и сестрах, во время болезней и беременностей матери. В графстве Корк ее считали народной героиней за готовность к самопожертвованию, за то, что она носила свою маленькую сестренку в школу на спине, когда та ленилась идти. Мэгги поклялась, что сестра научится тому, о чем Мэгги так мечтала сама, — читать и писать.

Мы так и не узнали, что именно на заре девятнадцатого века заставило Мэгги покинуть Ирландию, бросить своих братьев, сестер и родителей и бежать в Нью-Йорк. Нам очень хотелось узнать, потому что она стала первой из множества

иммигрантов, которые покинули страну при таинственных и драматических обстоятельствах. Но причины ее отъезда были, вероятно, слишком ужасными, потому что о них Мэгги не поведала никому.

За ее тайные страдания и множество положительных качеств Мэгги заслуживала счастья. Но по прибытии на Эллис-Айленд^{*} ее жизнь стала еще тяжелее. Она работала горничной в одном из поместий Лонг-Айленда, и как-то, проходя мимо большого окна на втором этаже дома, она заметила под деревом садовника, читающего книгу. Он был «неприлично красив», говорила она много лет спустя, и, очевидно, образован. Мэгги влюбилась всерьез. Она поведала о своей любви подруге, другой горничной, и у них созрел план. Подруга умела писать и сочиняла любовные послания, которые Мэгги подписывала и незаметно подкладывала в книгу садовника, пока тот подрезал розовые кусты. Естественно, садовник был поражен письмами Мэгги и очарован ее возвышенным слогом, и после бурных ухаживаний они поженились. Однако, узнав, что Мэгги безграмотна, садовник почувствовал себя обманутым, и именно этим оправдывал то, что стал прикладываться к бутылке и давать волю рукам. Так продолжалось до тех пор, пока трое их сыновей не увидели, как он избивает мать, и не взяли за горло.

Как-то поздно вечером, когда бабушка рассказывала мне очередную историю, в кухне появился дедушка.

— Дай мне пирога, — сказал он.

— Я еще не закончила свой рассказ.

— Дай мне кусок пирога, черт возьми, и не заставляй меня просить дважды, глупая женщина, будь ты проклята!

Дедушка был прохладен с детьми и внуками, но с бабушкой вел себя просто неприлично. Он унижал ее, обижал, мучил просто ради удовольствия — жестокость по отношению к ней была для него естественной манерой поведения. Я ни

^{*} Эллис-Айленд в устье Нью-Йоркской бухты был главным пунктом, через который иммигранты в США въезжали в страну с 1892 по 1954 год.

разу не слышал, чтобы он звал ее Маргарет. Он называл ее Глупой Женщиной, что звучало как индейское имя — что-то вроде Большой Медведицы или Смеющейся Воды из «Гайаваты». Я не знал, почему бабушка позволяет дедушке так с собой обращаться, потому что не мог постичь глубину ее зависимости от него, как эмоциональной, так и финансовой. Дедушка же понимал это и эксплуатировал ее, заставляя ходить в таких же лохмотьях, какие носил сам. Из тех сорока долларов, которые он давал ей на еду и хозяйство, на новое платье или туфли не оставалось ни цента. Будничной одеждой бабушки был поношенный халат — ее роба смирения, ее власяница.

После того как дедушка получил кусок пирога и ушел, в кухне воцарилась зловещая тишина. Я смотрел на бабушку, а ее взгляд был прикован к тарелке. Она сняла очки в толстой оправе и дотронулась до левого глаза, который подергивался в нервном тике. На фотоснимке, сделанном, когда бабушке было девятнадцать, ее голубые глаза спокойны, круглое лицо обрамляют вьющиеся светлые волосы. Ее лицо нельзя было назвать классически красивым, но живость придавала очарование чертам, и когда эта живость ушла, — вернее, когда ее подавил страх, — лицу как будто стало чего-то не хватать. Теперь у бабушки не только подрагивало веко, но также стал провисать нос, губы сузились, а щеки ввалились. Даже когда она молчала, ее лицо рассказывало свою историю.

Я не понимал, почему бабушка не могла поставить дедушку на место, почему она в свое время не вняла голосу благоразумия и не ушла от него. Но после столкновения с дедушкой на кухне я догадался, зачем она рассказывает мне все эти истории о мужчинах. Она делала это не только для меня. Она самой себе напоминала о том, что есть на свете хорошие мужчины, и успокаивала себя тем, что в любой момент они могут прийти к нам на помощь. Бабушка все еще разглядывала крошки на тарелке, и я почувствовал, что нужно что-то сказать, что кто-то должен что-то сказать, пока нас обоих не поглотило молчание.

Поэтому я спросил:

— Почему в нашей семье столько плохих мужчин?

Не глядя на меня, бабушка произнесла:

— Не только в нашей семье. Плохих мужчин полно. Поэтому я и хочу, чтобы ты вырос хорошим. — Она медленно подняла на меня глаза. — Поэтому я хочу, чтобы ты прекратил все время злиться, Джей Ар. Больше никаких истерик. Никаких «спасительных» одеял. Не проси больше у матери телевизор и игрушки, которые она не в состоянии купить. Тебе нужно заботиться о маме. Ты слышишь?

— Да.

— Мама много работает, она устает, и никто, кроме тебя, ей не поможет. У нее больше никого нет. Она на тебя рассчитывает. И я на тебя рассчитываю.

Каждый раз, когда бабушка произносила слово «тебя», это звучало как удар в барабан. У меня пересохло во рту, потому что, хоть я и старался изо всех сил, мои самые худшие опасения подтверждались. Я не оправдывал надежд. Я подводил маму. Я пообещал бабушке, что сделаю все возможное, а потом попросил разрешения уйти и быстро зашагал по коридору в комнату дяди Чарли.

8 | МАКГРАУ

Что ты делаешь? — поинтересовался мой двоюродный брат Макграу.

Он стоял посреди заднего двора, целясь битой в воображаемую цель, и, шипя — кшшш, — изображал удар по мячу. Я сидел на крыльце с радиоприемником на коленях. Мне тогда было почти девять, а Макграу — семь.

— Ничего, — ответил я.

Прошло несколько минут.

— Нет, правда, — снова начал он, — что ты делаешь?

Я убавил звук приемника.

— Хочу проверить, не вернулся ли отец на радио.

Забив еще один воображаемый мяч, Макграу поправил пластмассовый шлем нападающего с эмблемой «Метс», который никогда не снимал, и сказал:

— А что, если бы существовал прибор, позволяющий тебе видеть или слышать отца всегда, когда тебе того захочется? *Здорово* было бы?

Отец Макграу, дядя Гарри, приезжал редко, но его отсутствие казалось еще более вопиющим, чем отсутствие моего отца, потому что дядя Гарри жил в соседнем городе. И его визиты были опаснее, потому что иногда он бил тетю Рут и своих детей. Один раз он вылил бутылку вина на голову тети Рут в присутствии Макграу. В другой раз таскал ее за волосы на глазах у всех моих двоюродных братьев и сестер. Он даже мне как-то дал оплеуху, отчего у меня внутри все похолодело.

Макграу был моим лучшим другом и самым верным союзником в дедушкином доме после мамы. Я часто представлял его людям как своего родного брата и не считал это ложью. Зачастую истинное положение дел было правдивее правды. Макграу являлся моим братом, потому что жил такой же жизнью, как и я, в той же самой системе координат. Безотцовщина. Вечно замотанная мать. Дядя, пользующийся дурной репутацией. Жалкие дедушка с бабушкой. Редкое имя, из-за которого его дразнили и которое никак не могли запомнить.

Как и в моем случае, происхождение имени Макграу было окутано тайной. Тетя Рут говорила, что Макграу назвали так в честь Джона Макграу, легендарного бейсбольного менеджера, но я случайно услышал, как она сказала моей маме, что выбрала самое грубое имя, какое ей только пришло в голову, чтобы Макграу, окруженный женщинами, не вырос маменькиным сынком.

Я разделял беспокойство тети Рут. Я тоже боялся, что мы с Макграу обречены стать маменькиными сынками. Макграу, который был беспечнее, чем я, не тревожился о таких вещах, но я напоминал ему об этом. Я посвятил его в свои невро-

тические страхи, вбил ему в голову, что мы должны интересоваться мужскими занятиями, такими как ремонт машин, охота, палаточные походы, рыбалка и, самое главное, бокс. Стараясь во благо Макграу, я заставил его набить бейсбольную сумку дяди Чарли тряпками и газетами, и с помощью этой самодельной боксерской груши мы учили друг друга комбинациям из ударов слева и ударов справа. Летом мы с Макграу пошли по шпалам к пруду, где забрасывали удочки в теплую воду, нацепив хлеб на крючки. Мы даже кое-что поймали — пеструю рыбешку с выпученными глазами, которую принесли бабушке. Мы положили ее в ванную и забыли о ней. Обнаружив ее, бабушка сильно нас отругала, чем только укрепила меня в параноидальном убеждении, что мы живем под тиранией женщин.

Несмотря на то что судьбы наши казались похожими, мы с Макграу во многом различались, и в первую очередь своими отношениями с матерями. Макграу все время злился на мать, которую называл Рут, а я к своей был очень привязан и ни разу в жизни не назвал ее Дороти. Она всегда для меня была просто мамой. Моя мать разрешила мне отпустить волосы, а мать Макграу стригла его коротко, как солдата, каждые две недели. Я был активным, а Макграу никуда не спешил. Я часто уходил в себя, Макграу же любил посмеяться, и его смех заражал радостью. Я был разборчив в еде, Макграу сметал все, что попадалось ему на глаза, и запивал это литрами молока. «Макграу, — умоляла бабушка, — у нас нет коровы на заднем дворе!» В ответ тот заливался смехом. Я был тощим и темно-волосым, а блондин Макграу постоянно рос ввысь и вширь. Рос, как мальчик из сказки, ломая стулья, гамаки, кровати и кольцо для игры в баскетбол, прикрепленное к гаражу. Дядя Гарри был гигантом, и мне казалось вполне естественным, что его сын рос как на дрожжах.

Макграу не любил говорить об отце и не объяснял, почему ему не хочется упоминать о нем. Однако я предполагал, что всякий раз, когда по эстакаде вдоль залива шел поезд, он вспоминал своего отца, проводника железной дороги Лонг-

Айленда. Хотя Макграу никогда бы в этом не признался, мне казалось, что звук поезда вызывает у него такие же чувства, как у меня помехи радиоприемника. Где-то там, среди этого шума, был твой отец.

Встречи Макграу с отцом были больше похожи на облавы. Тетя Рут посылала сына в какой-нибудь бар, чтобы потребовать с отца денег или попросить его подписать какие-то бумаги. Я всегда догадывался, когда Макграу возвращался с одной из таких облав. Его пухлые щеки пылали, а взгляд был застывшим. Он выглядел измученным, но в то же время возбужденным, потому что только что виделся с отцом. Сразу предлагал поиграть в бейсбол на заднем дворе — наверное, чтобы выплеснуть излишки адреналина. Из всех сил заматываясь битой, он направлял мяч в цель, нарисованную мелом на стене гаража. После одной из таких встреч с отцом Макграу так зашвырнул мяч, что, как сказал потом дедушка, чуть не разнес гараж на куски.

Был еще один верный способ понять, что Макграу расстроен. Как и дедушка, он заикался, хотя его заикание было не таким ярко выраженным. Когда я замечал, что Макграу тяжело произносить слова, меня охватывала жалость и я в очередной раз убеждался, что он нуждается в моей защите. На каждой фотографии тех лет моя рука лежит на плече Макграу или на рукаве его рубашки, будто он мой подопечный и я за него отвечаю.

Однажды Макграу отправился на встречу с отцом, но это не было обычной облавой. Они хорошо провели время, ели чизбургеры, разговаривали. Макграу даже разрешили управлять поездом. Вернувшись, он притащил полиэтиленовый пакет. В нем лежала одна из железнодорожных фуражек его отца, большая и тяжелая, как миска для фруктов.

— Это папина, — сказал Макграу, снимая шлем с эмблемой «Метс» и напяливая железнодорожную фуражку. Козырек упал ему на глаза.

В пакете также оказалось больше сотни железнодорожных билетов.

— Посмотри! — воскликнул Макграу. — Мы можем взять их и куда-нибудь поехать. Куда угодно! На стадион «Шиа»!

— Эти билеты уже прокомпостированы, — хмыкнул я, стараясь остудить его пыл, потому что мне было завидно: он виделся с отцом, а я нет. — Это использованные билеты, *дурачок*.

— Мне их отец дал.

Он спрятал пакет.

В железнодорожной фуражке и ремне, который ему тоже подарил отец, Макграу назначил себя проводником нашей гостиной. Он ходил туда-сюда, покачиваясь, имитируя шаткую походку проводника, идущего вдоль кресел движущегося поезда, хотя больше напоминал дядю Чарли, бредущего домой из «Диккенса». «Билеты! — требовал он. — Предъявляем билеты. Следующая остановка — Пенн-стейшн!»^{*} Всем без исключения приходилось рыться в карманах в поисках мелочи, хотя бабушка купила себе много поездок на «двухсотлетнем» диване, дав проводнику взятку в виде печенья и холодного молока.

Тетя Рут дернула стоп-кран локомотива нашей гостиной. Она сообщила Макграу, что подала на его отца в суд за неплату алиментов и сыну придется дать показания. Его вызовут к свидетельской стойке, где ему нужно будет поклясться на Библии, что дядя Гарри оставил жену и шестерых детей умирать с голоду. Макграу застонал, зажал уши руками и побежал через заднюю дверь. Я последовал за ним и нашел его за гаражом, в грязи. Он едва мог говорить.

— Мне придется встать и перед всеми опорочить отца! Отец никогда больше не захочет меня видеть! Я больше никогда не увижу его!

— Нет, — сказал я ему. — Ты не обязан говорить об отце плохо, если не хочешь этого.

Я готов был спрятать Макграу, лишь бы ему не пришлось так поступить.

Дело не дошло до суда. Дядя Гарри дал тете Рут денег, и кризис миновал. Но после этого Макграу долго не виделся с

* Пенн-стейшн — вокзал в Нью-Йорке.

отцом. Потихоньку он снял кондукторскую фуражку, надел шлем «Метс», и мы снова могли бесплатно ездить на «двухсотлетнем» диване.

На свободной кровати в дальнем углу дедушкиной комнаты, где мы с Макграу спали вместе, мы, лежа по ночам без сна, разговаривали обо всем, кроме того, что объединяло нас. Дедушка любил спать с включенным радио, поэтому каждые несколько минут, слыша глубокий голос диктора, я настораживался. А звуки поездов, проходивших вдалеке, заставляли Макграу поднимать голову. После того как брат засыпал, я слушал радио и звуки поездов и смотрел, как лунный свет падает широкими желтыми полосками на пухлую физиономию Макграу. Я благодарил Бога за то, что он дал мне брата, и задавался вопросом, что бы я делал без Макграу.

А потом он уехал. Тетя Рут со своими дочерьми и единственным сыном переехала в дом на Пландом-роуд, в нескольких милях от нас. Она тоже решила сбежать из дедушкиного дома, хотя это не имело отношения к условиям, в которых мы жили. Рут ушла в приступе гнева после отвратительной ссоры с бабушкой и дедушкой, и запретила своим детям навешать нас.

— Тетя Рут похитила моих сестер и брата? — спрашивал я дедушку.

— Можно и так сказать.

— Она когда-нибудь привезет их обратно?

— Нет. На нас наложено эм... эмбарго.

— Что такое «эмбарго»?

В 1973 году мне много раз приходилось слышать это слово. Ближний Восток наложил на нас эмбарго: арабы отказались продавать нам бензин, поэтому на заправочной станции возле «Диккенса» можно было купить не более десяти галлонов за раз. Какое это имело отношение к тете Рут?

— Это значит, что мы у нее в дерьмовом списке, — сказал дедушка.

Более того, тетя Рут запретила мне приходить к ней в дом и видаться с Макграу и двоюродными сестрами.

— Ты у нее тоже в дерьмовом списке, — пояснил дедушка.

— За что?

— Просто за компанию.

Мне запомнился период «эмбарго Макграу» 1973 года. Я находился в подавленном состоянии, все вокруг было мне безразлично. Стоял октябрь. Клены в Манхассете превратились в оранжево-красные факелы, и с самых высоких холмов город казался охваченным пламенем. Бабушка все время предлагала мне пойти поиграть на улицу, насладиться красками осени и свежим воздухом, но я предпочитал валяться на кровати дяди Чарли, глядя в телевизор. Как-то вечером я смотрел «Я мечтаю о Дженни», когда вдруг услышал, как открылась входная дверь и раздался голос Шерил:

— Есть кто-нибудь дома?

Я выбежал из спальни.

— Что случилось? — закричала бабушка, обнимая Шерил.

— Ты перешла линию фронта? — спросила моя мама, целуя ее.

Шерил махнула рукой и прошептала:

— Тсс!

Шерил никого не боялась. В свои четырнадцать лет она была не только самой красивой из дочерей тети Рут, но и самой дерзкой.

— Как поживает Макграу? — спросил я у нее.

— Он скучает по тебе. Просил узнать, кем ты будешь на Хеллоин.

Я опустил глаза.

— Я не смогу пойти с ним собирать конфеты, — сказала мама. — Буду работать.

— Я пойду с ним, — сказала Шерил, — наполним его мешок сладостями и быстренько вернемся домой. Рут и не узнает, что я уходила.

Она повернулась ко мне:

— Я за тобой зайду в пять.

Я вышел на крыльцо в четыре, одетый как Фрито Бандито*. Я был в пончо и сомбреро, а под носом нарисовал маркером длинные закрученные усы. Шерил пришла в пять, как и обещала.

— Готов?

— А если нас поймают? — спросил я.

— Будь мужчиной.

Шерил рассказывала анекдоты и подшучивала над каждым, кто давал нам сладости. Когда мы отходили от очередного дома, она бормотала: «Вы не могли бы убавить громкость ваших штанов, господин?» Если у крыльца включался свет, когда мы приближались к двери, она кричала: «Не стоит делать нам кофе — мы надолго не задержимся!» Я корчился от смеха и веселился вовсю, хотя время от времени и озирался, чтобы убедиться, что за нами никто не идет.

— Боже мой, — говорила Шерил, — ты меня нервируешь. Расслабься!

— Прости.

Держась за руки, мы обходили Честер-драйв, когда к нам подъехал фургон тети Рут. Не замечая меня и пристально глядя на Шерил, тетя Рут прошипела:

— Садись. Немедленно. *В машину.*

Шерил обняла меня на прощание и сказала, чтобы я не волновался. Я отправился было к дедушке, но остановился на полпути. Что бы сделал на моем месте Гайавата? Убедился бы, что с Шерил все в порядке. Сестра нуждается в моей защите. Я развернулся и пошел обратно по Пландом-роуд, затем прокрался аллеями и задними дворами к забору дома тети Рут. Забравшись на мусорный бак, я увидел тени в окне и услышал крики. Я был слишком напуган, чтобы пошевелиться. Сидел и гадал, защитит ли Макграу сестру и влетит ли ему за это. А виноват во всем был я.

* Фрито Бандито — мультяшный человечек из рекламы американских кукурузных чипсов «Фритос» (1967–1971).

Медленно, стирая свои усы, я пошел домой, то и дело останавливаясь и заглядывая в окна соседей. Счастливые семьи. Пылающие камины. Дети, одетые пиратами и ведьмами, сортирующие и подсчитывающие свои конфеты. Я готов был поспорить: никто из этих детей и знать не знает, что такое эмбарго.

9 | «ДИККЕНС»

Маме удалось получить более высокооплачиваемую работу секретаршей в больнице Норт-Шор, и ее зарплаты теперь хватало на то, чтобы снять двухкомнатную квартирку в Грейт-Нек в нескольких милях от дома бабушки. Она заверила меня, что я по-прежнему буду ходить в пятый класс школы Шелтер-Рок, а после уроков автобус будет приводить меня к бабушке, но каждый вечер, по окончании ее рабочего дня, мы с мамой будем возвращаться в нашу новую квартиру... домой. Она не запнулась на этом слове — просто выделила его.

Мама полюбила ту квартирку в Грейт-Нек еще больше, чем наше предыдущее жилье. Она была влюблена в паркетные полы, в гостиную с высокими потолками, в улицу под сенью деревьев, — она дорожила каждой мелочью. Мама обставила квартиру так хорошо, как только могла, — списанной мебелью, которую собирались выбросить из недавно отремонтированного приемного покоя больницы. Когда мы садились на эти жесткие пластмассовые стулья, лица у нас были такие же натянутые, как и у тех, кто сидел на них до нас. Мы тоже напряженно ждали плохих новостей, но в нашем случае это был бы незапланированный ремонт машины или неожиданное повышение квартплаты. Я переживал, что если нам придется отказаться от квартиры в Грейт-Нек и вернуться к бабушке, маминому разочарованию не будет границ. На этот раз оно просто убьет ее.

Моя тревога стала перерастать в хроническую, в то время как мать по-прежнему отгоняла беспокойство песнями или положительными установками («Все будет хорошо, мой мальчик!»). В какой-то момент я даже поверил в то, что она ничего не боится, пока не услышал крик из кухни и, прибежав туда, не обнаружил ее стоящей на стуле и указывающей на паука. Когда я убил паука и понес его по коридору, чтобы выкинуть в мусоропровод, я напомнил себе, что мама не такая уж смелая и что мужчина в доме я, и это удвоило мое беспокойство.

Приблизительно раз в год мать забывала весь свой притворный оптимизм, закрывала лицо руками и рыдала. Я обнимал ее и пытался подбодрить, повторяя ее же собственные положительные установки. Сам я в них не верил, но матери они, похоже, помогали. «Все абсолютно верно, Джей Ар, — говорила она, хлюпая носом, — завтра будет новый день». Однако вскоре после того, как мы переехали в Грейт-Нек, ее рыдания стали необычно горькими, и тогда я перешел к плану Б. Я прочитал монолог, который слышал в исполнении актера в «Шоу Мерва Гриффина». Я записал его на бумажке и заложил в школьный учебник как раз для такого случая.

— Эй, ребята! — сказал я, читая по бумажке. — Мне очень приятно, очень приятно быть здесь. Я не лгу. Нет, сэр, я ненавижу лжецов. Мой отец был лжецом. Он сказал мне, что он эксперт транспортной промышленности, — он полстраны объехал автостопом!

Мама медленно отняла руки от лица и уставилась на меня.

— Да, — продолжал я, — отец сказал мне, что у нас в гостиной мебель Луи Четырнадцатого. Луи забрал бы ее обратно в магазин, если бы мы не заплатили до четырнадцатого числа!

Мама притянула меня к себе и сказала, что ей ужасно неловко, что она меня напугала, но она не могла сдержаться.

— Я так устала. Устала волноваться, сражаться, устала быть совсем... совсем одной.

Одной. Мне стало обидно. Как бы близки мы ни были с мамой, отсутствие мужчины в нашей жизни заставляло нас чувствовать себя одинокими. Иногда мне было так одиноко, что я искал какое-то более выразительное, более длинное слово для обозначения одиночества. Я пытался рассказать бабушке о том, что я чувствую, о том, что жизнь постоянно забирает какую-то часть меня, сначала лишив меня Голоса, потом Макграу, но бабушка неверно меня поняла. Она сказала, что жаловаться на скуку — грех, потому что многие люди готовы все на свете отдать за то, чтобы скука была их самой большой проблемой. Я пояснил, что мне не скучно, а одиноко. Она ответила, что я так и не стал сильным мужчиной, как она просила. «Иди, сядь на стул и посмотри в небо, — сказала она, — и поблагодари Бога за то, что у тебя ничего не болит».

Я пошел наверх, порылся в тайнике и вытащил оттуда старинный проигрыватель и механическую печатную машинку сороковых годов. Чтобы скрасить свое одиночество, я стал слушать пластинки Фрэнка Синатры, одновременно создавая нечто, что называл «Семейной газетой». Первый выпуск был датирован началом 1974 года, на первой полосе был краткий биографический очерк о моей маме и анализ администрации Никсона в четыре строчки. Была также короткая передовица, порицающая международную торговлю «марихуанной», и короткая, скомканная сводка семейной размолвки. Первый экземпляр я вручил дедушке. «Семейная газета? — хмыкнул он. — Ха! Но у нас нет се... се... *семьи*».

Подготовив завтрашний выпуск «Семейной газеты», я шел кататься на велосипеде с крутого холма на Парк-авеню, где был расположен один из самых старых и, на мой взгляд, красивых домов Манхассета. Катаясь взад-вперед вдоль старой величественной громадины, я заглядывал в окна, размышляя над тем, как попасть в эту страну богатых. Я вдыхал дым от горящих поленьев, клубившийся из трубы, — такой дурманящий и приятный. Богатые люди, решил я, ходят в какой-то секретный магазин, где и покупают такие аромат-

ные поленья. В том же самом магазине должны продавать волшебные лампы. У богатых был самый лучший фарфор, лучшие шторы и конечно же зубы, а еще у них были лампы, от которых исходил мучительно уютный свет. По сравнению с ними дедушкины лампы светили как тюремные прожектора; от них плавился мозг. Даже мама избегала ламп в дедушкином доме.

Приходя из школы, я жаловался бабушке на одиночество. «Иди, сядь на стул и посмотри в небо...»

В конце концов я ретировался в подвал.

Как и в баре, в дедушкином подвале было темно. Сюда детей не пускали. В подвале урчала печка, засорялся толчок и висела огромная паутина размером с рыболовную сеть. Спускаясь на свой страх и риск по расшатанной лестнице, я был готов дать деру при первом же звуке, но через несколько минут обнаружил, что подвал — идеальное место для того, чтобы спрятаться, и единственная часть дедушкиного дома, где можно спокойно уединиться. Никто не искал меня здесь, а печка заглушала склоки взрослых наверху.

Отважно исследуя дальние углы подвала, я открыл для себя его самое привлекательное качество — скрытые сокровища. Засунутые в коробки, разложенные стопками на столах, вываливающиеся из чемоданов и кофров, здесь хранились сотни романов и биографий, учебников, мемуаров и пособий, оставленных предыдущими поколениями и разъехавшимися родственниками. Я помню, как ахнул от восторга.

Я полюбил эти книги с первого взгляда, и эту любовь предопределила мама. С тех пор, как мне исполнилось девять месяцев и пока я не пошел в школу, мама учила меня читать, используя причудливые карточки, которые заказала по почте. Я до сих пор могу представить эти карточки так же четко и живо, как газетные заголовки, набранные крупным шрифтом: ярко-красные буквы на кремовом фоне и за ними — мамино лицо, молочно-розовое в обрамлении каштановых волос. Мне нравилось, как выглядели слова на карточках, форма букв; я подсознательно ассоциировал шрифт с лицом

матери. Позже слова по-настоящему завоевали мое сердце. Они, как ничто другое, сумели организовать мой мир, навести порядок среди хаоса, аккуратно разделить все на белое и черное. Слова даже помогли мне понять родителей. Мама была печатным словом — осязаемым, настоящим, реальным, а отец — устной речью — невидимой, эфемерной, которая сразу же превращалась в воспоминание. В словах я находил нечто успокаивающее.

Теперь, в подвале, мне казалось, что я стою по грудь в набежавшей волне слов. Я открыл самую большую и тяжелую книгу, которую смог найти, — историю похищения ребенка Линдберга*. Вспомнив угрозы отца, я ощутил родство с малышом Линдбергом. Я рассматривал фотографии его маленького трупца. Я запомнил слово «выкуп», которое, как мне казалось, означало что-то вроде алиментов.

Многие из книжек в подвале оказались слишком сложными для меня, но мне было наплевать. Я с благоговением рассматривал их, если не мог прочесть. В одной из коробок хранилась великолепная серия книг в кожаных переплетах — полное собрание сочинений Диккенса, — и из-за того, что так назывался бар, я ценил эти книги больше остальных и жаждал узнать, о чем в них говорится. Я нетерпеливо рассматривал рисунки, особенно изображение Дэвида Копперфилда, мальчика моего возраста, в баре. Надпись под рисунком гласила: «Моя первая рюмка в пабе».

— О чем эта книга? — спросил я у дедушки за завтраком, показав ему «Большие надежды».

— О мальчишке, у которого были на... на... надежды, — ответил тот.

— Какие надежды?

— Надежды — это про... про... *проклятие*.

Озадаченный, я съел ложку овсянки.

* Похищение сына известного летчика Чарльза Линдберга в 1932 году стало одним из самых известных преступлений XX века. По мотивам этого события Агата Кристи написала роман «Убийство в «Восточном экспрессе».

— Например, — сказал он, — когда я же... же... женился на твоей бабушке, у меня были надежды.

— Разве можно так разговаривать с внуком? — возмутилась бабушка.

Дедушка горько рассмеялся.

— Никогда не женись ради секса, — сказал он мне.

Я съел еще одну ложку овсянки, жалея, что спросил.

Две книги из подвала стали моими постоянными спутниками. Первой была «Книга джунглей» Редьярда Киплинга, в которой я познакомился с Маугли — он стал мне двоюродным братом, как и Макграу. Я часами общался с Маугли и его приемными родителями — добрым медведем Балу и пантерой Багирой. Они оба хотели, чтобы Маугли стал адвокатом. По крайней мере, так я это понял. Они все время заставляли Маугли изучать закон джунглей. Второй книгой был рассыпающийся томик, изданный в тридцатых годах, который назывался «Минутные биографии». Его страницы цвета топленого молока были наполнены краткими историями жизни и чернильными портретами великих исторических личностей. Мне нравилось щедрое использование восклицательных знаков в тексте. «Рембрандт — художник, который экспериментировал с тенью! Томас Карлайль — человек, который облагородил труд! Лорд Байрон — европейский плейбой!» Я наслаждался обнадеживающей формулой этой книги: каждая жизнь начиналась с тягот и неизменно вела к славе. Часами я смотрел на Цезаря и Макиавелли, Ганнибала и Наполеона, Лонгфелло и Вольтера, и мне особенно запомнилась страница, посвященная Диккенсу, святому покровителю брошенных мальчишек. На портрете в книге был тот же самый профиль, что и над входом в бар.

Однажды я так погрузился в «Минутные биографии», что и не заметил, как надо мной склонилась бабушка, протягивая доллар.

— Я тебя повсюду искала, — сказала она. — Дяде Чарли ужасно хочется курить. Сбегай в бар и принеси ему пачку красного «Мальборо».

Пойти в «Диккенс»? *Войти* в «Диккенс»? Я сгреб «Минутные биографии» под мышку и сорвался с места.

Однако, добежав до бара, я остановился. Положив руку на дверную ручку, я почувствовал, как бешено бьется сердце. Меня тянуло в бар, но это притяжение было таким мощным, таким непреодолимым, что я счел его опасным. Бабушка читала мне статьи из «Дейли ньюз» о том, как купающихся затягивали морские водовороты. *Наверное, так ощущаешь себя в водовороте.* Я глубоко вдохнул, открыл дверь и нырнул вовнутрь. Дверь со стуком захлопнулась, и меня поглотила темнота. Альков. Впереди была еще одна дверь. Я потянул за ручку, скрипнули ржавые пружины. Снова сделав шаг вперед, я оказался в длинной узкой пещере.

Когда глаза привыкли к темноте, я заметил, что воздух здесь красивого бледно-желтого оттенка, хотя я и не видел никаких ламп или других возможных источников света. Воздух был цвета пива, пах пивом, и дыхание у всех присутствующих было с ароматом пива: с привкусом солода, густое и пенное. Сквозь пивной дух пробивался запах обветшания и гнили, не то чтобы неприятный, а больше похожий на аромат старого леса. Здесь также чуть-чуть пахло духами и одеколоном, тоником для волос, кремом для обуви, лимонами, бифштексами и газетами, а еще заливом Манхассет. Мои глаза начали слезиться, как в цирке, где в воздухе стоял острый звериный запах.

О цирке также напоминали мужчины с белыми лицами, оранжевыми волосами и красными носами. Там сидел владелец часовой мастерской, который всегда давал мне шоколадные сигареты. Еще там был хозяин магазина канцтоваров, вечно жующий сигару, который всегда так пялился на мою мать, что мне хотелось ударить его по ноге. И еще десяток мужчин, которых я не узнал и которые выглядели так, будто только что сошли с городского поезда, а также несколько человек в оранжевых футбольных фуфайках с эмблемой «Диккенса». Одни сидели на высоких табуретах вдоль барной стойки, которая представляла собой кирпичную стену, увен-

чанную светло-золотистой дубовой плитой. Другие расселись по углам, в темной комнате, — как большое стадо редких животных, которых я выслеживал.

В «Диккенсе» также были и женщины, потрясающие женщины. У той, которая сидела ближе всех ко мне, были длинные светлые волосы и серебристо-розовые губы. Я видел, как она провела наманикюренным пальчиком по шее мужчины и прижалась к его руке. Я поежился при этом проявлении физического влечения. Как будто почувствовав мое смущение, женщина повернулась.

— О-о, — сказала она.

— Что случилось? — спросил стоящий сзади нее мужчина.

— Ребенок.

— Где?

— Вон там. У двери.

— Эй, чей это ребенок?

— Не смотрите на меня.

Из темноты вышел Стив.

— Чем могу помочь, сынок?

Я помнил его по софтбольному матчу. Он был, наверное, самым высоким в баре. Волосы слегка вьющиеся, лицо темно-красное, цвета красного дерева, а глаза как голубые щелки. Стив улыбнулся мне, обнажив крупные кривые зубы, и мне показалось, что в комнате стало светлее.

— Эй, Стив! — крикнул мужчина, сидящий у стойки. — Налей пареньку выпить за мой счет, ха-ха!

— Ладно, — кивнул Стив, — пацан, Бобо тебя угощает.

Дама с розовыми губами сказала:

— Заткнитесь, придурки, вы что, не видите, как он испугался?

— Что тебе нужно, сынок?

— Пачку красного «Мальборо».

— Черт.

— Парень курит всерьез.

— Сколько тебе лет?

— Девять. Скоро будет десять... Это для моего дяди.

— А кто твой дядя?

— Дядя Чарли.

Раздался взрыв смеха.

— Ну, ты, пацан, даешь! — закричал мужчина. — Дядя Чарли — это круто!

Все снова расхохотались. Я подумал, что если всех смеющихся в мире собрать вместе, то смех звучал бы именно так.

— Да, точно, — сказал Стив. — Это племянник Чаза!

— Сын Рут?

— Да нет, второй сестры! Твою мать зовут Дороти, так?

Я кивнул.

— Как тебя зовут, сынок?

У Стива был роскошный голос. Теплый голос, в котором как будто перекачивались камушки.

— Джей Ар.

— Джей Ар? — Он искоса посмотрел на меня. — Что это значит? Как твое полное имя?

— Это и есть полное имя.

— Правда? — Подняв бровь, Стив взглянул на бармена. — Каждое имя что-то значит.

Мои глаза широко раскрылись. Я никогда об этом не задумывался.

— Тебе нужно придумать прозвище, если ты собираешься ходить в «Диккенс», — сказал Стив. — В следующий раз, когда придешь, подготовь прозвище, или нам придется самим его придумать.

— Что ты читаешь? — спросила дама с розовыми губами.

Я протянул ей книгу.

— Мои... нудные биографии, — произнесла она.

— Это про известных мужчин, — сказал я.

— Я-то думал, это *ты* написала книгу о мужчинах, — обратился Стив к женщине. Та захихикала.

Бармен порывлся под стойкой и достал пачку «Мальборо». Он протянул мне сигареты, и я сделал шаг вперед. Все

наблюдали за тем, как я положил доллар на барную стойку, взял сигареты и медленно пошел назад.

— Заходи еще, пацан, — сказал Бобо.

Опять раздался взрыв хохота, за ним еще один. Смех был таким громким, что никто не услышал моего ответа.

— Я приду.

10 | ЗАПАСНОЙ ЗАЩИТНИК

Тетя Рут сняла свое эмбарго приблизительно в то же время, когда арабы сняли свое. Мне снова было позволено навещать Макграу и двоюродных сестер. После школы я бежал по Пландом-роуд за Макграу, а потом мы неслись на Мемориальное поле играть в салки или к пруду ловить рыбу в безумном восторге оттого, что мы снова вместе. Но через несколько недель случилось нечто намного хуже эмбарго. Это было эмбарго, облава и похищение вместе взятые. Тетя Рут решила переехать с детьми в Аризону. Тетя небрежно сообщила нам новость, когда они с бабушкой пили кофе в кухне. Она сказала, что ее детям лучше будет «на западе». Горы. Синее небо. Там воздух как вино, а зимы похожи на весны.

Я не всегда понимал, почему взрослые совершают те или иные поступки, но даже я знал, что истинной причиной переезда тети Рут в Аризону был дядя Гарри. Мои подозрения подтвердились через несколько дней — бабушка рассказала, что тетя Рут и дядя Гарри собираются помириться и тетя Рут надеется, что смена обстановки заставит дядю Гарри исправиться и стать настоящим отцом и мужем.

Это было похоже на дурной сон. Не успели мы с Макграу порадоваться нашему воссоединению, как его вместе с чемоданами погрузили в тетин фургон и увезли в такие далекие края, которые я даже вообразить себе не мог. Когда тетя Рут выезжала на Пландом-роуд, последнее, что я увидел, был Макграу в шлеме «Метс», который махал мне рукой из окна.

Потеряв Макграу, я еще глубже погрузился в три своих увлечения: бейсбол, подвал и бар — эдакий трехглавый змей. Покидав мяч об стенку гаража, воображая себя Томом Сивером, я спускался в подвал почитать про Маугли или великих людей. («Данте — он восславил Ад!») Потом, положив «Книгу джунглей» и «Минутные биографии» в велосипедную корзинку и повесив бейсбольную перчатку на ручку велосипеда, я ехал к «Диккенсу», выделывая кренделя на велосипеде, чтобы разглядеть, кто входит и кто выходит из бара, с особой тщательностью изучая мужчин. Богатые и бедные, элегантные и оборванные, самые разные мужчины заходили в «Диккенс», и каждый входил туда тяжелой походкой, будто сгибаясь под тяжестью невидимой ноши. Они шли так, как ходил я, когда мой ранец был набит учебниками. Но выходили они оттуда, почти паря.

Через некоторое время я ехал обратно, в сторону поля, где мальчишки каждый день играли в бейсбол. Если игра заканчивалась поздно, обязательно кто-нибудь приходил посмотреть. Сумерки были волшебным временем, когда любители выпить в «Диккенсе» бросали взгляды на циферблат часов, допивали содержимое стаканов и спешили по домам. Выходя из бара, они часто замечали нашу игру, и их захлестывали яркие воспоминания из собственного детства. Коммивояжеры и адвокаты бросали на землю портфели и умоляли дать им разок ударить битой. Я подавал, когда появился один из таких мужчин. Он улыбнулся и засучил рукава. Потом решительно подошел ко мне, как тренер, намеревающийся удалить с поля.

— Какого черта ты тут изображаешь? — сказал он.

— Тома Сивера.

— Почему у тебя написано «Пи Ай» на груди?

Я посмотрел вниз на свою белую футболку, на которой нарисовал «41» несмываемым маркером.

— Сорок один, — пояснил я, — номер Тома Сивера.

— Тут написано «Пи Ай»? Что такое «Пи»? Ты, типа, силен в математике?

— Это «четыре», а это «один». *Видите?* Том Великолепный.

— Очень приятно с вами познакомиться, Том Великолепный. Меня зовут Пьяный-в-стельку.

Он заявил, что ему нужно «растряссти алкоголь» перед тем, как идти домой к «женушке». Поэтому он будет «запасным защитником». Мальчишки переглянулись.

— Вы разве никогда не слышали про запасного защитника? Запасной защитник стоит у базы и бежит к базе каждый раз, когда бьющий попадает по мячу!

— А что, если никто не ударит по мячу? — осведомился я.

— Ха! — воскликнул он. — Вот нахал! Ты мне нравишься. Просто кидай мяч, Том.

Я подождал, пока запасной защитник приготовится. Потом кинул мяч бьющему, который легким ударом послал его стоящему на третьей базе. Запасной защитник понесся к первой базе — его ноги сводило судорогой, а галстук развевался сзади, как лента, привязанная к антенне машины. Он промахнулся на целую милю, но продолжал бежать. Затем направился ко второй базе. Опять не успел. Побежал к третьей. Мимо. Сколько мы его ни гоняли, запасной защитник не унимался. Он бежал к «дому», запрокинув голову. Потом запнулся и шлепнулся животом на доску, где и остался лежать без движения, пока мы все не собрались вокруг него, как лилипуты вокруг Гулливера. Мы обсуждали, умер он или нет. Наконец он перевернулся на спину и стал хохотать как сумасшедший.

— Да живой я, живой!

Все мальчишки рассмеялись вместе с ним, но громче всех смеялся я. Я был серьезным мальчиком — у меня была серьезная мама, и ситуация у нас была серьезная. Но этот мужчина пришел из «Диккенса». И я не мог дождаться, когда вырасту и стану таким же, как он.

Но вместо этого я стал серьезнее. Вся моя жизнь стала серьезней.

Я рассчитывал, что шестой класс будет проще пареной репы, как и все предыдущие, но по какой-то причине объ-

ем заданий удвоился. К тому же все мои одноклассники как один стали умнее меня, и казалось, что они лучше разбираются в жизни. Мой друг Питер заявил, что при поступлении в университет нужно представить список книг, которые ты прочел. Он похвастался, что в его списке пятьдесят книг. Я сказал ему в панике, что не помню всего, что читал. «Тебя, наверное, не возьмут в университет», — протянул Питер. «А в юридическую школу?» — спросил я. Он медленно покачал головой.

В шестом классе на уроке естествознания у миссис Уильямс мы должны были подписать контракт, обязывающий нас хорошо учиться. Миссис Уильямс считала это хитрым приемом, который будет нас стимулировать, а мне это показалось смертным приговором. Я детально изучил контракт, жалея, что еще не стал адвокатом, а то бы нашел в нем какую-нибудь неточность, и мне удалось бы выкрутиться. Каждое утро я садился в школьный автобус с таким чувством, будто ехал в исправительно-трудовой лагерь. На пути в школу автобус проезжал дом престарелых. Я прижимал лицо к стеклу и завидовал пожилым людям в креслах-качалках. Они были свободны и могли целый день смотреть телевизор или читать. Когда я поведал об этом маме, она спокойно сказала:

— Садись в машину.

Мы ехали по Манхассету, и мама просила меня перестать волноваться.

— Просто делай все, что можешь, сынок.

— Но как мне узнать, что значит «все, что я могу»?

— Все, что можешь, — значит все, на что ты способен делать в разумных пределах, не надрываясь.

Мама не понимала. Согласно моему черно-белому взгляду на жизнь, делать все, что можешь, было недостаточно. Мне нужно было стать идеальным. Чтобы заботиться о матери, чтобы отправить ее в университет, я должен был исправить ошибки. Ошибки приводили к печальным последствиям — бабушка вышла замуж за дедушку, дедушка не позволил моей маме поступить в университет, мама вышла замуж за

отца, — и мы до сих пор за это расплачивались. Мне нужно было исправить старые ошибки и избежать новых, получить идеальные оценки, поступить в идеальный университет, потом в идеальную юридическую школу, а потом засудить моего неидеального отца. Но учиться в школе становилось все труднее, и я не знал, что делать. Если у меня не получится, мама и бабушка разочаруются во мне, и я буду не лучше своего отца, и мама будет петь, плакать и стучать по клавишам калькулятора — об этом я и размышлял, наблюдая, как другие дети играют в мяч на детской площадке.

Как-то вечером мать усадила меня в столовой, а бабушка села рядом.

— Сегодня мне на работу позвонила миссис Уильямс, — начала мама. — Миссис Уильямс говорит, что на переменах ты сидишь на площадке и смотришь в пустоту, а когда она однажды спросила тебя, что ты делаешь, ты ответил, что... *беспокоишься.*

Бабушка цокнула языком.

— Послушай, — продолжила мама, — когда я чувствую, что начинаю беспокоиться, я просто говорю себе: «Я не буду переживать из-за того, чего еще не произошло», и это меня успокаивает, потому что многие вещи, из-за которых мы переживаем, никогда не случаются. Почему бы тебе не попробовать поступать так же?

Как и миссис Уильямс с ее контрактом, мать думала, что позитивные формулировки будут меня стимулировать. Вместо этого они вводили меня в оцепенение. Я превращал их в заклинание, в мантру и нараспев произносил на детской площадке, пока не впадал в состояние, похожее на транс. Я использовал свою мантру для того, чтобы предотвращать несчастья и отражать натиск беспокойных мыслей. Если я буду продолжать отставать в школе, меня оставят в шестом классе на второй год. *Я не буду беспокоиться о том, чего никогда не произойдет.* Меня выгонят из школы, и тогда я не смогу заботиться о маме. *Я не буду беспокоиться о том, чего никогда не произойдет.* Я такой же, как мой отец. *Я не буду...*

Это помогло. Когда я повторил свою мантру несколько тысяч раз, миссис Уильямс объявила, что пора отдохнуть от многочисленных упражнений. Все дети радостно завопили, и я громче всех.

— Вместо этого, — сказала миссис Уильямс, — мы спланируем ежегодный «Завтрак отца и сына» для шестых классов!

Я умолк.

— Сегодня, — продолжала она, держа в руках лист цветной бумаги и клей, — мы придумаем и сделаем приглашения, которые вы принесете домой после школы и отдадите своим папам. В субботу утром мы приготовим завтрак для пап и прочтем им отрывки из наших школьных работ.

Когда урок закончился, миссис Уильямс попросила меня подойти к ее столу.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего.

— Я видела, какое у тебя было лицо.

— У меня нет отца.

— О! Он... он умер?

— Нет. Хотя может быть. Я не знаю. У меня просто нет отца.

Учительница посмотрела в окно, потом снова повернулась ко мне.

— У тебя есть дядя?

Я нахмурился.

— Брат?

Я подумал о Макграу.

— Кто-нибудь, кто мог бы прийти вместо отца?

Теперь настала моя очередь смотреть в окно.

— Пожалуйста, можно я просто не пойду на этот завтрак?

Миссис Уильямс позвонила моей маме, после чего последовало еще одно собрание в нашей столовой.

— Неужели они настолько глупы? — возмутилась бабушка. — Разве они не знают, какая теперь жизнь?

Мама помешивала молоко в чашке с кофе, я сидел рядом.

— Мне не следовало врать учителям про отца Джей Ара, — сказала она, — но мне не хотелось, чтобы они относились к нему... я не знаю...

— Я могу предложить кое-что, — перебила ее бабушка. — Только не хватайте меня за горло. Может быть, мы попросим дедушку?

— Нет, только не это, — сказал я. — Может быть, мы просто наложим эмбарго на завтрак?

В столовую вошел дедушка. На нем были хлопчатобумажные штаны, все в пятнах, фланелевая рубашка с засохшими кусочками овсяной каши и черные туфли с дырками на пальцах, такими большими, что были видны дырявые носки. Ширинка, как всегда, расстегнута.

— Где этот пирог, про который ты столько говорила? — спросил дедушка.

— Нам нужно кое-что у тебя спросить, — сказала бабушка.

— Говори, глупая женщина. Говори.

Начала мама:

— Не смог бы ты пойти вместо отца Джей Ара на его школьный «Завтрак отца и сына»? В эту субботу?

— Тебе придется надеть чистые брюки, — заметила бабушка. — И причесаться. Нельзя же идти в таком виде.

— Заткнись, черт возьми! — Он прикрыл глаза и почесал ухо. — Я пойду. А теперь, черт возьми, дай мне пирога! Глупая женщина.

Дедушка ушел в кухню вместе с бабушкой. Мама задумалась. Я знал, что она пытается представить себе, что будет, если дедушка назовет миссис Уильямс глупой женщиной.

Утром в субботу мы с мамой вышли из нашей квартиры в Грейт-Нек на рассвете. На мне был вельветовый пиджак и вельветовые брюки. У дедушки в доме мама с бабушкой долго возились с моим галстуком, коричневым и очень широким. Ни та, ни другая не знали, как завязать виндзорский узел.

— Может, пусть идет без галстука? — предложила бабушка.

— Нет! — отрезал я.

На лестнице послышались шаги. Мы все трое обернулись и увидели медленно спускающегося дедушку. Волосы гладко зачесаны назад, щеки выбриты до синевы, брови, волоски в носу и в ушах выщипаны. На нем был жемчужно-серый костюм, который оттенял черный галстук, и ирландский льняной платок. Он выглядел еще изящнее, чем когда ходил на свои тайные randevu.

— Что, черт возьми, п-п-про... пр-ро... происходит? — поинтересовался он.

— Ничего, — хором ответили замороженные мама и бабушка.

— Мы не можем завязать галстук, — сказал я.

Дед сел на «двухсотлетний» диван и жестом подозвал меня к себе. Я подошел к нему и стал между его колен. «Глупые женщины», — прошептал я. Он подмигнул. Потом дернул меня за галстук. «Дерьмо, а не галстук». Он пошел наверх и выбрал галстук из своего платяного шкафа, потом накинул его мне на шею и завязал быстро и умело. От деда пахло лосьоном после бритья с ароматом сирени, и мне захотелось обнять его. Но мы уже торопливо выходили из дома, а бабушка с мамой махали нам вслед, будто мы отправлялись в долгое странствие.

Пока «Форд Пинто» пыхтел по Пландом-роуд, я смотрел на дедушку. Он не проронил ни слова. Когда мы проехали Шелтер-Рок, я понял, что все это ужасная ошибка. Либо дедушка напряжен из-за предстоящей встречи с новыми людьми, либо раздражен из-за того, что ему приходится жертвовать своей субботой. Какова бы ни была причина, он обижен, а когда дедушка обижен, он может сказать нечто такое, о чем жители Манхассета будут вспоминать лет пятьдесят. Мне захотелось выскочить из машины, убежать и спрятаться.

Однако с той минуты, как мы въехали на школьную стоянку, дедушка переменялся. Он не то чтобы стал вести себя

идеально, просто это как будто был вовсе не он, а кто-то другой. Он вышел из «Пинто» так, словно выходил из лимузина на церемонии вручения «Оскара», и проследовал в школу с таким видом, будто был ее спонсором. Я держался рядом, когда мы встретились с учителями и отцами других детей. Дедушка положил руку мне на плечо и превратился в Кларка Гейбла. Он перестал заикаться, его манеры стали мягче. Теперь он был элегантным, остроумным, самокритичным и, главное, вполне в своем уме. Я представил его миссис Уильямс, и через несколько секунд мне показалось, что она положила на старика глаз.

— У нас большие надежды на Джей Ара, — выпалила она.

— Умом он пошел в мать, — сказал дедушка, заложив руки за спину, вытянувшись в струнку, как будто к его груди должны были сейчас приколоть медаль. — По мне, так лучше бы он сосредоточился на бейсболе. Вы знаете, у этого парня не рука, а винтовка. Когда-нибудь он сможет стать защитником третьей базы в «Метс». Как я когда-то. Хорошая позиция.

— Ему повезло, что его дедушка так интересуется спортом.

Школьники подали своим папам яичницу-болтунью и апельсиновый сок, потом сели с ними за длинные столы, накрытые в центре класса. Дедушкины манеры были безупречны. Крошки не падали ему за воротник, он не издавал никаких булькающих звуков, которые обычно означали, что он наелся и начался процесс пищеварения. Потягивая кофе, он распространялся на самые различные темы — об американской истории, этимологии, фондовом рынке — и рассказал о том, что своими глазами видел, как Тай Кобб попал в пять баз из пяти. Отцы смотрели на него во все глаза, как мальчишки в походе, слушающие у костра историю про привидений, пока дедушка описывал, как Кобб добежал до второй базы и, «издав индейский клич», вонзил острые носки своих ботинок в голени соперников.

Когда я принес дедушке его фетровую шляпу и помог надеть пальто, всем было жалко его отпускать. В «Пинто» я откинул голову на спинку кресла и сказал:

- Дедушка, ты был великолепен.
- Мы живем в свободной стране.
- Спасибо тебе большущее.
- Никому не рассказывай — будут завидовать.

Дома дедушка сразу поднялся наверх, а бабушка с мамой усадили меня в столовой и устроили допрос. Они желали знать все подробности, но я не хотел, чтобы чары развеялись. И потом, я думаю, они бы мне все равно не поверили. Я сказал, что все прошло хорошо, не вдаваясь в подробности.

Дедушка появился только во второй половине дня, когда начался матч «Джетс». Он уселся перед телевизором в своих запятнанных штанах и рубашке со следами засохшей овсянки. Я уселся рядом. Каждый раз, когда происходило что-то интересное, я вопросительно смотрел в его сторону, но он даже глазом не моргнул. Я сказал что-то про Джо Намата*. Дед ухмыльнулся. Я пошел искать бабушку, чтобы обсудить поведение дедушки, который напоминал мне доктора Джекила и мистера Хайда, но она была занята — готовила обед. Тогда я решил найти маму. Та легла подремать. Я разбудил ее, но мама попросила дать ей поспать еще немножко.

У матери была серьезная причина для усталости. Она продала себя в рабство, чтобы оплачивать квартиру в Грейт-Нек. Но в начале 1975 года вскрылась еще одна причина. У мамы обнаружили опухоль щитовидной железы.

На протяжении нескольких недель перед операцией в дедушкином доме стояла тишина, он был охвачен страхом. Только я оставался спокойным благодаря своей мантре. Я твердил ее днями напролет. Когда я нечаянно услышал, как бабушка и дядя Чарли шепчутся о моей матери, о риске, связанном с операцией, о том, что опухоль может оказаться

* Джо Намат — защитник нью-йоркской футбольной команды «Джетс» в 1960–1970 гг.

злокачественной, я закрыл глаза и глубоко вдохнул. *Я не буду беспокоиться о том, чего никогда не произойдет.*

В день операции я сидел под сосной на заднем дворе дедушкиного дома и повторял свою мантру шишкам, которые, как рассказывала мне Шерил, были «детками сосны». Интересно, думал я, кто же тогда сосна — мама или папа? Я положил шишки поближе к сосне, возвращая их маме-папе. Появилась бабушка. «Это чудо!» — воскликнула она. Маму прооперировали, и все было нормально. Бабушка не сказала, да она и не знала, что чудо совершил я. Я спас маму своей мантрой.

Через неделю мать с повязкой на шее выписали из больницы, и в наш первый вечер в Грейт-Нек она сразу легла спать. Я ел лапшу из миски и смотрел, как она спит, повторяя про себя мантру, заворачивая в нее маму, как в одеяло.

Бабушка и дедушка поздравили маму с быстрым выздоровлением после операции. «Ты теперь почти как новенькая», — сказали они.

Но я заметил, что что-то изменилось. Мать смотрела в пустоту чаще, чем раньше. Трогала свою повязку и глядела на меня невидящими глазами, и хотя в конце концов повязку сняли, мамин взгляд не изменился. Я делал уроки рядом с ней, а когда поднимал глаза, то видел, что она смотрит на меня, но мне приходилось по три раза повторять «мама», чтобы вывести ее из оцепенения. Я знал, о чем она думает. Пока она болела и не работала, продолжали приходить счета. Мы потеряем квартиру в Грейт-Нек. Нам придется вернуться к дедушке. Каждый день, проснувшись, я видел маму, разговаривавшую с калькулятором. Каждую ночь она плакала.

Когда наступил неизбежный момент, мама удивила меня.

— Мы с тобой семья, ты и я, — сказала она, усадив меня за кухонный стол. — Но мы живем в демократии. Давай проведем голосование. Ты скучаешь по двоюродным сестрам и брату?

— Да.

— Знаю. И я много об этом думала. Я много о чем думала. Так вот, мальчик мой. Как насчет того, чтобы переехать в Аризону?

В моей голове закружились образы. Как мы катаемся на лошадях с Макграу. Лазаем с ним по горам. Ходим с Шерил за конфетами на Хеллоуин.

— Когда едем? — спросил я.

— Тебе разве не нужно об этом подумать?

— Нет. Когда мы сможем уехать?

— Когда захочешь. — Мама улыбнулась едва заметной улыбкой. — Мы живем в свободной стране.

11 | СТРАННИКИ В РАЮ

Всего каких-то восемнадцать месяцев в пустыне превратили моих двоюродных сестер и брата в драгоценные металлы. Их волосы горели золотом, кожа отливала медью, а лица были удивительного бронзового оттенка. Когда они подбежали к нам в аэропорту «Скай Харбор», мы с мамой отступили на полшага назад. Одетые в темные пальто и шерстяные шарфы, мы выглядели и чувствовали себя беженцами с другого света.

— Какие вы белые! — закричала Шерил, прикладывая свою кисть к моей. — Посмотри! Шоколад — ваниль! Шоколад — ваниль!

В аэропорту нас встречали только три старшие девочки. Была поздняя ночь. Мы поехали домой к тете Рут, где мы с мамой должны были пожить, пока не подыщем себе жилье. Шерил пообещала, что Аризона нам понравится.

— Мы живем в *раю*, — сказала Шерил. — В буквальном смысле! Так на дорожных знаках написано: «Добро пожаловать в *Райскую долину*». Это шикарный район Скоттсдейла. Что-то вроде аризонского Манхассета.

Я уставился в темноту. Здешняя ночь была в два раза темнее, чем в Нью-Йорке. Я видел лишь размытые силуэты зловещих гор, которые были еще темнее, чем сама ночь. Я читал, что в Аризоне есть горы, но ожидал чего-то другого, чего-то вроде гор из «Хейди»*, роскошно-зеленых, с залитыми солнцем лугами, где женщины в фартуках и ангелоподобные дети собирают нарциссы. В действительности горы оказались голыми остроконечными треугольниками, торчавшими из плоской пустыни, как пирамиды. Я уставился на самый большой треугольник, который, как сказала Шерил, называется Спина Верблюда.

— Почему? — спросил я.

— Потому что он похож на *спину верблюда*, — сказала она таким тоном, будто я полный идиот.

Я снова повернулся, чтобы посмотреть на гору. Я не видел никакого верблюда. Мне гора казалась похожей на запасного защитника из «Диккенса», который растянулся на спине, а двумя горбами были его колени и брюхо.

Мама сразу же нашла работу секретаршей в местной больнице. Найти квартиру оказалось сложнее. В Аризоне проживало много пенсионеров, и в большинстве многоквартирных домов, особенно недорогих, не разрешалось жить с детьми. В конце концов она солгала менеджеру, сказав, что она разведенная одинокая женщина. Когда мы въехали, она сообщила менеджеру, что ее бывший муж имел полные права опеки надо мной, но его по работе перевели в другой штат и она будет заботиться обо мне, пока он там не устроится. Менеджеру это не понравилось, но ему не хотелось наживать себе проблемы, выселяя нас.

На деньги, вырученные от продажи «Ти-Берда» и мебели из гостиной в Грейт-Нек, мы с матерью взяли напрокат две кровати, комод, кухонный стол и два стула. Для гостиной купили два раскладывающихся пляжных стула. После того как мы приобрели полуразвалившийся «Фольксваген-Жук»

* «Хейди» — американский кинофильм (1937) о девочке-сироте из Швейцарии по одноименной книге Джоанны Спири.

1968 года, у нас осталось семьсот пятьдесят долларов, которые мама хранила в морозилке.

Вскоре после того, как мы приехали, тетя Рут и двоюродные сестры с братом отвезли нас в Рохайд, макет города посреди пустыни, где была искусственная золотая шахта, искусственная тюрьма и даже искусственные жители. У центрального въезда в город рядом с крытыми фургонами вокруг костра стояла группа ковбоев-манекенов. Из громкоговорителей, спрятанных в кактусах, раздавались их хриплые голоса. Они опасались апачей, змей и плохой погоды. И еще Большой Неизвестности, которая простиралась за Рио-Гранде. «Если мы не перейдем Рио-Гранде к августу, — сказал манекен, — мы пропали». Остальные мрачно закивали. Мы с Макграу тоже закивали. Я был вдалеке от дома, окруженный со всех сторон пустыней, — крытый фургон мало чем отличался от многоместного автомобиля тети Рут.

Мы пошли по искусственному городу вдоль главной улицы, которая начиналась у салуна. За нами стелился дым от костра манекенов. Прежде я считал дым от горящего дерева в Манхассете одурманивающим, но арizonский дым был еще более душистым, волшебным, состоящим из ароматов, которых я не мог распознать. Шерил сказала, что это орешник, полынь, перо и мескитовое дерево. Звезды в пустыне тоже оказались лучше, ярче, чем в городе. Каждая была как карманный фонарик, который кто-то держал у моего лица. Я посмотрел наверх, набрал полные легкие чистого воздуха пустыни и решил, что Шерил права. Это рай. Горы, кактусы, кукушки — все, что казалось сначала таким странным, теперь обнадеживало меня. Нам с мамой не помешало бы что-то новое, и это было как раз то, что нужно. Я уже чувствовал разницу. Голова моя была светлее, а на сердце легче. Привычная тревога отступила. Больше всего меня радовало то, как выглядела мама. Она перестала смотреть в пустоту, и ее энергия, казалось, удвоилась.

Вскоре после нашей поездки в Рохайд мама позвонила тете Рут, чтобы спросить, не хочет ли Макграу поиграть со мной.

— Никто не отвечает... опять, — сказала она, положив трубку. — Как может никто не отвечать в доме, где живет восемь человек?

Мы поехали к дому тети Рут и постучали в дверь. Заглянули в окно. Никаких признаков того, что кто-то дома. Когда мы вернулись в нашу квартиру, мама позвонила в Манхассет — это было для нас неслыханной роскошью. Пожалуй, первый междугородный звонок в истории нашей семьи. Быстро переговорив с бабушкой, мама повесила трубку. Лицо у нее побелело.

— Они уехали.

— Что?

— Тетя Рут и твои сестры с братом уже на пути в Манхассет.

— Навсегда?

— Думаю, что да.

— Когда они уехали?

— Я не знаю.

— Почему они уехали?

Она посмотрела на меня пустыми глазами.

Мы так и не узнали. Единственное, что мы могли предположить, что тетя Рут и дядя Гарри поссорились, он уехал обратно в Нью-Йорк, и она отправилась за ним. Но наверняка сказать было нельзя, а тетя Рут не из тех, кто стал бы объяснять.

Без моих двоюродных сестер и брата Аризона за одну ночь превратилась из рая в чистилище. Стало жарко, страшно жарко, а до лета еще оставалось несколько месяцев. В «фольксвагене» не было кондиционера, и когда мы с мамой ехали в магазин за прохладительными напитками, со всех сторон нас обдавало жарой, а на горизонте не было ничего, кроме вихрей пыли и перекасти-поля. На фотографии того времени, на которой я жду школьный автобус, я выгляжу как первый мальчик на Марсе.

Чтобы развлечься, на закате мы с мамой выезжали на прогулки. В Аризоне, однако, не было ни домов на побере-

жье, на которые можно было бы посмотреть, ни Шелтер-Рока. Только безбрежная, плоская пустыня.

— Давай вернемся в Манхассет, — сказал я.

— Мы не можем вернуться, — ответила мама. — Мы все продали. Я ушла с работы. Мы *здесь*. — Она посмотрела вокруг и покачала головой. — Здесь... наш дом.

Как-то раз в субботу, помогая маме распаковывать последние коробки с нашими пожитками, присланные бабушкой, я обнаружил синий прибор длиной в два фута, который был похож на поршень с ручкой с каждой стороны. Это был волшебный увеличитель груди, согласно надписи на коробке, в которую он был упакован. Я решил его испробовать.

— Чем ты, черт возьми, занимаешься? — спросила мама, увидев, как я, сняв рубашку, сжимал прибор перед зеркалом.

— Увеличиваю грудь.

— Это для женщин, — сказала она. — Тебе он не увеличит грудь. Дай сюда.

Нахмурившись, она забрала у меня прибор. По выражению ее лица я понял, что иногда бываю для нее такой же загадкой, как и она для меня.

— Тебе скучно, так ведь?

Я отвел глаза.

— Давай съездим в искусственный город, — предложила она.

У входа в Рохайд мы поздоровались с механическими ковбоями-манекенами. «Если мы не перейдем через Рио-Гранде к августу...» Мы зашли в салун, и мама купила две банки лимонада и пакет попкорна. Сигарный запах в баре напомнил мне о «Диккенсе». Интересно, подумал я, проходят ли у них еще пирожковые бои. Мы сидели на скамейке возле салуна и передавали пакет с попкорном из рук в руки.

Вдруг посреди улицы началась перестрелка. Четверо мужчин сказали шерифу, что собираются захватить город прямо сейчас. Они вытащили пистолеты. Шериф тоже достал пистолет. Бац! Шериф упал.

— Их было больше, — заметила мама. — И они были лучше вооружены.

Когда мертвый шериф встал и отряхнул с себя пыль, мама повернулась ко мне. Она сказала, что мне нужно съездить на лето в Манхассет.

— Это для нас единственный выход, — сказала она. — Я не могу оставить тебя одного в квартире на все лето. Одно дело несколько часов после школы, и совсем другое — целых три месяца. А пока ты гостишь в Манхассете, у меня будет возможность работать сверхурочно, найти подработку и, может быть, отложить деньги на мебель.

— Как же ты справишься без меня? — спросил я.

Она смеялась, пока не поняла, что я не шучу.

— Со мной все будет хорошо, — ответила она. — Время пролетит быстро. Тебе будет весело, а я буду знать, что ты не скучаешь и живешь с людьми, которых любишь.

— Где ты возьмешь деньги на билет на самолет?

— Возьму кредит и разберусь с этим позже.

Мы никогда не разлучались даже на три дня, а мама предлагает расстаться на три месяца? Я пытался спорить, но все уже было решено. Наша двусторонняя демократия превратилась в благожелательный диктат. Но, может, это и к лучшему. Я не смог убедить маму, что перспектива увидеть Макграу и двоюродных сестер меня не прельщает. В ту пору я еще не очень хорошо умел врать.

В ночь перед моим отъездом, пока я спал, мама написала мне письмо, которое отдала перед посадкой на самолет. Она писала, что мне нужно заботиться о бабушке и не ссориться с двоюродными сестрами и братом и что она ужасно будет по мне скучать, но знает, что в Манхассете мне будет хорошо. «У меня нет денег, чтобы отправить тебя в летний лагерь, — писала она. — Поэтому Манхассет будет твоим лагерем».

Ни я, ни она и представить себе не могли, что она послала меня в лагерь под названием «Диккенс».

Это случилось после того, как я пробыл в Манхассете около двух недель. Я кидал резиновый мяч о стенку гаража, воображая себя Томом Сивером, отбивающим очередную подачу в наружном углу, чтобы выиграть седьмой иннинг, когда среди шума на трибунах — ветра, шуршавшего ветвями деревьев, — я услышал свое имя. Я оглянулся.

— Ты разве не слышишь, что я тебя зову? — сказал дядя Чарли. Господи Иисусе.

— Извини.

— Гилгамеш.

— Прости, что ты сказал?

Он вздохнул и заговорил с подчеркнутой медлительностью, обозначая слоги четче, чем обычно.

— Джилго. Пляж. Хочешь поехать на пляж Джилго?

— Кто?

— Ты.

— С кем?

— Со своим дядей. Что с тобой сегодня?

— Ничего.

— Как быстро ты сможешь собраться?

— За пять минут.

— Как насчет двух?

Я кивнул.

В доме было пусто. Бабушка ушла за покупками. Дедушка отправился прогуляться, а двоюродные сестры с братом, хотя и жили неподалеку, не навещали нас из-за ссоры между тетей Рут и бабушкой. Можно ли мне уехать на пляж, никому не сказав? Мама несколько раз меня предупреждала: никуда не уходи без разрешения. Она до сих пор беспокоилась, что отец меня похитит, и бабушка часто напоминала мне об этом. Я не знал, что мама с бабушкой *попросили* дядю Чарли «занять меня чем-нибудь», потому что я слишком много времени проводил в одиночестве и жаловался, что скучаю по маме. Они обратились к дяде Чарли за помощью, предпола-

гая, что он мне все объяснит. Они забыли, что дядя Чарли, как и тетя Рут, никогда ничего не объяснял.

Я поддел плавки под летние штаны, положил в целлофановый пакет полотенце и банан и сел на крыльцо подумать. Думать было некогда. Дядя Чарли уже шел через лужайку, одетый в свой вариант пляжного костюма: кепка для гольфа с надписью «Бинг Кросби»*, темные очки и джинсы. Он уселся за руль своего массивного черного «кадиллака», который недавно приобрел у приятеля Стива. Он обожал эту машину. Я видел, как он с нежностью поправил зеркало заднего вида, будто убирая прядь волос с лица любимой. Потом сдвинул козырек кепки, закурил «Мальборо» и завел мотор. «Кадиллак» задрожал и тронулся. Время истекло. Сделав глубокий вдох, я побежал. Когда я открыл дверь со стороны пассажирского сиденья и влез в машину, дядя Чарли вздрогнул от неожиданности.

— О, — сказал он. — Хорошо. — Мы переглянулись. — Лучше прыгай назад.

— Почему? — спросил я.

— Будут еще пассажиры.

Я уселся на высокое заднее сиденье как принц, которого везет рикша, и мы поехали по Пландом-роуд, мимо «Диккенса», мимо Мемориального поля. В южной части города мы остановились у дома, в котором были задернуты все занавески и закрыты ставни. Дядя Чарли посигналил. Из боковой двери показался мужчина лет на десять младше дяди Чарли, с блестящими черными волосами и печальными черными глазами. У него было крепкое тело, широкие плечи и широкая грудь, и он походил на молодого Дина Мартина. Я подумал, что он, возможно, один из тех игроков в софтбол, которых я видел раньше, хотя его поведение сейчас было иным. Он не смеялся и не дурачился. Он страдал от боли, прикрывая глаза, как узник, которого выпустили из темной камеры.

* Бинг Кросби (1903–1977) — популярный американский певец и актер.

Наклонившись над водителским окном, он прохрипел:

— Эй, Чаз, ну что скажешь?

Его голос был слабым, как мой в то утро, когда у меня удалили миндалины, но это была далеко не самая выразительная особенность его речи. Он разговаривал, как мишка Йоги.

— Доброе утро, — сказал дядя Чарли.

Мужчина кивнул, как будто больше не собирался разговаривать. Он обошел вокруг машины и сел на пассажирское сиденье.

— Матерь Божья, — сказал он, откидывая голову на сиденье. — Что я такое выпил вчера, черт подери?

— Как обычно, — отозвался дядя Чарли и бросил взгляд в зеркало заднего вида. Тут он опять удивился, увидев меня. — О. Кольт, познакомься с моим племянником. Он сегодня поедет с нами.

Кольт повернулся и посмотрел на меня через спинку кресла.

Через несколько минут в «кадиллак» набилась целая куча мужчин. Мы вроде ехали на пляж, но у нас было достаточно рук, чтобы ограбить банк. Дядя Чарли формально и натянуто представлял меня каждому мужчине.

— Рад с тобой познакомиться, парень, — сказал Джо Ди, гигант с рыжей головой, похожей на мочалку, и лицом, к которому как попало были приклеены нос, рот и глаза. Он как будто был слеплен из частей разных кукол «Маппет-шоу», как Франкенштейн из «Улицы Сезам» — голова Гровера, лицо Оскара, грудь Большой Птицы. Как и Кольт, он был лет на десять моложе дяди Чарли и относился к дяде с подчеркнутым уважением, как к старшему брату, который всегда прав. Несмотря на свою сутулость и неуклюжесть, Джо Ди обладал маниакальной энергией коротышки. Он ходил очень быстро, размахивал руками, изъяснялся словесными спазмами, после которых никак не мог отдышаться. Как при чихании у больного сенной лихорадкой, целые предложения извергались у него изо рта залпом. *«Наокеанесегоднябудетштормить.»* Чаше

всего Джо Ди обращал эти словесные спазмы к самому себе, а точнее, к нагрудному карману своей тенниски. Он был так поглощен и увлечен своим нагрудным карманом, что я подумал, не держит ли он там дрессированную мышь.

Потом я познакомился с Бобо, возраст которого было невозможно угадать, хотя мне он казался ближе всех к дяде по годам — ему было за тридцать. Бобо, самый красивый из этой группы, с копной соломенных волос, как у серфингиста, и мускулистыми руками, производил впечатление человека, которому все никак не удавалось хорошенько выспаться ночью. От него исходил аромат виски, запах, который я любил, хотя Бобо постарался заглушить его квартой лосьона после бритья, купленного в аптеке. В то время как Кольт и Джо Ди относились с почтением к моему дяде, Бобо не проявлял уважения ни к кому, кроме своего компаньона Уилбера — черного пса с огромными, полными презрения глазами.

Я слушал разговоры этих мужчин, и голова моя моталась взад-вперед, будто я смотрел четыре теннисных матча одновременно. Читая между строк, я понял, что все они работают в «Диккенсе» барменами, поварами и вышибалами, поэтому «боссом» они называли Стива. Стива они боготворили. Когда они упоминали о нем, казалось, что говорят не подчиненные, а апостолы. Они употребляли разные клички, такие как Шеф, Пио и Фейнблатт, но было ясно, что речь идет о Стиве. У каждого из мужчин тоже была кличка, которой их наградила Стив, за исключением дяди Чарли: у него их оказалось две — Чаз и Гусь. Через десять минут я услышал столько всевозможных кличек, что мне казалось, в машине вместо четырех мужчин сидит человек двенадцать. Потом ребята запутали меня еще больше, перечислив огромное количество людей, которые заходили в «Диккенс» вчера вечером, называя их Трубочист, Сани, Стрелок, Скизикс, Танк и Твою Мать.

— Кто такой Твою Мать? — спросил я. Я знал, что должен помалкивать, но вопрос вырвался сам собой.

Мужчины переглянулись.

— Твою Мать — швейцар, — сказал дядя Чарли. — Он подметает пол. Помогает с разными мелочами.

— А почему вы зовете его Твою Мать?

— Эта единственная фраза, которую он произносит, — объяснил Кольт. — Или, лучше сказать, единственная фраза, которую еще можно разобрать. Как сегодня сыграли «Янкиз»? А, твою мать. Как ты поживаешь? Ах, мать твою.

Я не слышал, что еще сказал Кольт. Я был слишком очарован его внешностью мишки Йоги. Каждое предложение, которое он произносил нараспев, звучало как «Эй, Бу-Бу, пошли поищем корзинки с пикника».

Джо Ди напомнил о том времени, когда Твою Мать жил за «Диккенсом» в машине. Стив запретил ему жить там, когда Твою Мать стал стирать белье в посудомоечной машине «Диккенса». Стив возражал не столько против стирки, заметил Кольт, сколько против того, что Твою Мать развешивал белье на деревьях за баром. Мужчины посмеялись, вспомнив эту историю, и Бобо рассказал похожую историю про Стива. Все вокруг напоминало мужчинам об очередной истории, приключившейся со Стивом. Как-то Стив угнал полицейскую машину и стал гонять по Манхассету, включив мигалку, с ревушими сиренами, разыгрывая своих друзей и доводя их до сердечного приступа. В другой раз в самолете Стив ходил туда-сюда по проходу с шампанским на подносе, спаивая пассажиров. Или как Стив повез компанию завсегдаев «Диккенса» на своей лодке «Дипсомания» в Монтаук, но слишком много выпил, сбился в тумане с курса и доплыл почти до «Новой долбаной Шотландии».

Дядя Чарли рассказал, что он впервые встретил Стива, когда они заканчивали манхассетскую школу. Стива как раз выгнали из Чеширской академии в Коннектикуте, школы, где все мальчишки носили синие пиджаки и ухмылялись. Чеширская потеря обернулась находкой для Манхассета, сказал дядя Чарли. Мне хотелось спросить, не в Чеширской ли академии Стив научился так улыбаться. В моих воспоминаниях Стив был похож на Чеширского Кота из «Алисы в стране чудес».

Все жарко обсуждали ремонт, который Стив грозился начать в «Диккенсе», — сложное и дорогое предприятие. Кроме нового дизайна помещения и усложнения меню, Стив планировал отказаться от рок-групп, которые выступали по вечерам. Еще более шокирующей новостью было то, что он подумывал о переименовании бара — в «Пабликаны». Мужчины это не одобряли. Совсем не одобряли. Они вообще не любили перемен, в особенности если дело касалось бара.

— А что это вообще, мать твою, означает — пабликан?

— Птица с двойным подбородком.

— Это пеликан, идиот.

— Пабликан — это бармен.

— Ну, пусть тогда Шеф назовет заведение «Бармены»?

— Да кто, черт возьми, будет приходить выпить в заведение с названием «Бармены»?

— Я, вот кто.

— Пабликаны — это бармены и владельцы баров по-английски, — пояснил дядя Чарли. — А в Древнем Риме пабликаном называли сборщика податей.

— Разумно. В этом мире предсказуемы только три вещи. Смерть. Налоги*. И бармены.

— Эй, Бобо, — сказал дядя Чарли. — Как ты умудрился притащить меня из «Диккенса» вчера ночью?

— Понятия не имею, — покачал головой Бобо.

Дядя Чарли улыбнулся, а Бобо обнял за шею свою собаку:

— Уилбер, мальчик, это ты нас вчера домой привез? А?

Он прижался лицом к собачьей шерсти, и пес отвернулся, будто стесняясь публичного проявления нежности.

Джо Ди вставил слово и объяснил мне — хотя в основном он разговаривал с мышью в кармане, — что Уилбер — человек в обличье собаки. «Человеквобличьесобаки!» Я посмотрел на Уилбера, чтобы убедиться, что это правда, и пес взглянул на меня, будто говоря: «Ну и что?» Доказательством сверхъ-

* Имеется в виду афоризм Бенджамина Франклина: «В этом мире все непредсказуемо, кроме смерти и налогов».

естественного ума Уилбера служило то, что пес отказывался ехать в машине Бобо, если Бобо был пьян.

— Он еще в поезде ездит, — вставил Бобо. — Назовите мне еще хоть одну собаку, которая каждое утро идет на станцию и садится в один и тот же чертов поезд.

— Правда? — сказал я.

— Истинный крест. Эта шавка путешествует, пацан. Каждое утро садится на поезд в восемь шестнадцать. Проводник как-то заходил в «Диккенс» и рассказал мне. У Уилбера, должно быть, подружка в Грейт-Нек.

Бобо продолжал гладить шерсть Уилбера. Я не сводил с них глаз. Я знал, что невежливо так тарашиться, но удержаться не мог. Бобо был не просто красив, он действительно напоминал медведя. Он не только именем походил на Балу, но и выглядел как мишка из «Книги джунглей» — мохнатый, рычащий, с большой влажной мордой. Одного медведя в машине — Кольта, также известного как Йоги, — было и так достаточно. Два медведя делали «кадиллак» похожим на цирковой автобус. И если связь Бобо с «Книгой джунглей» недостаточно вас впечатляет, то скажу, что у Уилбера была черная гладкая шерсть и он напоминал миниатюрную пантеру. Бобо был копией Балу, а Уилбер — Багиры. У меня помутилось в голове.

Когда мы выехали на скоростное шоссе, дядя Чарли выжал из «кадиллака» девяносто миль в час и все достали зажигалки. Были закурены сигары и сигареты, и зазвучали бесконечные истории. Я слушал внимательно и узнал, что мои попутчики играют на нервах у местных полицейских, которых дядя Чарли называл жандармами. По крайней мере, один из пассажиров побывал в заключении. Я также узнал, что если в бар приходит много народу, то за один вечер бармен в «Диккенсе» может заработать тысячу долларов, а бар собирает столько денег, что Стив превращается в одного из богатейших людей Манхассета. Я выяснил, что у бара пять мужских команд по софтболу и одна женская, «Цыпочки из «Диккенса». А игроки из бара не только одни из лучших в

своей лиге, но и «самые хитрые лисы». Я узнал, что половина барменов крутит шуры-муры с половиной официанток; что одну из женщин в баре называют «Шер для бедолаги», а другую, с волосами на лице, — «Сынок для бедолаги»; что работать за стойкой также называется «стоять за штурвалом». Понял, что Стив на должность бармена берет людей на случай потасовок или налетов и по этой же самой причине в каждую смену работают двое барменов; что у барменов, работающих бок о бок, развивается такая же связь, как у питчера и кетчера в бейсболе; что во время потасовки в баре бармены, вступающие в драку, должны прыгать через барную стойку ногами вперед, чтобы их не «вырубил» кто-нибудь из дерущихся. Услышал, что самую большую опасность в «Диккенсе» представляют вовсе не потасовки и налеты, а похмелье — что-то вроде простуды, которой ты можешь заразиться от алкоголя; и что для обозначения слова «выпить» существует бесконечный список слов, даже длиннее, чем список слов для обозначения секса, включая «вздоргнуть», «хряпнуть», «закладывать за воротник», «набраться» и «наклюкаться».

Я закрыл глаза, откинул голову на спинку сиденья и почувствовал, как вокруг меня закружились голоса и дым. Никто не видел Магони в прошлую пятницу? Вопрос в том, видел ли сам Магони кого-нибудь? Насосался, как клещ. На следующее утро у него, наверное, был серьезный отходняк. Лечиться ему надо. Я слышал, что его старухе порядком надоели его запои. Где ты это слышал? Его старуха, ха-ха. Ну, ты и сука. Ты меня называешь сукой? Если я прочту еще одно долбаное слово об этой чертовой двухсотлетней годовщине Америки, меня вырвет. Этот парень — настоящий патриот. Его девушка думает, что он патриот, потому что он всегда вооружен и готов к бою, хе-хе. Я патриот. Я просто не хочу больше ничего слышать про Бена Франклина, Банкер-Хилл* и Пола Ревира**. «Раз — с зем-

* Битва при Банкер-Хилл 17 июня 1775 года в ходе Войны за независимость в Северной Америке.

** Пол Ревир (1735–1818) — американский национальный герой, патриот Американской революции.

ли, и дважды — с моря*». Кстати говоря, Чаз, мне надо отлить в море — может твой драндулет ехать чуть быстрее?

Постепенно все голоса слились в один, и мне стало казаться, что я слышу Голос.

Бобо, который выпал из разговора, листая спортивные новости, поднял глаза и обратился к дяде Чарли:

— Гусь, что ты сегодня будешь делать с «Метс»? Сегодня играет Кусман, а я никогда не угадываю, как быть с этим придурком. Я не могу снова проиграть. Что ты думаешь?

Дядя Чарли взял прикуриватель и осторожно дотронулся им до «Мальборо». Из его рта кольцами пошел дым, и он ответил:

— Правило Чаза. Ставь на Куса — останешься с носом.

Бобо согласно кивнул.

Джилго был не самым красивым пляжем на Лонг-Айленде и не самым уединенным, но я догадался, что эти мужчины никогда бы не поехали в другое место — даже на соседний пляж, где женщины загорали топлес, — потому что Джилго был единственным пляжем, где продавали алкоголь. Крепкие напитки прямо на песке. Бар Джилго представлял собой всего-навсего засиженный мухами сарай для рыбачьих снастей с песчаным полом и выставленными в неровный ряд пыльными бутылками, но мужчины входили в дверь так, будто это был «Уолдорф»**. Они испытывали глубокое почтение к барам, и к этому бару в частности. Первое, что они сделали, — угостили всех присутствующих — трех рыбаков и женщину с морщинистым лицом и волчьей пастью. Потом взяли выпить себе. С первыми глотками холодного пива и «Кровавой Мэри» мужчины начали вести себя по-другому. Они расслабились, их смех стал задорнее. Бар-сарай сотрясался от их хохота, и я видел, как похмелье поднимается над нами, как утренний туман над океаном. Я тоже смеялся, хотя и не всегда понимал смысла шуток.

* Строки из поэмы Генри Лонгфелло, посвященной Полу Ревину. Тот попросил друга просигналить фонарем один раз, если британские войска подойдут с земли, и два раза — если с моря.

** «Уолдорф» — фешенебельная английская гостиница.

— Пора! — сказал Бобо с отрыжкой, напоминающей извержение вулкана. — Я промочил горло. Теперь мне нужно намочить штаны. В море!

Идя по песку, я на несколько шагов отстал от мужчин и заметил, что компания выстраивается в определенную фигуру. Дядя Чарли, самый высокий, вышел вперед, как фламинго, ведущий двух хищников — медведя из «Маппет-шоу» и тяжело дышащую пантеру. Я невольно продолжал видеть в них экзотических животных, а не представителей человеческого рода. Наблюдая, как они несут под мышками пляжные стулья, я видел гангстеров, несущих футляры от скрипок. Когда над их головами заиграли вспышки света от солнца, отражавшегося в океане, мне привиделся полк солдат, идущих под взрывами артиллерийских снарядов. В то утро я понял, что пойду за этими ребятами куда угодно. В атаку. В самое чрево ада.

Но только не в океан. Я остановился у кромки воды, а мужчины пошли прямо в прибой. Почти не останавливаясь, они кинули свои складные стулья и сбросили одежду. Войдя в воду, они продолжали идти, держа бутылки с пивом и стаканы в воздухе, как статуи Свободы, пока не погрузились в воду по живот, затем по грудь и по шею. Бобо зашел дальше всех. Он доплыл до отмели, которая была далеко от берега, а рядом с ним, яростно работая лапами, плыл Уилбер.

Я не очень хорошо плавал и не мог забыть наводящие страх бабушкины рассказы об омутах, в которых пропадали семьи, но мужчины не разрешили мне остаться на песке. Они приказали зайти с ними в воду и, когда я вошел, швырнули меня в волны. Я вспомнил мамин рассказ о том, как дедушка отнес ее далеко в море, а потом бросил одну, и у меня напряглось все тело. Джо Ди приказал мне расслабиться. «Расслабься, парень, просто расслабься, мать твою». *Расслабься, парень, просторасслабься-мать твою.* Хотя на суше Джо Ди производил впечатление человека на грани нервного срыва, на море он был экспертом по расслаблению. Он мог избавиться от напряжения в каждом мускуле тела и качаться на воде как медуза — ирландская медуза весом в двести шестьдесят фунтов. Я наблюдал за выражением

его лица, когда он лежал на волнах, — полная безмятежность, которой я никогда больше не видел на лице человека. Потом его лицо стало еще безмятежнее, и я понял, что он мочится.

Если Джо Ди замечал волну, он выгибал тело ей навстречу, позволяя поднять его и вынести на берег. «Это называется бодисерфингом». После долгих уговоров и просьб я позволил ему показать мне, как это делается. Я разрешил себе расслабиться, полностью расслабиться и впервые в жизни лег на спину. Хотя уши у меня были под водой, я слышал слова Джо Ди: «Молодец, мальчик, молодец!» Он подтолкнул меня навстречу волне. Я почувствовал, как мое тело слегка приподняли, покачали, а потом перебросили через гребень волны. Я завертелся в воздухе, как человек-бумеранг, — возбуждающее ощущение потери контроля, которое всегда будет у меня ассоциироваться с Джо Ди и его ребятами. Приземлившись на песок, я вскочил на ноги, весь покрытый водорослями и кусочками ракушек, и, повернувшись, увидел свистящих и хлопающих мужчин. Громче всех хлопал Джо Ди.

Мы прошествовали обратно к стульям, высунув языки, как Уилбер. Ни у одного из мужчин не было полотенца, и я, завернувшись в свое, чувствовал себя маменькиным сынком. Мужчины шлепнулись на свои пляжные стулья, позволив солнцу высушить их огромные тела. Они закурили сигареты и сигары, держа их влажными пальцами, и вздохнули от удовольствия, когда дым наполнил грудь. Я, как Белый Филин, закурил крабовую ногу.

Обсохнув, мужчины поставили стулья в круг, открыли газеты и стали пылко обсуждать новости дня. Разговор завертелся вокруг меня кругами, как карусель. Как насчет Патти Херст? Она немного не от мира сего. Может, и так, но я все равно бы ее трахнул. А если бы у нее был автомат в руках, ты бы

* В 1974 году члены террористической группировки похитили в Сан-Франциско Патрицию Херст, наследницу легендарного газетного магната Уильяма Рэндалфа Херста. В течение нескольких лет заложница была невольной свидетельницей терактов и вскоре сама присоединилась к своим похитителям, став символом политической борьбы.

все равно ее трахнул? *Особенно* если бы у нее в руках был автомат, ха-ха! Ты совсем больной. Если и нужно кого-то отыметь, то я сегодня отымею «Метс». В конце концов — Кус должен выиграть, правда? Лентяй долбаный. Ставь на Куса — останешься с носом. Запиши меня в свою книжечку — ставлю на «Метс». Как, черт возьми, Формен остановил Фрейзера*, кто-нибудь может мне сказать? Самым лучшим боксером, которого я когда-либо видел, был Бенни Басс. Да, мой старик видел, как он проиграл свой титул Шоколадному Парню Монталво! Черт подери, в Бейруте кровавое месиво. Рейган говорит, что у него есть ответ. Господи Иисусе, в таком случае где, мать твою, вопрос? Какой замечательный захват у этого Формена! Он мог бы поезд остановить. Вы читали, где прошла свадьба праправнука Натана Хейла** в выходные? Дайте мне свободу или дайте умереть — вот что скажет жених приблизительно через месяц. Послушайте: двое мужчин найдены в багажнике автомобиля в аэропорту Кеннеди — полицейские подозревают, что дело нечисто. Кто-то поднялся ни свет ни заря, чтобы обмануть нью-йоркских копов. Восторженные отзывы о новом романе об Ирландии Леона Юриса. Едоки картошки встречают едоков лотоса. Что, черт возьми, это значит? Может быть, я прочту эту книгу летом на пляже: я недостаточно осведомлен о родине своих предков. Родина твоих предков — Квинс, придурок. Эй, «Челюсти» сегодня идут в Рослине, давайте сходим. Я не буду смотреть «Челюсти», я месяц не мог зайти в воду после того, как прошлым летом посмотрел этот фильм. Не парься, акулы к тебе не подплывут, придурок, твоя кровь на девяносто процентов состоит из алкоголя. У него яйца как оливки в коктейле — акула куснет разок и вырубится. Откуда такая осведомленность о моих яйцах, интересно знать? Я скажу тебе, кто вырубится, — ты, если не трахнешь Патти Херст.

— Кто такая Патти Херст? — спросил я дядю Чарли.

* Имеется в виду вошедший в историю бокса матч между Джо Фрейзером и Джорджем Форменом 22 января 1973 года в Кингстоне, Ямайка.

** Натан Хейл (1755–1776) — офицер Континентальной армии во время гражданской войны в США.

— Телка, которую похитили, — отозвался тот. — Она влюбилась в своих похитителей.

Я внимательно посмотрел на него. Посмотрел на всю компанию. Мне казалось, что я понимаю, что чувствовала Патти Херст.

Ребята нарисовали в центре круга часы и поручили мне разбудить их, когда тень дойдет до деревянной палочки, воткнутой в песок. Я изучал тень, медленно ползущую по циферблату. Я слушал храп, смотрел, как чайки вылавливают из моря ракушки, и подумывал о том, чтобы вытащить палку. *Если я вытащу палку из песочных часов, время остановится и этот день никогда не кончится.* Когда тень дошла до палки, я осторожно разбудил каждого из них по очереди.

По дороге домой ребята, одурманенные пивом и солнцем, молчали. Но тем не менее общались при помощи жестов и мимики. Целые диалоги состояли из пожиманий плечами и нахмуренных бровей. У Джо Ди пожимать плечами получалось явно лучше, чем расслабляться.

Нашей первой остановкой в Манхассете был «Диккенс». Компания собралась у задней двери, поглядывая на меня, пока дядя Чарли не кивнул и они не позволили мне войти с ними. Мы прошли в помещение ресторана. Слева я увидел длинные ряды кабинок. Дальше находился непосредственно сам бар, где вдоль стойки стояла группа мужчин. Их лица казались еще краснее, чем наши, хотя было непохоже, что они обгорели, а носы напоминали овощной прилавок — слива, помидор, яблоко и грязная морковь. Дядя Чарли представил меня каждому из мужчин, последним назвав самого маленького и печально известного Твою Мать, который отошел от барной стойки и приблизился ко мне. Его череп с туго натянутой на него темно-коричневой кожей, казалось, светился изнутри — то ли из-за неподдельной радости, то ли благодаря выпитой водке, а лицо было как пакет из коричневой бумаги, внутри которого тлела свечка.

— Это, должно быть, вымзик с мырлым шрапсом. — Он пожал мне руку, улыбаясь и весь превращаясь в улыбку, не смотря на сухие губы и картонные зубы.

— Чаз, — сказал он, — я не позволю ему... Это я вам говорю, твою мать, мать твою, хо-хо-хо.

Я посмотрел на дядю Чарли, ища помощи, но тот рассмеялся и заверил Твою Мать, что все именно так, как он говорит.

Твою Мать повернулся ко мне и спросил:

— Какая самая stuшная вещь, которую ты и твой добаный дюдя делили в тыкой погорявый мерный стып?

Мое сердце забилося чаще.

— Даже не знаю.

Твою Мать рассмеялся и потрепал меня по голове.

— Да брось ты барвыняться, тобик мыж!

Дядя Чарли налил себе выпить, а мне дал «Рой Роджерс»^{*} и попросил занять себя чем-нибудь, пока они с ребятами поговорят по телефону. Я запрыгнул на барную табуретку и стал медленно вращаться, запоминая каждую деталь интерьера бара. На деревянных перекладинах под потолком висели сотни коктейльных бокалов, которые отражали свет, как большой подсвечник. На сорокафутовой полке за стойкой были расставлены в огромном количестве бутылки с алкоголем всех цветов радуги, которые тоже отражались в бокалах наверху. Создавалось впечатление, что находишься внутри калейдоскопа. Я провел рукой по поверхности стойки. Прочное дубовое покрытие. В три дюйма толщиной. Я слышал, как один из мужчин сказал, что дерево недавно покрыли несколькими слоями лака. Поверхность была рыжевато-коричневой, как львиная шкура. Я осторожно погладил ее. Я восхищался дощатым полом, до гладкости отполированным миллионами шагов. Изучал свое отражение в старомодных серебряных кассах, как будто купленных в сельской лавке в прерии. С тем же яростным исступлением, которое я обычно испытывал, представляя себя Томом Сивером, я теперь представлял себя самым популярным мужчиной в «Диккенсе». Народу в баре было не протолкнуться. Поздний вечер. Я рассказывал что-то, и все меня слушали. *«Всем замолчать — пацан говорит!»*

^{*} Безалкогольный коктейль из колы и сиропа «Гренадин».

Я удерживал их внимание одним только своим голосом, своим рассказом. Жаль, что я не знал ни одной стоящей истории. «Интересно, — думал я, — как бы бабушка справилась в «Диккенсе»?»

Задняя стена бара состояла из больших панелей цветного стекла. Рядом со мной появился Бобо и сказал, что мне не стоит слишком внимательно к ним приглядываться.

— Почему? — поинтересовался я.

— Ты заметил в них что-нибудь особенное? — спросил он, закидывая в рот вишенку.

Подавшись вперед, я прищурился. Но ничего не замечал.

— Эти панели разрисовала Чокнутая Джейн, — сказал Бобо. — Подружка Стива. Видишь что-нибудь на этом рисунке?

Я внимательнее посмотрел на панель слева. Неужели это... это?

— Пенис, — кивнул Бобо. — Угадал. А значит, на второй панели...

Я не знал, как это должно выглядеть, но если рассуждать логически, то это могла быть только одна вещь.

— Это женская?..

— Да.

Смушенный, я спросил, что в задней комнате.

— Там проводят разные праздники, — ответил Бобо. — Мальчишники, семейные торжества, встречи выпускников, корпоративные вечеринки, ужины с пищей после игр Малой лиги. И еще рыбы бои.

— Рыбы бои?

— *Рыбы бои*, — подтвердил подошедший Кольт.

Бармены, сказал Кольт, часто запускают двух сиамских рыбок в банку с водой и делают ставки на исход боя.

— Но рыбки, — произнес Кольт с нескрываемой печалью в голосе, — часто устают, и мы объявляем ничью.

Из подвала появился дядя Чарли и включил стерео.

— А, — заметил Бобо, — «Летний ветер».

— Замечательная песня. — Дядя Чарли сделал звук погромче. — Люблю Синатру. Вот это голос!

Он не заметил ошеломленного выражения моего лица.

Вскоре нам с дядей Чарли пришло время уходить. Я старался сдерживать слезы, зная, что дядя вернется в бар, а я в гнетущей атмосфере буду есть несъедобный ужин с бабушкой и дедушкой.

— Нам было очень приятно, что ты съездил с нами на пляж, — сказал Джо Ди. — Тебе нужно еще раз прийти, пацан.

Тебе нужно еще раз прийти пацан.

— Я приду, — пообещал я, пока дядя Чарли вел меня к задней двери. — Я приду.

В то лето я каждый день ездил на пляж, если позволяла погода и у ребят не было похмелья. Открыв глаза поутру, я первым делом смотрел на небо, потом спрашивал бабушку, во сколько дядя Чарли пришел домой из «Диккенса». Ясное небо и раннее возвращение дяди Чарли означали, что к полудню мы с Джо Ди будем заниматься бодисерфингом. Облака или поздний приход дяди приводили к тому, что я весь день читал «Минутные биографии» на «двухсотлетнем» диване.

Чем больше времени я проводил с дядей Чарли, тем больше я говорил, как он, ходил, как он, копировал его манеры. Я опирался на локти, когда жевал. Еще я разыскивал его и пытался вызвать на разговор. Думал, это будет легко. *Раз мы вместе проводим время в Джилго, мы друзья, правда?* Но дядя Чарли был сыном своего отца.

Как-то раз я заметил, что он в одиночестве сидит за обеденным столом и ест бифштекс на косточке. Я подсел к нему.

— Жаль, что дождь идет, — сказал я.

Чарли подскочил и прижал руку к сердцу.

— Господи Иисусе! — воскликнул он. — Ты откуда?

— Из Аризоны. Ха!

Он покачал головой и опять уткнулся в газету.

— Очень жаль, что дождь идет, — повторил я снова.

— А мне нравится, — заметил дядя, не отрываясь от газеты. — Соответствует моему настроению.

Я нервно потер ладони.

— Бобо сегодня будет в «Диккенсе»? — спросил я.

— Неверно, — продолжая смотреть в газету, ответил дядя. — Бобо в черном списке.

— Что Бобо делает в баре?

— Готовит.

— Уилбер там будет?

— Уилбер в поезде.

— Мне нравится Уилбер.

Нет ответа.

— А Кольт там будет?

— Неверно. Кольт идет на матч «Янкиз».

Пауза.

— Кольт смешной, — сказал я.

— Да, — торжественно подтвердил дядя Чарли, — Кольт смешной.

— Дядя Чарли, можно я посмотрю следующее дерби на разрушение на Пландом-роуд?

— На Пландом-роуд каждый вечер дерби. Весь чертов город находится под воздействием алкоголя. Не возражаешь, если я скажу «под воздействием»?

Я помолчал, пытаюсь подобрать удачный ответ. Прошла целая минута, прежде чем я выдал из себя:

— Нет.

Чарли оторвался от газеты и посмотрел на меня:

— Что?

— Не возражаю, если ты скажешь «под воздействием алкоголя».

— О. — Он снова уткнулся в газету.

— Дядя Чарли, почему Стив назвал бар «Диккенс»?

— Потому что Диккенс — великий писатель. Стив, должно быть, любит писателей.

— Что в нем такого великого?

— Он писал о людях.

— Но ведь все пишут о людях!

— Диккенс писал об эксцентричных людях.

— Что такое «эксцентричный»?

— Уникальный. Единственный в своем роде.

— Разве не все люди уникальны?

— Господи, парень, нет! В этом-то, черт возьми, и заключается проблема.

Он снова поднял глаза. Посмотрел на меня пристально.

— Сколько тебе лет?

— Одиннадцать.

— Ты задаешь слишком много вопросов для одиннадцатилетнего мальчика.

— Мой учитель говорит, что я как Джо Фрайдей*. Ха.

— Хм.

— Дядя Чарли!

— Да-а?

— Кто такой Джо Фрайдей?

— Полицейский.

Долгая пауза.

— Одиннадцать, — произнес дядя Чарли. — Да, замечательный возраст. — Он налил кетчуп на кость с мясом. — Оставайся в нем навсегда. Что бы ты ни делал, оставайся одиннадцатилетним. Не взрослей. Сечешь?

— Секу.

Если бы дядя Чарли попросил меня принести ему что-нибудь с Луны, я бы это сделал, без вопросов, но каким образом я должен был оставаться одиннадцатилетним? Я снова потер ладони.

— «Метс» сегодня выиграют? — спросил он, просматривая список своих ставок.

— Кусман на подаче, — подсказал я.

— Ну и что?

* Детектив Джо Фрайдей — герой американского телевизионного сериала «Невод» (1952–1959).

— Ставь на Куса — останешься с носом.

Чарли перестал жевать и уставился на меня:

— Ты все на ус наматываешь, да?

Проглотив, он сложил газету пополам и встал из-за стола, не спуская с меня глаз. Потом прошел по коридору в спальню. Я успел выпить пиво из его стакана перед тем, как вошла бабушка.

— Как насчет кусочка пирога? — предложила она.

— Неверно. Печенье. Сечешь?

У нее отвисла челюсть.

Если у дяди Чарли было слишком тяжелое похмелье, бабушка не говорила, что у него похмелье. Она говорила, что он переел картофельных чипсов в баре и у него болит живот. Правда, как-то утром она даже не стала утруждать себя историей про чипсы, потому что дядя Чарли был совсем плох и запах виски из спальни перешибал все. Я качался в гамаке на заднем дворе и скучал.

— Что это качается, пацан?

Я сел. В проходе возле дома стоял Бобо, рядом с ним Уилбер. Они пришли «спасти меня», заявил Бобо.

— Почему Гусь портит всем удовольствие? — сказал он. — Черт с ним, с Гусем. Сегодня только ты, я и Уилбер. Три амигос.

Я не мог понять, почему Бобо делает мне такое предложение, разве что он не знал дорогу в Джилго и нуждался в моей помощи, чтобы найти пляж. Или, может быть, ему действительно нравилось проводить со мной время? Или, может, Уилберу нравилось? Бабушка была озадачена еще больше меня. Она вышла на улицу посмотреть на Бобо и, похоже, едва сдержалась, чтобы не вызвать полицию. Только потому, что Бобо был другом дяди Чарли, и потому, что Уилбер смотрел на нее умоляюще, она сказала «да».

Когда мы выезжали на Пландом-роуд, я подумал, что Бобо, должно быть, очень хочет спать. Я не понимал, что он пьян в стельку. Он выпил банку «Хайнекена» в три глотка и отправил меня на заднее сиденье достать ему еще одну из

пенопластового ящика со льдом. Я обнаружил, что Уилбер прячется в отсеке за ящиком, и вспомнил, что, по словам Джо Ди, Уилбер знает, когда Бобо выпил лишнего.

Мили за две до Джилго, когда я лез на переднее сиденье с очередным «Хайнекемом», машина Бобо резко развернулась назад. Нас понесло в сторону, мы перелетели через три линии, а потом мы с Уилбером врезались в заднюю дверь автомобиля. Повсюду растеклось пиво. Кубики льда загремели по машине, как бусины в маракасе. Я слышал скрежет шин, звон стекла, вой Уилбера. Когда машина остановилась, я открыл глаза. Мы с Уилбером были все в синяках и мокрые от пива, но благодарили судьбу, потому что оба знали, что могли умереть. Нас обоих спасла большая, мягкая дюна, которая поглотила удар.

В ту ночь мне приснился сон (или, скорее, кошмар). Я находился на пляже. Темнело, и мне нужно было домой, но Бобо не мог вести автомобиль. Уилберу придется сесть за руль, сказал он мне. Пока Бобо спал на заднем сиденье, я сидел для страховки впереди, наблюдая, как Уилбер везет нас по скоростному шоссе. Пес периодически крутил ручку настройки радио, потом поворачивался ко мне с зубастой дьявольской улыбкой, будто говоря: «А что такого?»

Тетя Рут прослышала про мои экскурсии в Джилго и решила, что Макграу тоже должен поехать с нами. Однажды утром она привезла его к дедушке. Я никогда не видел парня таким возбужденным. Но когда утро перешло в день, а дядя Чарли так и не подал признаков жизни, Макграу отчаялся.

— Похоже, мы никуда не едем, — сказал он, беря битую и выходя на задний двор. Я пошел за ним.

И тут мы услышали, как дядя Чарли хлопнул дверью, закашлял и потребовал кока-колу и аспирина. Бабушка заспешила по коридору и спросила дядю Чарли, поедет ли он на пляж.

— Нет, — отрезал он. — Может быть. Я не знаю. А что?

Она стала говорить тише. Мы с Макграу смогли расслышать только несколько слов: «Рут спрашивала... взять Макграу... хорошо для мальчиков...»

Потом мы услышали дядю Чарли. «Бармены, а не няньки... достаточно места в «кадиллаке»... отвечать за двух малолетних...»

Дядя Чарли вышел на задний двор и увидел меня и Макграу на крыльце. У каждого из нас под хлопчатобумажными штанами были поддеты плавки, и каждый держал пакет из магазина «A&P», в котором лежало то, что мы считали нужным взять в дорогу, — спортивный журнал, банан и полотенце.

Чарли, на котором кроме трусов ничего не было, встал посреди двора:

— Вы, два олуха, хотите поехать в Джилго?

— Конечно, — ответил я небрежно.

Макграу кивнул.

Дядя Чарли посмотрел на верхушки деревьев — он часто так делал, когда сомневался. Иногда мне казалось, что он грезит, что мог бы жить там, в домике на верхушке самой высокой дедушкиной сосны, в крепости, которая была бы еще недостижимее и безопаснее, чем его спальня.

— Две минуты, — сказал он.

Мы с Макграу сидели сзади, пока дядя Чарли ехал по городу. Сначала мы остановились забрать Бобо. Когда Бобо и Уилбер уселись на переднее сиденье, они сначала посмотрели на Макграу, потом перевели взгляд на дядю Чарли.

— Гусь, — хмыкнул Бобо, — нашего полку прибыло.

— Да, — ответил дядя Чарли, прочищая горло. — Это еще один мой племянник. Макграу, поздоровайся с Бобо и Уилбером.

— А сколько всего у тебя племянников, Гусь? — спросил Бобо.

Нет ответа.

— Гусь, я думаю, однажды тебе придется заехать за мной на школьном автобусе, твою мать.

Когда мы подъехали к дому Джо Ди, Бобб все еще продолжал издеваться над дядей Чарли.

— Гусь, я буду звать тебя Матушка Гусыня!

— Матушка Гусыня, — повторил Макграу, хихикая. Я гкнул его в бок. Никаких насмешек над дядей Чарли.

— Что это? — спросил Джо Ди, садясь на заднее сиденье и указывая на Макграу.

— Мой племянник, — ответил дядя Чарли.

— Пацан Рут?

— Мм-хм.

Похоже, только Кольт обрадовался, увидев нас.

— Что?! — воскликнул он, протискиваясь на заднее сиденье и выпихивая Макграу мне на колени. — Еще один пацан? Чем больше, тем веселее, а, ребята?

Макграу открыл и закрыл рот, и я знал почему. Мишка Йоги.

Дядя Чарли ехал очень быстро, вероятно потому, что машина была набита битком и он чувствовал, что всем не терпится выйти. В Джилго он купил нам с Макграу гамбургеры. Мне он ни разу не покупал гамбургер в Джилго, но Макграу всегда выглядел голодным. Умяв бургер в три укуса, Макграу спросил, нет ли в баре молока. Я покачал головой. Потом Бобо срыгнул, и я сказал Макграу, что это сигнал. В море.

Мы с Макграу прошли по песку за ребятами. Последовав их примеру, сбросили одежду, оставшись в одних плавках, и двинулись вперед, ударяясь о волны. Когда я остановился, Макграу, однако, продолжал плыть. Он проплыл мимо меня, мимо мужчин и даже мимо отмели, на которой стоял Бобо. Это заметил только Джо Ди. Когда голова Макграу превратилась в точку на горизонте, Джо Ди заорал:

— Давай назад, Макграу!

Макграу не обращал на него внимания.

— Ну, ты прикинь, что парень творит? — сказал Джо Ди, пока я шагал по воде.

Возможно, он обращался ко мне, но я не ответил. Я был почти уверен, что он говорит со своей мышкой. Интересно, думал я, где он прячет мышку, — в воде-то он без рубашки.

— Пацан вообразил, что он Джонни Вайсмюллер*. Он в миле от берега. Давай, плыви дальше, пацан, следующая оста-

* Джонни Вайсмюллер (1904—1984) — американский пловец и актер, один из лучших пловцов мира в двадцатые годы, выигравший пять золотых и одну бронзовую олимпийскую медаль.

новка — Мадрид. Сейчас ногу тебе сведет, и будешь рыб кормить. — Джо Ди повернулся и увидел дядю Чарли на пляже, развалившегося в шезлонге и спокойно читающего газету.

— Замечательно, — сказал он мышке. — Гусю наплевать (*Гусюнаплевать*). Я должен следить за его долбаными племянниками, пока он почитывает газетку. Замечательно, твою мать. Я, твою мать, сегодня вообще не расслаблюсь.

Меня взбесило, что Макграу раздражал Джо Ди. Если кто-то из компании пожалуется на то, что мы ездим в Джилго, — по-настоящему пожалуется, а не в шутку, как Бобо, — то нас больше никогда не пригласят. У мужчин были свои правила поведения, и мне хотелось врезать Макграу за то, что он не следовал этим правилам. Но в то же время я завидовал ему. Он плыл в Мадрид, а я цеплялся за бабушкины предупреждения и держался ближе к берегу. И дело было даже не в том, что Макграу ничего не боялся. Он как будто хотел попасть в быстрое течение, искал его, будто напрашивался, чтобы его унесло. Он был слегка не в себе, что делало его похожим на мужчин.

Когда Макграу вышел из воды, я сердито посмотрел на него, а он притворился, что не замечает. Он сел рядом со мной в середину мужской компании и начал строить песочный замок. Я сказал ему, что мы не должны делать ничего, что будет раздражать друзей дяди Чарли. Но Джо Ди приказал всем «вырубиться». Он повернулся к остальной компании и добавил:

— Все, что угодно, только держите Флиппера* подальше от этой долбаной воды.

Возле замка из песка мы с Макграу построили песочные часы, за которыми он помогал мне присматривать, когда мужчины заснули. От их храпа, подобного реву реактивного мотора, и вида Джо Ди, который разговаривал во сне со своей мышкой, Макграу завалился на спину и захихикал, от чего меня тоже разобрал смех, и нам пришлось зажимать рты руками, чтобы никого не разбудить.

* Флиппер — дельфин из одноименного американского сериала (1964–1967).

В тот вечер мы с Макграу сидели на «двухсотлетнем» диване, играли в карты, смотрели «Странную парочку»* и не могли наговориться о Джилго. Ему хотелось ездить туда каждый день. Он хотел жить в Джилго. Макграу сказал, что Джек Клагман** похож на Бобо. Я предупредил брата, чтобы он особо не обнадеживался. Все непостоянно, объяснил я. Погода, похмелье. Никогда не знаешь, что случится, — день на день не приходится. К тому же в какие-то дни тетя Рут разрешала Макграу поехать, в какие-то — нет. Иногда у него была тренировка по бейсболу, иногда его наказывали. Иногда тетя Рут вообще ничего не объясняла.

Когда Макграу не мог поехать в Джилго, я сидел среди мужской компании и скучал по нему. Теперь, если его не было, ощущения от поездки казались не такими сильными. С Макграу все было веселее. Я делил с ним эту компанию, и мы вместе смеялись над удивительными вещами, которые говорили и делали мужчины. Слепень укусил Бобо в бедро и улетел, покачиваясь, пьяными зигзагами, а потом резко спикировал вниз и умер, и мне жаль было, что Макграу этого не видит.

Хотя ребята были неизменно добры ко мне, они меня практически не замечали, и в отсутствие Макграу я успевал забыть, как звучит мой собственный голос. Если же мужчины обращались ко мне напрямую, типичный диалог происходил примерно так: Джо Ди смотрел на меня. Я смотрел на него. Он смотрел на меня еще пристальнее. Я продолжал не сводить с него глаз. Наконец он спрашивал: «С кем сегодня играет «Уайт Сокс»?» — «С «Рейнджерс», — отвечал я. Он кивал. Я кивал. Конец диалога.

Скучая по Макграу, я начинал думать и о маме, которой мне тоже все больше и больше не хватало. Я смотрел на океан и пытался представить, что она сейчас делает. Междугород-

* «Странная парочка» — популярный американский телевизионный сериал по мотивам одноименной бродвейской пьесы Нила Саймона (1970–1975).

** Джек Клагман (род. 1922) — актер, сыгравший одну из главных ролей в «Странной парочке».

ные телефонные звонки были ей не по карману, и мы обменивались звуковыми письмами, записанными на кассеты. Я проигрывал ее кассеты снова и снова, анализируя ее голос в поисках признаков стресса или усталости. На последней кассете голос ее звучал радостно. Слишком радостно. Она сказала, что взяла напрокат диван с красивым коричнево-золотым узором — никаких лиц отцов-основателей. «Раньше у нас никогда не было дивана!» — гордо сказала она. Но я переживал. А что, если диван нам не по карману? Что, если она не сможет вносить платежи? Что, если она начнет тыкать в кнопки калькулятора и плакать? Что, если меня не будет рядом, чтобы отвлечь ее шутками? *Я не буду переживать из-за того, чего никогда не произойдет.* В Джилго моя мантра почему-то не работала. Беспокойные мысли быстро настигали меня. *Почему я здесь? Я должен быть в Аризоне, помогать матери. Возможно, прямо сейчас она едет на машине через пустыню и поет.* С каждой новой волной, ударяющейся о берег, в моей голове рождалась очередная невеселая мысль.

Чтобы отвлечься, я повернулся к мужчинам. Дядя Чарли был расстроен.

— У меня сегодня мысли в голове путаются, — сказал он, кладя руку на висок. — Этот «ворди-горди», будь он неладен, меня озадачил.

— Кто такой, черт подери, этот «ворди-горди»? — спросил Бобо.

— Ребус в газете. Там дается идиотская подсказка, а ответ должен состоять из двух слов, которые рифмуются. Как, например, чижик-пыжик или ванька-встанька. Это детская игра. Первый ребус я разгадал. Машина Джейн. «Хонда» Фонды. Но вот остальные — я не знаю. Должно быть, я страдаю острой самбуковой мозговой недостаточностью.

— И легким водкином.

— Это хроническое состояние.

— Ну-ка, прочитай нам один.

— Ладно, — согласился дядя Чарли. — Давайте посмотрим, насколько хорошо у вас котелки варят. Кухонный прибор Ричарда.

Бобо закрыл глаза. Джо Ди ковырял палкой песок. Кольт чесал подбородок.

— Вот долбаные ребусы! — воскликнул Бобо. — Жизнь и без того достаточно запутанная штука.

— Миксер Никсона, — сказал я.

Тишина окутала нас, как тень. Мужчины смотрели на меня во все глаза в оцепенении. Если бы заговорил Уилбер, они бы меньше удивились. Даже Уилбер выглядел озадаченным.

— Во дает пацан, — хмыкнул Кольт.

— Черт возьми, — подтвердил Бобо.

— Прочти ему еще один, — попросил Джо Ди свою мышку. *Прочтиемущеедин.*

Дядя Чарли посмотрел на меня, потом снова в газету и прочитал:

— Потрясающий Гарри.

Я подумал и предположил:

— Супер Купер?

Мужчины вскинули руки вверх и заулюлюкали.

Именно в тот день все переменялось. Я всегда думал, что должен быть какой-то пароль, чтобы войти в этот мужской круг. Паролем стали *слова*. Владение языком легализовало меня в глазах этой компании. После того как я разгадал ребусы «ворди-горди», я перестал быть для них просто талисманом. Конечно, они не вовлекали меня в каждый разговор, но перестали относиться ко мне как к чайке, которая случайно к ним забрела. Из призрака, которого едва замечают, я превратился в реального человека. Дядя Чарли уже не подпрыгивал всякий раз, когда обнаруживал, что я стою у него за спиной, и остальные мужчины стали приглядываться ко мне, общаться со мной, учить меня чему-то. Они научили меня ловить крученный мяч, правильно замахиваться бейсбольной битой, делать спиральную подачу, играть в покер. Они показали мне, как пожимать плечами, хмуриться и по-мужски относиться к жизни. Теперь я умел правильно стоять и знал, что осанка мужчины — это его философия. Меня научили

говорить «...твою мать», вручив мне это выражение, будто перочинный нож или хороший костюм — атрибут каждого парня. Теперь в моем арсенале было много способов, как с помощью «...твою мать» ослабить гнев, испугать врагов, сплотить союзников, заставить рассмеяться даже тех, кому не до смеха. Меня научили произносить это выражение с силой, со значением, даже с изяществом. Зачем кротко спрашивать, как дела, говорили друзья дяди Чарли, когда можно спросить «Как жизнь, мать твою?». Они продемонстрировали много словесных рецептов, в которых «...твою мать» было основным ингредиентом. Бургер в Джилго, например, оказывался в два раза вкуснее, если, заказывая его, сказать: «Мне Джилго-бургер, мать вашу».

Все, чему мужчины научили меня в то лето, попадало под пространную категорию «прочее». Я знал прочее. Но позже понял, что этого недостаточно.

Кроме периодических уроков, ребята давали мне задания. Они посылали меня в Джилго за выпивкой и сигаретами, или просили почитать колонку Джимми Бреслина в газете, или отправляли в качестве своего агента к одеялу, на котором загорали привлекательные девушки. Я наслаждался этими заданиями как возможностью оправдать их доверие и мгновенно бросался выполнять. Например, когда в Джилго шла игра в покер, вечной проблемой был ветер, поднимающийся от воды, и в мои обязанности входило придерживать карты и ставки на одеяле. С этой задачей лучше всего справился бы осьминог, но я справлялся, и когда карту сдувало, я летел за ней. Я до сих пор с гордостью вспоминаю выражения на лицах мужчин, когда я пробежал пятьдесят ярдов в погоне за бубновым валетом и схватил его как раз перед тем, как он чуть не улетел в океан.

Проснувшись, я увидел темное небо не по сезону холодного июльского дня. Никакого Джилго. Я лег на «двухсотлетний» диван и открыл «Минутные биографии». Однако дядя Чарли, проснувшись, велел мне одеваться.

— Джилго? — спросил я.

— Неверно. «Метс», «Филлис». Два матча.

Меня повысили.

Хотя сама поездка на стадион «Шиа» была и без того удивительным событием, дядя Чарли разрешил мне надеть одну из его бейсболок. Я выбрал зеленую, цвета лайма, с лентой из шотландки, и встал у зеркала, восхищаясь собой, поворачивая козырек так и эдак, пока дядя Чарли не сказал, что пора идти.

Сначала мы заехали за Джо Ди. Он сделал мне комплимент по поводу моего нового «шапо». Потом мы заехали за парнем по имени Томми. Он был здоровым, как и Джо Ди, и, пусть и не походил на куклу из «Маппет-шоу», черты его лица, казалось, находились не на своих местах. Лицо у него было более мясистое, чем у Джо Ди, и более эластичное, и когда Томми хмурился, что происходило каждые две минуты, уголки его губ опускались вниз, а за ними и остальные черты лица — нос, рот, глаза и щеки устремлялись к подбородку, будто их засасывало в водосток. Томми тоже похвалил мою бейсболку, потом заметил, что и на нем теперь «новая шляпа». Он объяснил, что сменил работу.

— Томми только что взяли на работу в «Шиа», — объяснил дядя Чарли, глядя на меня в зеркало заднего вида. — Начальником службы безопасности. Он там всем заправляет. Взять, например, сегодняшнюю нашу поездку. Томми нас бесплатно проведет.

Мы остановились в закускойной в Манхассете, чтобы купить сигареты и выпить чаю со льдом. Потом, вместо того чтобы ехать в сторону скоростного шоссе, мы завернули в «Диккенс».

— Кто еще едет? — спросил я, когда мы все уселись на табуретки у стойки.

Дядя Чарли посмотрел в сторону.

— Пат, — сказал он.

— Кто он? — поинтересовался я.

— Она, — поправил дядя Чарли.

— Пат — новая подружка твоего дяди, — прошептал Томми.

Мы ждали эту самую Пат. Меня не обрадовало, что к нашей компании присоединится женщина, и мне совсем не нравилось, что она опаздывает. Наконец она появилась со свистящим звуком, будто порыв ветра распахнул дверь и внес ее с собой. У нее были волосы цвета виски, ярко-зеленые глаза и веснушки, похожие на мокрые листочки, прилипшие к носу. Она была долговязой, как дядя Чарли, — тоже фламминго, только более женственный.

— Привет, ребята! — закричала она, швыряя сумочку на стойку.

— Привет, Пат!

— Простите, что опоздала. Пробки были невероятные. — Она закурила сигарету и оглядела меня сверху вниз. — Ты, должно быть, Джей Ар.

— Да, мэм. — Я вскочил с барной табуретки, снял бейсболку и пожал ее руку.

— Боже мой, боже мой. Настоящий джентльмен. Что ты делаешь с этими олухами?

Она сказала, что ей бы хотелось, чтобы у ее сына — моего ровесника — были такие же хорошие манеры.

— Мама в тебе, наверное, души не чает.

За десять секунд ей удалось найти самый короткий путь к моему сердцу.

На стадионе «Шиа» наши места были в трех рядах от «дома». Дядя Чарли и мужчины расселись, вытянув ноги, и стали знакомиться со всеми, кто сидел рядом. Дядя Чарли сказал мне, чтобы я не стеснялся, если мне будет нужно в туалет, только «запомни, где мы сидим, и не уходи надолго». Он заметил разносчика пива и помахал ему.

— Запомни, где мы сидим, — повторил он и разносчику, — и не уходи надолго.

— Ты за кого сегодня болеешь? — спросил Джо Ди у дяди Чарли.

— Я прямо не знаю. Душой я за «Метс», но поставил на «Филадельфия Бразерз Лаверс». А ты за кого, Джей Ар?

— Хм. «Метс»?

Дядя Чарли поджал губы и искоса посмотрел на меня, будто я сказал какую-то глупость. Он пошел позвонить, чтобы сделать ставку, и Пат развернулась так, чтобы видеть меня.

— Как поживает твоя мама? — спросила она.

— Хорошо.

— Она в Нью-Мексико?

— В Аризоне.

— О, ей, наверное, одиноко без тебя.

— Надеюсь, что нет.

— Поверь мне. Я сама мать-одиночка. Ей очень плохо.

— Правда?

— У тебя нет ни братьев, ни сестер, верно?

Я покачал головой.

— Значит, она там совсем одна! Но она пошла на эту жертву, потому что понимает, как много твои двоюродные сестры, брат, бабушка и дядя Чарли значат для тебя! Вы разговариваете с ней по телефону?

— Нет. — Я посмотрел на поле и почувствовал комок в горле. — Это слишком дорого, поэтому мы записываем кассеты и посылаем их друг другу.

— О, ей точно очень одиноко!

Я не буду беспокоиться о том, чего никогда не произойдет.

Вернулся дядя Чарли.

— На кого ты поставил? — спросил его Джо Ди.

— Я поставил десять раз на «Метс», — сказал дядя Чарли. — Я спросил у пацана — у него, похоже, интуиция.

Джо Ди посмотрел на меня круглыми глазами.

— Что значит десять ставок? — спросил я.

— Зависит от букмекера, — объяснил дядя Чарли. — Иногда одна ставка — это десять долларов, иногда сотня. Сечешь?

— Секу.

Дядя Чарли посмотрел на Томми и осведомился, все ли «улажено».

— Все «улажено», — сказал Томми, подтягивая штаны. — Вставай, пацан.

Я вскочил с места.

— Не забудь, — напомнил дядя Чарли, обращаясь к Томми, — его кумир — Сивер.

— Чаз, Сивер иногда несколько чопорный.

— Томми, — сказал дядя Чарли.

— Чаз. — Томми нахмурился.

— Томми.

— Чаз.

— Томми.

— Чаз!

— Это его кумир, Томми!

— Я высказал свое мнение, черт возьми, Чаз.

— Просто постарайся.

Томми нахмурился еще сильнее, чем хмурился до этого, и дал мне знак следовать за ним. Мы пошли вдоль ramпы, проехали на лифте, миновали ворота и вбежали вверх по лестнице. Полицейский провел нас через металлическую дверь в темный туннель, похожий на сточную трубу. Впереди я увидел точку света, которая с нашим приближением увеличивалась. Томми напомнил мне, чтобы я не отходил от него, что бы ни случилось. Мы прошли через главный вход на яркое солнце, и там, повсюду вокруг нас, были нью-йоркские «Метс» 1976 года. Голубизна их формы слепила глаза. Оранжевый цвет бейсболок был как пламя. Невероятно. Этого просто не могло быть. Они были как механические ковбой-манекены в Рохайде.

— Вилли Мейз. — Томми подтолкнул меня. — Скажи привет парню по прозвищу Скажи Привет.

Он подобрал бейсбольный мяч, лежащий в траве, и подал его мне. Я сделал шаг в сторону Мейза и протянул ему мяч. Он подписал его.

— Видел бы ты его «кадиллак», — сказал Томми, когда мы отошли. — Ярко-розовый. Крутая штучка.

— Как у дяди Чарли?

Томми загоготал:

— Ага. Точно такой же.

Он подвел меня к Бадю Харрелсону, Джону Матлаку и Джерри Кусману, которые стояли все вместе, опираясь на биты, будто это были ирландские трости. Я чуть не рассказал Кусману про правило дяди Чарли, но Томми как раз вовремя повернулся ко мне и представил меня комментатору «Метс», Бобу Мерфи, на котором была спортивная куртка, напоминавшая один из бабушкиных шерстяных платков. Мерфи рассмеялся вместе с Томми, вспомнив одно злачное местечко, в котором они оба бывали. Его голос обычно звучал из ящика, как и голос моего отца, и эта близость к нему сбивала меня с толку.

Томми подвел меня к навесу для игроков и попросил посидеть там, а он, дескать, скоро вернется. Я присел на краешек скамейки рядом с другими игроками. Поздоровался. Игроки не ответили. Я сказал, что мне разрешили побыть здесь, потому что мой друг — начальник службы безопасности. Игроки промолчали. Томми вернулся и сел рядом. Я пожаловался ему, что игроки на меня сердятся.

— Вот эти? Они из Пуэрто-Рико. *Но абла инглес*, пацан. Теперь слушай сюда. Я посмотрел всюду. Обшарил все углы. Кто-то видел, как Сивер собирал улетевшие за границу поля мячи, но его там больше нет. Поэтому придется оставить эту затею, ладно? Я покажу тебе раздевалку «Метс», а потом отведу обратно.

Он провел меня через дверь в углу под навесом. Мы повернули по коридору и вошли в раздевалку, где пахло почти как в «Диккенсе» — ментолом, тоником для волос и «Брютом», — и когда я искал шкафчик Намата, я почувствовал, как Томми схватил меня за плечо.

— Хочу тебя кое с кем познакомить. — Томми кивнул головой в сторону двери. Я повернулся.

Сивер.

— Ну, что у нас тут? — спросил Сивер.

— Мяч.

Сивер взял его. Я смотрел, как на уровне моих глаз подергиваются и напрягаются мышцы на крупных предплечьях Сивера, пока тот водил ручкой по мячу. Я уставился на номер «41» на его груди, чуть выше моей головы. Когда он вернул мне мяч, я попытался поднять глаза, но не смог.

— Спасибо, — пробормотал я.

Сивер вышел и пошел по тоннелю.

— Какой же я идиот! — сказал я Томми. — Я даже на него не посмотрел.

— Что ты говоришь? Ты был чрезвычайно вежлив. Настоящий джентльмен. Я *очень горжусь* тем, что представил тебя.

Возвращаясь на трибуны, я нес свой мяч, как птичье яйцо.

— Ну что? — спросил дядя Чарли.

— Миссия выполнена, — ответил Томми.

Они посмотрели друг на друга с глубокой нежностью.

Джо Ди изучил мой мяч, осторожно взяв его с обеих сторон. Мне хотелось обнять его за то, что он так аккуратен, не то что Пат, которая вертела мяч и трогала руками так, будто это снежок.

— Кто такой, черт возьми, этот Джейсон Гори? — спросила она, разглядывая подписи.

— Это Джерри Гроут. Любимый кетчер Сивера.

— А Ванда Маркс?

— Это Вилли Мейз.

— Он все еще играет? Я думала, он ушел из спорта.

— Он ушел. Он тренер. Ездит на розовом «кадиллаке».

— Он Вилли Мейз или Мэри Кей?

Начался матч. «Метс» в тот день играли ужасно, и всякий раз, когда они делали что-нибудь не так, дядя Чарли подзывал

разносчика пива. Он также внимательно следил за доской, на которой показывали счет в других матчах по стране, и ни один из них не шел так, как бы ему хотелось. Пат надоело смотреть на «Метс». Она сказала, что пойдет выберет сувениры для сына. Прошло три подачи, а она так и не вернулась, и дядя Чарли отправился ее искать. Он вернулся один.

— Исчезла.

— Проголодается — вернется, — утешил его Томми.

— Или когда пить захочет, — поддержал Джо Ди.

У дяди Чарли был неудачный день, и я чувствовал себя виноватым потому, что для меня-то этот день оказался одним из лучших в жизни, и потому, что именно я уговорил его поставить на «Метс». Чтобы отвлечь дядю от игры и исчезновения Пат, я засыпал его вопросами. Похоже, это сработало. Он оживленно объяснял мне все нюансы бейсбола — хит энд ран*, двойные замены, стратегически пропущенные удары, как рассчитать среднее количество отбитых мячей и среднее число пробежек. Он также познакомил меня с тайным языком бейсбола. Вместо «все базы заняты» он учил меня говорить «все мешки пьяные». Вместо «дополнительные иннинги» он говорил «бонусное время». Питчеры назывались «крутящими», игроки нападения были «утками на пруду», кетчеры — «орудиями невежества». Он даже похвалил мой выбор кумира.

— Этот чертов Сивер просто Рембрандт, — сказал он, и я был доволен, потому что понял сравнение благодаря «Минутным биографиям». — Гроуту нужен мяч во внешнем углу — Сивер подает туда мяч. Легкий мазок краски. У Сивера шестидесятифутовая кисть. Сечешь?

— Секу.

Даже Рембрандт не смог спасти дядю Чарли от горькой участи. Когда «Метс» возобновили атаку, Чарли немного повеселел, но потом «Филлис» собрались с силами и заполнили все базы.

* Хит энд ран — ситуация в бейсболе, когда раннер на базе начинает бежать во время подачи и бьющий должен попытаться попасть по мячу, чтобы защитить раннера.

— Мешки пьяные, — сказал я, пытаюсь ободрить его, но бесполезно.

Отбивающий игрок «Филадельфии», Грег Лузински по прозвищу Бык, неспешно прошел к «дому». Он выглядел как Стив в софтбольном матче — мужчина среди мальчишек.

— Гусь, — начал Джо Ди, — я не знаю, как тебе это сказать, но я чувствую, что приближается решающий удар.

— Прикуси свой долбаный язык.

Лузински забил фастбол по внутренней верхней зоне в сторону левого поля. Мы вскочили на ноги и проводили глазами мяч, который ударил по дальним стойкам с громким шлепком.

— Я неправильно живу, — заметил дядя Чарли.

— У меня просто было предчувствие, — объяснил Джо Ди, пожимая плечами.

— Сукин сын! — воскликнул дядя Чарли. — Если бы я не попал на такие бабки, я бы восхищался твоим даром предвидения. Ты, наверное, медиум. Ты не возражаешь, если я скажу «медиум»?

Вечером «Метс» играли лучше. Вначале они даже вели в счете, и дядя Чарли воспрял духом. Но «Филлис» опять собрались и лидировали до конца игры благодаря хоумрану Майка Шмидта. Дядя Чарли курил не переставая и подзывал разносчика пива, а я представлял, как тают пачки пятидесятидолларовых и стодолларовых купюр на его столе. По окончании второго матча мы отправились на поиски Пат, которую не видели уже часа три. Мы нашли ее в бельэтаже. Она смеялась и пила пиво с компанией полицейских. Когда мы шли к машине, Пат наклонилась ко мне, похвалила за хорошие манеры и сказала, что мама, должно быть, очень гордится мной. Я знал, что она не слишком хорошо себя вела. С утра мне казалось, что меня повысили, но на самом деле повысили Пат, а она не использовала эту возможность. Но она все равно мне нравилась, и я жалел, что не могу по-настоящему ее поддержать. Она оказалась тяжелее, чем я думал. Я бережно нес свой мяч с автографами и ташил Пат.

Потом дядя Чарли забрал ее у меня. Он обвил ее руку вокруг своей шеи и повел ее к машине, как солдат, ведущий раненого товарища к санитарному пункту.

Когда мы вскоре узнали, что Пат больна раком, я вспомнил, как нежен и терпелив с ней был дядя Чарли в тот момент. Я не понимал, как сильно дядя Чарли заботится о Пат — никто из мужчин не понимал, — пока она не заболела. Он переехал к ней, кормил и мыл ее, читал ей, делал инъекции морфина, а когда она умерла, дядя сидел на дедушкиной кухне, его тело содрогалось от всхлипов, и дедушка укачивал его, обняв.

Я пошел на похороны с бабушкой. Я стоял над открытым гробом Пат, глядя на ее лицо, на щеки, ввалившиеся от рака. Хотя от ее сумасбродной улыбки не осталось и следа, мне казалось, что я слышу голос Пат, заклинаящей заботиться о дяде. Я отвернулся от гроба и увидел мужчин из «Диккенса», столпившихся вокруг дяди Чарли, как жокеи и конюхи вокруг захромавшей лошади. Я сказал Пат, что мы оба можем расслабиться. «Дядя Чарли будет проводить время в баре, — объяснил я ей. — Он будет укрываться там, как тогда, когда остался без волос». Я пообещал ей, что мужчины из «Диккенса» позаботятся о дяде Чарли. И уверил, что я все это предвижу. Что я медиум.

14 | ДЖЕДД И ВИНСТОН

Сойдя с самолета в «Скай Харбор», я заметил свою мать, прислонившуюся к столбу. Когда она увидела меня, ее глаза наполнились слезами.

— Как ты вырос! — воскликнула она. — Какие у тебя широкие плечи!

С ней тоже произошли перемены. Волосы стали другими. Более пышными. Она излучала энергию, будто выпила слишком много кофе. И смеялась — очень часто. Ее всегда

было трудно рассмешить, но сейчас она хихикала над всем, что я говорил, как Макграу.

— Ты изменилась, — заметил я.

— Ну... — ее голос дрогнул, — у меня новый друг.

Его зовут Винстон, произнесла она тоном, который сулил неприятности. Он высок, красив, обаятелен. Веселый? О, он ужасно веселый. Как комик, сказала мама. Но скромный, добавила она быстро.

— Как вы познакомились? — спросил я.

— В «Ховарде Джонсоне», — ответила мама. — Я одна ела за стойкой и...

— Что ты ела?

— Я заказала сливочное мороженое и чашку чаю.

— Как ты можешь пить горячий чай в такую жару?

— В этом и дело. Чай был холодный, и я пожаловалась официантке, та вела себя очень грубо, и Винстон, который тоже ел за стойкой, посмотрел на меня с сочувствием. Он подсел ко мне, мы разговорились, потом он проводил меня до машины и спросил, можно ли мне позвонить.

— Не такой уж он и скромник.

Несколько минут мы оба молчали.

— Ты влюбилась? — спросил я.

— Нет! Не знаю. Может быть.

— Чем занимается этот Винстон?

— Продажами. Он продает клейкую ленту. Промышленную клейкую ленту, упаковочную, разные виды клейкой ленты.

— Ленту для герметизации?

— Не знаю. Наверное.

— Он понравится бабушке. Сможет отремонтировать ее гостиную.

Я испытывал смешанные чувства по отношению к Винстону. Мне хотелось видеть мать счастливой, но я не мог отделаться от ощущения, что подвел ее. Ведь это я должен был сделать ее счастливой. Я должен был смешить ее. Вместо этого я уехал в Манхассет и тусовался с ребятами из бара. И, хотя я едва ли мог в этом себе признаться, получил удо-

вольствие в компании этих мужчин, о которых мне не нужно было ни беспокоиться, ни заботиться. Теперь же, в наказание за то, что я уваливал от своих обязанностей, за то, что я *расслабился*, мое место занял какой-то торговый представитель из «Ховарда Джонсона».

Еще больше меня беспокоило то, что мама нашла нечто приятное в Аризоне, и это означало, что мы остаемся. Я считал, что переезд в Аризону не оправдал ожиданий. Нам все равно приходилось тяжело и все равно не хватало денег, только теперь мы вдобавок ко всему были далеко от бабушки и двоюродных сестер и брата. И еще эта жара.

— Как может быть так жарко в сентябре? — спросил я, обмахиваясь билетом на самолет. — Что случилось с осенью? Что случилось со сменой времен года?

— Здесь только одно время года, — ответила мама. — Подумай, сколько денег мы сэкономим на календарях.

Да-а — точно влюбилась.

Вместо увитой плющом школы с видом на долину Манхассет, я пошел в ближайшую среднюю школу, которая находилась посреди пустыни. «Не потому ли она называется средней, — думал я, — что располагается в середине бескрайнего пространства». Большая часть школы, как и большая часть Аризоны, все еще строилась, и уроки временно проходили в прицепах, поставленных на шлакобетонные блоки. Под солнцем пустыни прицепы к полудню превращались в топку, и мы едва могли дышать, не говоря уж о том, чтобы учиться.

Но прицепы беспокоили меня меньше всего. После лета, проведенного в мужской компании, мой акцент жителя Лонг-Айленда стал заметнее. («Й-яа умраю от жашды! Все отдал бы са здакан ваады!») По сравнению со мной Сильвестр Сталлоне звучал как принц Чарльз. Мой акцент резал ухо, и каждый школьный хулиган хотел надавать мне тумачков. Идя в класс, я слышал: «Вот идет Рокки Бальбоа», и начиналась драка. Я защищался, стараясь не повредить зубы и нос, потому что дрался не от гнева, а в смятении. Я не мог понять,

почему арizonские дети придают такое значение тому, как я произношу некоторые слова. Слова, с помощью которых мне удалось стать своим в мужской компании, мешали мне стать своим в новой школе. Например, арizonские дети говорили «вóда», четко произнося звук «о» в первом слоге, и смеялись надо мной, когда мой «о» был похож скорее на «у». Какая разница? В Аризоне воды все равно нет.

То, что у нас с мамой не хватало денег на одежду, а я начал расти, тоже пришлось нехстати. Мне стали малы рубашки, а брюки вдруг превратились в бриджи. Дети называли их «потопами», показывая на меня и хихикая. «Эй, Ной-рингер, где потоп?» Это слово тоже отражало всеобщую озабоченность отсутствием воды.

Труднее всего мне приходилось в школе из-за имени. Джей Ар Морингер — это имя так и напрашивалось на издевку. «В чем дело, Джей Ар, — говорили дети, — мать не смогла дать тебе нормальное имя?» Потом они начали издеваться над фамилией Морингер. Они спрягали мою фамилию как глагол на уроке испанского. Гомо-рингер. Геронимо-рингер. Мою-раму-рингер. Мариную-рингер. Каждое прозвище становилось причиной очередной драки на школьном дворе, хотя самая кровавая драка разразилась, когда один мальчик назвал меня «Младшим».

После школы я спешил домой, в нашу новую квартиру, которую мама нашла, пока я был в Манхассете. Она была дешевой — всего сто двадцать пять долларов в месяц, — потому что находилась рядом с каналом, течение в котором было быстрым и шумным, так как вода стекала из Солт-ривер. Я ложился на взятый напрокат диван, прикладывал лед к синякам и ждал, когда мама вернется домой. Уроки я никогда не делал. Когда меня одолевали амбиции, я работал над бесконечным рассказом о мальчике, которого похитили кукушки-мутанты и держали в заточении внутри гигантского кактуса. Большею же частью я смотрел повторы «Адама-12»^{*}.

^{*} «Адам 12» — телевизионный сериал канала NBC с 1968 по 1975 год о буднях лос-анджелесской полиции.

Я чувствовал, как превращаюсь в незнакомца, в кого-то, кем я сам не ожидал стать. Я знал, что стремительно качусь в пропасть, и иногда единственной преградой между мной и бездной был Джедд.

Джедд ухаживал за Шерил, когда она жила в Аризоне, и ее внезапный переезд обратно в Манхассет стал для него потрясением. Он писал ей, звонил и планировал переехать на Восток и жениться на ней, как только окончит государственный университет Аризоны. А пока время от времени навещался ко мне, как к ближайшему родственнику Шерил, поговорить.

Мне Джедд казался самым классным из всех живущих на Земле мужчин. Он ездил на «Эм-Джи» с откидывающимся верхом темно-оранжевого цвета и темно-коричневыми кожаными сиденьями, переключая передачи рукой с золотой печаткой. «Эм-Джи» по форме напоминала доску для виндсерфинга и по размеру была не намного больше, поэтому, когда Джедд на безумной скорости пролетал по улице, складывалось ощущение, что он несется на гребне волны. Он был худощавым, саркастичным, жестким и курил красный «Мальборо», совсем как дядя Чарли. Крепко держа сигарету средним и указательным пальцами правой руки, он каждый раз, затягиваясь, делал знак «Виктория», как Черчилль*. Он обладал невозмутимостью рептилии, которую закалял постоянным потреблением пива «Курз» и набором странных упражнений на растяжку. Во время просмотра телевизора Джедд дергал каждый палец, пока не раздавался громкий шелчок сустава. Потом поворачивал голову в сторону до тех пор, пока не начинала трещать шея. После этих манипуляций его тело расслаблялось.

Когда Джедд был мальчишкой, он делал все, что полагается делать вместе с отцом, — ходил в палаточные походы, на охоту, на рыбалку — и, должно быть, заметил, какое у меня

* Уинстон Черчилль использовал знак «Виктория» (от victory (англ.) — победа), который часто показывал пальцами с зажженной сигаретой во время Второй мировой войны.

выражение лица, когда он рассказывает про свои приключения, потому что однажды предложил мне отправиться на природу.

— С кем? — спросил я.

— Только я и ты. Ты всегда ноешь, что скучаешь по смене времен года, падающим листьям и прочей ерунде. Поехали в выходные на север — посмотрим на снег.

Когда Джедд сообщил об этой поездке моей маме, она задала вопрос, от которого мне захотелось спрятаться под наш взятый напрокат диван:

— Там будет очень холодно? Джей Ару нужно взять с собой варежки?

— Варежки? — воскликнул я.

Она замолчала с выражением неловкости на лице.

— Ну что ж, замечательно, — сказала она. — Привези мне снежок.

Мы выехали на рассвете на пикапе отца Джедда, потому что в «Эм-Джи» не поместилось бы все наше снаряжение и дорожный холодильник, полный еды. Через час плоская пустыня сменилась холмистой пересеченной местностью. Воздух стал прохладнее. Вдоль дороги появились заснеженные участки, а потом и целые белые поля. Джедд поставил кассету Билли Джоэла, который напоминал ему о Нью-Йорке, а тот, в свою очередь, ассоциировался с Шерил, и на глаза у него навернулись слезы.

— Ну, братан, — сказал я, — все вокруг меня в кого-то *влю-у-у-блены*.

Джедд хлопнул меня по плечу.

— Ты тоже по ней скучаешь, — заметил он. — И по Макграу. По всей компании. Правильно?

Он расспрашивал меня про Манхассет — это была вторая его любимая тема после Шерил. Я рассказал ему историю, которую слышал в Джилго, о Бобо, как он обслуживал посетителей в баре, одетый в купальный халат, и демонстрировал всем свое голое тело. Кто-то воспринял это как оскорбление, завязалась драка, и Твою Мать вылетел в окно. Наверное, на

лице у меня было ностальгическое выражение, потому что Джедд сказал:

— Не успеешь оглянуться, как вернешься туда. Мы все скоро будем в Манхассете и устроим шумную вечеринку в честь нашего возвращения. В «Диккенсе».

— К тому времени он будет называться «Пабликаны», — сказал я. — Стив собирается сделать ремонт. Тебе понравится. Это будет самый лучший бар на свете.

— А ты откуда знаешь?

— Я там все время тусуюсь.

— Такая мелюзга, как ты? В баре?

— Дядя Чарли с ребятами берут меня на пляж и на матчи «Метс», а потом мы вместе оттягиваемся в баре. Они разрешают мне пить пиво и курить сигареты и еще делать ставки на рыбки бои, которые они проводят в задней комнате. Однажды моя рыбка выиграла.

Джедд усмехнулся виртуозности моего вранья.

Мы были немного южнее Гранд-Каньона, когда Джедд резко подал вправо, и машина вылетела на обочину. Он дернул ручной тормоз. Тот скрипнул, как его шея.

— Вот, пожалуй, хорошее местечко, — сказал он.

— Для чего?

— Чтобы слепить снеговика.

— Как?

— Как! Как и кто — вот и все, что ты говоришь. Будто я разговариваю с Джеронимо* и его ручным филином. Берешь снежок и катаешь его по земле, пока он не станет большим. Не так уж это и сложно.

Не успел я глазом моргнуть, как перед нами стоял семифутовый человек из снега. Джедд вставил двадцатипятицентовые монеты вместо глаз и хот-дог из холодильника вместо носа. Он похож на Джо Ди, сказал я ему. Джедд засунул «Мальборо» снеговика в рот.

— Мы зажжем ее? — спросил я.

— Не-а. Так он никогда не вырастет.

* Джеронимо — лидер индейского движения в Аризоне в XIX веке.

Я уставился на снеговика. Лучи солнца играли на двадцатипятицентовых монетах, и от этого казалось, что глаза снеговика сияют. Я подумал, что Джедд просто гений. Нет — Бог. Разве не это главное условие, чтобы называться Богом, — уметь сотворить человека из ничего?

— Давай разобьем лагерь здесь, возле господина Ледышки, — предложил Джедд.

Он отогнал машину в лес. Рядом с ней он расстелил одеяло, на которое высыпал содержимое мешка: гайки, колышки и железные прутья, и через несколько минут палатка выросла как из-под земли. Внутри он разложил спальные мешки, подушки и радио.

— Время пожевать. — Джедд глядел, как садится солнце.

Он показал мне, как собирать хворост, как разводить костер, как жарить хот-доги на палочках. Мы ели на пеньке, а в лесу постепенно темнело. Я запил ужин несколькими банками «Доктора Пеппера», а Джедд справился с шестью «Курзами».

— Пиво — удивительный напиток, — сказал он, держа бутылку у меня перед глазами. — Питательный. Исцеляющий. Напиток, который одновременно еще и пища.

— Бобо говорит, что холодное пиво в жаркий день — достаточная причина, чтобы не кончать жизнь самоубийством.

— Похоже, Бобо — большой мудрец.

После десерта из жареного зефира Джедд показал мне, как заливать костер, как вешать остатки еды так, чтобы за ними не пришли медведи. Он застегнул молнию на моем спальном мешке, потом закрыл палатку и включил радио.

— Здесь, в этой Тмутаракани, — сказал он, — можно поймать любую станцию или бейсбольный матч из какой угодно точки страны.

Мое сердце забилося, когда он повернул ручку и мы услышали голоса из Лос-Анджелеса, Солт-Лейк-Сити и Денвера. Я чуть было не рассказал ему про Голос, но потом передумал. Вместо этого я опять заговорил про Манхассет. Как Стив

угнал полицейскую машину и пытался арестовать весь город, как Уилбер ездит на поезде. Я избегал некоторых тем, таких, как дедушкин дом. Мне не хотелось сообщать ничего, что могло бы помешать Джедду войти в мою семью. В середине монолога он захрапел. Я убрал радио в свой спальный мешок. Я не мог упустить такую возможность найти Голос — но слишком много оказалось голосов, слишком много городов. Я был испуган и возбужден одновременно. Небо наполнилось голосами, голосов было больше, чем звезд.

Джедд разбудил меня кружкой кофе, первой в моей жизни. Хотя я слобрил кофе большим количеством сахара и сливок, я чувствовал себя настоящим лесным человеком, пьющим ковбойский кофе из кружки возле потухшего костра. Джедд поджарил на сковородке яйца и бекон и после завтрака сказал, что пора двигаться домой. Когда мы выехали на скоростное шоссе, я обернулся. Тающий снеговик казался сгорбленным, будто ему было жаль, что мы уезжаем.

Поездка домой заняла десять минут. Когда мы спустились в жаркую пустыню, я почувствовал комок в горле.

— Ненавижу кактусы, — проворчал я.

— А мне они нравятся, — сказал Джедд. — Знаешь, почему у них такие большие ветки?

— Нет.

Он закурил «Мальборо».

— Когда кактус начинает клониться в сторону, — сказал он, — у него вырастает ветка с *другой* стороны, чтобы он выровнялся. Потом, когда его начинает кренить в противоположную сторону, у него снова из бока растет ветка. И так постоянно. Поэтому у них по восемнадцать отростков. Кактус всегда пытается стоять прямо. Нельзя не восхищаться растением, которое так старается сохранить равновесие.

Мне хотелось рассказать Джедду про школьные драки, про одноклассницу Хелен, про то, как я ненавижу свое имя и что никто не разговаривает со мной и не садится рядом за обедом, потому что я новенький и у меня имя как у члена мафиозного клана Гамбино. Я не знаю, почему я не расска-

зал ему все это, пока мы ехали на север или когда сидели у костра. Может быть, я не хотел об этом вспоминать. Может быть, не хотел ему наскучить. Теперь было слишком поздно. Мы уже подъезжали к каналу.

Я пригласил Джедда выпить «Курз». В следующий раз, сказал он. Ему нужно заниматься. Скоро выпускные экзамены и его какое-то время не будет. Я поблагодарил его за все, и мы пожали друг другу руки. Он бросил мне кассету Билли Джоэла, махнул рукой и уехал. Я будто прирос к земле: стоял и смотрел, как удаляется его машина.

За ужином мать расспрашивала меня про поездку. Я не мог говорить и не понимал, почему мне так невыносимо грустно после того, как я так замечательно провел время. У меня было такое ощущение, что в горле застряла шишка. Я все пытался проглотить ее и сделал из своего картофельного пюре снеговика, и тогда мама подседа ко мне.

— Где мой снежок? — вспомнила она. Слезы потекли у меня по щекам. Мама прижимала меня к себе, пока я не выплакался, о чем потом жалел, потому что, когда через несколько дней после этого Шерил рассталась с Джеддом и он перестал приходить, плакать я уже не мог.

Мы с мамой каждую неделю по несколько раз ночевали у Винстона, репетируя будущую совместную жизнь. Мысль о том, что Винстон станет моим отчимом, приводила меня в уныние. Он был совсем не похож на Джедда. Скорее, оказался полной его противоположностью — не спокойный, а холодный как лед. И не потому, что я ему не нравился. Это еще можно было бы исправить. Проблема заключалась в том, что Винстон откровенно со мной скучал.

Он старался по настоянию матери. Он находил меня, заводил со мной разговоры, искал точки пересечения интересов. Но было очевидно: он предпочел бы оказаться где-нибудь еще, и его скука неизбежно превратилась в неприятие, а затем в соперничество. Однажды, когда мы ехали на машине через пустыню, я сказал Винстону, как сильно я не

люблю «кактасы». Я сомневался в правдивости слов Джедда о кактусах и подумал, что интересно будет услышать мнение Винстона по тому же вопросу.

— Кактусы, — поправил меня он. — Нужно говорить «кактусы».

— Не важно, как они называются, — сказал я. — Терпеть их не могу.

Даже школа для старших классов, «Сагуаро», в которую я должен был пойти, называлась в честь кактуса.

— Спорим, ты не знаешь, как пишется «сагуаро»? — заявил Винстон.

Я сказал по буквам.

— Неправильно. Там первая «о», а не «а».

Я не согласился. Винстон настаивал. Мы поспорили на доллар. Когда мы приехали к нему домой, он посмотрел название моей школы в телефонном справочнике и целый час пребывал в угрюмом расположении духа.

Положение резко ухудшилось, когда Винстон принес с работы таблицу ставок на футбольные матчи.

— Я никогда не выигрываю, — сказал он.

— Можно я попробую?

— Ну что ж! Раз с нами нет Джимми Грека...^{*} Думаешь, у тебя лучше получится?

Он подвинул ко мне таблицу. Я просмотрел ее и вспомнил правила дяди Чарли. «Грин Бэй» никогда не проигрывают дома в декабре. «Канзас-Сити» на чужом поле сдают игру с разгромным счетом. Защитник команды Вашингтона любит выпить и обычно не в форме, если мяч слишком рано вводится в игру. Я заполнил таблицу, и когда мои ставки выиграли, Винстон отдал мне призовые пятьдесят долларов.

— Новичкам везет, — заметил он, и я услышал, как он прошипел что-то сквозь зубы, когда я передал деньги маме.

* Сагуаро — растение семейства кактусовых.

** Джимми Грек — известный американский статистик, предсказывающий результаты спортивных соревнований.

Напряжение между мной и Винстоном в конце концов достигло такого градуса, что я убежал из дома, находя пристанище на детской площадке, где часами кидал мяч в баскетбольную корзину. Винстон неизменно приходил за мной с видом мученика, явно посланный мамой. Баскетбол нагонял на него такую же скуку, как я сам. Он говорил, что его игра — это футбол, хотя он считал основой этого спорта технику забивания мяча. Когда мы играли в хорс*, он развлекал меня историями о том, как бил по мячу, будучи студентом колледжа, «выигрывая матчи исключительно благодаря ловкости ног, и никакого мошенничества». Он считал эту фразу верхом остроумия.

Не помню, что же в конце концов доконало Винстона. Возможно, он заметил, что я зеваю, когда он рассказывает про технику удара по мячу. Или почувствовал себя униженным после того, как мяч опять не попал в корзину и он снова продул мне в хорс.

— Давай поиграем в новую игру, — сказал он, стукнув мячом так сильно, что раздался пугающе резкий хлопок. — Бас-фут-бол.

Он заставил меня удерживать мяч носком ботинка, сам отошел на десять шагов назад, потом послюнил палец и проверил направление ветра. Затем подбежал ко мне и послал мой баскетбольный мяч высоко через ограду в пустыню.

— Он улетел! — закричал он. — И это здорово!

Мы смотрели, как мой мяч скачет среди кактусов, как шарик для игры в пинбол. Ударившись о ствол одного из кактусов, мяч лопнул.

Вскоре после этого происшествия мать сказала мне, что они с Винстоном решили «отдохнуть друг от друга». Голос у нее был хриплым, как у мужчин из «Диккенса» с утра. Я заметил, что волосы ее потеряли пышность. И выглядела она

* Хорс — разновидность игры с баскетбольным мячом. Когда игрок не попадает мячом в корзину, проигрыш засчитывается в виде букв из слова «horse» (лошадь). Проигравшим считается тот, кто первый составит слово до конца, дойдя до буквы «е».

изможденной. В то утро я не произнес ни слова. Пока мама ходила по квартире, слушая Берта Бакара, я сидел на берегу канала. Я был в восторге от того, что мне больше не придется иметь дело с Винстоном, но грустил из-за мамы. Я понимал, что она ищет романтическую любовь, и хотя не знал, что это такое, подозревал, что это нечто вроде того, что искал я сам, — близость определенного рода. Я переживал, что, несмотря на нашу любовь друг к другу, по-настоящему нас связывает одиночество. В погребке дедушкиного дома я нашел мамин дневник, который она вела, когда ей было четырнадцать. На первой странице она написала: «Пусть до конца жизни мучает совесть того, кто перевернет следующую страницу, если у него вообще есть совесть!» А дальше приводился список из сорока шести качеств, которые она надеялась найти в мужчине. У моего отца было не больше чем два с половиной из них, из чего я сделал вывод, что мама в поисках своей первой любви пошла на компромисс, а когда искала вторую, старалась быть осмотрительнее — ради нас обоих. Еще я понял, что являюсь помехой ее поискам. Я вспомнил продавца лампочек из Нью-Йорка, который нравился маме. Познакомившись со мной, он предложил отправить меня в школу-интернат в Европе. Потом я вспомнил механика, который пришел в ярость, когда я представил ему Макграу как своего брата. «Я думал, у тебя только один ребенок», — сказал он матери, не поверив ее объяснениям, что я просто отношусь к Макграу как к брату. Немногие мужчины рвались помочь ей растить сына, и такое положение вещей, ставшее очевидным в тот день, наполняло меня чувством вины. *Я должен был стараться поладить с Винстоном. Я должен был заставить его полюбить меня.* Где-то в разгаре холодной войны с Винстоном я потерял из вида главную цель — заботу о маме. Теперь я стал очередным мужчиной, усложняющим ей жизнь.

Когда я вернулся домой, мама предложила сходить в кино. «Чтобы отвлечься», — сказала она. Она выбрала «Рождение звезды», и я не возражал. Мне хотелось, чтобы она по-

чувствовала себя лучше, и если ради этого нужно было сидеть романтический мюзикл, я готов на такую пытку.

Это действительно оказалось пыткой. В течение двух часов Барбра Стрейзанд и Крис Кристофферсон расставались, мирились, расставались снова без всяких видимых причин, пока наконец Кристофферсон не умер. В конце, непокоренная, с торчащими в разные стороны завитыми волосами, похожая на кактус, Стрейзанд выдала главную песню этого фильма — «Вечнозеленая» — так, будто это была «Великая благодать». В кинотеатре включили свет. Я повернулся к маме, закатив глаза, но она плакала, прикрыв лицо рукой. Люди стали оборачиваться и смотреть на нас. Я старался успокоить маму, но она не могла остановиться. Она плакала, когда мы выходили из кинотеатра, и разрыдалась еще сильнее, когда я открыл ей дверь «фольксвагена». Она не заводила машину. Мы сидели и ждали, пока она успокоится, как ждут, когда закончится сезон дождей. Протягивая ей одну салфетку «Клинекс» за другой, я вспомнил, что говорил Джедд про кактусы, как они выпрямляют себя, как они всегда стараются стоять прямо. Это мы с мамой и пытаемся делать, решил я.

Жаль только, что ветви у нас постоянно отваливаются.

15 | БИЛЛ И БАД

Нам с мамой не хватало тех ста шестьдесят долларов в неделю, которые она зарабатывала. Даже ее вторая работа — продажа косметики «Эйвон», и моя подработка разносчиком газет не спасли нас, и мы все глубже залезали в долги. Всегда откуда-то появлялся неожиданный счет, или нужно было сдавать деньги в школу, или что-то случилось с «фольксвагеном». «Ти-Берд» не подводил нас, — говорила мама, бросая сердитый взгляд на «фольксваген». — А эта развалина хочет нас разорить». Лежа по ночам в постели, я переживал по поводу денег и хронической усталости мамы. Если

не учитывать короткий всплеск во время романа с Винстоном, ей так и не удалось восстановить силы после операции, и я боялся, что в конце концов она просто не сможет больше работать. Тогда мы будем вынуждены жить в приюте? И мне придется бросить школу и пойти работать, чтобы зарабатывать на жизнь? Проснувшись ночью, чтобы выпить стакан воды, я находил маму в кухне, с калькулятором. Перед началом учебного 1978 года в старшей школе калькулятор одержал над нами победу. Мы объявили банкротство.

Бабушка написала мне длинное письмо, подчеркивая очевидное. «Заботься о своей матери, — писала она. — Делай все, что можешь, все, что нужно для нее в этот сложный период. Твоей маме приходится так тяжело, Джей Ар, и кому, если не тебе, следить, чтобы она нормально питалась и находила время отдохнуть». Настоящие мужчины заботятся о своих матерях.

После уроков я сидел у канала в таком напряжении, что мне казалось, я умру. Жаль, что я не умел расслабляться по команде, как Джо Ди в океане, и не мог научить расслабляться маму. Если я был слишком напряжен, я шел в дальний торговый центр на другой стороне канала, под сенью Спины Верблюда. Хотя половина магазинов в торговом центре пустовала и его, похоже, должны были скоро снести, его мрачная атмосфера казалась мне успокаивающей. Темный, похожий на пещеру торговый центр напоминал мне дедушкин подвал. И там тоже был секретный тайник с книгами.

В глубине торгового центра находился книжный магазин с чрезвычайно эклектичной подборкой книг: огромный выбор классики и крайне мало бестселлеров. Там было много литературы по восточным религиям, но всего несколько Библий. Стойка для газет, заваленная европейской периодикой, и ни одной местной газеты. Поскольку денег на книги у меня не было, я их просто рассматривал. Натренировался глотать роман за пять посещений, просматривать журнал за полчаса. Никто никогда не ругал меня за то, что я праздно шатаюсь между рядами, и не пытался выгнать, потому что в магазине никогда никого не было. Место кассира пустовало.

Однажды я разглядывал модели во французском журнале и, подняв глаза, увидел очередь в кассу, которая тянулась из детского отдела. Покупатели оглядывались в поисках кого-нибудь, кому можно отдать деньги. Подождав, они смирились и ушли. В дальнем конце магазина я увидел пару глаз, похожих на птичьи, выглядывающих из-за полужакрытой двери без надписи. Я поймал взгляд, и дверь с треском захлопнулась. Тогда я прошел в конец магазина и тихонько постучал. Понеслось шелест, стремительное движение, и дверь открылась. Передо мной стоял мужчина в вельветовых брюках и клетчатой рубашке с приспущенным черным галстуком. Его очки были покрыты тем же тонким слоем пыли, что и все в магазине, а в руках он держал незажженную сигарету.

— Я могу чем-то помочь? — осведомился он.

— Я просто решил сообщить вам, что вас искали покупатели.

— Правда?

Мы повернулись и посмотрели на кассу.

— Я никого не вижу, — сказал мужчина.

— Они ушли.

— Хорошо. Спасибо, что сказал нам.

Когда он произнес слово «нам», появился второй. Он был выше первого, более худощавый, и его очки в темной оправе, толстые стекла которых блестели под лампами дневного света, казались намного чище. На нем была тенниска с более широким и более старомодным галстуком, чем у первого. Я никогда раньше не видел, чтобы кто-нибудь носил галстук с тенниской.

— Кто это? — спросил он, глядя на меня.

Я замялся. Мы все переглянулись, будто играя в гляделки, а потом мне пришла в голову мысль. Я спросил, не мог бы я работать за кассой и принимать деньги во второй половине дня.

— Сколько тебе лет? — спросил первый мужчина.

— Тринадцать. Будет четырнадцать в следующем...

— Когда-нибудь работал в книжном магазине? Погоди.

Он закрыл дверь, и я услышал, как они сердито шепчутся. Когда дверь снова отворилась, они улыбались.

— Сможешь приходить к двум? — спросил первый мужчина.

— Нас отпускают из школы в три.

— Ладно. Я составлю тебе расписание.

Мы пожали друг другу руки, и первый мужчина представился как Билл, менеджер, а второй как Бад, помощник менеджера. Билл сказал, что предлагает мне работать двадцать часов в неделю, по два доллара шестьдесят пять центов в час — целое состояние. Я рассыпался в благодарностях и снова пожал его руку, потом подошел к Бад, чтобы пожать руку и ему, но тот скрылся за дверью.

Я побежал домой рассказать маме.

— Боже мой! — воскликнула она, обнимая меня. — Теперь нам будет намного легче!

Я постарался умерить ее восторг, предупредив, что мужчины из магазина довольно «необычные». Я не смог подобрать другого слова.

— Ты им понравишься, — сказала она. — Ты прекрасно находишь общий язык с необычными людьми.

Я не совсем понял, что она имеет в виду.

Я переживал, как мы поладим с Биллом и Бадом, но в течение первых недель моей работы я с ними почти не встречался. Приходя, я стучался в дверь кладовки, чтобы поздороваться, и больше не видел их, пока не приходило время стучаться снова, чтобы попрощаться. Книжный магазин был частью национальной сети, но я предполагал, что Билл и Бад либо вышли из состава сети, либо главный офис попросту забыл о них. Они управляли магазином как частной библиотекой, заказывая книги и журналы, которые отвечали их видению мира и выражали их взгляды, и почти не выходили из кладовки, которая также служила Биллу спальней. Иногда вечером он засыпал в шезлонге за водоохладителем.

Застенчивые и замкнутые, Билл и Бад были совсем не похожи на мужчин из бара, и эти первые недели в книжном

магазине были такими загадочно тихими и одинокими, что мне хотелось уволиться. Потом неожиданно Билл и Бад стали проявлять ко мне интерес, и когда в магазине не было покупателей — впрочем, он пустовал почти всегда, — приглашали меня постоять в дверях кладовки и поболтать.

Сначала я с трудом следил за разговором, потому что был озадачен многочисленными странностями Билла и Бада. Билл, например, оказался заядлым курильщиком, но не покупал пепельниц. Он располагал тлеющие окурки стоймя по краям письменных и обеденных столов в кладовке, оставляя их догорать, будто составляя диораму лесного пожара. Глаза его казались прожженными от слишком большого количества прочитанных книг, а стекла очков были толще, чем любимые им русские романы. Он обожал русских и говорил о Толстом с обезоруживающей фамильярностью, как будто с минуты на минуту ждал звонка от великого писателя. У Билла было два галстука, черный и зеленый, оба вязаные, и когда он снимал один из них в конце рабочего дня, то оставлял узел завязанным и вешал галстук на крючок на стене, как пояс для инструментов.

Когда Бад волновался, то нюхал свой кулак. Нюхал так, будто это редкий сорт розы. Также у него была привычка поправлять усыпанные перхотью волосы левой рукой, начиная с правой части головы, как орангутанг. В процессе этого маневра становилось видно застарелое пятно под мышкой. Он маниакально стриг свои ногти, и повсюду валялись обрезки. Однажды, давая сдачу покупателю двумя двадцатипятицентовыми монетами, я обнаружил, что протягиваю вместе с ними обрезок ногтя в форме полумесяца с большого пальца Бада.

Билл и Бад, похоже, отпугивали людей, всех людей, за исключением друг друга, и поэтому прятались в кладовке. Кроме того, они читали. Непрерывно. Они прочли все, что когда-либо было написано, и фанатично стремились прочесть все, что публикуется сейчас, для чего им приходилось запирается в кладовке, как средневековым монахам. Хотя им было немногим за тридцать, оба жили с матерями и, похоже,

не имели ни малейшего стремления жить самостоятельно или иметь свои семьи. У них не было никаких чаяний, кроме чтения, и никаких интересов за пределами магазина, хотя их интерес ко мне с каждым днем возрастал. Они расспрашивали меня про мать, про отца, про дядю Чарли и его компанию и были очарованы моей влюбленностью в «Диккенс». Они расспрашивали про Стива и почему он решил дать бару столь литературное имя, что послужило началом разговора о книгах. Билл и Бад быстро сообразили, что я люблю книги и ничего о них не знаю. Задав мне ряд вопросов для проверки, они убедились в том, что досконально я знаю только «Книгу джунглей» и «Минутные биографии». Они очень разозлились на моих учителей.

— Что вы сейчас читаете в школе? — спросил Билл.

— «Букву Аллы», — сказал я.

Он прикрыл рукой глаза. Бад понюхал кулак.

— Это «Алая буква»*, — сказал Бад, — а не буква Аллы.

Там даже нет героини с таким именем.

— Тебе нравится? — спросил Билл.

— Нудновато, — ответил я.

— Конечно, — сказал Бад. — У тебя еще нет подобного опыта. Тебе тринадцать.

— Мне вообще-то исполнилось четырнадцать на прошлой...

— Да что ты знаешь про прошлое, ты с трудом справляешься с настоящим, — заметил Бад.

— Ему нужна хорошая доза Джека Лондона, — сказал Билл Бад.

— Может, Марка Твена? — предположил тот.

— Может. Но парень с Восточного побережья — ему нужно читать нью-йоркских писателей. Дос Пассоса. Вартона. Драйзера.

— Драйзера! Ты хочешь, чтобы он превратился в циника вроде тебя? И Дос Пассоса уже больше никто не читает. Дос

* «Алая буква» — любовный роман Натаниела Готорна, вышедший в 1850 году.

Пассос стал Досом Пассе*. Если он хочет почитать про Восточное побережье, пусть читает Чивера.

— Кто такой Чивер? — спросил я.

Они медленно повернулись ко мне.

— Все ясно, — сказал Бад.

— Пошли со мной, — позвал Билл.

Он подвел меня к секции художественной литературы и вытащил все книги Джона Чивера, включая толстый сборник недавно опубликованных рассказов. Отнес книги в кладовку и быстро сорвал с каждой из них обложку. Я спросил, что он делает. Билл ответил, что книжные магазины не могут возвращать каждую непроданную книгу в мягком переплете издателям — у издателей нет места для их хранения, — поэтому они возвращают только обложки. Когда Билл и Бад хотели взять какую-то книгу себе, они просто срывали обложку и отправляли ее по почте издателю, который возвращал магазину деньги, и «все были довольны». Он заверил меня, что это не воровство. Мне было наплевать.

Я провел эти выходные за чтением Чивера, я купался в Чивере, я влюблялся в Чивера. Я не знал, что предложения можно строить так, как он. Чивер делал со словами то, что Сивер делал с бейсбольным мячом. Он описывал розовый сад, который пах как клубничное варенье. Он писал о тоске по «миролюбивому миру». Он писал о моем мире, об окраине Манхассета, где стоял аромат древесного дыма (его любимое словосочетание), где жили мужчины, спешившие с железнодорожных станций в бары и обратно. Каждый рассказ вращался вокруг коктейлей и моря, и потому казалось, что действие каждого из них происходит в Манхассете. Но в одном из них так и было. В первом рассказе из сборника упоминалось название Манхассет.

По пятницам после обеда Билл и Бад расспрашивали меня, что я прочел за прошедшую неделю в школе. Они возмущенно кричали, вели меня вдоль рядов магазина, наполняя мою корзинку книгами без обложек. «Каждая кни-

* От франц. passé — прошлое.

га — чудо, — говорил Билл. — Книга рождается в тот момент, когда кто-то сидит спокойно — и, несомненно, спокойствие и есть часть чуда, — и пытается поведать остальным свою историю». Бад мог бесконечно говорить о надежде, которую дарят книги, о перспективах, которые они открывают. Он говорил, что не случайно книгу можно распахнуть как дверь. Также, сказал он, как будто нащупав мои невроты, с помощью книг можно навести порядок в хаосе. В четырнадцать лет я чувствовал себя более уязвимым, чем когда-либо. Мое тело росло, покрывалось волосами, трепетало от неведомых желаний. И мир за пределами моего тела казался таким же непостоянным. Мое настоящее контролировали учителя, мое будущее зависело от наследственности и удачи. Однако Билл и Бад убеждали меня, что мой мир принадлежит мне и всегда будет только моим. Они сказали, что, выбирая книги, нужные книги, и читая их медленно, вдумчиво, я всегда смогу контролировать мир.

Книги являлись главным, чему меня учили Билл и Бад, но было еще кое-что. Они подкорректировали мою манеру говорить, научив меня обуздывать акцент. Когда я говорил, что иду выпить «кофэ», они останавливали меня и просили повторить. Они пытались улучшить мою манеру одеваться. Хотя они и не были модниками, они почерпнули кое-что из итальянских и французских журналов, которые заказывали для магазина, и часто спрашивали у продавщиц из бутиков совета насчет того, как пополнить мой гардероб. Они избавили меня от привычки носить только джинсы и белые рубашки, и Бад отдал мне сорочки фирмы «Изод», из которых он «вырос», хотя я подозревал, что они были подарком его матери и на самом деле были ему велики. Они снабжали меня информацией об искусстве, архитектуре и особенно музыке. Синатра — это замечательно, говорил Бад, но есть и другие «бессмертные» гении. Нюхая свой кулак, он дал мне список пластинок, которые «должен иметь каждый культурный молодой человек». Дворжак. Шуберт. Дебюсси. Моцарт. Особенно Моцарт. Бад преклонялся перед Моцартом. Я свернул

его список, положил в карман и хранил много лет как рецепт самосовершенствования. Тем не менее, сказал я Бад, пластинки мне не по карману. На следующий день он принес все диски, которые были в списке, из своей собственной коллекции. Считай, что я дал их тебе напрокат, заявил он. Мы сидели в кладовке, и Бад ставил пластинки на портативный проигрыватель, дирижируя карандашом, объясняя, почему фортепианная соната Моцарта до-мажор — совершенство, почему трио Бетховена безупречно, почему сюита «Планеты» Холста вызывает ужас. В то время как Бад читал мне лекции о музыке, Билл приносил гораздо бóльшую жертву. Он сидел за кассой всю вторую половину дня. Ради меня, говорил он, только ради меня он согласен встретиться лицом к лицу с «сумасшедшей толпой».

Когда первый год моей работы в магазине подходил к концу, Билл и Бад спросили, в какой университет я планирую поступать. Тема университета всегда нагоняла на меня тоску, потому что у нас с мамой не было денег. В таком случае, сказали Билл и Бад, тебе нужно поступить в один из лучших университетов, потому что только в лучших университетах платят стипендию. Я в шутку рассказал им о колыбельной, которую пела мне мама в детстве: «Гарвард или Йель, мой мальчик, Гарвард или Йель».

— Никакого Гарварда, — сказал Бад. — Ты кем хочешь быть — бухгалтером?

— Нет. Адвокатом.

— Господи Иисусе. — Он осел на стул и нервно понюхал кулак.

Билл закурил сигарету и развалился в своем шезлонге.

— Как насчет Йеля? — сказал он.

— Да, — кивнул Бад. — Йель.

Я заявил им обиженным тоном, что так шутить жестоко.

— Йель для детей богатых, — сказал я. — Для умных детей. Для других детей.

— Нет. Йель для разных детей. В этом-то и прелесть Йеля.

Вдруг они стали восхвалять Йель, говорить о его истории, поименно вспоминать всех его известных выпускников от Ноя Вебстера* до Натана Хейла и Коула Портера**. Они спели несколько тактов йельского гимна, похвалили профессоров кафедры английской словесности, лучшей в мире. Я был шокирован тем, как много они знают. Позже я понял, что когда-то они сами мечтали поступить в Йель.

— Студенты Йеля умные, — сказал Билл, — но не гениальные.

— Студент Йеля не знает всего о чем-то одном, — провозгласил Бад, подняв палец вверх, — студент Йеля знает хотя бы что-то одно о чем угодно.

— Студент Йеля урбанист, — сказал Билл. — Ты знаешь, что значит «урбанист», так?

— Да. — Я рассмеялся.

Они ждали.

— Это тот, кто живет в городе.

Бад протянул мне словарь.

— Студент Йеля — гражданин мира, — сказал Билл. — Человек Возрождения. Именно таким ты и хочешь стать. Студент Йеля умеет стрелять из ружья, танцевать фокстрот, смешивать мартини, завязывать галстук-бабочку, может проспрягать французский глагол — даже если не говорит по-французски, — сказать, какая из симфоний Моцарта была написана в Праге, а какая в Вене.

— В студенте Йеля есть многое от Фицджеральда, — заметил Бад. — Ты помнишь, каждый из героев Фицджеральда учился в Йеле. Ник Карроузэй, например.

Я отвел глаза. Билл со стоном поднялся с шезлонга и пошел к книжным полкам, чтобы сорвать обложку с «Великого Гэтсби».

* Ной Вебстер (1758–1843) — американский лексикограф, автор учебников по правописанию, реформатор орфографии и редактор.

** Коул Альберт Портер (1891–1964) — американский композитор.

Не желая объяснять Биллу и Баду, что мы с мамой не из тех, кто легко попадает в нужные места, я произнес:

— Страшно даже об этом подумать — Йель.

Не нужно было этого говорить, но хорошо, что я все-таки сказал.

— Значит, решено, — сказал Бад. Он встал с табуретки и подошел ко мне, нюхая свой кулак и поправляя очки. — Ты должен делать все, что тебя пугает, Джей Ар. Все. Я не говорю, что нужно рисковать жизнью, я обо всем остальном. Подумай о страхе, реши прямо сейчас, как ты собираешься преодолевать его, потому что он станет серьезной проблемой в твоей жизни, я тебе обещаю. Страх будет первопричиной всех твоих неудач и основной дилеммой в каждой истории о тебе самом. Каковы твои шансы победить страх? Иди за ним. Преследуй его. Не считай страх злом. Посмотри на страх как на проводника, указывающего тебе путь, — на твоего Натти Бампо*.

Мне казалось странным слышать такие речи от человека, который прятался в кладовке книжного магазина в полузаброшенном торговом центре. Но меня осенило, что Бад, должно быть, так страстно говорил на эту тему, потому что давал мне совет, который ему самому в свое время никто не дал. Я понял, что это поворотный момент, что нужно сказать что-то значительное, но мне ничего не приходило в голову, поэтому я неуверенно улыбнулся и спросил:

— А кто такой Натти Бампо?

Бад громко засопел.

— Чему вообще вас учат в этой школе?

В тот вечер за ужином я сказал маме две вещи. Я скоплю денег и куплю Биллу новый шезлонг на Рождество. И еще я собираюсь подать документы в Йель. Я хотел, чтобы это прозвучало как мое решение, но мама попросила меня пересказать разговор с Биллом и Бадом.

— Ты их очаровал! — Мама улыбнулась.

— Что ты хочешь этим сказать?

* Натти Бампо — герой романа Фенимора Купера «Следопыт».

Все было как раз наоборот. Это они сорвали с меня обложку.

Каким-то образом через несколько месяцев после объявления банкротства мама умудрилась получить новую кредитную карту. Она использовала ее, чтобы купить мне билет на самолет до Нью-Йорка в мае (она решила, что каждое лето я должен проводить в Манхассете, раз мне так нравится мужская компания) и билет себе на август, чтобы мы смогли вместе съездить на машине в Йель и осмотреться перед началом моего второго учебного года в старшей школе. Мы одолжили у дяди Чарли «кадиллак», и бабушка с Шерил тоже поехали с нами.

Мама вела машину, а я болтался на пассажирском сиденье из стороны в сторону. Вместо разговоров Кольта и Бобо о том, кто кого «отымел» в «Диккенсе», я слушал женскую болтовню о моде, рецептах и прическах. Кошунство. Чтобы увести разговор в сторону, я иногда вставлял отрывочные фразы из брошюры про Йель, лежавшей у меня на коленях. «Вы знали, что Йель был основан в 1701 году? Это значит, что ему почти столько же лет, сколько Манхассету. Вы знали, что девиз Йеля «Lux et Veritas»? Это значит «Свет и Правда» по-латыни. Вы знали, что первый диплом доктора философии был выдан в Йеле?»

— А в твоей книжечке написано, сколько все это удовольствие стоит? — спросила Шерил с заднего сиденья.

Я прочел вслух: «Приблизительная стоимость годового обучения в Йеле одиннадцать тысяч триста девяносто долларов».

Тишина.

— Давайте послушаем какую-нибудь хорошую музыку? — предложила бабушка.

Еще до того, как мы увидели Йель, мы его услышали. Когда мы въехали в Нью-Хейвен, на башне Харкнесс зазвонили колокола. Необыкновенно мелодичный звон. Я высунул голову из машины и подумал: «У Йеля есть голос, и этот

голос говорит со мной». Что-то внутри меня отзывалось на звон этих колоколов, наверное, моя бедность и наивность. Я всегда был склонен обожествлять то, чем восхищался, и колокола попали под это правило, придав университетскому городку священный ореол. Я также привык считать каждое место, куда меня не пускали, дворцом, и вот передо мной вырос Йель, как нарочно украшенный башенками, зубчатыми стенами и горгульями. Но был еще и ров — канал за нашей квартирой в Аризоне. Когда мы припарковались и стали осматриваться, я запаниковал.

Нашей первой остановкой стала библиотека Стерлинга. Благодаря своему темному нефу, сводчатым потолкам и проходам в средневековом стиле, библиотека ассоциировалась с церковью, с храмом для читателей, и мы отнеслись к ней с должной набожностью. Наши шаги по каменным полам гремели как выстрелы, когда мы шли по коридору в читальню, где студенты летних курсов сидели с книжками, свернувшись в старых толстых креслах из кожи защитного цвета. Затем мы вышли из этой части библиотеки и побрели вдоль широкой лужайки в корпус редких книг и манускриптов Байнеке, где хранятся бесценные сокровища Йеля. Это было низкое и широкое здание, со стенами, украшенными маленькими мраморными плитками, меняющими цвет в зависимости от положения солнца на небе. Мы прошли «Коммонз» — столовую для первокурсников с огромными мраморными колоннами и выгравированными на фасаде названиями сражений Первой мировой войны. Меня уже переполняло отчаяние, и мать это заметила. Она предложила отдохнуть. В бутербродной на краю студенческого городка я сел, подперев кулаками щеки.

— Ешь свой гамбургер, — сказала бабушка.

— Ему нужно выпить пива, — заявила Шерил.

Мама попросила меня рассказать о том, что меня беспокоит. Я не мог произнести вслух, что готов отдать все, чтобы попасть в Йель, что, если я туда не попаду, жить вообще не стоит, но я наверняка не попаду, потому что мы не из тех, кто «попадает» в такие места. Мама сжала мою руку.

— Мы прорвемся, — пообещала она.

Я извинился и выскочил из бутербродной. Как сбежавший из сумасшедшего дома, я слонялся по студенческому городку, рассматривая студентов и заглядывая в окна. В каждом окне мне виделись все более и более идиллические сцены. Профессора делились своими идеями. Студенты пили кофе и думали о чем-то умном и великом. Я зашел в книжный магазин Йеля и чуть не упал в обморок, увидев огромное множество книг. Я сел в углу и стал слушать тишину. Билл и Бад не предупреждали меня об этом. Они рассказывали мне об истории Йеля, о его очаровании, но они не подготовили меня к его умиротворенности. Они не говорили мне, что Йель — символ того спокойствия, к которому я так стремился. Вновь зазвонили колокола. Мне захотелось броситься на землю и плакать.

В Нью-Хейвен-Грин я уселся под раскидистым вязом и стал смотреть на стофутовые крепостные башни, окружавшие старый студенческий городок, стараясь представить себя по ту сторону. У меня ничего не получалось. Из всех мест, которыми я восхищался издавека, Йель казался самым неприступным. Через час я встал и медленно побрел назад к бутербродной. Бабушка и Шерил сердились, что меня так долго не было. Мама беспокоилась о моем рассудке. Она протянула мне подарок, купленный в сувенирном магазине, — ножик для вскрытия писем с эмблемой Йеля.

— Чтобы тебе было чем открыть подтверждение, что тебя зачислили, — сказала она.

Вернувшись в Манхассет, мы с мамой пошли в бар ужинать. Стив закончил ремонт, и бар теперь официально назывался «Пабликаны», став другим заведением, — более утонченным. В новое меню входили даже омары. За стойкой стоял дядя Чарли в брюках цвета хаки и кашемировом джемпере с вырезом в форме буквы V. Он тоже изменился. Дядя подошел к нашему столику поздороваться.

— Что с ним? — спросил он маму, качнув головой в мою сторону.

— Сегодня он влюбился в Йель, — ответила мать, — и решил, что любовь эта без надежды на взаимность.

— Бобо здесь? — поинтересовался я. Бобо и Уилбер могли меня ободрить.

— Пропали без вести, — ответил дядя Чарли.

Я опустил голову.

Дядя Чарли пожал плечами и направился обратно к барной стойке, нырнув в завесу из дыма. Мужчины обрадовались его возвращению и потребовали налить еще.

— Угомонитесь вы, бога ради! — сказал дядя. — Мне нужно позвонить.

Все засмеялись. Я не выдержал и тоже рассмеялся. После того как мне откажут в Йеле, решил я, я поступлю в какой-нибудь маленький, неизвестный университет. Буду хорошо учиться, обходными путями пробьюсь в юридическую школу, потом обманным путем уговорю какую-нибудь адвокатскую контору взять меня на работу. Стану зарабатывать меньше, чем надеялся, но если буду экономить, то смогу заботиться о матери, отправлю ее в университет и подам в суд на отца. А в качестве утешения каждый вечер по пути домой буду заглядывать в «Пабликаны», чтобы пропустить пару рюмочек. Буду общаться с ребятами, смеяться и забывать дневные заботы и жизненные огорчения. Я смотрел на дядю Чарли, который разливал напитки, и мне вдруг стало легко от осознания того, что, хотя в Йель меня точно не примут, примут в «Пабликаны». Если я не смогу получить свет и правду Йеля, я всегда смогу рассчитывать на мрачную правду бара. И только иногда, перебрав или выпив недостаточно, я позволю себе задуматься, как сложилась бы моя жизнь, если бы меня приняли в Йель.

Два выстрела в упор в грудь, и безликий убийца скрылся. Мы с мамой увидели это вместе с миллионами других людей. Попытка убийства Джей Ара Эвинга стала самым интересным эпизодом в последней серии того сезона сериала «Даллас» — самого популярного сериала на свете, и когда Джей Ар Эвинг упал на пол, зажав руками свои раны, Джей Ар Морингер знал, что ему предстоит жаркое лето.

Вся страна сгорала от любопытства, пытаясь угадать, кто же стрелял в Джей Ара, а для меня стал испытанием собственный подростковый кризис личности. Мое имя, которое я ненавидел, неожиданно стало популярным в каждой семье, оно украшало футболки, наклейки для бамперов, обложки журналов. Русские танки осаждали Афганистан, пятьдесят два американца взяли в плен в Иране, но главной темой для разговоров в 1980 году был Джей Ар Эвинг. Все, кого я встречал, заикались от нетерпения, спеша выпалить самый главный вопрос: «Кто тебя убил?» Я улыбался, а потом бормотал какую-нибудь глупость: «Извините, продюсеры заставили меня поклясться в неразглашении этой тайны». Иногда я просто делал страдальческое лицо человека с животом, пробитым свинцом. Народ это обожал.

Когда я приехал на каникулы в Манхассет, город был уже болен «Джей Ар-лихорадкой». Я предвкушал бессмысленный треп и «ворди-горди», но дядя Чарли и его компания помещались на перипетиях сериала про Джей Ара.

— Наверняка это Бобби, — предположил дядя Чарли, развалившись на стуле. Его голова блестела от масла какао и от солнца, как раковина моллюска.

— Каин и Авель. Самая древняя история в Библии.

— Не может быть, — высказал сомнение Кольт, — Бобби трус.

— Я читал, что в Вегасе принимают ставки на разных подзреваемых, — заметил Джо Ди.

— Интересно, как можно сделать ставку? — поинтересовался дядя Чарли.

— Если это вообще возможно, — ответил Джо Ди, — ты найдешь способ.

Носить имя Джей Ар всегда было сложно. Задолго до появления Джей Ара Эвинга мое имя вызывало у всех, кого я встречал, рефлекс собаки Павлова — одну и ту же реакцию: «Как расшифровывается Джей Ар?» Мне было стыдно, что меня называли в честь сбежавшего отца, и я много лет избирал уклончивые ответы. Потом постепенно у меня появились более тонкие причины бояться имени «Младший». Младший — это переросток, играющий в шашки на банке из-под крекеров возле универмага. Младший — полная противоположность того, кем я надеялся стать. Чтобы отделить себя от этого образа, отогнать любителей подразнить и не вдаваться в подробности истории про исчезновение отца, я перешел от уклончивых ответов к наглой лжи. «Джей Ар не сокращение, — говорил я людям. — Это мое *настоящее* имя по документам».

В какой-то степени это было правдой. «Джей Ар» — именно так я подписывал все официальные документы. В моем свидетельстве о рождении «Джей» стояло рядом с «Ар»^{*}. Я не уточнял, что эти буквы — сокращение в конце имени, подчеркивающее зияющую пустоту в моей жизни.

Эта ложь работала на меня много лет, заставляя умолкнуть любого, кто приставал с вопросами. Пока не начался сериал «Даллас». Теперь от меня так просто не отвязывались: встретить кого-то по имени Джей Ар было все равно что встретить человека, которого зовут ФДР^{**}. Меня засыпали вопросами и оскорбляли, и я лгал еще больше. «Я был зачат сразу же после убийства Джона Ф. Кеннеди, — говорил я, — и мои родители никак не могли решить, в честь какого Кеннеди меня назвать — Джона или Роберта. Там была такая

* Jr. (сокращение от Junior — младший).

** ФДР — Франклин Делано Рузвельт.

история, почти как в книжках про Камелот^{*}. Поэтому они придумали имя, которое соединило в себе оба имени сразу. Джей Ар. Без точек».

Когда всеобщее помешательство на «Далласе» перешло в истерию, я переключился на автопилот, рассказывая эту невероятную ложь с зомбированной монотонностью школьника, шпарившего наизусть «Клятву верности»^{**}. Я обрел некоторое успокоение, пока не появилось очередное испытание — Йель. Когда я отправлял письмо с просьбой выслать мне заявление на поступление, я написал маме, что на первой странице сверху собираюсь напечатать имя Джей Ар Морингер, без точек. Она немедленно прислала ответ: «Ты не можешь подавать документы в Йель под вымышленным именем». Именно из-за тебя мне пришлось придумать это имя, подумал я. Но мама была права. Я не хотел делать ничего, что могло уменьшить мои шансы. Ради Йеля, только ради Йеля я согласился стать Джоном Джозефом Морингером. С этим именем у меня было так же мало общего, как с Энгельбертом Хампердинком.

Каждый раз, когда в то лето произносилось мое имя, каждый раз, когда завязывалась дискуссия по поводу того, что означает «Джей Ар», меня охватывали воспоминания об отце. Мне было интересно, где он. Я думал, жив ли он еще и узнаю ли я, если он умрет. Часто по ночам, когда бабушка с дедушкой спали, я сидел за кухонным столом, прижав ухо к радиоприемнику. Я думал, что избавился от этой привычки, но снова сорвался и, осознав свою слабость, почувствовал стыд. Мне хотелось поговорить об этом с кем-нибудь, но было не с кем. Бабушка бы меня отругала, а потом написала бы маме. Я пытался рассказать об этом Макграу, но чем старше тот становился, тем меньше у него было желания обсуждать наших отцов. «Я боюсь, что, если начну, меня уже будет не остановить».

* Имеются в виду легенды о короле Артуре.

** Клятва верности США и национальному флагу. Обычно читается хором на общественных мероприятиях.

Я поговорил бы с дядей Чарли, но его в то лето мучила своя боль. Как-то поздним вечером, когда я сидел на кухне и читал, я услышал, как с грохотом открылась задняя дверь, потом раздались тяжелые шаги, будто в гостиной кто-то давил тараканов. Дядя Чарли появился в дверном проеме кухни. Я почувствовал запах виски.

— Смотри-ка, кто тут у нас, — сказал он. — Смотри-ка, кто тут, смотри-ка. Что скажешь, парень? Я не ожидал, что кто-то не спит.

Он выдвинул стул из-за стола с громким скрежещущим звуком. Я выключил радио и спросил:

— Как дела?

Дядя сел, сжав губами сигарету. Задумался. Зажег спичку. Снова задумался.

— Джей Ар, — начал он, делая паузу, чтобы зажечь сигарету, — люди — просто подонки.

Я рассмеялся. Он вздернул голову и посмотрел на меня:

— Думаешь, я шучу?

— Нет, сэр.

— Джей Ар, Джей Ар, Джей Ар. Твой дядя — очень проникательный человек. Сечешь?

— Да, сэр.

— Знаешь кого-нибудь проникательнее меня?

— Никого.

— Извини. Грамматическая ошибка. Знаешь кого-нибудь проникательнее, чем я?

— Никого.

— Сто процентов. Я изучал психологию, мальчик мой. Я столько всего прочитал. Не забывай об этом. Мне никто не сможет очки втереть.

Он показал на свои глаза, похожие на две капли крови, потом углубился в длинный невнятный рассказ о ком-то — имена он называть отказался, — кто не проявил должного сочувствия к страданиям Пат перед смертью. Дядя Чарли ненавидел этого человека, ненавидел всех вокруг, ненавидел весь этот чертов мир и собирался как-нибудь всем отомстить. Он

стукнул кулаком по столу, указал на окно, на бесчувственный мир за стеклом, который он называл «эти подонки и негодяи», оскорбившие память о Пат. Я был испуган, но в то же время очарован. Я не знал, что дядя Чарли способен на гнев, и не знал, что люди из «Пабликана» могут так сердиться. Я думал, что люди приходят в бар, когда им грустно, и там им становится веселее, и никак иначе. Таковы правила. Хотя я видел, что дядя Чарли так зол, что может шмякнуть меня об стенку в любую секунду, я в то же время чувствовал, что именно гнев связывает нас. Я все время злился — из-за маминого здоровья, из-за своего имени, и как раз перед тем, как дядя Чарли появился в дверях, я злился на отца. Мой гнев утраивался оттого, что мне некому было рассказать о нем, и порой я чувствовал, что вот-вот взорвусь. Да, хотелось мне сказать, да, давай дадим волю гневу! *Давай взорвем эту кухню к чертовой матери!*

— Джей Ар, ты меня слышишь?

Я вздрогнул. Дядя Чарли сердито смотрел на меня.

— Да, — соврал я. — Я слышу тебя. Секу.

Нужно было стряхнуть пепел с его сигареты. Дядя не обращал на это внимания. Он затянулся, и пепел упал ему на грудь.

— А, всем наплевать, — сказал он и заплакал.

Слезы капали у него из глаз и растекались по щекам. Я чувствовал себя мерзким эгоистом, потому что думал о своем собственном гневе, вместо того чтобы уделить внимание дяде Чарли.

— *Мне* не наплевать, — ответил я.

Дядя посмотрел на меня. Улыбнулся усталой улыбкой. Утерев слезы, рассказал мне, как в первый раз встретился с Пат в баре на Пландом-роуд. Она прошла через зал и упрекнула его за то, что он в шляпе и темных очках. «Сукин ты сын, — сказала она. — У тебя хватает наглости стесняться того, что у тебя нет волос, в то время как ребята возвращаются из Вьетнама без ног?» — «Не суй нос не в свое дело», — отбрил он ее, хотя ему понравился ее характер. Смелая. С такой девушкой можно идти в разведку. Прямо героиня книг Рэймонда Чандлера.

Они разговорились и обнаружили, что у них много общего, в первую очередь их почти религиозное отношение к барам. Еще Пат была учительницей английского, а дядя Чарли любил слова, поэтому они говорили о книгах и писателях. Через несколько дней она отправила ему телеграмму: «ВСЕ ВРЕМЯ ДУМАЮ О ТЕБЕ — НУЖНО УВИДЕТЬСЯ». И попросила, чтобы он приехал в придорожную гостиницу за городом.

— Я приехал туда раньше назначенного времени, — рассказывал дядя. — Сел за стойку бара. Выпил коктейль. Решил уйти. Встал, чтобы уйти.

Он стал изображать, как все было.

— Пошел к двери, — говорил он, разворачиваясь к плите и сбивая стул, на котором сидел. — Ты можешь себе представить, что все могло сложиться иначе? Джей Ар, бога ради. Ты понимаешь? Все было бы по-другому, если бы я *ушел!* Сечешь? Как бы тогда карта легла? Сечешь?

— Секу, — сказал я, поднимая стул с пола.

— Она вплыла в дверь. Собственной персоной. Красавица. Десять баллов. Нет, мать твою, одиннадцать с половиной. В летнем платье. Губы покрашены. Такая красотка!

Чарли снова сел. Загасил сигарету, которая уже почти потухла. Закрыв глаза, смеялся про себя. Он снова был там, в придорожной гостинице, с Пат. У меня возникло чувство, что я нарушаю их уединение.

— Прямо за ней, — прошептал он, — входит ее муж. Она — *замужем*. Муж выслеживал ее несколько недель. *Неделя*, Джей Ар. Думал, что она ему изменяет. Но она не изменяла. Хотя собиралась. Со мной.

— Ты его знал?

— Кого?

— Мужа.

— Джей Ар, ты не слушаешь. Это был самый перепуганный сукин сын, который когда-либо ходил по этой земле. Именно из-за него в «Джонз Бич» больше нельзя распивать спиртное. Но это другая история. Муж садится рядом с Пат и говорит бармену: «Налей им выпить за мой счет». Потом

говорит: «Чаз, если бы это оказался кто-то другой, его бы уже не было в живых». — Он замолчал. — Через полгода Пат развелась. С тех пор мы с ней вместе. Извини. Опять грамматическая ошибка. Мы *были* вместе. Пока...

Часы над плитой тикали так, будто кто-то стучал ложкой по кастрюле. Дядя Чарли закурил еще одну сигарету. Он курил с закрытыми глазами, и ни один из нас не произнес ни слова, пока молчание не стало невыносимым.

— Мы тогда хорошо провели время в «Шиа», — сказал я.

Дядя открыл глаза и посмотрел на меня, явно не понимая, о чем я.

— Мы ее не могли найти. Помнишь?

— Ах да. — Дядя Чарли вздохнул. У него из ноздрей, как у дракона, вылетели два длинных клуба дыма. — Теперь мы ее никогда не найдем.

Я умудрился сказать именно то, чего говорить было нельзя.

— Она любила «Пабликаны», — сказал дядя Чарли. — Она любила смеяться — она все время смеялась, и когда мне казалось, что она уже не может больше смеяться, она приходила в «Пабликаны» и смеялась в два раза больше. И она обожала Стива.

— А что Стив?

— Пора закругляться. — Чарли встал и снова уронил стул.

Я снова его поднял.

— Сколько тебе лет? — спросил дядя.

— Пятнадцать. Мне будет...

— Это прекрасный возраст. Господи Иисусе, какой прекрасный возраст! Оставайся таким навсегда. Не взрослей!

Я провел его по коридору, и он обнимал меня за шею. Стоя в дверях, я наблюдал за тем, как дядя в одежде залезает под одеяло. Он лег на спину и уставился в потолок.

— Джей Ар, Джей Ар, — произнес он. Он продолжал повторять мое имя, как будто в воздухе летали Джей Ары, а он их считал.

— Спокойной ночи, дядя Чарли.

Но когда я закрывал дверь, оказалось, что ему нужно сбросить еще один груз с души.

— Кто убил Джей Ара? — воскликнул дядя. — Наверняка брат его снохи. Никто не ненавидел Джей Ара больше, чем Клифф.

17 | ШЕРИЛ

— Кто-то должен сделать из тебя мужчину, — устало сказала Шерил. — Похоже, мне придется взять это на себя.

Это произошло летом 1981 года, перед началом моего выпускного года в школе. Мы ехали на поезде на Манхэттен, где Шерил нашла мне работу клерком в юридической фирме, в которой сама работала секретаршей. Я озадаченно посмотрел на нее. Я посылал матери реальные деньги, поддерживая в ней надежду, что скоро стану адвокатом, — разве это не доказывало, что я уже в достаточной мере стал мужчиной? В шестнадцатилетнем возрасте я определял свою сущность той компанией, в которой вращался, и, поскольку я ежедневно ездил на Манхэттен, это означало, что я общаюсь с сотнями мужчин. Следовательно, в силу сложившихся обстоятельств, как говорили в нашей фирме, я был мужчиной.

Нет, едва ли, возразила Шерил. В ее понимании мужчина — не состояние души, а определенные поступки. Только что закончив колледж по специальности дизайн интерьеров, Шерил была помешана на внешнем виде. Как ты одеваешься, что ты носишь, куришь и пьешь — именно эти внешние факторы определяют внутреннюю сущность человека. И не важно, что я чувствовал себя мужчиной, — я не вел себя как мужчина и не выглядел как мужчина. «И тут я тебе помогу», — пообещала Шерил.

Шерил переехала в дедушкин дом тем летом, как раз перед моим приездом. (Она копила деньги на собственную

квартиру, пытаюсь сбежать от вечно кочующей матери.) Я жил вместе с Шерил, ездил с ней на поезде и работал, и мне приходилось выслушивать регулярные лекции о том, как стать мужчиной. Положительной стороной было то, что Шерил привлекала толпы мужчин, желающих сесть рядом с нами в поезде. Темно-русые волосы и дерзкий узкий нос делали ее похожей на молодую Ингрид Бергман.

Кто-нибудь другой давно бы вспылил от бесконечных наставлений Шерил. Встань прямо. Заправь рубашку. Что мы будем делать, чтобы развить твою мускулатуру? Но я подчинялся всему, что она говорила, не задавая вопросов, потому что Шерил, похоже, понимала, как устроен мир. Например, она была единственным человеком, который обратил мое внимание на то, что за три секунды до появления поезда появляется третий рельс, и она первой предупредила меня, что третий рельс нельзя трогать ни в коем случае. «Он как я, — объяснила она, — всегда под напряжением!» Никто, кроме Шерил, не мог показать мне, как правильно читать газету в переполненном поезде — сложить пополам вдоль и перелистывать по полстраницы за раз, чтобы не беспокоить сидящих рядом. И что еще важнее, Шерил объяснила, что газета, которую я читаю, — вывеска, декларирующая мой социальный статус, доход, происхождение и коэффициент интеллектуального развития. Работяги читают «Дейли ньюс». Домохозяйки читают «Ньюсдей». Психи читают «Пост».

— Дедушка читает «Пост», — возразил я.

Сестра покосилась на меня, будто говоря: «Еще будут глупые вопросы?»

Мы стояли на переполненной платформе, и Шерил указала на мужчину в пятнадцати футах от нас.

— Видишь того парня?

Прислонившись к фонарному столбу, там стоял бизнесмен в темно-сером костюме, похожий на старшего и более симпатичного брата Кэри Гранта. Я много раз видел, как он входил в «Публиканы», и всегда восхищался его элегантностью.

— Обратил внимание, что он читает?

Он читал «Нью-Йорк таймс», свернутый вдоль.

— Аристократы и большие шишки читают «Таймс», — сказала Шерил. — Даже если это скука смертная.

Я не стал объяснять Шерил, что мне нравится читать «Таймс» и что одним из самых приятных моментов в новой работе для меня были полчаса в поезде, когда я мог почитать эту газету. Мне казалось, что «Таймс» — чудо, шедевр, мозаика из минутных биографий. Я жаждал информации о мире — я нигде не бывал и не знал никого, кто путешествовал, — и мне казалось, что «Таймс», как и Йель, специально придумана для невеж вроде меня. Кроме того, газета «Таймс» показывала мне, что жизнь можно разделить на разные события. Это удовлетворяло мое навязчивое стремление к порядку, к миру, разделенному на черное и белое. Все безумство мира было рассортировано по семидесяти страницам, каждая из которых состояла из шести тоненьких колонок. Я делал все, что мог, чтобы скрыть от Шерил свою любовь к «Таймс», — сестра верила, что настоящие мужчины читают «Таймс», но только безнадежные зануды получают от этого удовольствие. Но у Шерил был зоркий глаз. Она заметила, как я помешался на «Таймс», и стала звать меня Джей Ар — Любитель Сенсаций.

Двумя главными критериями для испытания мужского характера Шерил считала женщин и алкоголь. То, как вы реагировали на них и как вы с ними *справлялись*, в конечном счете определяло ваш коэффициент мужественности. Я рассказал ей о Лане, девчонке из Аризоны, которая была на несколько уровней выше меня в школьной иерархии. У Ланы были грязно-русые волосы, — как по цвету, так и по чистоте. Она мыла их не каждый день, что придавало ей дерзкую сально-сексуальную привлекательность. Пряди плетью болтались у нее по плечам, когда она шла по коридору, как кадет выставив вперед грудь. Ее грудь, как я заверил Шерил, никогда не двигалась, и еще она носила коротенькие шортики, открывающие верхнюю часть ее длинных карамельных ног.

— Если бы ее нога была Соединенными Штатами, — рассказывал я Шерил, — то видно было бы все вплоть до Мичигана.

В конце концов Шерил надоело слушать мои рассказы о Лане. Не видя ее, заявила она, невозможно определить, стоило ли мне так истекать слюной. А вот что касалось вiski, тут Шерил было что сказать. Она любила выпить и с удовольствием обучала меня этому искусству. Каждый вечер после работы мы заходили в грязный бар на задворках Пенн-стейшн, где из-за дыма и темноты все были похожи на Чарльза Бронсона, поэтому бармены никогда не спрашивали, сколько мне лет. Шерил угощала меня парой кружек холодного пива, а потом мы покупали большой пластиковый стакан джина с тоником на обратную дорогу. К тому моменту, когда мы выходили на Пландом-роуд, наши ноги не очень уверенно ступали по тротуару.

Душным вечером в пятницу в середине августа Шерил предложила зайти в «Пабликаны», чтобы выпить по последней рюмке перед тем, как идти домой к дедушке. Я сказал, что мне кажется, дядя Чарли этого не одобрит.

— Ты постоянно ходишь в «Пабликаны», — заметила она.

— Днем. По вечерам в «Пабликанах» все по-другому.

— Кто это сказал?

— Это и так понятно. Ночь — совсем другое дело.

— Дяде Чарли наплевать. Он хочет, чтобы ты стал мужчиной. Будь мужчиной.

Нехотя я вошел за ней в дверь.

Я оказался еще более прав, чем думал. С наступлением темноты «Пабликаны» превращались в совершенно другое место. Более оживленное. Все смеялись и разговаривали одновременно, и казалось, все вращалось вокруг секса. Люди говорили то, о чем наверняка пожалеют на следующий день. И там было столько разных типажей! Я наблюдал такой парад характеров в таком разнообразии костюмов, что у меня было ощущение, что мы с Шерил прокрались за сцену оперного

театра. Там были и священники, и игроки в софтбол, и руководящие работники. Там были мужчины во фраках и женщины в вечерних платьях, которые зашли туда по пути на благотворительный вечер. Были игроки в гольф, только что закончившие игру, яхтсмены, недавно ступившие на берег, рабочие, пришедшие со стройки. Бар был переполнен, как электричка в час пик, на которой мы с Шерил приехали с Манхэттена, и на самом деле мог бы стать продолжением поезда, еще одним прицепленным к нему вагоном. Длинный и узкий бар был забит людьми и заметно раскачивался из стороны в сторону. Мы вошли в толпу, и Шерил выхватила сигарету у какого-то молодого человека, коснулась его запястья, положила руку ему на плечо, откинув волосы назад. Я вспомнил, что в ее сумочке лежит новенькая пачка «Вирджинии Слимз», и тут меня осенило. Все ее разговоры насчет того, чтобы сделать из меня мужчину, были просто прикрытием для генерального плана. Она просто-напросто мечтала, чтобы я смог сопровождать ее в «Публиканы», где отдыхают все стоящие ребята. Понятное дело, ей не хотелось ходить туда одной. Не хотелось выглядеть женщиной, готовой на все, чтобы заполучить парня.

Значит, меня используют! Я внедрился в толпу, прокладывая путь к барной стойке. Однако прошел несколько шагов и наткнулся на плотно сомкнутые ряды ожидавших своей очереди. Поскольку я не мог идти ни вперед, ни назад, я остановился и прислонился к столбу. Рядом со мной стояла девушка лет двадцати с небольшим. У нее было хорошенькое личико, одета она была в клетчатое, подчеркивающее фигуру платье с выточками по бокам.

— Ничего, если я здесь постою? — спросил я.

— У нас свободная страна.

— Эй, мой дедушка все время это повторяет. Ты что, дружишь с моим дедушкой?

Она собралась было что-то ответить, но потом сообразила, что это шутка.

— Как тебя зовут?

— Джей Ар.

— Эвинг?

— Именно так.

— Ты, наверное, часто это слышишь?

— Нет, впервые — от тебя.

— Что означает «Джей Ар»?

— Это мое имя по документам.

— Правда? И чем ты занимаешься, Джей Ар Эвинг, когда ты не в Саусфорке?

— Работаю в юридической фирме. В городе.

— Адвокатом, да?

Я расправил плечи. Никто еще не называл меня адвокатом. Я не мог дождаться, чтобы написать об этом матери. Девушка в клетчатом платье вынула из сумочки сигарету и стала возиться со спичечным коробком. Я взял спички и зажег сигарету в точности так, как это делали в «Касабланке».

— А ты кто такая? — спросил я, копируя голос дяди Чарли. — Расскажи мне о себе.

Шерил научила меня задавать женщинам этот вопрос. Женщины любят вопросы о самих себе даже больше, чем украшения, сказала Шерил. Поэтому я задавал один вопрос за другим. Я засыпал вопросами девушку в клетчатом платье и выяснил, что она работает продавщицей, ненавидит свою работу, хочет быть танцовщицей и снимает с подружкой комнату в Дагластоне. И что подруга уехала на Барбадос.

— Ее не будет целую неделю, — сказала девушка в клетчатом платье. — В квартире та-а-ак пусто.

Втянув щеки, я заметил, что в ее стакане с пивом остался всего глоток.

— Раз уж разговор зашел о пустоте, позволь мне купить тебе еще одно пиво.

Я направился к бару. Тут вмешалась Шерил.

— Мы уходим, — объявила она, хватая меня за галстук.

— Почему?

— Дядя Чарли заметил тебя и очень сердится.

Дядя Чарли ни разу в жизни не сердился на меня. Я сказал, что мне хочется сбежать на Аляску от такой жизни.

— Господи! — воскликнула Шерил. — Будь женщиной!

По дороге домой у Шерил появилась идея. Поскольку мы все равно уже нажили себе неприятностей с дядей Чарли, то можно еще немножко покутить перед сном. Она предложила поехать выпить в Рослин. В бар попроще. Сестра взяла ключи от «кадиллака» дяди Чарли, и мы отправились в печально известное заведение, где даже восьмилетний ребенок мог не моргнув глазом заказать «Текилу Санрайз».

— Пойди закажи нам коктейли, — сказала Шерил, подталкивая меня к стойке.

Я пробрался сквозь толпу, и когда вернулся с двумя порциями джина с тоником, Шерил стояла в окружении пяти моряков. Они выглядели так, будто собираются задержать ее на пограничном контроле.

— Вот он! — воскликнула сестра, когда я появился.

— Ты его нянька? — поинтересовался один из моряков.

— Это мой двоюродный брат, — сказала Шерил. — Я пытаюсь сделать из него мужчину.

— Тут, похоже, работы невпроворот, — заметил другой моряк. Увидев, как я вздрогнул, он протянул мне руку. — Я просто пошутил, парень. Как тебя зовут?

— Джей Ар.

— Что?! Да ну! Эй, ребята, этого парня зовут Джей Ар!

Его приятели отвлеклись от Шерил и стали на меня тарашиться.

— Кто в него стрелял?

— Спроси, кто в него стрелял?

— Кто в тебя стрелял?

Но Шерил не собиралась отступать без боя.

— Кто-то, по-моему, собирался купить мне выпить? — крикнула она.

— У-у-у, — заревели моряки. — Да-а-а! Несите выпивку Джей Ару! Пусть он напьется до смерти!

Какой-то моряк протянул мне рюмку и приказал выпить. Я выпил. Другой протянул мне еще стакан. Я выпил его еще быстрее. Тогда моряки потеряли ко мне интерес и снова

сгрудились вокруг Шерил. Она закурила. Я видел, как она держит первый клуб дыма во рту, словно комок ваты, прежде чем проглотить его, и подумал: «Ну конечно, нужно начать курить». Я небрежно закурил одну из сигарет Шерил, будто это была уже моя двадцатая сигарета за день, и ухмыльнулся. И это все? Я снова затянулся. Еще глубже. Затяжка отозвалась резкой болью в легких. На смену первоначальному всплеску эйфории пришла истерика, потом тошнота, потом классические симптомы малярии. Я вспотел. Меня трясло. Потом у меня начался бред. Я парил над моряками. Глядя сверху на залысины в их стрижах ежиком, я подумал: «Наконец-то свежий воздух. *Наконец-то свежий воздух*».

Я пошел к выходу походкой Франкенштейна. Дверь не открывалась. Я толкнул ее. Дверь поддалась, и я упал на узкую аллею. Кирпичная стена. Я прислонился к ней спиной. О, стена. Надежная стена. Держи меня, стена. Я сполз вниз. Прислонившись к стене, запрокинул голову и попытался дышать. Воздух казался таким свежим. Как водопад. Я представлял лицо воздуху достаточно долго, пока не понял, что нахожусь прямо под трубой, из которой течет какая-то зеленоватая жидкость. Я повернулся на бок. Светофоры отражались разноцветными кругами на маслянистой поверхности луж. Я не знал, сколько времени я разглядывал эти круги. Час? Пять минут? Но когда я собрался с силами, чтобы встать и пойти назад, то столкнулся с недовольной Шерил.

— Я тебя везде искала.

— Я был на улице.

— Ты плохо выглядишь.

— Потому что плохо себя чувствую. Где твои brave ребята?

— Отступили, когда поняли, что я не Иодзима*.

На обратном пути в Манхассет я впервые заметил, что Шерил отвратительно водит машину. Она превышала скорость, потом вдруг тормозила, меняла ряды, резко останавли-

* Битва за Иодзиму — битва между США и Японией в феврале—марте 1945 года.

ливалась на красный свет. Когда мы доехали до дедушкиного дома, меня стошнило. Я не смог ждать, пока Шерил остановится на площадке у дома. Я выпрыгнул из движущейся машины, вбежал в дом, и меня стошнило в ванной. Я заполз в постель и нырнул на матрас, который стал медленно подниматься, как суфле. Вошла Шерил и как-то умудрилась сесть на краешек матраса, хотя он был в десяти футах над землей. Она сказала мне, что я перебуду весь дом. Прекрати стонать, попросила она. Я и не знал, что стонал.

— Ну что ж, поздравляю! — произнесла она или попыталась произнести. У нее получилось: «Пазддра-вляю!» — Ты пробрался в «Пабликаны». Потом тебя из «Пабликанов» выгнали. Напился с моряками. Выкурил первую в жизни сигарету. Я тобой горжусь. Правда горжусь.

— Ты дьявол?

Шерил вышла из комнаты.

— Эй! — позвал я. — Почему ты рассталась с Джеддом?

Если она и ответила, я этого не слышал.

Где-то в доме играло радио. «Прыжок в час ночи» Каунта Бейси. Красивая песня, подумал я. Потом от быстрого ритма меня затошнило еще больше. Смогу ли я когда-нибудь снова наслаждаться музыкой? Я пытался заснуть, но слова и мысли роились в моей голове. Я подумал, что это какие-то интуитивные видения из подсознания, и мне захотелось их записать. Однако я не мог встать с постели, потому что матрас все еще поднимался. Сколько должно пройти времени, прежде чем моя голова окажется прижатой к потолку? Я чувствовал себя машиной на гидравлическом лифте. Я растянулся на животе, а голова свисала с кровати. Я решил, что «моя мама» — это печатные слова, «мой папа» — непечатные, а «Шерил» — что-то неразборчивое. Потом наступила темнота.

Утром я проснулся от кошмара, в котором моряки брали штурмом дедушкин дом, сдирая шевроны с рукавов, чтобы заклеить «двухсотлетний» диван. Я долго стоял под горячим душем, а потом уселся на крыльце с чашкой черного кофе. Дядя Чарли вышел на улицу и широко мне улыбнулся.

Я сжался, но он заметил мои налитые кровью глаза и, должно быть, решил, что я и без того достаточно настрадался. Он покачал головой и посмотрел на верхушки деревьев.

— Теперь я смогу вести машину, когда мы будем возвращаться из Рослина, — заявил я Шерил, показывая новенькие водительские права, которые прислала мама.

Был конец августа, мы ехали на утренней электричке, и Шерил поднесла права поближе к окну, чтобы лучше видеть. Она прочитала:

— «Рост: пять футов десять дюймов. Вес: сто сорок фунтов. Волосы: каштановые. Глаза: карие». — Она рассмеялась. — Хорошее фото! Ты здесь выглядишь лет на двенадцать. Нет. Даже не думай. На одиннадцать. Что мама пишет?

Я прочитал:

— «Прилагаю страховку, дорогой. Случись чего — не дай бог, — тебе придется ее предъявить». — Смутившись, я потупил глаза. — Мама вечно беспокоится.

В том же письме мама сообщала, что получила новую работу в страховой компании, которая ей очень нравится. «Больше нет такой нагрузки на работе, как раньше, когда я приходила домой полуживая, — писала она. — Я думаю, когда ты вернешься, то заметишь, что я сильно изменилась. Сейчас я тоже устаю к концу дня, но все-таки от меня что-то остается».

Свернув письмо и положив его в карман, я рассказал Шерил про драндулет за четыреста долларов, который мама купила для меня — «АМС Хорнет» 1974 года с оранжевой полоской. Я не сказал, как сильно стал скучать по маме после этого письма, что не могу дождаться, когда пройдут две недели и я увижу маму, и как я все время за нее переживаю. Я не признался, что иногда, по утрам, когда мы едем на поезде, я не могу избавиться от мысли, что с мамой случилось что-то плохое. Что я пытаюсь отогнать эти страхи с помощью своей старой мантры, а потом проклинаю себя за то,

что снова поддался детским суевериям. Что я говорю себе, что лучше перестраховаться, чем потом жалеть, потому что, может быть, в мантре все еще остались какие-то магические свойства, и что если я перестану произносить ее, у мамы могут случиться неприятности. Я знал — Шерил скажет, что настоящие мужчины так не думают. У настоящих мужчин нет никаких мантр, и настоящие мужчины конечно же не скучают по своим матерям.

Поздним утром того дня Шерил нашла меня в архиве. У нее было сердитое лицо, наверное, из-за того, что у меня не было денег на обед и я попросил ее дать мне в долг.

— С твоей мамой что-то случилось, — сказала она. — Несчастный случай. Нас ждут дома.

Мы побежали к Пенн-стейшн. Шерил купила упаковку из шести банок пива, и мы их все выпили, пока ехали до залива.

— Я уверена, что все будет хорошо, — заверяла она меня. Но ничего уже не было хорошо. Моя мантра не сработала, я подвел маму.

Проходя мимо «Пабликанов», я заглянул в окно, услышал смех и увидел счастливые лица людей в баре. Я чуть было не предложил Шерил зайти выпить по рюмке. Дядя Чарли понял бы. Я ненавижу себя за этот порыв, за то, что я на секунду позволил себе забыть о матери, но я был напуган, и «Пабликаны» казались мне лучшим противоядием от страха. Я стремился в бар еще отчаяннее, и это стремление было зловещим.

Дома у бабушки я швырнул кое-какие вещи в сумку, и Шерил поцеловала меня на прощание.

— Будь мужчиной, — сказала она, но не так, как обычно, а более нежно, ободряюще, как будто верила, что я действительно им буду.

Бабушка купил мне билет на самолет, а дядя Чарли отвез в аэропорт. По дороге он рассказал мне все, что знал. Когда мама возвращалась домой с работы, пьяный водитель, который ехал по встречной полосе с выключенными фарами,

столкнулся с ней лоб в лоб. Она получила перелом руки и сотрясение мозга.

— У нее потеря памяти, — сказал дядя Чарли.

Я спросил дядю, что будет, если мама меня не узнает. Он ответил, что не совсем понимает, о чем я. Я и сам не до конца понимал. Наверное, хотел спросить, кем бы я был, если бы моя мать меня не знала.

18 | ЛАНА

На лице у нее были рваные раны, а в волосах запутались сгустки крови. Глаза полуоткрыты. Лицо изменилось, а взгляд совершенно отсутствующий. Я склонился над ней.

— Мама? — произнес я.

За спиной я услышал голос медсестры — та говорила, что маме дали сильнодействующее обезболивающее и какое-то время она будет «в отключке».

— Ты большой для десятилетнего мальчика, — сказал доктор.

— Простите?

— Твоя мама сказала, что тебе десять лет.

— О!

— А когда я спросил, где, по ее мнению, она находится, она сказала, что в Нью-Йорке.

— Мы переехали из Нью-Йорка.

— Я так и подумал. Я даже подвел ее к окну и показал ей на пальмы и кактусы, но она настаивала, что это Нью-Йорк.

Когда часы посещения закончились, я ушел из больницы и вернулся в нашу квартиру. Я пытался успокоиться, взял книгу. Не помогло. Включил везде свет, потом выключил. Сидел в темноте и думал. Потом я вышел, сел на берегу канала и стал смотреть на воду. Я был измучен, но не мог пойти спать, потому что каждый раз, закрывая глаза, я представлял

себе аварию. Испуганный, одинокий, я думал о том, что мама сказала доктору. Отчасти она была права. Мне десять лет.

Без всяких планов, вообще без каких-либо мыслей моя рука потянулась к телефону, и пальцы уже набирали номер Ланы, школьной красавицы, о которой я рассказывал Шерил. Перед тем как я уехал на лето, у нас с Ланой состоялся короткий разговор на вечеринке, мы даже почти договорились встретиться. Я был уверен, что она говорила это не всерьез, и не рассчитывал, что наберусь смелости позвонить ей. Но теперь, когда мама находилась «в отключке», а моя психика — в состоянии свободного падения, я ощутил необыкновенно сильный порыв встретиться с Ланой. К ней меня тянуло так же, как в «Публиканы», и я смутно понимал, что это как-то связано с желанием немного отвлечься.

Мы встретились в мексиканском ресторане возле ее дома. На Лане были самые короткие из ее шортиков и цветастая блузка, завязанная узлом на талии. Летнее солнце придало ее коже удивительный блеск и высветлило отдельные пряди волос до медовых и сливочных оттенков. Я рассказал ей о маме. Девушка вела себя очень мило и посочувствовала мне. Я заказал бутылку вина, почти в шутку, и мы оба усмехнулись, когда официант не спросил удостоверения личности. После ужина, когда мы шли к машине, Лана казалась не совсем трезвой.

— Это твоя новая машина? — спросила она.

— Да. Это «Хорнет».

— Вижу. Красивая полоска.

— Оранжевая.

— Да. Оранжевая.

Я спросил, торопится ли она домой.

— Да нет. А что ты хотел предложить?

— У нас два варианта. Первый — пойти в кино. Или, может, купим пива и поедем на вершину Спины Верблюда?

— Конечно на Спины Верблюда.

Приятель как-то показывал мне припаркованные рядами машины парочек, облепивших один из горбов Спины

Верблюда. Он любил взбираться туда и подглядывать за парочками, когда ему нечем было заняться. Но это было несколько месяцев назад при дневном свете, а сейчас стояла темная, безлунная ночь. Местность выглядела незнакомой, и я ездил туда-сюда по горбу, надеясь, что Лана не протрезвеет и не заскучает. Она крутила ручку радиоприемника, а я говорил ей, что хочу найти местечко, откуда открывается захватывающий дух вид и где безлюдно, не упоминая о том, что местечко находится на вершине почти отвесной скалы. Наконец, через сорок пять минут, я нашел знакомую грязную дорогу, которая вела к тому местечку, обрываясь перед крутым склоном.

— Ты готова забраться на склон? — спросил я, захлопывая дверцу «Хорнета».

— Забраться?

В одной руке я нес пакет с пивом «Ловенбрау», другой поддерживал Лану. Склон с каждым шагом становился все круче. Тяжело дыша, Лана спросила, сколько еще идти.

— Недалеко, — ответил я, хотя не имел ни малейшего понятия.

Я же никогда не был здесь с приятелем. Просто поверил ему на слово. В конце концов склон превратился в практически вертикальную стену.

— Ой! — Лана задела ногой кактус и оцарапала бедро. У нее потекла кровь.

Наверху стена выгибалась в нашу сторону. Я закинул туда пакет с «Ловенбрау», подтянулся на руках, потом подал руку Лане. Когда мы оба залезли наверх, то легли на спину, задыхаясь и хохоча, и стали рассматривать ее рану. Потом доползли до самого дальнего конца утеса, откуда открывался вид, который описывал мой приятель. Под нами мерцали миллионы огоньков, как будто долина была тихим озером и в нем отражались звезды.

— Черт, — сказала Лана.

Я открыл две банки пива и протянул ей одну. Ветер забросил грязно-русые волосы Ланы ей на глаза, и я убрал их

с ее лица. Лана подалась вперед, чтобы поцеловать меня. Я закрыл глаза. Ее нижняя губа оказалась пухлой, как суфле. Она просунула язык мне в рот. Я открыл глаза, и она открыла. Я видел границы ее контактных линз и крошки туши на ресницах. Лана снова сомкнула веки и поцеловала меня крепче, еще шире раскрывая мне рот. Я расстегнул верхнюю пуговицу на ее блузке. Бюстгальтера на девушке не было, а грудь была нереально упругой. Я сжал ее и изо всех сил пытался не пялиться. Мне не хотелось показаться грубым. Лана отшатнулась и развязала узел на талии, потом распахнула блузку, предлагая мне полюбоваться. Засунула руку мне в брюки. Я снял с нее шорты.

— Мы будем этим заниматься?

— Надеюсь.

— На тебе что-то должно быть надето.

— Я не буду снимать рубашку.

— Да нет же! Я про презерватив.

— У меня нет презерватива.

— Тогда ничего не выйдет.

— Хорошо. Хорошо. Конечно. — Пауза. — Почему нет?

— Ты хочешь, чтобы на свет появился Джей Ар Младший?

Я встал. Сделав большой глоток «Ловенбрау», стал смотреть на звезды, проклиная себя. *Почему я не подумал о предохранении?* Это же так просто. Наверное, потому что ничего не знал об этом.

Лана лежала у моих ног, без шортов, растянувшись в лунном свете, как на пляже. Ее ноги были раздвинуты, и между ними что-то блестело. Ни одна из звезд над нашими головами не сияла так ярко, но любая из них сейчас казалась мне ближе, чем Лана. Если я упущу момент, подумал я, если я позволю Лане одеться и пойти вниз по склону к «Хорнету», эта ночь всю жизнь будет преследовать меня в кошмарах. Мне, по крайней мере, нужно сдвинуться с места. Иначе я не смогу смотреть Лане и своим одноклассникам в глаза и не смогу каждый день проезжать мимо Спины Верблюда. Потому что

для меня Спина Верблюда будет Горой Девственника, она будет смеяться надо мной во весь голос. Мне нужно было что-то делать, и делать быстро, потому как казалось, еще несколько минут — и Лана встанет и натянет на себя шортики.

— Подожди здесь, — сказал я.

— Подождать — где?

Она не успела больше произнести ни слова, потому что я прыгнул с утеса и понесся вниз по склону. Торопясь добежать до самого низа, пока Лана не начнет возмущаться или не побежит за мной, я недооценил угол наклона и степень риска. Споткнувшись, я упал и покатился вниз, зацепившись за кактус, иглы которого впились в мое колено, как вязальные спицы. Я завопил.

— Что случилось? — закричала Лана.

— Ничего!

Она, наверное, предположила, что презервативы есть у меня в машине. Конечно, девушка не могла предвидеть, что я собираюсь сделать. Знала бы она, что я хочу завести «Хорнет» и уехать, оставив ее на этой продуваемой всеми ветрами горе.

В Скоттсдейле в 1981 году после полуночи магазины не работали. Пустыня была темной и безлюдной. Оставалось надеяться на единственный круглосуточный магазинчик. Я понесся вниз по горбу и свернул в сторону Скоттсдейл-роуд. Миновав несколько закрытых торговых рядов, я уже почти отчаялся. Но в пятнадцати милях от Спины Верблюда я заметил неоновую вывеску. «Серкл Кей»*.

Я не имел ни малейшего понятия о том, как выглядит презерватив. Я никогда не держал в руках презервативы и не разговаривал ни с кем на эту тему. Бродя взад-вперед между рядами, я искал ряд, где было бы написано: «Презервативы». Я проверил ряд с туалетными принадлежностями. Проверил ряд с канцтоварами. Посмотрел в витрине-холодильнике. Может, презервативы — скоропортящийся продукт и долж-

* «Серкл Кей» — сеть небольших продуктовых магазинов на заправочных станциях.

ны быть свежими? Мороженое, газировка, молоко — презервативов нет.

В конце концов я догадался, что презервативы, как эротические журналы и сигареты, — товар особой категории и должны храниться за прилавком. Я поднял глаза и увидел их. Они висели на крючках над головой клерка в маленьких коробочках с изображением пар, собирающихся предаться акту физической любви. Я с облегчением вздохнул, но тут же снова напрягся. Если презервативы — инструмент порока, то должны быть какие-то возрастные ограничения. Нужно срочно что-нибудь предпринять, чтобы казаться старше! Я схватил выпуск «Нью-Йорк таймс».

— Это все? — осведомился продавец.

— Да. Хм, пожалуй, нет. Дай-ка мне пачку презервативов, ладно?

— Каких?

— Среднего размера, пожалуй.

— Какой *фирмы*, парень?

Я показал. Он положил коробку «Трояна» поверх «Нью-Йорк таймс». Я кинул двадцатку на прилавок.

— Сдачи не надо, — сказал я.

Нахмурившись, продавец протянул мне мелочь.

С тех пор как я оставил Лану, прошло пятьдесят минут. Она либо испугалась до смерти, либо обезумела от ярости. Когда я несся на огромной скорости в гору, я вспомнил, что местечко, где осталась девушка, мы отыскиали наугад, после того как сорок пять минут ездили по горбу зигзагами. Смогу ли я когда-нибудь снова найти это место? Притормозив на длинной дороге, которая вела к основанию горы, я посмотрел на спидометр. Я ехал со скоростью семьдесят пять миль в час, и меня трясло так же, как и «Хорнет». Мне казалось, что «Хорнет» сейчас выбросит поршневый шток. Из меня тоже сейчас выпадет поршневый шток, думал я. Все выглядело незнакомым. Да и как что-то может показаться знакомым у подножия горы в полной темноте? Я приказал себе не спешить, расслабиться. Я не должен умереть в автокатастрофе в

тот же самый день, когда в аварии чуть было не погибла мама. Я представил себе, как она выйдет из «отключки» и доктор сообщит ей печальную весть: «Ваш сын мертв». «Что он делал на спине Верблюда?» — спросит мама слабым голосом.

Я подъехал к знакомой развилке, но не мог вспомнить, куда мы с Ланой повернули — налево или направо. Я свернул влево, нажал на педаль газа и почувствовал, что у меня онемела нога. Иголки кактуса в колене выделяли яд в мою кровеносную систему. Значит, ногу мне придется ампутировать. Я пытался выдернуть иголки из коленной чашечки, одновременно репетируя, что я скажу Ланиному отцу. Он либо убьет меня — я вспомнил, что он был защитником в «Чикаго Беарз», — либо вызовет полицейских.

Мне на ум пришел еще более отвратительный сценарий. Лана решила, что я сумасшедший и бросил ее, попыталась выбраться, заблудилась, споткнулась в темноте и упала в обрыв, кишасший змеями, ящерицами и дикими рысями. Водятся ли вообще рыси в Скоттсдейле? Возможно. И как акул, их, наверное, привлекает запах крови. Я вспомнил порез на Ланиной ноге. Когда полиция найдет изуродованное тело Ланы, никто не поверит, что она согласилась ждать на вершине горы, пока я съезжу за презервативами. Все решат, что я домогался Ланы, а она мне отказала, поэтому я ее убил. Я ехал все быстрее, чувствуя, как немота в колене распространяется на бедро. Я не только попаду в тюрьму за убийство, не только лишусь ноги, но и каждый день в тюремном дворе остальные заключенные будут спрашивать меня: «Как ты потерял ногу?» Это будет своеобразной мезтью, карой небесной за все мои жалобы на то, что люди расспрашивают меня об имени, так же как эта ночь стала наказанием за то, что я пытался переспать с девушкой, пока моя мать лежала на больничной койке, вся в бинтах, со сломанной рукой, в тяжелом забытии от сильнодействующих лекарств.

Я вновь и вновь проезжал одни и те же дома и кактусы. Я наматывал круги вокруг горба, даже не зная, на правильном ли я горбу. Первый это горб или второй? Я включил

радио, чтобы успокоить нервы, и подумал об отце. Проклять! Я стукнул по радиоприемнику кулаком. Если бы отец был рядом, когда я рос, я бы знал о презервативах и ничего этого не случилось бы! Если бы он сам пользовался презервативами, ничего этого не случилось бы! Я остановился у обочины, опустил голову на руль и расплакался. Откуда-то изнутри вырывались дрожащие всхлипы. Я горевал о матери, о себе самом, о Лане, которую в этот момент заживо съедали дикие рыси.

Я вспомнил рассказ Хемингуэя, который заставили меня прочесть Билл и Бад, «Снега Килиманджаро», в самом начале которого говорится о вершине горы, называвшейся «Дом Господа», где лежал высохший скелет замерзшего леопарда. «Никто не смог объяснить, что искал леопард на такой высоте», — писал Хемингуэй. О чем, черт возьми, этот рассказ? О любопытстве, которое сгубило кошку? Или леопард хотел с кем-то переспать? Интересно, похожи ли леопарды на рысей? Зачем читать рассказы, если они не могут дать практического совета на случай подобных чрезвычайных происшествий? Я бы позвонил Баду и Биллу, но у меня не было их домашних телефонов. Потом я решил позвонить в «Пабликаны». Конечно! «Пабликаны»! Дядя Чарли или Стив наверняка знают, что делать. Потом я представил, как они спросят меня, зачем я полез на Спину Верблюда, когда моя мать в больнице. Представил, как они будут смеяться. *Пацан пытался потерять девственность — но вместо этого потерял девчонку!* Я предпочел бы рассказать об этом следователям из убойного отдела, чем ребятам из «Пабликанов».

Впереди был почтовый ящик, похожий на красный сарай. Лана что-то говорила насчет этого ящика, когда мы проезжали мимо. *Как мило*, сказала она, показывая на него, и я вспомнил, что там мы и повернули налево. Теперь я снова повернул налево и увидел знакомый дом с колесом от телеги во дворе, потом кактус с огромным количеством ветвей, который напомнил мне о Джедде, а потом грязную дорогу, которая кончалась на вершине склона.

Выскочив из машины, я заорал, глядя на звезды:

— Лана!

Нет ответа.

— Ла-н-н-н-а-а-а!

Я пытался кричать как Тарзан. Я пытался кричать как Брандо, зовущий: «Стел-л-л-а-а-а!»*, но у меня получалось больше похоже на вопль из фильма ужасов. Может быть, Лана обиделась и поэтому не отвечала. Это было моей единственной надеждой. *Господи, пожалуйста, пусть она сердится, но только бы она была жива.* Перед тем как я взобрался на склон, мне пришла в голову еще одна мысль, которую я запомнил навсегда — со стыдом и удивлением. *Если Лана еще жива, может быть, я смогу объяснить и извиниться. И мы все-таки сможем... сделать это. Может, мне стоит прямо сейчас надеть презерватив.* Поскольку я никогда не видел презервативов, то мне нужен был свет, чтобы надеть его, но единственный доступный мне на вершине горы источник света находился в «Хорнете». Я вернулся в машину, включил освещение салона и открыл пачку презервативов. Никаких инструкций. Я надел один презерватив на палец. Как может такой маленький колпачок удержаться во время секса? Ответа я не знал, и у меня не было времени с этим разбираться. Я надел свернутый презерватив, как берет, на свой мягкий пенис и бросился к вершине.

— Лана!

Мой голос отозвался эхом в горах.

— Лана!

Прошло почти два часа с тех пор, как я оставил ее.

— Ла-а-а-ана!

Глаза слепило от боли в ноге, колено не сгибалось, поэтому взбирался я дольше обычного. Наверху я подтянулся на руках и стал вглядываться в темноту. Я увидел Лану, свернувшуюся калачиком и спящую. Я подполз к ней. Девушка проснулась и потянулась ко мне. Ее дыхание пахло «Ловенбрау» и жвачкой «Джуси фрук».

* Имеется в виду сцена из кинофильма «Трамвай «Желание» (1951).

— Ты плакал? — спросила она, целуя меня. Она потянула меня на себя. Я едва мог удержаться на своей онемевшей ноге, но она помогла, направляя меня.

— Вот сюда, — прошептала она. — Внутрь. Глубже.

Она качала меня туда-сюда, показывая мне, как нужно двигаться, пока я не понял. Я посмотрел на долину, на все эти огоньки, на дома, окна, которые я разглядывал, когда был маленьким. Наконец-то кто-то впускал меня в этот мир.

Потом мы с Ланой лежали на спине, плечом к плечу.

— Твой первый раз? — спросила она.

Мы оба рассмеялись.

— Прости... — начал я.

— Не извиняйся. Так волнующе, когда у кого-то это в первый раз.

Я рассказал ей о том, как искал презервативы.

— Никто никогда не делал ради меня... такого. — Лана была тронута.

Она спала у меня на груди, пока я считал звезды. Повернув голову, я увидел в грязи неподалеку неиспользованный свернутый презерватив, блестящий в лунном свете как моллюск. Вдруг я одновременно стал мужчиной и отцом? Мне было все равно. В любом случае я больше не мальчик.

На самом деле я понимал, что я уже не мальчик, но еще не мужчина — я был где-то посередине. «В отключке». Даже Шерил бы с этим согласилась. Интересно, думал я, может, потеря девственности что-то вроде амнезии, когда ты забываешь о прошлой жизни, о том, что, как тебе казалось, не забудешь никогда, и начинаешь все заново. Я на это надеялся. Жаль, что мне некого было спросить, так ли это.

Через неделю мать вернулась из больницы с большой гипсовой повязкой на руке. По утрам она перебиралась с кровати на диван и на протяжении дня спала урывками под действием обезболивающего. Хорошей новостью было то, что, согласно заключению доктора, мозг не пострадал. И к маме вернулась память. Но говорила она мало, а когда говорила, голос казался слабым скрежетом, лишенным каких-либо интонаций. Казалось, ее голос потерял выражение, так же как и лицо. После школы и смены в книжном магазине я садился на стул напротив дивана и либо наблюдал, как мама спит, либо заполнял анкету для поступления в Йель.

Первая страница была настоящим минным полем с вопросами типа «Официальное имя вашего отца». Я подумывал, не написать ли мне «Джонни Майклз». Но остановился на имени «Джон Джозеф Морингер». Следующим вопросом было: «Адрес вашего отца». Я обдумал несколько вариантов: «Нет точных данных», «Адрес неизвестен», «Местонахождение неизвестно». Я выбрал «Данные отсутствуют» и в отчаянии посмотрел на эти слова.

Билл и Бад просто с ума сошли, а может, повели себя бесчувственно, посоветовав мне поступать в Йель. Лучший университет страны не допустит в свои пенаты таких студентов, как я, — проживающих в дешевых съемных квартирах, переезжающих с места на место и не знающих ничего о своих отцах. Без сомнения, приемная комиссия кидала заявления вроде моего в специальную корзину с маленькой этикеткой «БЕЛЫЙ МУСОР».

— Йелю все равно, знаешь ли ты, где твой отец, — заверили меня Билл и Бад, когда я спросил их напрямую.

Я фыркнул.

— Но если это тебя беспокоит, — сказал Билл, — разыщи его.

Как будто это так просто! Потом я подумал: «А вдруг действительно просто?»

С момента нашей встречи прошло много времени. Мне было почти семнадцать, я стал другим — мой отец, наверное, тоже. Может быть, ему интересно, что со мной. Может, он звонил домой дедушке, чтобы разыскать меня, но там повесили трубку. А что, если отец обрадуется, услышав *мой* голос? К тому же мне ведь ничего от него больше не нужно. Стыдно было в этом признаться, но я больше не надеялся засудить отца. Эта идея отошла на второй план, а вместо нее появилось жгучее желание встретиться с ним, выяснить, кто он, чтобы понять, кем смогу стать я.

Я прикинул, что найти его будет легко. В конце концов, я брал курс журналистики в школе и писал для школьной газеты — моей первой статьей был материал о местном диск-жокее, написанный несколько подобострастно. К тому же я с восторгом узнал, что одна из основных задач репортера — находить людей. Поиск отца станет моей первой пробой в расследовательской журналистике. И если я выясню, что он умер, значит, так тому и быть. Знание принесет душевный покой, и я смогу написать «умер» в графе «адрес» — это гораздо лучше, чем «данные отсутствуют».

Я не рассказывал маме о своих поисках. Она решила бы, что я предаю ее, ища встречи с человеком, который грозился ее убить, особенно после того, как она чуть не погибла по вине пьяного водителя. Поэтому поиски я проводил тайно, после уроков: пользуясь телефоном в кабинете журналистики, я обзванивал радиостанции и клубы по всей стране, в которых выступают комики. Никто не знал, где мой отец и жив ли он. Я сходил в библиотеку и пролистал телефонные справочники многих городов, но там всегда оказывалось бесчисленное множество Джонни Майклзов и ни одного Джона Морингера. Прошел месяц, а у меня не было ни одной зацепки.

Однажды днем, когда мама ушла на рынок, я набрал номер одного из коллег отца по «Дабл-ю-эн-би-си» в Нью-Йорке. Я несколько недель старался застать этого человека, и сегодня, как сказала его секретарша, он как раз должен был находиться на рабочем месте. Так и оказалось. Пока он

проверял, есть ли у него номер моего отца, вернулась мама. Она забыла список продуктов.

— С кем ты разговариваешь? — поинтересовалась она, и я вздрогнул.

Мужчина вернулся к телефону и сказал, что отец просил, чтобы его местонахождение не разглашалось. Я стал спорить, но он повесил трубку. Мама присела рядом со мной, и мы оба уставились на телефон. Она спросила, не нужна ли мне ее помощь.

— Нет, — ответил я.

Она потрогала свою руку, ту часть, которая была сломана во время аварии. Гипс недавно сняли, но мышцы атрофировались и рука часто болела. Еще маме было больно из-за того, что она долгое время не могла работать и у нас накопились неоплаченные счета. Она переживала из-за денег, переживала больше обычного, а я только усугублял положение.

— Прости, — сказал я.

— Не извиняйся. Мальчику нужен отец. — Она печально улыбнулась. — Всем нужен отец.

Мать стала просматривать бумаги и вынула старую записную книжку. Ей казалось, что у нее есть телефон папиной сестры во Флориде. Надев очки, она потянулась к телефону своей атрофированной рукой. Мне не хотелось слушать, и я ушел в свою комнату работать над сочинением для поступления в Йель.

Мама дозвонилась до папиной сестры, хотя лучше бы она этого не делала. Сестра сказала, что отец не хочет, чтобы ему звонили. Вот и все.

— Но в любом случае, — сказала мама, стоя у плиты, — я оставила сообщение для него и попросила передать. Поживем — увидим.

Рано утром раздался телефонный звонок. Я сразу же узнал Голос.

— Папа? — удивился я.

— Как ты себя чувствуешь? — Он казался взволнованным.

— Хорошо, — ответил я.

— Хорошо?

— Да.

— Но где... как?..

Тут трубку выхватила мама. Прикрыв рукой микрофон и повернувшись ко мне спиной, она что-то сказала отцу шепотом. Позже она призналась, что просила сестру отца передать ему следующее: «Джей Ар очень болен и, пока еще не поздно, хотел бы встретиться с отцом». Один из ее перлов.

Когда мама отдала мне трубку, голос отца звучал удивленно. Он спросил, какие у меня новости, и, похоже, заинтересовался тем фактом, что я собираюсь поступать в Йель. Но он вовсе не заинтересовался — просто это показалось ему подозрительным. Он знал, что обучение в Йеле стоит дорого, и думал, что я ищу его, чтобы попросить денег. После того как я упомянул о заявлениях на получение финансовой помощи, его тон изменился — отец даже сказал, что приедет в Аризону повидаться со мной, но только если мама пообещает, что его не упекут за решетку. Ей пришлось пообещать несколько раз, и я передал отцу каждое ее слово, прежде чем он наконец поверил. Он жил в Лос-Анджелесе, работал на радиостанции, транслировавшей рок. В следующие выходные он летел в Феникс.

Я спросил маму, как я узнаю отца в аэропорту. Я его совсем не помнил.

— Столько лет прошло, — сказала она. — Когда-то он был похож на... Не знаю.

— На кого?

— На тебя.

— Правда?

Она отпила кофе из чашки. Потом задумалась.

— Он всегда любил поесть. Когда-то даже работал поваром.

— Да?

— Поэтому держу пари, он поправился. Выпить он тоже всегда любил, что также могло повлиять на внешность. И во-

лосы у него начинали редеть. Думаю, теперь они еще более редкие.

— То есть ты хочешь сказать, что мне нужно искать толстую, пьяную, лысую копию самого себя?

Мама прикрыла рот ладонью и засмеялась.

— Ох, Джей Ар, ты единственный, кто может меня расшевелить. — Потом она резко перестала смеяться. — Да. Да, думаю, что ты прав.

Я стоял у выхода, заглядывая в лицо каждому мужчине, как в хрустальный магический шар. Таким я буду через тридцать лет? Может быть, *таким*? Это — будущий я? Мужчины задерживали на мне взгляд, но никто не подавал виду, что узнает меня. Когда я увидел, как из самолета выходит стюардесса, я сердито топнул ногой. Снова он меня подвел! Я-то думал, что отец изменился, но никто не меняется.

Вдруг из самолета вышел еще один, последний, пассажир. Он напоминал пожарный гидрант — на три дюйма ниже меня, но нос и подбородок у него были мои. Он выглядел как я, только на тридцать лет старше и намного массивнее. Наши взгляды встретились — я почувствовал себя так, будто он бросил через терминал бейсбольный мяч и тот попал мне в лоб. Отец подошел ко мне и отступил на шаг назад. Я думал, он ударит меня, но вместо этого отец осторожно заключил меня в объятия, будто я мог рассыпаться на кусочки, и я действительно мог.

От ощущения близости отца, от его удивительной ширины, запаха сигарет и виски, которое он пил в самолете, меня охватила слабость. Но больше, чем его прикосновение и запах, меня поразило он сам. Я обнимал Голос. Я забыл, что мой отец из плоти и крови. С течением времени я стал считать его воображаемым, эфемерным, и сейчас чувствовал себя так, будто обнимал Балу или Багиру.

В кафе возле «Скай-Харбор» мы сидели за шатким столиком, глядя друг на друга во все глаза, пытаясь уловить сходство. Отец говорил о своей жизни, намеренно приукрашивая

ее. Он в красках рассказывал о прошлом, чтобы отвлечься от мрачного настоящего. Он разбазарил талант, промотал деньги и попал на самое дно. Отец рассказывал историю за историей, как Шехерезада в темных очках и кожаной куртке, а я молчал. Я слушал его и верил каждому слову, каждой лжи, даже если знал, что это ложь, и мне казалось, что он заметил и оценил мое внимание и доверчивость. Позже я понял, что ничего он не заметил. Отец нервничал, нервничал больше, чем я, и этот монолог был для него способом успокоиться. Мне казалось, что наконец-то я вижу его самого, а он, как всегда, прятался за голосом.

Я помню несколько эпизодов из рассказанной им биографии. Помню, как он говорил об известных красотках, с которыми переспал, и о знаменитостях, с которыми был знаком, но не помню имен ни тех, ни других. Ясней всего в памяти осталось то, чего не сказал ни один из нас. Отец не объяснил свое исчезновение и не извинился, а я не попросил объяснений. Может быть, нам казалось, что момент неподходящий. Может, мы просто не знали, с чего начать. А вероятнее всего, ни у одного из нас не хватило духа. Как бы там ни было, мы вступили в заговор молчания, и каждый делал вид, будто тот факт, что отец бросил меня и нехорошо обошелся с моей матерью, не лежит между нами на столе как мертвая крыса.

Отцу с трудом удавалось притворяться. Он, будучи взрослым человеком, понимал, что сделал. Я видел это по его лицу и слышал в голосе, но тогда не отдавал себе отчета в том, что именно вижу и слышу. Я пойму это через годы, когда узнаю больше о чувстве вины и презрении к самому себе.

Из множества историй, которые в тот вечер рассказал отец, одна задержалась в моей памяти. Когда я спросил, как он придумал псевдоним для радио и почему его использовал, он сказал, что Морингер не настоящая его фамилия. Его покойный отец был сицилийским иммигрантом по имени Хью Аттанасио, который не мог найти работу, потому что всеми фабриками в Нижнем Ист-Сайде управляли «фрицы, нена-

видящие итальянцев». Чтобы перехитрить фрицев, Хью взял фамилию недавно умершего соседа, немца Франца Морингера. Моему отцу никогда не нравилась фамилия Морингер, и старика своего он недолго любил, поэтому когда он пробился в шоу-бизнес, то стал Джонни Майклзом.

— Подожди, — сказал я, тыча себя в грудь, — меня называли в честь покойного соседа твоего отца?

Папа рассмеялся и стал говорить с немецким акцентом:

— Йя, карашо! Забаффно зффучид, если так на эдо посмодредь.

Мы встретились на следующее утро в гостинице, где остановился отец, чтобы вместе выпить кофе. Лицо у него было серого цвета, а белки глаз — красного. Очевидно, после того как мы вчера расстались, он заглянул в гостиничный бар. Из-за похмелья он не смог продолжить монолог, начатый накануне, и поэтому я больше не мог просто слушать, откинувшись на спинку стула. Кто-то должен был говорить. И я забормотал что-то про Билла, Бада, дядю Чарли, «Публиканы», Лану, Шерил, жизненные цели.

— Все еще хочешь стать адвокатом? — спросил отец, прикуривая сигарету от другой, почти потухшей.

— Почему бы и нет?

Он нахмурился.

— Как ты оцениваешь свои шансы поступить в Йель? — поинтересовался он.

— Как практически равные нулю.

— А мне кажется, тебя возьмут, — сказал отец.

— Правда?

— С этого пустыря к ним придет не много заявлений. Ты дашь им возможность большего географического охвата.

Его обратный рейс в Лос-Анджелес отбывал в полдень. Я вез отца в аэропорт, стараясь сказать что-нибудь глубокомысленное. Я подумал, что, перед тем как расстаться, нам все же следует поговорить о том, чего мы избегали. Но как? Отец сделал музыку в машине погромче и стал подпевать записанным на кассету песням Синатры, пока я перебирал в

уме варианты. Мне казалось, я смогу спросить прямо. *Почему ты бросил нас без гроша?* Или предложить ему начать все заново. *Послушай, прошлого не воротись, и я надеюсь, мы сможем все забыть.* Что бы я ни сказал, моя речь должна быть умной и в то же время серьезной. Пытаясь подобрать слова и интонации, я перестал следить за дорогой. Проезжал на желтый свет, то и дело менял ряды и чудом избежал столкновения с грузовиком, который задним ходом выезжал с площадки перед домом. Со скрежетом припарковавшись у бордюра в аэропорту, я повернулся к отцу. Посмотрев ему прямо в глаза, я... не произнес ни слова. Он потянулся за чехлом для костюма, лежавшим на заднем сиденье, обнял меня, потом вылез из машины и хлопнул дверью. Полный отращения к самому себе, стыдясь своей трусости, я схватился за руль и собрался ехать обратно. Я думал о том, как будет разочарован Бад, когда узнает, что страх одержал надо мной победу.

В тот момент я точно понял, что хотел бы сказать отцу. Что понимаю: он был не готов к отцовству и вообще, может, не собирался становиться отцом, поэтому нет смысла жалеть о том, что его не было рядом, когда я рос. Я жалел лишь об упущенной возможности. Мне бы понравилось быть папиным сыном.

Я услышал стук в окно машины. Отец заглядывал внутрь, делая мне знак опустить стекло. Очевидно, он тоже чувствовал, что должен сообщить нечто важное. Я потянулся и повернул ручку.

— Джей Ар, — произнес отец, когда стекло опустилось, — мне нужно сказать тебе одну вещь.

— Да?

— Ты водишь как полоумный.

Оно должно быть простым и сложным, немногословным, но лирическим, в стиле Хемингуэя и Джеймса одновременно. Благоразумное и консервативное, но в то же время свежее и смелое, оно продемонстрирует блестящий ум, изобилующий глубокими мыслями. Оно определит дальнейший курс моей жизни и либо послужит компенсацией за ошибки всех мужчин в нашем роду, либо продолжит традицию неудачников. И размером оно должно быть не больше, чем три четверти страницы.

Перед тем как писать сочинение для Йеля, я составил список красивых слов. Мне казалось, что выразительные слова заставят приемную комиссию закрыть глаза на мои многочисленные недостатки. В семнадцатилетнем возрасте я изобрел философию выразительных слов, которая была сродни моей философии одеколона: чем больше, тем лучше.

Мой список слов:

Кондиционный

Хлесткий

Пасторальный

Соцветие

Злокозненный

Монстр

Иезуитский

Фаворит

Эклектичный

Маркиз де Сад

Эстетический

Я не понимал и не умел оценить емкость их значений, что порождало одно нелепое предложение за другим.

«Я стараюсь изо всех сил, — писал я, обращаясь к приемной комиссии, — и ощущаю свою неспособность полностью передать эмфатические приступы голодного невежества, которые одолевают меня на семнадцатом году жизни, в силу того, что боюсь, что моя сытая аудитория голодных не разумеет!»

Пока мои пальцы бегали по клавишам подержанной печатной машинки, купленной мамой, мне чудилось, что я слышу, как председатель приемной комиссии зовет всех в свой кабинет. «У нас тут есть кое-что интересное», — говорит он перед тем, как зачитать несколько абзацев вслух.

Однако мама, прочитав это, выразила свое мнение в четырех коротких словах: «Ты пишешь как... сумасшедший».

Вырвав сочинение у нее из рук, я понесся к себе в спальню, чтобы переписать все заново.

Я наваял новое сочинение, более *многословное*, о своих «амбициях» по поводу поступления в Йель. Мне очень нравилось это слово. «Я не лишен амбиций, — заявлял я, — в том смысле, в каком слово «амбициозный» можно применить к человеку, который хочет обогнать поезд, идущий на полной скорости. А монстр, набрасывающийся на меня? Невежество!» Мне казалось, что это звучит гениально, но мама коротко дала понять, что она не оценила моих стараний.

В течение следующих нескольких недель между Днем благодарения и Рождеством мы с мамой кричали, хлопали дверьми и швыряли моими записями друг в друга, споря по поводу слов. Она смотрела на меня так, будто думала, что лучше бы не прививала мне этой любви к словам и не показывала те красивые карточки в детстве. В ответ я пристально смотрел на нее и гадал, а не могло ли получиться, что у нее в голове что-то повредилось после аварии, а врачи не заметили. Или эта женщина просто не в состоянии оценить превосходное качество моего литературного творчества? Я принес целую кипу черновиков Биллу и Бадю, но они сказали, что мамина оценка была даже чересчур снисходительной.

Когда до срока сдачи сочинения (тридцать первого декабря) осталось всего несколько дней, я вышел из спальни, размахивая очередным сочинением.

— Еще хуже, чем последнее, — сказала мама, возвращая его мне.

— С этим сочинением меня примут!

— С этим сочинением тебя заберут в психушку!

Назло ей я вернулся в спальню и на скорую руку накатал сочинение без единого красивого слова. Это было простое описание того, как я работаю в книжном магазине с Биллом и Бадом и как они научили меня читать, выдавая полные сумки книг и терпеливо беседуя со мной о литературе и лингвистике. Я написал о том, что они заразили меня любовью к книгам, и о том, как надеюсь, что Йель позволит мне эту любовь развить. Получилось серо, как вода, в которой мыли посуду. Я вручил сочинение матери.

— То, что надо, — сказала она.

Никогда в жизни я не был так озадачен.

Накануне Нового года мы с мамой поехали на почту. Тот день был ветреным и солнечным. Мама поцеловала кончики пальцев и коснулась ими конверта перед тем, как опустить его в почтовый ящик. Дома мы поужинали пиццей, и когда мама легла спать, я отправился на берег канала. Смотрел на воду и слушал, как какие-то пьяные аризонцы распевают песни.

Потом я ежедневно проверял почту, хотя, конечно, знал, что приемная комиссия примет решение лишь через несколько месяцев. Единственное письмо, которое мы получили, оказалось от Шерил. Я был тронут до глубины души — мне показалось, что сестра украсила письмо символами Йеля, волшебными буквами «Y». Но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что в конце каждого предложения Шерил нарисовала стакан с мартини — пиктограмму ее замечательного времяпрепровождения. Она встречалась с парнем, которого звали так-то и так-то и который любил (стакан с мартини),

и она случайно столкнулась с Этим-Не-Помню-Как-Его-Зовут, они засиделись в баре допоздна (стаканы с мартини), и компания из «Пабликанов» (стаканы с мартини) передавала мне привет. В конце Шерил написала: «И ты тоже выпей. Я сейчас как раз пью. Целую, Шерил».

Пришла весна, и каждый более или менее теплый вечер я проводил на канале, размышляя о том, какое решение приняла насчет меня приемная комиссия, а если не приняла, то когда это произойдет — завтра утром или, может быть, на следующий день. Я смотрел на звезды, отражающиеся на поверхности воды, и загадывал одно и то же желание. Пожалуйста. *Пожалуйста*. Я не знал, что буду делать, если не поступлю. На всякий случай я подал документы в Аризонский государственный университет, но учеба там не вызвала у меня энтузиазма. Если меня не возьмут в Йель, я, наверное, уеду на Аляску. Иногда я даже фантазировал на эту тему, представляя, будто канал — бурная река на Юконе, где я живу в деревянной избушке, ужу рыбку и читаю, кормясь мясом медведей-гризли. А про Йель вспоминаю только снежными ночами у огня, вычесывая блох из бороды и лаская своего пса Эли.

Когда я возвращался домой с канала, мама уже не спала. Она работала за кухонным столом. Мы говорили с ней о чем-нибудь — только не о Йеле, — а потом я ложился в постель и, пока не засыпал, слушал Синатру.

В апреле пришло письмо. Мама положила его на середину кухонного стола. Мы так бы и смотрели на конверт целый день, если бы она не упросила меня открыть его. Я взял нож для разрезания писем, который мама купила во время нашей поездки в Йель, и вскрыл конверт. Развернул письмо и торжественно прочитал:

— «Уважаемый господин Морингер, мы рады сообщить Вам, что приемная комиссия проголосовала за то, чтобы предложить Вам обучение в Йеле в 1986 году».

— Что это? — сказала мама.

Я продолжал читать в полной тишине:

— «Мы также рады сообщить Вам, что Ваше обучение будет оплачено».

— Неужели? — не поверила мама.

Я протянул ей письмо. «О боже мой!» — сказала она, прижав письмо к сердцу. Из глаз у нее потекли слезы. Я схватил ее в охапку и закружил в танце по гостиной, в кухню и обратно, а потом мы сели за стол и стали перечитывать письмо снова и снова. Я прокричал этот текст, мама его пропела, и в конце концов мы замолчали. Больше не могли ничего сказать. Да и не было в этом нужды. Мы оба верили в силу слов, но в тот день лишь два слова могли выразить наши чувства: «Нас приняли».

Я позвонил бабушке. Потом сделал еще один очень важный звонок. Я позвонил в «Пабликаны». Я никогда раньше не звонил дяде Чарли в бар, поэтому он подумал, что случилось нечто ужасное.

— Кто-то умер? — спросил он.

— Нет, я позвонил, чтобы сказать — если, конечно, тебе интересно, — что твоего племянника приняли в Йель.

Пауза. Я слышал по меньшей мере пять десятков голосов на заднем плане, звуки бейсбольного матча по телевизору и звон стаканов.

— Вот это номер! — воскликнул дядя. — Эй, вы, там! Моего племянника приняли в Йель!

Я услышал возгласы одобрения, а потом многоголосое пение «Була Була»^{*}.

В книжном магазине я спокойно прошел в кладовку, как будто пришел за зарплатой. Билл и Бад читали. Я помню — я навсегда запомнил это, — что Билл сидел на табуретке и слушал Первую симфонию Малера.

— Есть новости? — спросил он.

— По поводу? — Я сделал вид, что не понял.

* «Була Була» — песня болельщиков футбольной команды Йеля.

— Ты знаешь, — сказал Билл.

— Что? А, Йель! Меня приняли.

Оба парня разрыдались сильнее, чем моя мать.

— Он теперь с ума сойдет от счастья, — сказал Билл Бад, который вытирал глаза, сморкался и нюхал кулак одновременно. — Господи, о господи, ему целую кучу книжек предстоит прочесть этим летом.

— Платона, — решил Бад. — Но ему не стоит начинать с «Государства».

— Да-да, — кивнул Билл. — Пусть он у нас начнет с греков, чтобы уж наверняка. Но, может, ему еще стоит почитать какие-нибудь пьесы Эсхила? «Антигону»? «Птиц»?

— Как насчет Торо и Эмерсона? Хуже от Эмерсона точно не будет.

Они повели меня по магазину, наполняя две корзинки книгами без обложек.

В последний день моей работы в магазине мы с Биллом и Бадом стояли в подсобке, ели бейглы* и пили шампанское. Хотя праздновали мы мой отъезд, было такое ощущение, что это похороны.

— Послушай, — сказал мне Билл. — Мы тут с Бадом поговорили...

Они уставились на меня так, будто я птица в клетке, которую они собираются выпустить на волю.

— Подумай, может, — осторожно начал Бад, — стоит снизить ожидания.

— Такое впечатление, что вы за меня боитесь, — хмыкнул я.

Билл прочистил горло.

— Мы просто думаем, что есть некоторые вещи, к которым ты не...

— Не готов, — закончил предложение Бад.

— Какие, например?

* Бейглы — американский аналог бублика, культовое нью-йоркское блюдо

— Разочарование, — без колебаний сказал Бад.

Билл кивнул.

Шампанское чуть не вылилось у меня через нос.

— Я думал, вы скажете — выпивка и наркотики, — удивился я. — Или богатые девушки. Или сынки богатеев. Или вредные профессора. Но — *разочарование?*

— Разочарование опаснее, чем все остальное, вместе взятое, — сказал Бад.

Он попытался объяснить, но я не слушал его. Слишком громко смеялся.

— Хорошо, — пообещал я. — Я обязательно буду остерегаться... разочарований. Ха-ха-ха!

Бад с иступлением понюхал кулак. Билл поправил галстук. Бедняги, подумал я. Прячутся все время в кладовке, и от этого у них в голове помутилось. Разочарование. *Какие могут быть разочарования, когда все, начиная с сегодняшнего дня, будет замечательно?*

Мы выключили свет в магазине и вышли. Я пожал им руки и пошел в одну сторону, они направились в другую, и больше я никогда не видел Билла и Бада. Когда в том же году я вернулся в Аризону на Рождество и зашел в магазин, человек за кассой сказал мне, что их уволили. Я очень надеялся, что увольнение не имело отношения ко всем тем книгам с оторванными обложками.

— Как ты справишься одна, без меня? — спросил я маму в аэропорту.

Она рассмеялась.

— Ты, главное, позаботься о *себе*. И всегда знай, что я рада за тебя, за тот прекрасный опыт, который ты приобретешь.

Я хотел остаться в Аризоне на лето. Ни в коем случае, сказала мама. Шерил договорилась, что я вернусь в юридическую фирму, заработаю карманных денег на расходы в университете, а мама хотела, чтобы я успел поездить в Джилго с дядей Чарли и его компанией.

Мы сидели в ожидании моего рейса, глядя на табло прилетов и вылетов. Я что-то сказал о том, как много в нашей жизни приездов и отъездов. Мама взяла меня под руку.

— У тебя будут каникулы. Не успеешь оглянуться, как вернешься... домой.

Она все еще запинаясь на этом слове.

Объявили посадку на рейс.

— Тебе пора идти, — сказала мама.

Мы встали.

— Мне лучше остаться. Еще на несколько недель.

— Иди.

— Но...

— Иди, Джей Ар, — повторила она. — Иди.

Мы смотрели друг на друга не так, будто не скоро увидимся, а так, будто не видели друг друга очень давно. Мы были так заняты сначала тем, чтобы просто выжить, потом, чтобы поступить, что уже много лет не смотрели друг на друга как следует. Теперь я смотрел на маму. В ее зеленых глазах стояли слезы, губы дрожали. Я обхватил маму руками, и она обняла меня крепко, как никогда раньше.

— Иди, — попросила она. — Пожалуйста, просто иди.

Сидя в самолете в ожидании взлета, я смотрел в окно и ругал себя за то, что подвел маму. В кульминационный момент, прощаясь, я не сказал ничего проникновенного. Если когда-нибудь и была необходимость в проникновенности, то именно сейчас, а я все скомкал. Но еще более стыдно мне было оттого, что отъезд не стал для меня травмой. Я радовался началу самостоятельной жизни, а это означало, что я неблагодарный и плохой сын. Я оставлял свою мать без малейшего чувства вины, небрежно помавав ей рукой.

Через какое-то время после взлета, глядя на кудрявые облака за стеклом иллюминатора, я понял, почему прощание с мамой не сильно меня расстроило. Я попрощался с ней с тех пор, как мне исполнилось одиннадцать. Отправляя меня в Манхассет, поощряя мою дружбу с дядей Чарли и его ком-

панией, мама все больше и больше отлучала меня от себя. Каждое лето мама незаметно отбирала у меня по частичке себя самой.

С тех пор мне самому приходилось находить «спасительные одеяла». И ни одно из них не давало такого чувства безопасности, как бар Стива.

ЧАСТЬ II

Не согрешив, покаяться нельзя.

*Вильям Шекспир, «Мера за меру»**

* Перевод Осии Сороки.

21 | ДЬЯВОЛ И «МЕРРИАМ-ВЕБСТЕР»*

Водитель такси выложил мои чемоданы на обочине возле ворот Фелпс. Вокруг стояли родственники студентов, и таксист огляделся, словно искал моих родственников, как будто они были с нами, когда я садился в такси на Юнион-стейшн, а потом выпали из машины по дороге в студенческий городок.

— Ты один? — спросил он.

— Да.

— Помочь тебе с вещами?

Я кивнул.

Он поднял один из моих чемоданов, и мы проследовали под высокую арку, миновали длинный темный тоннель и вышли на яркий свет Старого Городка. Я подумал, что даже парадный подъезд Йеля сделан так, чтобы символизировать и воплощать смысл этого заведения — на смену тьме приходит яркий свет.

Мы спросили, как пройти в Райт-холл, оказавшийся общежитием, построенным лет сто назад и с виду не более прочным, чем дедушкин дом. Моя комната была на самом верху лестницы из пяти пролетов, и в ней уже были люди. Одному из моих новых соседей родители и сестры помогали распаковывать нижнее белье. Мать парня бросилась к таксисту, воскликнув:

— Ну разве не замечательно в такой день быть матерью?

* «Мерриам-Вебстер» — американская компания, издающая словари и справочники.

Таксист засуетился, снял фуражку и пожал женщине руку. Она представила себя и своего мужа, и пока она еще не успела спросить, где он предпочитает проводить лето, в Вайнярде или на мысе Доброй Надежды, я протянул ему деньги и поблагодарил.

— О, — начала было женщина, — я не...

— Удачи, — сказал мне таксист, снова снимая фуражку. Все посмотрели на меня.

— Я сегодня без свиты. — Я развел руками.

Мать соседа неуверенно улыбнулась. Мой сын будет жить с этим бродягой? Сестры продолжали раскладывать трусы.

— Слушай, — спросил мой новоиспеченный сосед по комнате, пытаясь разрядить обстановку, — а что означает Джей Ар?

Еще один сосед с родителями вошел в дверь, за ними проследовал водитель лимузина с целым набором дизайнерских чемоданов в руках. Все представились. Отец второго соседа, элегантный мужчина со зловещим взглядом, отвел меня в сторону и стал засыпать вопросами. Откуда я? В какой школе учился? Чем занимался летом?

— Летом я работал в юридической фирме на Манхэттене, — с гордостью ответил я.

— В какой фирме?

Я сказал ему название. Он никак не отреагировал.

— Это небольшая фирма, — пояснил я. — Я уверен, вы никогда о ней не слышали.

Он нахмурился и потерял ко мне интерес.

Я попытался реабилитироваться:

— На самом деле партнеры этой фирмы несколько лет назад вышли из состава более крупной и престижной.

Это было правдой. Но когда мужчина спросил, как называлась та крупная фирма, я не нашелся с ответом. Вместо этого выпалил первые три имени, которые пришли мне в голову: Харт, Шаффнер и Маркс. Мне не повезло, так как оказалось, что отец соседа занимался продажей одежды. Он хорошо знал фирму «Харт, Шаффнер, Маркс», которая за-

нималась пошивом мужских костюмов. Явно решив, что я лжец и полный дурак, мужчина с отвращением отвернулся от меня.

Пора проветриться.

Я поспешил к развесистому вязу, под которым сидел, когда в первый раз приезжал в Йель с мамой. Прислонившись к вязу, я наблюдал, как прибывают мои сокурсники, — целая флотилия семей, плывущих по Колледж-стрит на машинах, которые обошлись бы моей маме в несколько полных годовых окладов. До этого момента я не задумывался о том, как нелепо буду выглядеть, приехав в Йель один, и совершенно не предполагал, как сильно будут отличаться от меня сокурсники. Кроме бросавшихся в глаза отличий — одежды, обуви, родителей, — в первый же день я заметил их самоуверенность. Мне казалось, я видел, как эта самоуверенность поднимается над студенческим городком пенистыми волнами, словно августовская жара, и подобно жаре иссушает мои силы. Интересно, думал я, можно ли обрести такую уверенность в себе или это качество, как отцы и безупречная кожа, дается от рождения?

Один из парней напоминал точную копию мраморного античного бюста, которую когда-то показывал мне Бад. Кажется, то был Цезарь. Глаза парня лучились такой же царственной уверенностью. Этот взгляд достался ему по наследству от отца или дяди — мужчины, который помог ему внести в комнату стереомагнитофон, — и он ослеплял им каждого встречного. В первый день учебного года парень вел себя так, будто скоро закончит университет. Он был своим в Йеле. Он знал всех, а если попадались незнакомые студенты, останавливал их, непременно желая познакомиться поближе. Он задира подбородок, как будто все, к кому он обращался, стояли на стремянке. Эта поза подчеркивала его королевскую осанку, а также нос, похожий на клюв, и выступающую челюсть. Парень улыбался так, будто у него в кармане лежал лотерейный билет, и я думаю, так оно и было. Ему был гарантирован успех. Он выглядел как человек, с которым не может случиться ничего плохого.

Как получилось, что я учусь в одном университете с таким парнем? Как мы вообще могли оказаться на одной планете? Он был уже не мальчиком, а взрослым мужчиной. Если когда-нибудь я встану рядом с ним — что маловероятно, — я буду чувствовать себя так, будто на мне бархатные штанишки, а в руках — огромный леденец. Он существовал в другой реальности, на расстоянии нескольких миров от меня, хотя было в нем что-то до боли знакомое. Я смотрел на него, не отрывая глаз, пока не понял. Он похож на Джедда.

Джедд. Жаль, что я не мог позвонить ему и спросить совета. Джедд сказал бы мне, что делать. Но с Джеддом я не разговаривал несколько лет. Я думал позвонить матери, но об этом не могло быть и речи. Она услышит панику в моем голосе и поймет, что в первый же день я пал духом.

Вечером того дня я поставил диск Синатры на вертушке своего соседа и растянулся на подоконнике нашей общей комнаты, листая каталог лекций, в котором было четыреста страниц. Вот для чего я поступил в Йель, думал я, оживляясь. Вот что станет моим спасением. Я отключусь от всего остального и сконцентрируюсь на «Антропологии», «Введении в американскую культуру», или на «Английском», «Искусстве писательского ремесла», или «Психологии» и «Искусстве обучения и запоминания». Я выучу китайский! Или греческий! Я буду читать Данте в оригинале! По-итальянски! Я возьму уроки фехтования!

Потом я увидел нечто под названием «Курс-ориентация». Эта программа была открыта для «избранных» первокурсников и представляла собой детальный обзор западной цивилизации, интенсивное погружение в ее каноны. Я пробежал пальцем по списку писателей и мыслителей, охваченных курсом. Эсхил, Софокл, Геродот, Милтон, Фома Аквинский, Гете, Вордсворт, Августин, Макиавелли, Хоббс, Локк, Руссо, Токвиль — и это только в первый семестр. Я задумчиво посмотрел в окно. Группа студентов собиралась во дворе. Я вновь увидел того самого чрезвычайно уверенного в себе парня, вылитого Джедда, который о чем-то громко

рассказывал. Император Йеля. «Курс-ориентация» была единственным способом конкурировать с таким парнем, единственным способом противостоять его уверенности и, может быть, обрести собственную.

Я позвонил маме и спросил, что она думает об этом. Она забеспокоилась, что я слишком много на себя беру, но, поняв по моему голосу, что я хочу как можно скорее показать, чего стою, она меня поддержала. И если меня все-таки возьмут на эту программу, сказала мама, мне не стоит подрабатывать, как мы планировали раньше. Нужно использовать все свободное время, чтобы учиться, учиться и еще раз учиться, а если мне понадобятся деньги, она возьмет их из сбережений, которые остались от страховой выплаты после аварии.

С новой йельской тетрадкой под мышкой и двумя новыми ручками в кармане я бежал по Элм-стрит под звон колоколов на башне Харкнесс. Лед потихоньку тронулся. Меня приняли на «Курс-ориентацию», что я счел большой честью, хотя позднее выяснилось, что на эту программу брали практически всех мазохистов, желающих работать в четыре раза больше остальных первокурсников. Спеша на первое занятие, семинар по литературе, я вспоминал о том, как дядя Чарли советовал мне остановиться, не взрослеть, замереть, — как правило, именно в те моменты, когда мне хотелось, чтобы жизнь скорее набирала обороты. Теперь наконец наступил момент, которым я наслаждался.

Семинар по литературе вел высокий худощавый мужчина лет сорока с бородкой в стиле Ван Дейка и коричневыми бровями, которые постоянно трепетали, как мотыльки. Он официально нас поприветствовал и рассказал о том великолепии, с которым нам предстояло познакомиться, о гениальных умах, о бессмертных сочинениях, о незабываемых фразах, которые были написаны столь искусно, что пережили целые империи и эпохи и будут жить еще тысячи лет. Он перескакивал со стихотворений на пьесы, с пьес на романы, цитируя по памяти лучшие строки и абзацы из «Божественной комедии»

и «Прелюдии», из «Шума и ярости» и из самого его любимого произведения — «Потерянного рая», в котором мы должны были встретиться с Сатаной. С особой грустью говорил он об утере рая, с необычным восхищением о Сатане как о литературном герое, и меня внезапно осенила мысль, что этот профессор с бородкой клинышком и мохнатыми бровями, вполне возможно, видел себя принцем Тьмы. Я нарисовал его портрет в своей тетрадке, набросок в стиле «Минутных биографий», а внизу подписал: «Профессор Люцифер».

Как и можно было ожидать от Люцифера, профессорсел во главе стола, принял властную позу и провел рекламную презентацию, желая купить наши души. Все, что мы будем читать, сказал он с непередаваемой серьезностью, берет начало в двух эпических поэмах, «Илиаде» и «Одиссее». Они те желуди, сказал он, из которых великий дуб западной литературы вырос и продолжает расти, протягивая ветви каждому новому поколению. Профессор сказал, что завидует нам, потому как нам предстоит впервые познакомиться с этими двумя шедеврами. Хотя они написаны более трех тысяч лет назад, каждая из поэм остается столь же свежей и актуальной, как статья из утреннего выпуска «Нью-Йорк таймс». «Почему?» — спросил я. «Потому что каждая раскрывает вечную тему — тоску по дому». У себя в тетрадке я записал: «Раскрывает» — удачное слово». Потом, видя, что надпись выглядит не очень красиво, я стер ее и написал заново, аккуратней.

Мне нравилось, как профессор Люцифер произносит некоторые слова, особенно слово «поэма». Он произносил его не коротко, как я, а нараспев. Каждый раз, произнося его («В этой ПОЙ-эме вам нужно запомнить следующее...»), он клал свою костлявую правую руку на истрепанные томики поэм, как свидетель, который клянется на Библии. Хотя его книги были в два раза старше меня, хотя их страницы имели темный горчично-желтый оттенок, было заметно, что их хранили с любовью, обращались с ними осторожно, а цитаты подчеркивали с геометрической точностью.

Нашим первым заданием было прочесть «Илиаду», а затем написать сочинение на десяти страницах. Я сразу пошел в библиотеку Стерлинга и обнаружил в читальне кожаное кресло. Рядом с ним было окно, выходящее в прилегающий сад, где журчал фонтан и чирикали птицы. Через несколько минут я, утопая в кожаном кресле, пролетел через слои времени и с глухим стуком приземлился на обдуваемом ветрами пляже Илиума. Я провел за чтением несколько часов подряд, открыв для себя, что, к моему восторгу, кроме тоски по дому, поэма также рассказывает о мужчинах и мужественности. Затаив дыхание, я читал сцену прощания Гектора, величайшего воина Трои, со своим маленьким сыном. Гектор, одетый в доспехи для сражения, говорил мальчику «до свидания». «Не уезжай, Гектор», — умоляла его жена. Но Гектор должен идти. Это не его воля — это его судьба. Его ждет поле битвы. Он взял на руки мальчика, «прелестного, подобного лучезарной звезде», поцеловал на прощание, потом прочел молитву: «Пусть о нем некогда скажут, из боя идущего видя: Он и отца превосходит!»*

В полночь я вернулся в комнату. Голова моя бурлила идеями для сочинения. Я сел за стол и включил лампу на гибкой ножке. Пока сосед храпел на верхней кровати, я открыл свой новенький словарь и составил список красивых слов.

Профессор Люцифер раздавал нам наши сочинения, швыряя их на стол. Он сказал, что вложил столько же усердия в проверку наших тетрадей, сколько мы вложили в написание этих сочинений. Он «пришел в ужас» от нашего грубого анализа ПОЙ-эмы. Мы не заслуживаем быть слушателями «Курса-ориентации». Мы недостойны читать Гомера. Говоря все это, он несколько раз посмотрел прямо на меня. Все стали рыться в стопке тетрадей, и когда я выудил свою, сердце у меня ушло в пятки. На первой странице красным было нацарапано: «неудовлетворительно». Парень рядом со мной нашел свое сочинение и выглядел таким же ошарашенным. Я заглянул ему через плечо. Он получил «хорошо».

* Перевод Н.И. Гнедича.

После занятий я укрылся под раскидистым вязом и прочел на полях замечания профессора Люцифера, написанные протекающей красной ручкой, отчего казалось, что все страницы в пятнах крови. От некоторых комментариев я содрогнулся, другие заставили меня чесать затылок. Несколько раз он критиковал выражение «в какой-то степени», а на полях написал «интеллектуальная лень». Я не знал, что писать «в какой-то степени» считается грехом. Почему Билл и Бад не сказали мне? Может, есть какое-то более выразительное словосочетание, чем «в какой-то степени»?

Перед тем как писать следующее сочинение, я пошел в книжный магазин Йеля и купил словарь побольше, с помощью которого составил список более значительных пяти-сложных слов. Я поклялся поразить профессора Люцифера так, чтобы у него волосы зашевелились в его вандейковской бороде. За второе сочинение он поставил мне «неудовлетворительно». Я снова скрылся под вязом.

Как усердно я ни занимался той осенью, как ни старался, в результате все равно получал «неудовлетворительно» или, в лучшем случае, «удовлетворительно». Чтобы написать сочинение по «Оде греческой вазе» Джона Китса, я потратил неделю, читая поэму вдоль и поперек, уча ее наизусть, декламируя ее во время чистки зубов. Теперь уж точно профессор Люцифер увидит разницу. На полях он написал, что это мое худшее сочинение за весь семестр. Он написал — очень многословно, — что я обошелся с урной Китса как с собственным ночным горшком. Не испытал он восторга и от придуманной мной фразы: «бессмертная поэма — поэма, хранящаяся в урне».

К концу семестра я протоптал тропинку от аудитории к вязу и пришел к мрачному заключению: мне просто случайно повезло, что я попал в Йель, а если я получу диплом — это будет просто чудом. Я был хорошим учеником из паршивой государственной школы, что означало, как ни прискорбно, что я не готов к университету. Между тем мои однокурсники учились без особых усилий. Их ничем нельзя было удивить,

ведь они готовились к Йелю всю жизнь в известных на весь мир подготовительных школах, о которых я до приезда в Нью-Хейвен даже не слышал. Моя же подготовка прошла в кладовке книжного магазина при участии двух сумасшедших отшельников. Иногда я начинал подозревать, что мы с однокурсниками говорим на разных языках. Я подслушал разговор двух ребят, которые шли через двор, — один заявил другому: «Это такая заумь!» Второй громко расхохотался. Позднее на той неделе я увидел ребят снова. «Подожди минуту, — сказал тот, что говорил про заумь. — Теологическими аргументами меня не разведешь!»

Единственным предметом, по которому я успевал, была философия, потому что там не существовало правильных ответов. Но даже на занятиях по философии уверенность — или, скорее, самоуверенность — моих однокурсников поражала меня. Когда на семинаре мы обсуждали Платона, парень, сидевший рядом со мной, написал на полях текста свои возражения Сократу: «Нет!», «Опять неверно, Сок!». Никогда в жизни я бы не смог возразить Сократу, а если бы даже возразил, то держал бы это в секрете.

Перед экзаменами в конце семестра я сидел под вязом, разглядывая его паучьи корни, которые расходились подо мной во всех направлениях. Именно этого мне и не хватало — корней. Чтобы добиться успеха в Йеле, нужна база, какие-то исходные знания, на которые можно опираться, как вяз получает влагу через корни. У меня же не было корней. Честно говоря, я даже не был уверен, что это дерево — вяз.

Когда первый семестр подходил к концу, я сумел-таки достичь одной маленькой цели. Мне исполнилось восемнадцать. Тогда в Нью-Йорке алкоголь официально можно было употреблять с восемнадцати лет. А это означало, что я наконец-то смогу находить прибежище не только под раскидистым вязом.

Дядя Чарли стоял за стойкой, вытирая стакан для виски, и смотрел, как играют «Никс». По тому, как он держал стакан, будто собираясь разбить его о чью-то голову, и по тому, как он напряженно вглядывался в экран, будто и его тоже собирался разбить о чью-то голову, я догадался, что он сделал большую ставку и ошибся.

Был вечер пятницы. Сумерки. Народ только начинал подтягиваться. Семьи ужинали в ресторане, а компания любителей выпить, пришедших пораньше, стояла вдоль стойки, и все они были воплощением спокойствия, напоминая фермеров из Новой Англии, прислонившихся к каменной стене у поля. Я прошел через ресторан и остановился у входа в помещение бара, поставил ногу на каменную подставку у стойки и выразительно посмотрел на дядю Чарли. Почувствовав мой взгляд, он медленно повернулся.

— Смотри. Кто. У нас тут, — медленно произнес он.

— Привет, — сказал я.

— И тебе привет.

— Как дела у «Никс»?

— Они отбирают у меня лучшие годы жизни. Что ты делаешь... здесь?

Я не знал, что ответить. Мужчины, сидящие за барной стойкой, как присяжные-заседатели, повернули головы в мою сторону. Я поставил на пол чемодан, а дядя Чарли опустил на стойку стакан с виски. Он вытащил сигарету из пепельницы и сделал длинную затяжку, глядя на меня сквозь перистые облака дыма. Никогда еще он не был так похож на Богарта, а «Публиканы» — на «Американское кафе»^{*}. Может быть, поэтому, положив водительские права на стойку, я сказал что-то насчет «транзитных писем»^{**}. Дядя Чарли уставился

* «Американское кафе» — кафе из фильма «Касабланка».

** Имеется в виду сюжет фильма «Касабланка». Транзитные письма — письма, разрешающие переезд в США.

на права и сделал вид, что считает годы с моего рождения. Потом театрально вздохнул.

— Значит, наступил этот знаменательный день, — сказал он. — Ты пришел, чтобы в первый раз официально выпить.

Мужчины за стойкой фыркнули.

— Мой племянник, — объяснил он им. — Разве не красавчик?

Дальше последовали еще более громкие звуки, похожие на лошадиное ржание и, вероятно, выражающие одобрение.

— Согласно законам суверенного штата Нью-Йорк, — продолжил он громче, — мой племянник сегодня стал мужчиной.

— Да, законы *попали*, — раздался голос в тени справа от меня.

Я повернулся и увидел Джо Ди, шествовавшего по бару. *Чтожзаконестьзакон! Унаснетвыхода! Дайтеякуплюпарнюегопервуювыпивку!*

— Джо Ди проставляется, — перевел дядя Чарли.

— Проставляется? — Я и раньше слышал это слово, но не до конца понимал, что оно значит.

— Джо Ди оплатит твою выпивку. Что закажешь?

Волшебно! Я поставил ногу еще выше.

— Что бы такое выпить? — произнес я, задумчиво разглядывая бутылки за спиной дяди Чарли. — Это серьезное решение.

— Самое серьезное, — подтвердил тот.

И не преувеличивал. Дядя Чарли верил, что вы — это то, что вы пьете, и подразделял людей на группы в зависимости от напитков, которые они предпочитают. Если вы Джек «Морской Бриз» или Джилл «Деварз с содовой», то так и будет записано, и именно это дядя Чарли будет наливать вам всякий раз, когда вы будете входить в дверь «Пабликанов», и я вам не завидую, если вы решите «сменить имидж».

Вместе мы пробежали глазами по ряду бутылок.

— Я думаю, молодой человек из Йеля будет пить джин, — сказал дядя, потянувшись за бутылкой «Бомбея» и открыв

ее. — Прекрасный джин-мартини. Я делаю этот коктейль лучше всех в Нью-Йорке, между прочим. Я добавляю несколько капель виски — это мой фирменный рецепт. Я узнал его от английского дворецкого, который зашел к нам как-то вечером. Он работал в одном поместье на Шелтер-Рок-роуд.

— Бога ради! — закричал кто-то. — Джин-мартини? Сок этой коварной можжевеловой шишки? У пацана только что страховочные колесики сняли, а ты хочешь его посадить на долбаный Кавасаки?

— Хорошо сказано, — указал на грудь говорившего мужчины дядя Чарли.

— Надень соску на бутылку «Будвайзера», — пробормотал кто-то, — и запихни, мать твою, ему в рот.

— Как насчет «Сайдкар»? — спросил женский голос. — «Сайдкар» великолепен. И ты, Чаз, делаешь его лучше всех.

— Это правда, — согласился дядя Чарли. Он повернулся ко мне и сказал, прикрыв рукой рот, так, чтобы только я мог слышать: — Вместо бренди я добавляю коньяк и «Куантро» вместо «Трипл сек». Получается великолепно. Но этот коктейль сейчас редко заказывают. В тридцатые годы он был очень популярен. — Он повернулся к женщине. — Не заставляй меня выжимать лимон, детка. Я даже не знаю, куда подевалась эта чертова выжималка.

Разгорелся шумный спор по поводу сложных коктейлей, который привел к дебатам о том, что пили пассажиры «Титаника», когда корабль наткнулся на айсберг. Дядя Чарли настаивал на том, что это были «Розовые белки», и поспорил на десять долларов с мужчиной, который утверждал, что это был коктейль «Старомодный». Я спросил, тут ли Бобо. Бобо посоветовал бы мне, что выпить. Дядя Чарли нахмурился. С Бобо приключился небольшой несчастный случай, сказал он. Свалился с лестницы в подвал бара. Ударился головой.

— Если ты голоден, — продолжил дядя Чарли, — Вонючка тебе что-нибудь состряпает.

— Вонючка? — повторил я.

— Повар.

— Спасибо. Я просто хотел увидеть Бобо. С ним все в порядке?

Лицо дяди Чарли исказилось. Джо Ди был первым, кто пришел на помощь Бобо, сказал он. Было много крови. Джо Ди повернул голову Бобо и помог ему прочистить дыхательные пути, чем, возможно, спас ему жизнь. Я посмотрел на Джо Ди, но тот застенчиво отвернулся. Я вспомнил, как Джо Ди работал бесплатным спасателем для меня и Макграу в Джилго, и почувствовал приступ нежности к нему и его героической натуре. Увидев мой полный нежности взгляд, он покраснел.

— Чертов Бобо, — пробормотал он своей мышке.

— Бобо был пьяным, когда свалился? — спросил я.

Дядя Чарли и Джо Ди переглянулись, не зная, что сказать. Я понял, насколько глупый задал вопрос.

— Самое грустное, — сказал дядя Чарли, — что в результате падения был поврежден нерв. С одной стороны лицо Бобо парализовано.

— В «Пабликанах» люди частенько падают, — заметил я.

Джо Ди напомнил мне о недавнем падении дяди Чарли. Демонстрируя всем посетителям бара, как надо играть на поле «Зеленый Монстр» в Фэнвей-парке*, дядя Чарли сделал неловкий шаг и упал на бутылки со спиртным, сломав три ребра. Стив отвез его в больницу, где врач спросил, каким образом тот умудрился так себя изувечить. Дядя Чарли — пьяный, в хлопчатобумажном халате и темных очках — простонал: «Играл у стены в Фэнвее». На следующий день эти слова повторяли в баре снова и снова. Эта фраза стала популярной, ее цитировали каждый раз, когда кто-то начинал страдать манией величия. Или любой другой манией.

Дядя Чарли игнорировал как минимум дюжину жаждущих выпить клиентов, пытаясь помочь мне определить,

* «Зеленый Монстр» — название 37-футового левого поля стадиона Фэнвей-парк, где тренируется бостонская бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс».

кто я — Джей Ар «Джин с тоником» или Морингер «Виски с содовой».

— Может, мне выпить этот «Сайдкар»? — не выдержал я.

Он прикрыл глаза рукой.

— Неверно. Мой племянник — не какой-то долбаный Дэвид Найвен*.

— Я надеюсь, черт подери, что он не какой-то долбаный Дэвид Найвен, — сказал какой-то мужчина, взбираясь на табуретку слева от меня. — Если он, черт возьми, Дэвид Найвен, ему придется объясниться.

Дядя Чарли усмехнулся и поставил перед мужчиной бутылку «Будвайзера». Он рассказал, что мне только что исполнилось восемнадцать и мы пытаемся выбрать мне мой первый официальный алкогольный напиток. Мужчина пожал мою руку и поздравил меня.

— Чаз, позволь мне купить твоему племяннику выпивку в честь его совершеннолетия.

— Джей Ар, тебя Атлет угощает, — сказал дядя Чарли.

Когда Атлет закурил, я более пристально рассмотрел его. У него были кудрявые рыжие волосы, выбивающиеся из-под кепки для гольфа, словно комнатное растение, которому стал тесен горшок. Он напоминал автопортрет Ван Гога — безумные глаза, огненные волосы, — хотя улыбка его была веселой, а зубы редкими. Под свободным спортивным костюмом проглядывали очертания фигуры бывшего спортсмена. Защитник, подумал я. Или нападающий. Руки у него были массивные.

Справа от меня, локтями прокладывая себе путь к барной стойке и вклиниваясь в разговор, появился мужчина в ирландской твидовой кепке.

— Гусь, если уж речь зашла об английских актерах, я думаю, твой племянник немного похож на Энтони Ньюли.

* Дэвид Найвен — английский киноактер, который в течение полувека работал в Голливуде, специализируясь на ролях британских аристократов с неизменной бабочкой и розой в петлице.

Атлет рассмеялся и положил ладонь мне на плечо. Я был совсем не похож на Энтони Ньюли, но наживка предназначалась для дяди Чарли, который тут же проглотил ее, откинув голову назад и начав громко петь. Атлет и Твидовая Кепка объяснили мне, что каждый раз, когда кто-то произносит имя Энтони Ньюли, дядя Чарли автоматически выдает пару куплетов песни «Какой же я дурак». Твой дядя не может удержаться, объяснили они. Что-то вроде неподконтрольного рефлекса.

— Нечто среднее между собакой Павлова и Паваротти, — пошутил я.

Они уставились на меня, не понимая.

— Кто такой Энтони Ньюли? — спросил я.

Дядя Чарли застыл. Он забрал у Атлета пустую бутылку из-под «Будвайзера» и с громким стуком опустил ее на стойку, что поразило меня даже больше, чем его пение.

— Кто такой Энтони Ньюли? Всего лишь лучший трубадур всех времен.

— Как Синатра?

— Трубадур, а не эстрадный певец. Черт возьми... Энтони Ньюли! Джей Ар! «Какой же я дурак»! Из классического бродвейского шоу «Остановите мир, я хочу выйти»!

Я смотрел на него во все глаза.

— Чему тебя там учат в твоём университете?

Я продолжал смотреть на него, не зная, что сказать. Он распростер руки и снова запел:

Какой же я дурак,
Что не любил ни разу!
Что я за человек?
Пустая ракушка,
Забытая избушка,
Где сердцу пустому томиться навек!

По бару раздалась аплодисменты.

— Есть что-то в этой песне, — сказал Джо Ди своей мышке, — от чего у Чаза башню сносит.

— У меня от этой песни слезы на глаза наворачиваются, — сказал дядя Чарли. — «Какой же я дурак» — красиво сказано, вы согласны? *Красиво*. И Ньюли. Какой голос! Какая жизнь!

Дядя Чарли начал смешивать мне джин-мартини. Устав от споров, он взял окончательное решение на себя. Он сказал мне, что я «осенний тип», так же как и он, а хороший английский джин, холодный как лед, имеет вкус осени. Поэтому я буду пить джин. «У каждого времени года своя отравка», — сказал он, объяснив мне, что у водки привкус зимы, а бурбон пахнет весной. Отмеривая, смешивая и взбалтывая, он повернулся ко мне и рассказал историю жизни Ньюли. Тот был из бедной семьи. Вырос без отца. Стал звездой Бродвея. Женился на Джоан Коллинз. Страдал от депрессии. Искал отца. Мне нравился рассказ, но кто заморозил меня, так это сам рассказчик. Мне всегда казалось, что у дяди Чарли узкий эмоциональный диапазон, который варьируется от меланхолического до угрюмого, за исключением вечеров, когда он возвращается домой из бара в ярости. Сейчас, в «Паблицах», в самом начале вечера, в окружении друзей, опьяненный первым стаканом спиртного, он был совершенно другим человеком. Разговорчивым. Обаятельным. Способным на стабильное внимание, которого я добивался от него годами. Мы долго разговаривали, дольше, чем когда-либо, и меня поразило, что даже голос у него был другим. Его привычные интонации Богарта то и дело уступали чему-то более глубокому, более сложному. Он использовал еще более немыслимые комбинации напыщенных слов и гангстерского сленга, а также яснее формулировал мысли и четче артикулировал. Он говорил, как Уильям Ф. Бакли* в программе «Си Блок».

Единственным недостатком этого нового дяди Чарли было то, что мне приходилось делить его с окружающими.

* Уильям Фрэнк Бакли Мл. (родился 24 ноября 1925 г.) — американский журналист, основатель журнала «Нэшнл Ревью», телеведущий. Известен своим красноречием, остроумием и использованием редких слов.

Мой патологически застенчивый, ведущий полузатворническое существование дядя оказался артистом, наслаждавшимся игрой на публику. Он владел отточенной актерской техникой, отличительной чертой которой были разухабистые грубости. Он приказывал клиентам захлопнуть варежки, заткнуться, попрिдержать коней и не снимать с себя свои гребаные рубашки. Пару раз мне казалось, что он схватит бутылку сельтерской и выплеснет кому-нибудь в лицо. Когда в баре было много народу, дядя Чарли ворчал на клиентов: «Самое ответственное и прекрасное, что мы можем сделать в обществе, — организованном, цивилизованном обществе, — это *терпеливо подождать своей очереди*». Потом он снова возвращался к разговору с друзьями, объясняя им, почему Стив МакКуин — настоящая кинозвезда, и раскрывая им утонченность и затейливость поэзии Эндрю Марвелла. Пока половина посетителей пыталась привлечь его внимание, он декламировал второй половине «Его неприступной любовнице». Это было представление, а дядя Чарли оказался актером до мозга костей. Методичным актером. Он словно спрашивал себя перед тем, как смешать коктейль: «Зачем я это делаю — какая у меня *мотивация?*» Чем методичнее он становился, тем большее значение приобретали некоторые клиенты, от чего его методичность и грубость увеличивались, а легионы его поклонников в баре одобрительно улюлюкали и подстрекали его.

Носясь туда-сюда за барной стойкой словно по сцене, дядя Чарли мгновенно и без усилий перевоплощался в проповедника, в артиста, читающего монолог, в сваху, в бухгалтера, в букмекера, в философа или в провокатора. Он играл много ролей, слишком много, чтобы перечислить все, но моей любимой ролью была роль маэстро. Музыка, которой он дирижировал, был шум, вибрирующий в баре, а дирижерской палочкой — сигарета «Мальборо». Так же как и все остальное, что дядя Чарли делал в «Пабликанах», курил он театрально. Он очень долго держал незажженную сигарету в руке, пока она не фиксировалась в умах у зрителей, как пистолет. Потом он устраивал целое действие из чирканья

спичкой и поднесения пламени к кончику сигареты. Витиеватая фраза, которую он потом ронял, была окутана клубом дыма. Затем, когда он стряхивал пепел — цок, цок, — все наклонялись вперед и внимательно наблюдали, словно это Вилли Мейз ударял битой по «дому». Вот-вот произойдет что-то интересное. Наконец, уронив с легким *плюх!* сгоревшую спичку в стеклянную пепельницу, дядя досказывал концовку анекдота или подходил к кульминации своего рассказа, и мне хотелось крикнуть: «Браво!»

Дядя Чарли закончил рассказ про Ньюли и приготовление мартини одновременно. Подвинул ко мне стакан. Я сделал глоток. Он подождал. Фантастика, сказал я ему. Он улыбнулся, как сомелье, одобряющий мой вкус, потом ускользнул, чтобы обслужить троих мужчин в костюмах, которые только что вошли через главный вход.

Не успел я сделать второй глоток, как услышал голос у себя за спиной: «Джуниор!»

Я замер. Кто, кроме отца и матери, знал о моем тайном имени? Я повернулся и увидел Стива, руки которого были скрещены на груди, а лицо нахмурено, как на известной репродукции «Сидящего быка».

— Что все это значит? Пьянство? В моем баре?

— Мне восемнадцать, шеф.

— С каких пор?

— Уже пять дней.

Я протянул ему свои права. Он взглянул на них. Потом расплылся в широкой улыбке Чеширского Кота, которую я так хорошо запомнил в детстве.

— Боже, я, должно быть, старею, — сказал он. — Добро пожаловать в «Пабликаны».

И улыбнулся еще шире. Я тоже улыбнулся и держал улыбку, пока у меня не заболели щеки. Ни один из нас не проронил ни слова. Я потер руки, гадая, должен ли что-нибудь сказать, что-нибудь традиционное, что говорят, когда выпивают в первый раз. Мне хотелось произнести правильные слова, чтобы быть достойным Стива. И его улыбки.

Вернулся дядя Чарли.

— Джуниор теперь мужик, — сказал ему Стив. — Я помню, он приходил сюда, когда был вот такой. — Он опустил руку до уровня талии.

— Время, мать твою, подгоняет колесницу, — ответил дядя Чарли.

— Давай, Джуниор, я угощаю.

— Шеф сегодня угощает, — повторил дядя Чарли.

Стив сильно шлепнул меня между лопатками, будто я подавился сухариком, и ушел. Я взглянул на дядю Чарли, на Джо Ди, на Атлета, на всю компанию, молясь, чтобы никто не слышал, как Стив назвал меня «Джуниор». Единственное, что в «Пабликанах» было разнообразнее коктейлей, это прозвища, которыми Стив всех награждал, и его крещение могло оказаться варварским. Не всем повезло так, как Джо Ди, которого назвали в честь одной из любимых музыкальных групп Стива, «Джо Ди и зажигатели звезд». Ни Капли ненавидел свою барную кличку. Трубочист предпочел бы, чтобы его называли как-нибудь иначе. Но ничего не поделаешь. Трубочист имел глупость зайти в «Пабликаны» сразу же после окончания смены в гараже, где работал механиком. Увидев его, Стив закричал: «Налейте трубочисту», и бедолагу с тех пор звали только так. Эдди-Полицай не возражал против своего прозвища, пока однажды его машина не слетела со скоростного шоссе и ему не парализовало тело ниже талии. С тех пор он стал Эдди-Инвалидом. В «Пабликанах» вас звали так, как скажет Стив, и горе тому, кто смел пожаловаться. Один бедолага потребовал, чтобы ребята в баре прекратили называть его Спидометром, потому что не хотел, чтобы его считали наркоманом. Тогда мужики окрестили его Боб Не Спидометр и стали звать так при любой возможности.

Удостоверившись, что Стива никто не слышал — ребята уже болтали на другие темы, — я облокотился о барную стойку. Дядя Чарли сделал мне новый мартини. Я осушил его. Он сделал мне еще один коктейль и комплимент по поводу моего обмена веществ. Живчик, сказал дядя. У нас в семье

все такие. Я допил то, что было у меня в стакане, и не успел поставить его на стойку, как он снова наполнился. Стаканы в «Пабликанах» магическим образом наполнялись заново, так же как и сам бар. Каждый раз, когда выходили пять человек, появлялись еще десять.

Появился Твою Мать и, как мне показалось, поздравил меня с возвращением.

— Фистул, когда ты наконец човнул домой, — сказал он, в шутку стукнув меня. — Помнишь, как я тырал твои пипи плухом? И твой дядя сказал, что он понимал, какой ты был ути-плюти ванька-встанька.

— Здорово сказано! — воскликнул я.

После третьего мартини я положил на стойку двадцатку, чтобы заплатить за следующий коктейль. Дядя Чарли подвинул банкноту обратно ко мне.

— За счет заведения, — объяснил он.

— Но...

— Племянники барменов пьют бесплатно. Всегда. Сечешь?

— Секу. Спасибо.

— Кстати, насчет бабла. — Он вынул пачку наличных из кармана и отсчитал пять двадцатидолларовых купюр. Бросил их поверх моей двадцатки. — С днем рождения. Купи пивка какой-нибудь эфемерной студенточке. Ты не против, если я скажу «эфемерной»?

Я потянулся за деньгами. Дядя Чарли замахал на меня руками:

— Неверно!

Он показал глазами на стойку. Я проследил за его взглядом. Перед каждым посетителем, мужчиной или женщиной, лежала пачка купюр.

— Когда тыходишь в бар, — наставлял меня дядя Чарли, — выложи все свои деньги — все, — и пусть бармен берет сколько нужно в течение вечера. Даже если бармен твой дядя и денег не берет. Такова традиция. Протокол.

К полуночи в бар набилось больше сотни человек. Люди стояли вплотную друг к другу, как кирпичи в стене. Из кухни вышел Вонючка. Он был атлетически сложен, хотя и невысок, рыжие волосы имели огненный оттенок, а рыжие усы закручивались на концах. Мне он показался похожим на тяжелоатлета из старинного карнавала. Дядя Чарли сказал, что на кухне Вонючка «художник» и делает с бифштексом то же самое, что Пикассо делал с камнем. Появился мужчина по кличке Шустрый Эдди, и я признался, что наслышан о нем. Он был известным на всю страну парашютистом, и когда я был маленьким, он при всех приземлился с парашютом на дедушкин двор — выполняя условие пари, которое он проиграл дяде Чарли. Несколько недель весь Манхассет только об этом и говорил, и я, бывало, караулил во дворе, ожидая, что Шустрый Эдди снова появится над верхушками деревьев. Я заметил, что он сидит на барной табуретке так, будто приземлился на нее с высоты трех тысяч футов. Казалось, ему польстило то, что я так много знаю о нем, и он спросил дядю Чарли, можно ли меня угостить.

— Джей Ар, — сказал дядя Чарли, — этот стакан за счет Шустрого Эдди.

Шустрый Эдди сидел возле Атлета, который, казалось, был его лучшим другом, хотя они соперничали во всем. У меня сложилось такое впечатление, что эти двое на протяжении десятилетий пытались превзойти друг друга в боулинге, бридже, бильярде, теннисе, гольфе и особенно в обманном покере, который, как они мне объяснили, был как «ловись рыбка» для взрослых, и играли в него серийными номерами долларовых купюр. Говорили, что у Атлета железные нервы. Атлет никогда не нервничал, когда сдавал последнюю карту, сказал мне Шустрый Эдди, потому что после того, как ты брал врага на мушку своего «М-60», остальное казалось уже парой пустяков.

— Атлет! — спросил я. — Ты был на войне?

— Вьетнам, — ответил за него Шустрый Эдди.

Атлет производил впечатление веселого и милого человека, и у меня в голове не укладывалось, что он воевал. Когда мы начали разговор, я подвинулся поближе к нему.

— Ты не возражаешь, если я спрошу, сколько ты служил в армии? — задал я вопрос.

— Один год, семь месяцев и пять дней.

— А сколько ты пробыл во Вьетнаме?

— Одиннадцать месяцев и двенадцать дней.

Он отпил пива и уставился на панели из цветного стекла с изображением гениталий по ту сторону стойки — авторства Чокнутой Джейн. Казалось, он смотрел прямо сквозь стекло, будто это было окно в Юго-Восточную Азию. Он сказал, что возненавидел сырость, так как приходилось постоянно пробираться по болотам.

— И там еще повсюду росла слоновая трава, пеннисетум, с высокими стеблями, которые режут кожу как лезвием. То есть ты постоянно мокрый насквозь, а кожа сплошь в порезах.

Пока Атлет рассказывал про Вьетнам, остальные голоса в баре стихли. Казалось, что все разошлись по домам и выключили свет, который горел только над головой Атлета. Его служба во Вьетнаме началась с долгих недель ожидания. Он пробыл в стране уже полгода, в основном в дельте Меконга, но ничего не происходило, поэтому он позволил себе расслабиться. Может быть, все не так уж и плохо, решил он. Затем, возле Ку Чи, его отряд вышел на открытое поле, и мир взорвался. Засада, подумали они. Оказалось, что поле было заминировано. Атлета ранило в спину, в шею и в пальцы. Просто осколки, быстро добавил он, чувствуя неловкость, потому что девять из пятнадцати мужчин, которые были с ним тогда, погибли. «К нам на подмогу даже не послали вертолеты, — сказал он. — Это было слишком рискованно».

Когда дым рассеялся и вертолеты наконец прилетели, Атлет помогал грузить трупы. Один из солдат умолял Атлета вернуться и найти его ступни. «Пожалуйста, — повторял он, — мои ступни, мои ступни». Атлет вошел в траву и об-

наружил ступни солдата, все еще в ботинках, пропитанных кровью. Он протянул их солдату перед самым взлетом вертолета.

— Никсон нас оттуда вызволил, — сказал Атлет. — Твой дядя Чарли ненавидит Никсона из-за той заварушки в Уотергейте, но Никсон пообещал, что к Рождеству я вернусь домой, и свое обещание сдержал.

Было ясно, что обещаниям Атлет придавал большое значение. Я поклялся себе, что никогда не нарушу обещания, данного Атлету.

За несколько часов до отправки домой Атлет наступил на провод от мины. Он услышал щелчок, почувствовал, как натянулась проволока, и закрыл глаза, готовясь к встрече с Богом. Но мина была установлена неправильно. Устройство щелкнуло, но ничего не произошло. Ужас, затем облегчение.

— В любом случае, — сказал он, — когда я наконец вернулся домой, я мечтал лишь о двух вещах. О сэндвиче с тунцом и о холодном пиве на Пландом-роуд. Мне казалось, я даже ощущаю их вкус во рту. Но ты не представляешь — таксисты объявили забастовку. И вот я сошел с самолета, прилетевшего из ада, и не могу уехать из аэропорта.

Мы оба рассмеялись.

Если Атлет и ощущал горечь по поводу того, что ему пришлось испытать, он этого не показывал, хотя и признался, что ему периодически снится один-единственный кошмар. Как будто он сидит в «Пабликанах», потягивает холодный «Будвайзер», поднимает глаза и видит офицеров, входящих в дверь. Время призыва, солдат. Вы обознались, говорит он. Я свое уже отслужил. Один год, семь месяцев и пять дней. Они ему не верят. Вставай, парень. Пора потаскать «М-60» в Меконге.

— Ты не думал бежать в Канаду? — спросил я.

Атлет нахмурился. Его отец служил в армии, был ветераном Второй мировой, и Атлет преклонялся перед стариком. Они вместе ходили на футбольные матчи, когда морской

флот играл против армии во времена детства Атлета, и отец как-то отвел его в раздевалку армейцев. Он представил сына Эйзенхауэру и МакАртуру. Такие вещи не забываются, сказал Атлет. Поэтому, когда отец умер в начале войны во Вьетнаме, добавил он, что еще мог сделать преданный сын, как не пойти на фронт?

Я спросил дядю Чарли, можно ли мне угостить Атлета пивом.

— Атлет, — провозгласил дядя, — тебя угощает именинник!

Дядя Чарли ударил по стойке кулаком и показал пальцем на мою грудь, и это был первый раз, когда он публично одобрил мое присутствие, от чего я почувствовал себя так, будто король Артур дотронулся своим мечом до моих плеч. Он вытащил три доллара из моей пачки и подмигнул мне. Я понял, что мне наливают бесплатно, а если я угощаю других, нужно платить. Меня это обрадовало. Мне хотелось заплатить за Атлета. Я понял, что то же самое правило действовало и в случае, когда кто-то угощал меня. Дядя Чарли брал с них доллар чисто символически. Это был обычай, бессмертный обычай. Угостить другого. Весь бар являл собой сложную систему подобных обычаев и ритуалов. И привычек. Атлет все мне объяснил. Он рассказал, например, что дядя Чарли всегда работает в западной части бара, под членом из цветного стекла, потому что не любит иметь дело с официантками, которые в восточной части бара обслуживают заказавших напитки клиентов ресторана. А вот Джо Ди нравились официантки, поэтому Джо Ди всегда работал в восточной части под разноцветной стеклянной вагиной. Станным образом, сказал Атлет, символы на стекле отражали разговоры в разных концах бара: более вульгарные и агрессивные на западной стороне дяди Чарли и более мягкие и легкомысленные на восточной стороне Джо Ди. Я также заметил, что у каждого посетителя своя, уникальная, манера заказывать выпивку. Джо Ди, ты не разовьешь эту концепцию? Гусь, ты не освежишь мой мартини еще раз, перед тем как я пойду домой, к

своему жалкому подобию мужа? Один мужчина просто поглядывал на пустой стакан так, будто ехал по скоростному шоссе и посматривал на спидометр. Другой протягивал руку и касался указательным пальцем пальца дяди Чарли, изображая «Сотворения Адама» Микеланджело. Я подумал, что на свете, наверное, не много баров, где мужчины изображают сцены из «Сикстинской капеллы», когда заказывают «Амстел Лайт».

Мне не хотелось расставаться с Атлетом. Интересно, думал я, каждый ли вечер приходит он в «Пабликаны». Жаль, что его не было в нашей компании, когда в детстве я ездил с ребятами на пляж в Джилго, но я не мог представить себе, как мужчина вроде Атлета будет нежиться на солнышке или заниматься бодисерфингом. Такого мужчину я вообще не мог вообразить где-то еще, кроме как в баре поздно вечером. Он казался слишком большим, словно какой-нибудь сказочный герой, чтобы вот так запросто ходить по улицам среди бела дня. Я понял, что впервые за многие месяцы не испытываю страха, как будто смелость Атлета передалась и мне. Атлет заражал своей смелостью. Он побывал в чистилище и вернулся оттуда в здравом уме, умудрившись не растерять чувство юмора, и даже когда я просто стоял рядом с ним, у меня появлялась уверенность, что я выиграю свои маленькие сражения. Эйфория, которую я испытывал при общении с ним, была сродни той, которую я ощущал, читая «Илиаду». На самом деле бар и поэма дополняли друг друга, иллюстрируя бессмертные истины о мужчинах. Атлет был моим Гектором. Дядя Чарли — моим Аяксом. Вонючка — моим Ахиллесом. Мне вспомнились строки Гомера, и я услышал их по-новому. «Есть сила, — писал Гомер, — в союзе даже самых жалких из мужчин». Как вы оцените такую строку, не купив Атлету «Будвайзер» и не послушав его рассказа о войне? Лучшей частью его истории было молчание, наступившее после ее завершения. Мне не пришлось доказывать Атлету, как какому-то дьявольскому профессору, что я впитал в себя каждое слово и выучил заданное.

Но все равно в тот вечер, делая пометки о том, что сказал Атлет и остальные, записывая их рассказы и остроумные замечания, я был похож на студента. Я законспектировал больше, чем на семинаре у профессора Люцифера, потому что это мне не хотелось забывать. Любопытно, что мужчин совсем не удивляло, что я делаю записи. Они будто всегда ждали, когда же кто-нибудь начнет записывать житейские мудрости, которые нелегко им дались.

В три часа утра бар «закрылся», хотя никто и не поднялся с места. Дядя Чарли запер дверь, налил себе самбуки и прислонился к стене. Вид у него был измученный. Он поинтересовался, как идет моя учеба. Ему казалось, что что-то не так. Выкладывай, сказал он. В течение вечера я успел заметить, что наряду с многочисленными шутливыми ролями, которые дядя Чарли играл в баре, у него была одна серьезная роль. Главный судья «Пабликанов». Гусь Законодатель. Люди обращались к нему с проблемами и вопросами, и всю ночь он издавал вердикты. Иногда поступали апелляции. Тогда он принимал окончательное решение, стукнув бутылкой, как молоточком, указывая пальцем на грудь апеллировавшего. Я рассказал ему суть своего дела или, по крайней мере, начал.

Меня прервал мужчина с гривой лохматых волос и бритыми висками — волос у него на голове было в два раза больше, чем у нормальных людей. Он облокотился на барную стойку и заныл:

— Еще по одной на дорожку, а, Гусь?

— Жди своей очереди, — отрезал дядя Чарли. — Я разговариваю с племянником, у него проблемы в университете.

Грива повернулся ко мне с сочувственным видом. Мне не очень-то улыбалось открывать душу при Гриве, но другого выхода я не видел. Мне не хотелось быть грубым. Я рассказал ему и дяде Чарли о том, что чувствую себя несостоятельным по сравнению с однокурсниками, особенно с соседями по комнате. Один из них уже успел издать свою первую книгу. Второй летом работал в онкологическом центре имени

Слоан-Кеттеринг. «В его честь назвали разновидность лейкемии», — сказал я. Другой парень выучил наизусть почти все трагедии Шекспира. На любой случай у него была припасена емкая цитата из Барда, тогда как я с трудом мог вспомнить, что Гамлет родом из Дании. И, наконец, был еще Джек Редук*, который становился все самоувереннее в течение учебного года.

— Я понял, — сказал дядя Чарли. — Тебе некомфортно, потому что ты начал жизнь с комбинации семерка-двойка разных мастей.

— Что?

— Семерка-двойка разных мастей — самая неудачная из всех возможных комбинаций в покере.

— Я ничего в этом не понимаю. Просто чувствую себя как... рыба, выброшенная на берег.

— Я тоже, — пожаловался Грива. — Я себя чувствую как мужчина, которого оставили без пива. Гусь — пожалуйста.

Дядя Чарли надул щеки и уставился на Гриву. Потом медленно потянулся за льдом и бутылкой пива.

— За счет заведения, — буркнул он, со стуком поставив бутылку перед Гривой. — А теперь проваливай.

Грива исчез в толпе. Его прическа напомнила мне хвостовой плавник кита, погружающегося в океан.

Дядя Чарли наклонился ко мне и спросил:

— А ты чего ожидал? Ты студент лучшего университета страны. Думаешь, в Йель принимают идиотов?

— Только одного.

— Черт. Что тебе нужно прочесть в эти выходные?

— Фому Аквинского.

— Древнегреческий философ. В чем проблема?

Как это выразить в двух словах? Дело не в том, что мне было страшно, и не в плохих оценках. Я читал и читал, старался изо всех сил, но без Билла и Бада, которые могли мне все растолковать, я терялся. «Генрих IV, часть первая»? Я не понимал, черт возьми, о чем там говорится. И что меня раздражало

* Редукс (от лат. redux) — вернувшийся, вновь обретенный.

больше всего — что все герои стояли у барной стойки. Почему я не мог понять барную болтовню? Потом был еще Фукидид. Боже! Мне хотелось забраться в книгу и задать взбучку этому старому подлецу. Мне хотелось заорать: «Да объясни ты все по-человечески, мужик!» Я выучил наизусть одно предложение из «Истории Пелопоннесской войны», предложение, которое было длиннее, чем сама война. «Для истинного автора подчинение народа не столько непосредственный фактор, сколько сила, которая позволяет ему найти способ этого избежать». Сколько бы раз я ни перечитывал это предложение, я не мог ничего понять, поэтому я просто ходил туда-сюда, переваривая его, бормоча про себя, как Джо Ди. А теперь еще этот Фома Аквинский! Он изменил мир, логически доказав существование Бога, но как бы внимательно, шаг за шагом, я ни читал его аргументы, они меня не убеждали. В чем доказательство? Я верил в Бога, но я не видел ни доказательства, ни смысла в том, чтобы попытаться предоставить подобное доказательство. Это казалось мне квинтэссенцией веры.

Самым худшим, самым возмутительным было то, что у меня всегда оказывалось в два раза больше домашних заданий, чем у однокурсников, потому что я записался на этот чертов «Курс-ориентацию».

Я, должно быть, на некоторое время углубился в свои мысли, потому что дядя Чарли шелкнул пальцами перед моим лицом. В чем проблема? Мне хотелось рассказать ему, но я не мог — не потому, что стыдился, а потому, что был пьян. Абсолютно, беспросветно пьян — так напивался я в своей жизни нечасто. Я всегда буду в красках помнить это состояние, как полное отсутствие страха и беспокойства. Вот только один нюанс. Я не мог двух слов связать. Дядя Чарли продолжал смотреть на меня: «В чем дело?» Поэтому я пробормотал что-то про Аквинского, и у меня получилось: «Сочленения Эквинского очень сложенные». Дядя Чарли крикнул, я тоже, и каждый из нас притворился или искренне поверил, что это настоящий мужской разговор.

— Пора закрываться, — сказал дядя.

Убрав деньги, я нашел свой чемодан и направился к двери. Я уносил с собой полные карманы записей об Атлете и остальной компании, а также у меня было на девяносто семь долларов больше, чем перед приходом сюда, а ребята в баре, включая Стива, официально провозгласили меня мужчиной. Такой день рождения не забудется. Кто-то проводил меня до двери, изображая бой с тенью. Наверное, Атлет. А может быть, тень Атлета. Когда я выходил в розовеющий рассвет, все сказали мне:

— Возвращайся поскорее, пацан.

Они не расслышали — или не разобрали — мой ответ:

— Я пду, — сказал я. — Пду.

23 | ХУЛИГАН

Второй курс будет легче, пообещала мама. Потерпи, попросила она. Продолжай стараться. Старайся снова и снова. Имея за плечами «Курс-ориентацию» и профессора Люцифера, ты сможешь подтянуть оценки.

У меня не хватило духу признаться матери, что стараться бесполезно, потому что мозги у меня сломались. Когда я старался, это только усугубляло проблему, как нажатие на педаль газа, когда мотор заливает. Я не дерзнул сказать матери, что меня, возможно, отчислят из Йеля, что скоро я потеряю эту блестящую возможность, за которую она бы отдала свою атрофированную правую руку.

Я пришел к выводу, что в аудитории я не на своем месте. А вот в баре чувствовал себя своим. Когда мы с однокурсниками вместе ходили куда-нибудь выпить, я видел, как расту в их глазах. Хотя меня и приняли в Йель, признание однокурсников было эфемерным — я ощущал его лишь тогда, когда мы с моими новыми друзьями пили коктейли.

Однако, в отличие от «Публиканов», в барах Нью-Хейвена приходилось платить за выпивку. Мне срочно нужен был ис-

точник дохода, иначе я мог потерять новых друзей так же быстро, как и приобрел, и эта мысль пугала меня больше, чем перспектива отчисления. Я думал устроиться на работу в один из ресторанов, но платили там не очень хорошо, к тому же мне не хотелось надевать на себя так называемый «бумажный колпак бедности». Я подавал заявления на работу в библиотеки, но эти вакансии были самыми популярными и сразу же заполнялись. Потом меня осенило, и я открыл свое дело — прачечную. (Я все еще помнил, как бабушка учила меня обращаться с паровым утюгом.) Я сообщил всем, что в студенческом городке открывается новое предприятие, предлагающее обслуживание в тот же день по цене всего пятьдесят центов за рубашку. Я чуть было не назвал свой бизнес «прачечная Морингера «За воротник», но друг благоразумно мне отсоветовал.

Спрос был огромный. Ребята приносили большущие, как у Санта-Клауса, мешки, набитые рубашками, и вскоре я по несколько часов в день проводил за гладкой. Это было достаточно тяжелым трудом за маленькие деньги, но иначе я бы потерял друзей, сидя в четырех стенах, пока они шляются по клубам и барам, а этого я допустить не мог.

Моим лучшим клиентом был Байяр, второкурсник, чье превосходство надо мной во всех отношениях ярко выразилось в его шикарном имени. Я слышал только еще об одном человеке с таким именем, о Байяре Свопе, усадьба которого стала прототипом роскошного особняка в «Великом Гэтсби». Йельский Байяр, высокий хладнокровный блондин, играл в поло, имел собственный смокинг, и поговаривали, что род его происходит от гугенотов. Он поступил в Йель, закончив одну из известных подготовительных школ, и одевался так, будто сошел с эскизов Ральфа Лорена. У Байяра была немислимая коллекция рубашек — пейсли, из черного сукна, в яркую полоску, на пуговицах, с отложными воротничками, шелковые, — и, похоже, по две рубашки каждого фасона, будто он собирался отправить в плавание Ноев ковчег из одежды. Еще у него имелось несколько белых нарядных

рубашек с английскими воротничками и тонкие, как бумага, французские рубашки с манжетами, каждая из которых была настоящим произведением искусства. Когда он приносил рубашки в мою комнату, то раскладывал их на кровати, и мы оба в восхищении разглядывали их. «Мне грустно, — сказал я, — потому что никогда раньше я не видел таких... таких красивых рубашек». Я надеялся, что он узнает цитату из «Великого Гэтсби». Но он не узнал.

Я пообещал Байяру, что выстираю и поглажу его рубашки за два дня, но время пролетело незаметно. Мне нужно было писать курсовые, ходить в бары, и к концу недели, когда Байяр понял, что ему нечего надеть, он обиделся. Ему нечего было надеть. Он оставил мне через моих соседей по комнате четыре сообщения, каждое более сердитое, чем предыдущее, но я не отвечал на его звонки. Я пообещал себе встать на рассвете и выполнить его заказ. Между тем наступил вечер пятницы. Мои друзья собирались в баре недалеко от студенческого городка. Поставив диск Синатры на стерео, я стоял возле своего шкафа с одеждой. Я перебрал все свои джинсы и рубашки «Бадз Изод» бесчисленное количество раз. *Если бы только мне было что надеть!* И тут мой взгляд упал на мешок с грязной одеждой Байяра. Я все равно собирался стирать его рубашки утром — так за чем же дело стало? Я погладил светло-розовую рубашку на пуговицах и надел ее.

Стояла осень. В Йеле всегда была осень, будто осень избрели в одной из йельских лабораторий, а она оттуда сбежала. Воздух был опьяняюще-бодрящим, как лосьон после бритья на щеках, и я сказал приятелям, что нам стоит выпить джину, цитируя теорию дяди Чарли о том, что у каждого времени года своя отравка. Замечательная идея, сказали приятели. После двух бокалов мы опьянели. И проголодались. Мы заказали бифштексы и еще мартини, и когда принесли счет, мне стало нехорошо. Я просадил двухнедельную выручку от стирки за три часа.

Мы направились на вечеринку к кому-то домой за пределами студенческого городка. Когда мы подъехали, студенты

танцевали на лужайке и на крыльце. Мы прошли через главный вход в танцующую толпу. Я подошел к Джедду Редуксу, который курил, прислонившись к стене. Я спросил, не будет ли у него сигареты. Из нагрудного кармана своего супермодного блейзера он вытащил пачку «Вантидж». Глаз быка на пачке и пустой внутри фильтр. Каждая сигарета выглядела как гильза для винтовки. Я представился. Его звали Дейв. Он сказал, что ему нужно еще выпить. Как шенок, я пошел вслед за ним на кухню, и когда мы пробирались сквозь толпу, нос к носу столкнулся с Байяром.

— Вот ты где, — сказал Байяр.

— Приве-е-ет.

— Мне нужны мои рубашки, чувак.

На нем была мятая фланелевая фуфайка, какие обычно носил я.

— Это моя... рубашка? — Он был поражен.

— Вы тут сами разбирайтесь, — сказал Джедд Редукс, отходя от нас.

Я начал объяснять, но Байяр остановил меня. С легкой сочувственной улыбкой он сделал шаг в сторону и прошел мимо меня, преподав мне короткий и запоминающийся урок.

Я вернулся в комнату и не ложился всю ночь, стирая и глядя рубашки Байяра. На рассвете, крахмала последнюю из его рубашек, я дал себе целый ряд обещаний.

Я никогда больше не буду пить.

Я научусь курить «Вантидж».

Я извинюсь перед Байяром и потом буду избегать его все оставшееся время учебы в Йеле.

Я буду стараться, опять буду стараться.

Она стояла с моим другом, похоже, встречалась с ним. У нее были густые светлые волосы, миндалевидные карие глаза и изысканный носик — идеальный равнобедренный треугольник в центре овального личика. В ее лице было столько совершенства, столько симметрии, что я поступил

так, как учил нас делать профессор истории искусств, когда мы рассматривали портреты великих художников. Я разделил ее лицо на секции. Сначала пухлые губы. Затем белые зубы. Затем высокие скулы и изысканный нос. И, наконец, эти карие глаза, добрые и презрительные одновременно, будто она готова и полюбить вас, и возненавидеть — в зависимости от того, что вы скажете дальше.

— Сидни, — представилась она, протягивая руку.

— Джей Ар, — произнес я.

Она не носила общепринятую форму студентов Йеля — трикотажные фуфайки, рваные джинсы и кроссовки. Вместо этого на ее точеной фигурке идеально сидели черные шерстяные брюки, серая кашемировая водолазка и короткое кожаное пальто. Попка у нее была высокая, как у фигуристки. Глаз не отведешь!

— Ну, разве тебе не нравится этот курс? — спросила она. — Разве он не потрясающий?

— Не очень, — со смехом ответил я.

— Тогда зачем ты на него записался?

— Я подумываю о юридическом факультете.

— Вот как. Я бы ни за какие деньги на свете не стала адвокатом.

Я подумал: «Это потому, что у тебя уже есть все деньги на свете».

Мой друг собственническим жестом обнял Сидни и увел ее. Я вернулся к себе в комнату, стал слушать Синатру и пытался не представлять себе по частям лицо Сидни, стоявшее у меня перед глазами.

Через несколько дней мы столкнулись. Случайно встретились на улице. Я порывался уйти, не желая тратить время на богиню студенческого городка, но она заставила меня остановиться и стала задавать мне вопросы, слегка касаясь моей руки и встряхивая волосами. Я не отвечал на ее заигрывания, потому что она встречалась с моим другом, и моя сдержанность, похоже, сбила ее с толку и раззадорила. Она стала чаще касаться моей руки.

— Ты готов к финальным экзаменам по конституционному законодательству? — осведомилась она.

— Ах да! — сказал я саркастически. — Когда экзамен? Завтра?

— Хочешь, вместе позанимаемся?

— Вместе? — переспросил я. — Сегодня вечером?

— Да. — Сидни улыбнулась. Безупречные зубы. — Вместе. Сегодня вечером.

Она жила в квартире за пределами студенческого городка. Когда я пришел, у нее была открыта бутылка красного вина. Минут десять мы изучали лекции о Верховном суде, а потом отложили книги и стали изучать друг друга. Я собирался, как учила Шерил, задать ей кучу вопросов, но она меня опередила. Я рассказал про мать, про отца, про «Пабликанов», про все на свете. Я чувствовал, как вино и ее глаза заставляют меня раскрыть душу. Я говорил правду. Отец в моем рассказе был больше похож на прохиндея, чем на негодяя, а ребят из бара я представил богами. Я так чувствовал — и мне казалось, что я был самим собой, когда подражал ребятам из бара, использовал их словечки и жесты. Это ощущение вводило меня в заблуждение, так же как и сама Сидни.

Откупорив вторую бутылку вина, она рассказала о себе. Она была младшей из четырех детей в семье и выросла в Южном Коннектикуте, на океане. На два года старше меня, молокососа, Сидни надеялась стать кинорежиссером или архитектором. Будущим Фрэнком Капрой или Фрэнком Ллойдом Райтом, сказал я. Ей это понравилось. Ее родители были влиятельными, умными людьми, активно участвующими в жизни детей. Они управляли собственной строительной фирмой, и жили они в большом доме, который своими руками построил ее отец. Она восхищалась матерью и идеализировала отца, очень похожего на Хемингуэя, как она сказала, с белой бородой, в рыбацком свитере. Ее от природы хриплый голос стал на октаву ниже, когда она заговорила о брате, который умер, и о том, как изменились с тех пор ее родители.

У нее была манера придавать разговору оттенок интимности, будто закрывая нас от всех занавеской.

Сразу после полуночи повалил снег.

— Слушай, — сказала Сидни, показывая на окно, — пошли прогуляемся.

Надев шапки и шарфы, мы обошли студенческий городок, поднимая лица вверх и лоя языком снежинки.

— Ты заметил, что мы проболтали несколько часов? — спросила Сидни.

— Мы совсем не занимались, — сказал я.

— Я знаю.

Мы неуверенно посмотрели друг на друга.

— Так что означает Джей Ар?

— Я расскажу, когда узнаю тебя лучше.

Так я ответил рефлексивно — мне не хотелось ни лгать, ни все-таки раскрывать правду, но почему-то прозвучало это игриво. Не успел я взять свои слова обратно или смягчить их, как Сидни прижалась ко мне. Мы брели по снегу, касаясь друг друга бедрами, разглядывая наши следы.

Вернувшись в ее квартиру, мы пили горячий шоколад, курили и говорили о чем угодно, кроме иска Брауна против Отдела народного образования. На рассвете Сидни сварила яйца и кофе. Я вышел из ее квартиры за час до экзамена, абсолютно неподготовленный, что меня совершенно не волновало. Я водил карандашом по страницам синего экзаменационного буклета в течение четырех часов и писал какую-то чушь про конституцию, понимая, что я завалю экзамен, но все равно ощущая экстаз оттого, что знал: я увижу Сидни через несколько минут после окончания экзамена. Я знал, что она войдет в дверь, не постучав. Так и случилось.

— Как экзамен? — спросила она.

— Не очень. А ты как?

— А я все вопросы шелкала, как орешки.

Я спросил, не хочет ли она выпить кофе, но она спешила. Она ехала домой и хотела успеть, пока не начались пробки.

— Ты чем будешь заниматься? — поинтересовалась Сидни.

— Утром уезжаю в Аризону.

— Ну что ж. С Рождеством. Еще раз спасибо за замечательный вечер.

Она чмокнула меня в щеку и, помахав через плечо, выпорхнула за дверь.

Я купил упаковку пива и сидел на подоконнике с банкой, слушая Синатру и глядя на студентов под окнами. Они прощались, обнимались и спешили на Юнион-стейшн. Мне казалось, что студенческий городок сдувался, как шарик, из которого выпустили воздух. Раздался телефонный звонок. Звонила моя мать узнать, как я сдал экзамен. Нет. Звонила Сидни из машины. Телефон в машине? Я никогда о таком не слышал.

— Эй, ты, — сказала она. — Поужинай со мной.

— С тобой? Сегодня?

— Со мной. Сегодня. Перезвони мне и скажи, на каком поезде поедешь, я встречу тебя на станции.

Я повесил трубку, отпил пива из банки и расплакался. Впервые в жизни я плакал от радости.

Когда подошел мой поезд, Сидни стояла на платформе в белом пальто, а ее волосы и ресницы были усыпаны снежинками. Она заказала столик в ресторане у воды, где ни один из нас к еде так и не притронулся. Потом мы мчались по лесу в ее спортивной машине. С шумом подъехали к дому ее родителей и потом еще посидели в машине с включенным обогревателем. По радио пел Фил Коллинз, и каждый из нас ждал, когда заговорит другой. Сквозь падающий снег, сквозь деревья я видел серебристую реку, блестящую в лунном свете. Я вздрогнул, вспомнив канал в Аризоне.

Сидни провела меня в дом. Свет был выключен, все спали. Мы прошли наверх в комнату для гостей.

— А как же твои родители? — прошептал я, когда она закрыла дверь. — Что, если мы их разбудим?

— У них свободные взгляды, — прошептала она в ответ.

От лампы возле кровати исходил резкий свет, как от лампы в дедушкином доме, но мне не хотелось выключать ее. Мне хотелось видеть Сидни. Я накинул один из моих носков с геометрическим рисунком на лампочку и, повернувшись, увидел, как Сидни расстегивает бюстгальтер и швыряет его на пол. Она сбросила брюки, потом трусики и подошла ближе, залитая пестрым светом. Она раздела меня, положила руку мне на грудь и толкнула. Я упал на кровать. Она села сверху, потом забралась под меня. «О-о-о», — протянула она мягко, потом еще раз, громче. Потом еще громче. Твои родители, напомнил я. Они у меня классные, сказала она. «О-о-о», — выдохнула она снова, потом «да», потом «о-о-о» и «да» в комбинации с придыханием. Я сконцентрировался на комбинациях, запоминая их, чтобы заблокировать все остальные мысли, в том числе и мысли о собственном удовольствии, потому что был полон решимости продержаться подольше, показать себя мужчиной. Ощущение Сидни, близость Сидни, вид ее были как сон. Но сон заканчивался. «Да», — сказала Сидни сквозь сжатые зубы, «да», «да», пока это слово полностью не потеряло смысл, став звуком, на котором мы оба сконцентрировались и который потом превратился в тихий присвист удовлетворения, вторивший ветру за окном.

Лежа рядом, мы так долго молчали, что мне показалось, что Сидни заснула. Наконец она произнесла:

— Тебе не кажется, что что-то горит?

Я глянул на лампу. Мой носок на лампочке дымился. Я схватил его, опрокинув лампу с сильным грохотом. Сидни рассмеялась. Потом я сделал из носка куклу по имени Сократ, который философски комментировал то возмутительное поведение, которое только что наблюдал.

— Ты хулиган! — Сидни хохотала в подушку. — Ходячая неприятность.

— Почему?

— Потому! Я не уверена, стоит ли мне дружить с хулиганом.

Когда я проснулся, я увидел ее стоящей надо мной с чашкой кофе.

— Доброе утро, хулиган, — улыбнулась она.

На ней был легкий атласный халатик. Я забрал чашку у нее из рук и, когда она отвернулась, схватил ее и заташил в постель.

— Мои родители, — начала Сидни.

— У них свободные взгляды.

— Да, верно, либералы проснулись и выразили желание встретиться с женщиной, находящимся в комнате для гостей наверху.

Поскольку мой чемодан остался в машине Сидни, я надел ту же одежду, в которой был накануне вечером, и спустился следом за ней по лестнице. Ее родители действительно оказались либералами. Казалось, они совсем не были возмущены. Они налили мне чашку кофе и пригласили позавтракать с ними.

У них обоих был такой же низкий голос, как у Сидни, и, так же как и она, они засыпали меня вопросами. Я сомневался, что мои рассказы покажутся им интересными, поэтому перевел разговор на них самих. Я спросил, чем они увлекаются. Они обожали итальянскую оперу, тепличные орхидеи и бег на лыжах. Мне было нечего сказать на эти темы, и у меня возникло ощущение, что за прошедшие сутки я завалил уже два экзамена. Я спросил про их семейный строительный бизнес.

— Некоторые компании строят здания, — сказала мама Сидни. — Мы же строим *жилища*.

Она произнесла слово «жилища» таким же восторженным тоном, каким профессор Люцифер произносил слово «ПОЙ-эма». Ее голос зазвучал громче, а щеки порозовели, когда она заговорила о том, что всем людям нужен дом. Я рассказал про особняки Манхассета и про то, что они значили для меня в детстве. Я заметил, что история им понравилась.

Отец Сидни встал, засунул руки в карманы брюк и небрежно спросил меня о моей семье. Я стал на все лады расхваливать маму. Он улыбнулся.

— А кто твой отец? — спросил он.

— Я только недавно с ним познакомился.

Он нахмурился. Я не мог понять, то ли он нахмурился сочувственно, то ли удивленно. Мать Сидни сменила тему и спросила, что я изучаю в Йеле. Кем хочу стать? Я сказал про юридическую школу, и родители были удовлетворены.

— Нам, пожалуй, пора, — вмешалась Сидни. — Мне нужно отвезти Джей Ара в аэропорт.

Однако по дороге Сидни передумала. Она решила высадить меня в Дарьене, где я мог сесть на экспресс-автобус до аэропорта.

— Почему? — спросил я. — Что происходит?

— Думаю, что так будет лучше.

— Скажи мне почему.

— Послушай, я встречаюсь с другим человеком.

— Я знаю.

Я назвал имя своего друга, который представил нас друг другу на лекции по конституционному праву. Нет, сказала Сидни. Кто-то другой. Внутри у меня все похолодело, и я почувствовал комок в горле.

Она съехала со скоростного шоссе в Дарьене и, когда мы приблизились к остановке экспресса, выскочила из машины. Я сидел в оцепенении, а она выхватила мой чемодан из багажника и приказала выйти. Я отказался. Она поставила мой чемодан на тротуар и стала ждать. Я не пошевелился. Так продолжалось пять минут. Наконец она положила чемодан обратно в багажник и снова села за руль. Ни один из нас не сказал ни слова, пока она неслась на юг по Ай-95, то и дело, как заправский гонщик, меняя полосы, чтобы избежать пробок. Однако, когда мы доехали до аэропорта, Сидни больше не злилась. Я даже почувствовал какое-то горькое восхищение, когда мы целовались на прощанье.

— Счастливого Рождества, — сказала она. — Хулиган.
Первое прозвище, которое мне понравилось.

О любви я знал еще меньше, чем о конституционном праве, но пока я летел в Аризону, я сделал вывод, что влюбился. Или у меня случился приступ какой-то болезни. Я потел, меня трясло, ломило в груди. К тому же, как назло, моя рука все еще хранила запах Сидни, а в кармане я обнаружил мятую салфетку с отпечатком губной помады. Я подносил руку к носу и прижимал салфетку ко рту, и стюардесса спросила меня, не плохо ли мне.

То же самое спросила мама, когда я вышел из самолета.

— Мне кажется, я влюбился.

— Замечательно! — воскликнула она, обнимая меня, пока мы шли по «Скай Харбор». — Кто же эта счастливица?

В машине, за ужином и поздно ночью я пытался поговорить с матерью о Сидни, но разговор оказался неожиданно сложным. Мне хотелось расспросить маму о любви, но я считал, что должен быть осторожен с ней, чтобы не разбудить неприятные воспоминания о ее собственных романтических разочарованиях. Мне хотелось спросить, не стала ли наша квартирка на канале причиной того, что богиня, живущая у серебристой реки, поняла, что я ей не пара, но мне не хотелось плохо отзываться о доме, который мать, как могла, старалась сделать уютным для нас обоих.

Наконец я просто сказал:

— Сидни совсем из другого круга — она оттуда. — Я задрал руку выше головы. — А я вот где. — Я опустил руку ниже колена.

— Не говори так. У тебя столько замечательных качеств.

— Да-а. Денег нет, и вообще я понятия не имею, что дальше делать со своей жизнью...

— Понятия не имеешь?

— Я имею в виду, помимо того, чтобы стать адвокатом.

— Послушай. Если мужчина возводит женщину на пьедестал, это не так уж плохо для отношений. — Мама улыбнулась и ободряюще потрепала меня по плечу, но я не мог заставить себя улыбнуться в ответ. — Джей Ар, любовь — это благословение. Постарайся насладиться ею.

— А если она разобьет мне сердце? — спросил я.

Она смотрела вверх моей головы.

— Мам?

Теперь сквозь меня.

— Мам?

— Ты это переживешь, — ответила она.

Сидни встретила меня в аэропорту с бутылкой шампанского, которую мы передавали друг другу на скоростном шоссе Ай-95. Стоял воскресный вечер, температура упала ниже нуля. На дороге больше не было ни одной машины. Нам принадлежал весь мир.

До Йеля мы добрались к полуночи. Замерзшие деревья скрипели на ветру. Улицы превратились в катки. Мы заехали ко мне, взяли альбомы Синатры, потом поехали в ее квартиру и закрылись изнутри. Сидни хитро рассмеялась, когда я придвинул к двери большой стул.

Мы не выходили несколько дней. Выпал снег, растаял, выпал снова — мы едва заметили. Мы не включали ни телевизора, ни радио. Единственными звуками в ее квартире было пение Синатры и наши голоса, его вздохи и наши и еще ветер. Когда нас одолевал голод, мы заказывали еду из ресторана на углу. Телефон звонил не переставая, но Сидни не отвечала, а автоответчика у нее не было. Похоже, ее не волновало, что ее могут разыскивать молодые люди, и из ее равнодушия я сделал вывод, что ее не волнует никто, кроме меня.

Время проходило незаметно, а потом вообще остановилось и потеряло над нами власть. Мы часами лежали на боку, разглядывая друг друга, улыбаясь, касаясь друг друга кончиками пальцев и не произнося ни слова. Мы засыпали. Мы

просыпались, занимались любовью, потом снова забывались сном, не расцепляя пальцев. Я понятия не имел, утро было или ночь, какой день недели, и не хотел знать.

Как-то раз, когда Сидни спала, я сидел на стуле у кровати, пил пиво и пытался разобраться со своими чувствами. Сначала я был поражен красотой Сидни, в этом я себе откровенно признался, но теперь это чувство стало глубже. Это было больше, чем секс, больше, чем любовь. Я пару раз испытывал шенячью привязанность к девчонкам, но то, по сравнению с чувством к Сидни, казалось просто репетициями на скорую руку. Это же чувство должно было изменить меня навсегда, могло даже убить меня — я уже находился на грани отчаяния. Я был готов на все, чтобы сохранить отношения. Я знал, что любовь и секс — мощные катализаторы, которые превращают мальчика в мужчину, об этом мне поведали многие, но до того момента мои знания были лишь теоретическими. Я и не догадывался, насколько взрывоопасными могут оказаться эти катализаторы, каким волшебным — чувство. Я понял, что раньше был циником, но теперь, когда Сидни открывала глаза, я всматривался в бездонные карие озера, пытаюсь разглядеть ее душу. Я верил, что она способна изменить меня и, возможно, сотворить чудо. Она могла сделать из меня мужчину и, что еще важнее, сделать меня счастливым.

Когда мы вылезали из постели, я смешивал мартини в графине, и мы лежали на диване в гостиной и разговаривали. Наконец-то мне помогло то, что я слушал Голос в детстве. В голосе Сидни я смог различить многое: ее надежды и страхи, подтекст и главные сюжетные линии ее жизни. Чтобы показать ей, как внимательно я слушаю, я пересказывал ее собственные истории своими словами и пытался угадать, что она имела в виду. Ей это очень нравилось.

Когда я рассказывал Сидни о себе, я различал разные оттенки и в собственном голосе. Всю свою жизнь я себя сдерживал. Сейчас же я говорил именно то, что чувствовал, рассказывал все как на духу этой красивой женщине, которая

слушала с такой же страстью, с какой отдавалась мне. Поддавшись несдержанному порыву, на четвертый или пятый день, проведенный вместе, я сказал Сидни, что собираюсь на ней жениться. Мы ели бейглы на кухне. Она перестала жевать и уставилась на меня:

— Жениться?

— Да, — подтвердил я. — Мне хотелось бы подарить тебе кольцо с бриллиантом и жениться на тебе. Когда-нибудь.

Глаза Сидни расширились, и она вышла из комнаты.

Вскоре после этого она сказала, что нам пора возвращаться к нормальной жизни.

— У меня сплин, — сказала Сидни, натягивая узкие джинсы.

— Что? Сплин?

— Мне нужен свежий воздух, Хулиган. Нам пора выбирать курсы на этот семестр. Йель. Жизнь. Вспомнил?

— Это из-за того, что я сказал? Насчет женитьбы?

— Я тебе позвоню.

На первой электричке я доехал до Нью-Йорка, потом пересел на Пенн-стейшн на поезд до Манхассета. Дядя Чарли удивился, увидев, как я вошел в дверь «Пабликанов» через неделю после того, как уехал в Йель.

— Кто-то умер? — спросил он.

— Никто. Мне просто нужно было увидеть доброжелательные лица.

Он указал пальцем мне на грудь. Мне сразу стало легче. Затем дядя Чарли потянулся за джином. Я нахмурился.

— Нет. Джин я больше не пью. Пожалуйста. Как насчет виски?

Дядя испуганно посмотрел на меня. Менять напитки? Немыслимое нарушение протокола «Пабликанов». Но он видел, что мне плохо, и не стал усугублять ситуацию.

— Что случилось? — спросил он, наливая.

— Проблема с девушкой.

— Давай выкладывай.

Он подвинул ко мне стакан, будто двигал слона по шахматной доске. Я коротко обрисовал ему ситуацию, опустив необдуманные слова о женитьбе.

— Она меня просто вышвырнула. Заявила, что у нее сплин.

— Что это значит, черт возьми?

— Думаю, это «нервы» на идише.

— Она еврейка?

— Нет. Ей просто нравятся слова.

Мужчина в красно-черной охотничьей куртке и оранжевой охотничьей шапке подсел ко мне.

— Эй, панк! Как дела на фронте?

— У его девушки сплин, — ответил ему дядя Чарли.

— Мне очень жаль.

Я рассказал Охотнику свою историю с того момента, как встретил Сидни, и до того, как мы расстались. Пока дядя Чарли обслуживал других клиентов, я также признался Охотнику в своем неуклюжем предложении руки и сердца.

— М-да, — протянул тот. — М-да, м-да, *м-да-а-а*. А что твой приятель?

— Какой?

— Твой друг, который встречался с этой телкой. Он-то знает, что ты ее трахнул?

— А. Мой друг. Ну, ты знаешь, она ему не особо-то нравилась. Они просто встречались. Ничего серьезного.

— Нет, — возразил Охотник. — В этом-то и дело. Телки приходят и уходят, и сплин у всех бывает. Но ты переспал с девчонкой друга. Ты нарушил кодекс. Это нужно исправить.

— Мне кажется, ты меня не понял, — сказал я.

Я взглянул на дядю Чарли в поисках поддержки, но он показал пальцем на грудь Охотника.

Сплин у Сидни прошел, но это послужило мне уроком. Я стал меньше говорить и больше слушать. Я продолжал любить ее отчаянно и неистово, но старался поменьше об этом распространяться.

Я также пытался серьезно заниматься, но из-за Сидни мне приходилось тяжелее, чем когда-либо. Я не мог сосредоточиться. На лекциях и семинарах, когда профессор рассказывал про Беркли и Юма, я всматривался в пространство, представляя себе лицо Сидни. Услышав аплодисменты, я понимал, что лекция закончилась и пора возвращаться в свою комнату, чтобы снова сесть на подоконник и думать о Сидни.

Она породила замысловатый парадокс. Если бы я мог добиться ее любви, то стал бы тем мужчиной, которым мечтал стать, подавая заявление в Йель. Но я не мог завоевать ее, не закончив университет, а чтобы сделать это, мне нужно было перестать бесконечно думать о ней и готовиться к занятиям, — замкнутый круг. Сидя в библиотеке и пытаясь изо всех сил сосредоточиться на трактате Ницше «По ту сторону добра и зла», я поднял глаза и увидел Джедда Редукса. Мы не виделись с тех пор, как Байяр поймал меня на краже рубашки. Джедд предложил мне сигарету «Вантидж».

— Ты на днях не с Сидни, случайно, шел по Йорк-стрит? — спросил он.

— Да.

— И вы с ней?..

— Да.

Джедд откинул голову назад и открыл рот, будто собирался закричать, но не издал ни звука.

— Ну и повезло же тебе, сукин ты сын.

Он дал мне прикурить серебряной зажигалкой, которая выглядела так, будто его прадед пользовался ею в траншеях Первой мировой войны. Мы закурили.

— Серьезно, — добавил Джедд. — Повезло тебе. Повезло, повезло, повезло.

Мы разглядывали стены, заставленные книгами. Он выпустил кольцо дыма, которое повисло над моей головой, как лассо.

— Повезло тебе, — еще раз повторил он.

В конце второго курса удача не покидала меня. Я сдал все экзамены, хотя и с трудом, и мы продолжали встречаться с Сидни. Не просто встречаться. Она сказала мне, что порвала со всеми мужчинами в своей жизни, что теперь она только со мной.

Я уехал на лето в Аризону, а Сидни отправилась в Лос-Анджелес на курсы начинающих режиссеров. Я писал ей длинные любовные письма. Ее ответы не были ни длинными, ни теплыми. Скорее, короткие зарисовки светской жизни. Она посещала коктейльные вечеринки, ходила в спортзал, где тренировалась мужская сборная по плаванию университета Южной Каролины, и разъезжала по Голливуду в «мерседесе» с откидывающимся верхом. Как-то она навестила меня в выходные и умудрилась очаровать мою мать. Когда Сидни на минутку вышла из комнаты, мама прошептала:

— Это самая красивая девушка, которую я когда-либо видела.

— Я знаю, — сказал я угрюмо. — Я знаю.

Осенью я привел Сидни в свой второй дом. Я выбрал субботний вечер, середину ноября, самое оживленное время года в «Пабликанах». Стоя в дверях, я коротко описал Сидни главных действующих лиц, показав ей дядю Чарли, Джо Ди, Атлета, Кольта, Томми, Шустрого Эдди и Вонючку.

— Чем занимается Вонючка? — спросила она. —

— Готовит.

— Повара зовут Вонючка. Понятно.

Бар был полон знакомых и родных лиц. Одна из моих двоюродных сестер вышла замуж и уехала, но Макграу и остальные четыре сестры, включая Шерил, жили неподале-

ку с тетей Рут, которая сидела в тот вечер в центре бара, потягивая коньяк. Я представил ей Сидни.

— Средний или высший? — спросила тетя Рут, оглядывая Сидни с ног до головы.

— Простите? — не поняла Сидни.

— Средний класс или высший? — уточнила тетя Рут.

Я закрыл лицо руками.

— Высший, — ответила Сидни, — полагаю.

— Хорошо. Нашей семье нужны люди классом выше.

Шерил тоже была в баре. Она поспешила к Сидни, увела ее от тети Рут, как клоун на родео, спасающий ковбоя от гонящегося за ним быка. Я пробрался к стойке, чтобы заказать нам выпить. Дядя Чарли работал, но он уже заметил Сидни.

— Какая женщина! — восхитился он.

— Более того, — сказал я, — ее ум превосходит ее красоту.

Дядя схватил бутылку виски за верхнюю часть, будто это была курица, которой он собирался открутить шею.

— Тогда знаешь что? — заявил он. — Ты попал по крупному, дружок.

Когда мы с Сидни возвращались в Йель, она смотрела перед собой невидящим взглядом. Я спросил, о чем она думает. Она сказала, что не понимает, почему бар для меня такое особенное место. Сидни улыбнулась мне ослепительной улыбкой, увидев которую полицейские делали ей предупреждение и не брали штраф за превышение скорости. Она понимала, почему бар был так дорог мне в детстве, но не могла понять, почему я продолжаю так дорожить этим местом, повзрослев. Возможно, она представляла себе лица своих родителей, встретить они Джо Ди и дядю Чарли.

Сидни больше не снимала квартиру — на третьем курсе она жила в общежитии. Мы сели на ее кровать и еще немного поговорили о прошедшем вечере.

— Почему Кольт разговаривает, как мишка Йоги? — спросила она.

— Кольт? Я не знаю. Просто такой уж у него голос.

— А почему его прозвали Кольт?

— У всех в баре есть прозвища. Стив как-то забыл дать кличку Кольту, и он заявил, что хочет, чтобы его звали Кольт.

— Угу. А почему тот парень, который похож на куклу из «Маппет-шоу»...

— Джо Ди.

— Да, Джо Ди. Почему он говорит сам с собой?

— Когда я был маленький, я думал, что он разговаривает с ручной мышкой, которая сидит в его нагрудном кармане.

— Хм.

Вскоре после нашей поездки в бар Сидни сказала, что ей нужно «время». Время позаниматься, время подумать о том, что она будет делать после окончания университета. Это не сплин, добавила она, взяв мои руки в свои.

— Время, — попросила она. — Просто дай мне немного времени.

— Конечно, — сказал я. — Время.

Без Сидни у меня высвободилась масса времени, и я мог бы поступить разумно и ходить на занятия. Вместо этого я писал для «Йель дейли ньюс» и часами сидел в библиотеке редких книг Байнеке, просматривая сборники писем Хемингуэя, Гертруды Стайн и Авраама Линкольна. Часто я проводил целые дни в одном из музеев Йеля, особенно в Центре британского искусства, где я сидел и смотрел на портреты людей колониальной Америки Джона Синглтона Копли. Их лица, озаренные невинностью и чистотой и одновременно озорные, напоминали мне лица посетителей бара в «Паблликанах». Не случайно, думал я, Копли поместил некоторых своих персонажей в таверны, или мне, по крайней мере, так казалось. Я подолгу сидел напротив картины восемнадцатого века Хогарта «Современный полуночный разговор», изображающей стол в пивной и дюжину выпивающих мужчин, хохочущих, выделяющих пируэты и падающих на пол. Глядя на эту картину, мне всегда хотелось смеяться, а иногда я начинал скучать по дому.

Однажды вечером я вышел из музея и зашел в бар на углу. Выпил виски. Я принес с собой сборник стихов Дилана Томаса. Почитав их немного, я выпил еще виски. По дороге домой я решил заглянуть на вечеринку, про которую мне говорили. Она была в подвале. Пятьдесят студентов столпилось вокруг бочки, а один паренек в углу играл на маленьком пианино. Я облокотился на пианино и стал смотреть.

Пока его руки не останавливаясь бегали взад-вперед по клавишам, он поднял на меня глаза.

— Я тебя знаю. Джей Эс, верно? Мо, Му...

— Морингер.

— Правильно. Ты с Сидни встречался.

Я кивнул.

— Тебе, наверное, тяжело. Она теперь с этим студентом выпускного курса. Неприятно. — Увидев выражение моего лица, он перестал играть. — Ой.

Я побежал в комнату Сидни. Падая мокрый снег, на тротуарах было скользко, а я едва держался на ногах, поэтому упал. Дважды. Мокрый, в синяках, задыхаясь, я ворвался к ней в комнату и включил свет. Она подскочила на постели. Она была одна.

— Джей Ар?

— Это правда?

— Джей Ар!

— Не надо. Пожалуйста, пожалуйста, не лги. Просто скажи мне.

Она опустила голову на грудь и ничего не сказала. Мне хотелось дать ей пощечину, допросить ее, заставить рассказать мне подробности. Как давно? Как часто? Почему? Но не было смысла. Я видел бесполезность всего, тщету вопросов. Я вышел, оставив дверь открытой настежь.

Поезд в Нью-Йорк был переполнен, и места нашлись только в баре. Я не жаловался. Скрючившись у окна, я потягивал виски и смотрел, как пролетает за окном Коннектикут. Сзади меня сидел священник. Голова его была лысой, за

исключением нескольких пучков волос на затылке. Голубые глубоко посаженные глаза, над которыми нависали мохнатые белые брови, внимательно смотрели на меня. Я молился, чтобы он не заговорил со мной.

— Куда вы направляетесь? — спросил священник.

Я медленно повернулся, будто у меня болела шея:

— В Манхассет.

— Манхассет? — удивился он. — Где это?

— Лонг-Айленд, — пробормотал я.

— Манхассет, Лонг-Айленд. Красиво звучит. Ман-хассет. Как будто выдуманное слово.

— Так и есть. — Это прозвучало грубее, чем мне хотелось. — Это родина той злой мегеры, Дейзи Бьюкенен*.

— И ее мужа-идиота, Тома. — Он поднял свой бокал в молчаливом тосте за меня или за Бьюкененов, я не знал точно. — Едешь домой на праздники?

— Незапланированный отпуск.

— У тебя взволнованный голос, сынок.

— Я только что узнал, что Дейзи встречалась с кем-то еще.

— А-а.

— Простите. Нельзя, наверное, так разговаривать со священником о девушке.

— Чепуха. Я только об этом и слышу все время. О любви и о смерти.

— Ах да. Священники и бармены.

— И парикмахеры. — Он провел рукой по голому черепу. — По крайней мере, так говорят. Давай я попробую угадать. Первая любовь?

— Да.

— «Первая любовь, последняя любовь — какая страсть сильнее? Какая справедливей?» Лонгфелло.

Я улыбнулся:

— Моя бабушка читала мне это стихотворение.

* Дейзи — героиня «Великого Гэтсби» Ф.С. Фицджеральда.

Священник продолжал читать:

— «Заря или вечерняя звезда? Рассвет или закат сердечный? Час, когда мы всматриваемся в даль и в неизвестность, и приходящий день глотает тени, — или когда пейзажи нашей жизни позади и вдалеке мерцают некогда любимые места. И сладкие воспоминанья... хм... и сладкие воспоминанья...» Как же там дальше... В любом случае — суть ты понял.

Священник потянулся и сочувственно похлопал меня по колену.

— Позволь мне тебя угостить, — предложил он. — Что ты пьешь, мальчик мой?

Он потряс кубики льда в пустом стакане, как игрок в нарды, мешающий кости.

— Виски, — ответил я.

— Конечно. Что же еще?

Когда он вернулся, я поблагодарил его и спросил, куда он направляется. На религиозную конференцию, сказал священник. Он представлял свою церковь, из маленького городка в Новой Англии, о котором я никогда не слышал. Мы поговорили о религии, и он с восторгом обнаружил, что я недавно прочитал «Исповедь» Святого Августина.

— Ты, должно быть, студент Йеля, — предположил он.

— В настоящий момент — да.

— Ты же не собираешься бросать учебу?!

— Думаю, Йель собирается бросить *меня*. Из-за моих оценок.

— Оценки можно исправить. Ты умный парень.

— Это сложно, отец. Сложнее, чем я ожидал.

— «Очарование сложности высосало живительные силы из моих вен и забрало веселье и жизнерадостность из моего сердца». Йейтс.

— Йейтс, должно быть, учился в Йеле.

— Если бы учился, ему тоже там было бы тяжело. Творческие личности, понимаешь.

— Вы добры. Но я идиот. В старших классах школы я чувствовал себя Эйнштейном — теперь я понимаю почему. По-

ловина ребят были дураками, вторая половина алкоголиками. В Йеле же дураком оказался я. И чем глупее я себя чувствую, тем реже хожу на лекции, отчего еще больше отстаю и становлюсь еще глупее. — Я откинулся на спинку кресла. — Я собирался поступать в юридическую школу. Но не получится. И я не знаю, как сообщить об этом матери.

— Твоя мать хочет, чтобы ты поступил в юридическую школу?

— Очень хочет.

— А ты сам чего хочешь?

— Не знаю.

— У тебя должны быть какие-то мысли.

— Я просто хочу... писать. — Впервые я произнес это вслух.

— Bravo! Благородное занятие! Поэзию?

— В газеты.

— Нет. Ты похож на поэта. Ты дуешься, как поэт. Может быть, романы?

Я покачал головой:

— Я хочу быть корреспондентом газеты.

— Ну, хорошо. — Священник разочарованно замолчал. — Это тоже неплохо.

— Предпочитаю писать истории про других людей.

— А почему не свои собственные?

— Не знаю, с чего начать.

— Ну что ж, в газетах тоже есть своя прелесть, уверяю тебя. Мне нравится каждое утро брать в руки «Таймс» и читать о том, что происходит в мире.

— Скажите это моей матери.

— Она будет счастлива, если ты найдешь свое призвание.

И если закончишь университет.

От этого слова у меня внутри похолодело. Я проглотил половину своей порции виски залпом.

— Будь счастлив, — сказал священник. — И тогда твоя мать тоже будет счастлива.

— Держу пари, что вы не единственный сын матери-одиночки.

— Я четвертый ребенок в семье, где было десять детей. Но моей матери хотелось, чтобы я стал священником, поэтому мне не понять твоих мучений.

— Вам понравится в Манхассете. Там сплошь большие католические семьи.

— Похоже на рай.

— Там есть одна улица, на которой много баров. В начале улицы стоит церковь Святой Марии, в конце — абсолютно божественный бар.

— Космология, достойная Данте. За нас? — Священник снова взболтал лед в пустом бокале. Я вынул бумажник из кармана. Он замахал на меня руками. — Я угощаю, — произнес он и направился в бар.

Я ощущал, как виски согревает меня изнутри до самых кончиков пальцев. Интересно, думал я, не подсыпал ли отец Амтрак (это упоминалось выше?) чего-нибудь в мой бокал, но потом выбросил эту мысль из головы.

— Вы знаете, — сказал я ему, когда он вернулся со следующей порцией, — для священника вы очень разумно говорите.

Он хлопнул себя по бедру и расхохотался.

— Это нужно запомнить! О, я расскажу это другим священникам на конференции. — Он сцепил пальцы за головой и посмотрел на меня. — Я думаю, мы пришли сегодня вечером к очень важному решению, Джей Ди.

— Джей Ар.

— Прежде всего ты должен улучшить оценки.

— Я думаю, что да.

— «Уже одно только стремление к недостижимому совершенству, хотя и напоминает брэнчание старого пианино, придает смысл нашей жизни на этой бессмысленной звезде». Логан Пирсал Смит.

— Кто?

— Очень мудрый человек. Эссеист. Книголюб. Родился на несколько эпох раньше тебя.

— Вы столько знаете о книгах, отец.

— В детстве я провел много времени в одиночестве.

— Я думал, вы из большой семьи.

— Одиночество не имеет никакого отношения к тому, сколько людей вокруг тебя... Что я там хотел сказать про наше второе решение? Ах да! Ты станешь писателем. А я с удовольствием буду искать твои статьи в газетах. Ты будешь писать о реальных людях и о том, чем они занимаются на этой бессмысленной звезде.

— Я не знаю. Иногда я пытаюсь сказать то, о чем думаю, а получается так, будто я съел словарь, а потом сходил в туалет и вынул страницы из унитаза. Извините.

— Можно тебе кое-что сказать? Ты знаешь, зачем Бог создал писателей? Потому что Он любит хорошие истории. И Ему наплевать на *слова*. Слова — это занавес, который мы вешаем между ним и нашим истинным «я». Постарайся не думать о словах. Не старайся составить идеальное предложение. Его не существует. Писательство — это интуиция. Каждое предложение — интеллектуальная догадка, как для тебя, так и для читателя. Подумай об этом в следующий раз, когда будешь вставлять бумагу в свою печатную машинку.

Я вынул йельскую тетрадку из рюкзака.

— Вы не возражаете, если я это запишу, отец? Я стараюсь записывать то, что говорят мне умные люди.

Он посмотрел на мою тетрадку, которая была заполнена на три четверти.

— Похоже, тебе подалось много умных людей.

— Это в основном то, что я услышал в «Пабликанах». Так называется бар, где работает мой дядя.

— Это верно — то, что ты сказал о барменах и священниках. — Он посмотрел в окно. — У нас с барменами две общие черты: мы тоже слушаем исповеди и тоже подаем вино. В Библии достаточно много говорится о пабликанах, хотя во времена Иисуса это слово имело другое значение. Паблика-

ны и грешники — так там сказано, мне кажется. Это были синонимы.

— Меня «Пабликаны» практически вырастили. Мой дядя и его друзья из бара присматривали за мной, когда мамы не было рядом.

— А где твой отец?

Я листал страницы своей тетрадки и ничего не отвечал.

— Ну что ж, — сказал священник. — Ну что ж. Тебе повезло, что в твоей жизни было столько мужчин.

— Да, отец, мне повезло.

— Нужно участие очень многих людей, чтобы воспитать одного хорошего человека. В следующий раз, когда будешь на Манхэттене и увидишь, как строится один из этих огромных небоскребов, обрати внимание на то, как много людей занято в строительстве. Чтобы воспитать сильного мужчину, нужно столько же людей, сколько для строительства высотного дома.

25 | СИНАТРА

Вдохновение, которое я почерпнул из разговора с отцом Амтраком, выветрилось так же быстро, как и виски. Моя жизнь зимой 1984 года дала крен. Я прекратил заниматься, перестал ходить на лекции. Но опаснее всего было то, что я перестал беспокоиться. Каждое утро, растянувшись на подоконнике, я читал романы, курил сигареты и думал о Сидни, а когда наступали выходные, вставал, надевал пальто, садился на поезд до Нью-Йорка и отправлялся в «Пабликаны», где все два дня проводил в мужской компании, и возвращался в Йель в воскресенье. Мужчины редко спрашивали меня, почему я так много времени провожу дома и постоянно околачиваюсь в «Пабликанах». Когда мне задавали вопрос, как мои дела, я бормотал что-то про Сидни, но так и не признался, что нарываюсь на неприятности и что исключение из университета

теперь более чем вероятно. Меня наверняка исключат. Я не знал, как они отреагируют на это, и не хотел знать. У меня было опасение, что они обрадуются. Также я опасался, что и сам стану гордиться тем, как испортил собственную жизнь. Впервые я заметил в себе склонность к саморазрушению, и это подозрение усилилось, когда я прочел биографию Ф. Скотта Фицджеральда и ревностно выделил абзацы, где говорилось о том, как Фицджеральду сначала дали академическую отсрочку в Принстоне, а потом он бросил учебу. Я поймал себя на мысли, что отчисление из университета необходимо, чтобы стать писателем.

В первый теплый мартовский день я сидел на карнизе окна своей спальни на втором этаже. Воздух был мягким, студенты надели рубашки с короткими рукавами. Они казались веселыми и оживленными. Мне тоже хотелось идти с ними на лекции и семинары, но я не мог. Яма, которую я сам себе вырыл, была слишком глубока. «Интересно, — думал я, — что будет, если я просто упаду с карниза? Вдруг я умру, сломав ключицу, и это станет сенсацией?» Это был не порыв к самоубийству, а скорее мрачная фантазия, но я осознал это как новый тревожный поворот моих мыслей.

Потом я увидел Сидни. Она шла по Элм-стрит в мою сторону. На ней был белый свитер и короткая замшевая юбка, на голове берет. Группа парней на тротуаре тоже ее заметила. Они стали толкать друг друга в бок и ухмыляться.

— Посмотрите-ка туда, — пробормотал один из них.

— Черт, — сказал другой.

Один из парней вытирал яблоко о рубашку. Когда Сидни приблизилась к ним, он замер. Его губы округлились, образовав букву «о». Парень протянул яблоко Сидни, и та взяла его, вытянув руку, не замедляя шага. Она напонила мне мужчин из бара, которые входили в океан, не останавливаясь. Надкусив яблоко, Сидни шла дальше, не оборачиваясь, как будто не было ничего необычного в том, что незнакомцы отдавали ей дань, когда она проходила мимо. В голове у меня прозвучали слова дяди Чарли, которые он

сказал в ту ночь, когда впервые увидел Сидни: «Ты попал по-крупному, мой друг».

Через несколько дней самый главный декан, декан деканов, вызвал меня к себе в кабинет. Мои профессора, многие из которых, как он выразился, чувствовали, что я «не уделяю им внимания», передали ему дело Джона Джозефа Морингера Младшего. Декан был «встревожен», услышав о моей плохой посещаемости, и «расстроен» моей ухудшающейся успеваемостью. Он взмахнул рукой над своим столом. Если «дела» не поправятся, сказал он, у него не останется другого выхода, кроме как позвонить моим «родителям» и обсудить с ними мое отчисление.

— Джон, — поинтересовался он, глядя на мое официальное имя в таблице с оценками, — у тебя что-то случилось? Может быть, ты хочешь со мной чем-то поделиться?

Мне хотелось поделиться с ним всем, начиная с профессора Люцифера и заканчивая Сидни. Декан казался таким добрым в своих круглых очках без оправы, с заметными морщинками у глаз и проседью на висках. Он был похож на Франклина Делано Рузвельта, и мне хотелось, чтобы он заверил меня, что мне нечего бояться. В отличие от Рузвельта, который держал сигареты в портсигаре, декан сжимал в зубах черную трубку, от которой исходили ароматные пары — коньяк, кофе, ваниль, древесный дым, — дистиллированная сущность отцовской заботы. Веревочка синего дыма из его трубки на секунду ввела меня в заблуждение, и я представил, что мы с деканом Франклином Рузвельтом наслаждаемся беседой у костра. Потом я вспомнил, что мы не отец и сын, а декан и студент и что мы не ведем душевную беседу, а сидим в тесном кабинете на верхнем этаже учебного здания и он собирается меня отчислить.

— Все очень сложно, — промямлил я.

Я не мог говорить с таким изысканным мужчиной о безумии и похоти. Я не мог признаться декану Франклину Рузвельту в том, что меня преследуют картины близости Сидни с другими мужчинами. Видите ли, декан, я не могу сконцен-

трироваться на Канте, потому что постоянно представляю, как один из студентов последнего курса ласкает мою бывшую девушку, а она в это время сидит на нем верхом и ее светлые волосы рассыпаются по его... Нет. Этого декана возбуждал один только Кант. Я взглянул на шкафы, заставленные книгами от пола до потолка. Он не поймет, почему я не нахожу всего, что жажду, в книгах. Я и сам этого не понимал. Он потеряет ко мне всякую жалость, а если я не мог заставить его себя уважать, то, по крайней мере, мог довольствоваться его жалостью. Я сидел и слушал, как тикает секундная стрелка на часах, стоявших на каминной полке у меня за спиной. Смотрел куда угодно, только не декану в глаза. Я хотел, чтобы первым молчание нарушил он.

Но ему нечего было сказать. Что он мог сказать такому парню, как я? Декан курил трубку и смотрел на меня так, будто я был интересным, хотя и ленивым животным в зоопарке.

— Ну что ж, — произнес я, подавшись вперед на стуле, будто собираясь встать.

— Может, договориться насчет индивидуальных занятий? — предложил декан.

Конечно, индивидуальные занятия могли бы помочь, но у меня едва хватало денег на книги, а то, что оставалось, я тратил на поезд до «Пабликанов», который мой сосед по комнате называл Порочным Экспрессом. Я сказал декану Франклину Рузвельту, что подумаю насчет индивидуальных занятий, что буду стараться, но как только я вышел из его кабинета, то решил, что лучше всего вернуться в комнату и начать собирать вещи. Я не продержусь в Йеле и месяца.

Но вместо этого каким-то невероятным образом я справился. Вскоре после встречи с деканом я избавился от привычки каждые выходные ездить в «Пабликаны». Я собрался и из последних сил закончил семестр, сдав все экзамены, кроме одного, что стало возможно благодаря двум голосам, звучавшим у меня в голове. Один из них принадлежал матери, которая писала мне прекрасные письма, объясняя, что у

меня еще появятся другие Сидни, но никогда не будет другого Йеля. Я буду мысленно возвращаться в этот период, писала мама, и смогу вспомнить на удивление мало, за исключением того, сколько приложил тщетных усилий.

Если, перечитав последнее мамино письмо раз двенадцать, у меня все равно не получалось выбросить Сидни из головы, я включал погромче второй успокаивающий голос — Синатру. Он служил музыкальным аккомпанементом моему разбитому сердцу. Запоминая даты для экзамена по истории или теорию для экзамена по философии, я также запоминал слова из песен Синатры, которые стали моими мантрами. Вместо того чтобы говорить себе: «Я не буду беспокоиться о том, чего не произойдет», я стал говорить: «Пожалуй, я повешу слезы просушиться». Это помогало. Выучив тексты песен наизусть, я пропускал их через себя и искал глубинное значение в словах, так, как профессор Люцифер учил делать с произведениями Китса. Я перепечатал лучшие песни на каталожные карточки и повесил их над столом. Они напоминали монолог женоненавистника, сродни тем, что можно услышать в «Пабликанах», но в исполнении Синатры, с его бравадой и пафосом и без акцента жителя Лонг-Айленда, это звучало изысканнее, разумнее. Синатра поведал мне, что женщины опасны, временами даже смертельно опасны. Сидни просто красивая женщина, говорил он, а предательство красивой женщины — неизбежный этап взросления мужчины. Он прошел через такой же огонь. Ты выживешь, обещал он. Эта боль заставит тебя возмужать. Моя любовь к Синатре уже была глубока, но в ту весну у меня развилась физическая зависимость от его голоса.

В конце семестра я услышал и голос отца. Он ни с того ни с сего позвонил мне и предложил еще раз встретиться, пообещав, что на этот раз наш разговор будет осмысленнее, потому что он бросил пить. Он больше «не берет в рот ни капли», сказал отец, и если мне нужно поговорить, то я могу позвонить ему за его счет. Я рассказал ему про Сидни и про то, как я стараюсь не вылететь из Йеля. Отец порекомендо-

вал мне подумать, не стоит ли действительно бросить учебу. «Университет не для всех».

Когда в мае занятия закончились, я поехал на лето в Манхассет. Я объяснил матери, что в Нью-Йорке у меня больше шансов найти работу на лето, чем в Аризоне. Но, конечно, на самом деле я хотел наверстать упущенное время в «Паб-бликанах». В первый же вечер в баре я отмечал два важных события — то, что меня не выгнали, и диплом Сидни. С моей точки зрения, второе было даже важнее, потому что теперь Йель будет принадлежать только мне одному. Мне больше никогда не придется слушать сплетни о Сидни или смотреть на то, как она надкусывает яблоки других парней.

Когда начался выпускной курс, я снова стал самим собой. Ходил на лекции, писал для «Ньюс», добирал необходимые баллы для получения диплома. Я сидел за столом, печатая курсовую и слушая Синатру, и чувствовал себя сильным. Ни с того ни с сего меня захлестнуло ощущение счастья. Я переосмыслил слова песен Синатры. Если Сидни ничем не отличается от других женщин, может быть, мне стоит забыть ее? Если красивые женщины — лживые изменницы, то такова плата за их любовь. Интересно, подумал я, где сейчас Сидни. Рассталась ли она со студентом выпускного курса? Не хочется ли ей услышать мой голос?

Она подняла трубку со второго звонка. Заплакав, сказала, что скучает по мне, и мы договорились поужинать вместе вечером следующего дня.

Мы сидели за столом в темном углу ресторана, и официант понял, что нас лучше не беспокоить. Сидни подробно объяснила, почему поступила так, как поступила. В Йеле она чувствовала себя несчастной. У нее была депрессия, она скучала по дому, и у нее в голове не укладывается, что она вела себя подобным образом, и во всем она винила свою первую любовь. Сидни было шестнадцать, а ему намного больше. Он плохо с ней обращался и изменял ей. Этот опыт сделал ее циничной, сказав представлению о верности.

Теперь она стала старше и мудрее, убеждала меня Сидни, касаясь моей руки. Так же, как и я, добавила она. Она увидела это в моих глазах — новую силу и уверенность в себе, которую находила «чертовски привлекательной». К тому времени, когда официант принес счет, Сидни сидела у меня на коленях.

— Итак, — прошептала она мне на ухо, — не хочешь ли ты пригласить меня к себе на чашечку кофе?

Стоя посреди спальни, расстегивая блузку, Сидни взглянула на мой стол.

— Что это такое? — Она указала на стопку бумаг.

— Истории.

— О чем?

— Об одном идиоте и красавице, которая разбила ему сердце.

— Ты все придумал или это правда?

— Точно не знаю.

Сидни взяла ручку со стола и нарисовала гигантское сердце на одной из страниц, а внутри написала своим четким почерком архитектора: «Конец». Потом она выключила мою лампу на тонкой ножке. В темноте я услышал, как антикварные пуговицы на ее блузке стукнули об пол.

В этот раз, сказал я себе, все будет по-другому. Успех в отношениях с Сидни и успех в Йеле зависели от того, как я сумею их уравновесить, не отдаваясь целиком ни тому ни другому. Мне нужно было держать эмоции в узде. В прошлом я жил так, как велело мне сердце, демонстрируя свое отчаяние как медаль. Я думал, это честность, но на самом деле я был просто мямлей. В этот раз я поклялся быть сильным.

Сидни заметила разницу и потому тоже стала вести себя иначе. Хотя я больше не заговаривал о будущем, Сидни болтала о нем без умолку. Часто по вечерам мы сидели в баре, которому давно пора было закрыться, и бармен собирался домой, а она все придумывала имена нашим будущим детям. Вечером в пятницу она настаивала, чтобы я приезжал и проводил выходные с ней и с ее родителями. (Она жила

с ними, так как пока не решила, чем будет заниматься.) Ее родители тоже изменились. Они не хмурились тому, что я говорил, а ободряюще улыбались, когда мы с Сидни обсуждали планы будущей совместной жизни. После ужина мы все перемещались в гостиную пить коктейли, читать «Таймс» и смотреть телевизор, будто уже были одной семьей. Когда родители Сидни ложились спать, мы с ней разжигали камин, и, пока я занимался, она читала Пруста. Иногда я смотрел в окно, и мне казалось, что маленький мальчик смотрит на нас с улицы.

На мое двадцатилетие мы с Сидни поехали на машине в Бостон, куда, как она считала, было бы неплохо переехать, когда я окончу университет. Этот город находился недалеко от ее дома, поэтому она не скучала бы там по родителям, к тому же там мы все-таки могли начать самостоятельную жизнь.

— Разве это не замечательное место для того, чтобы начать новую жизнь? — спросила Сидни, прибавляя скорость, когда мы ехали по узким улочкам Норт-Энда. — У нас будет хорошенькая маленькая квартирка. И каждый вечер мы будем разжигать камин, пить кофе и читать друг другу отрывки из «В поисках утраченного времени».

— И в этом районе есть несколько юридических школ, — добавил я.

— Я думала, ты хочешь в газете работать?

— Адвокаты зарабатывают больше, чем газетчики.

— Зачем нам деньги? У нас есть любовь.

Но и деньги нам тоже были нужны. После скандала с прачечной я подрабатывал в разных местах, и зарплаты мне всегда хватало только на учебники и выпивку, но на последнем курсе я нашел работу на полную ставку, устроившись в книжный магазин-кафе возле Центра британского искусства. Биллу и Баду этот магазин показался бы просто раем. Его передняя стена была стеклянной от пола до потолка, поэтому торговый зал всегда заливал свет, а в баре в виде подковы, расположенном в центре секции художественной литерату-

ры, подавали изысканные сорта кофе и пирожные. Моя работа заключалась в том, чтобы сидеть на табурете у кассы и время от времени пробивать покупки. Поскольку клиентами магазина были в основном бездомные и студенты старших курсов, — которые, пользуясь тем, что вторую порцию кофе наливали бесплатно, накачивались кофе, пока голова у них не начинала кружиться, как у наркоманов, — книги покупали редко, и у меня было предостаточно времени для чтения и подслушивания разговоров об искусстве и литературе. Атмосфера в этом месте казалась интеллектуальной до абсурда. Я как-то наблюдал кулачный бой двух парней, спорящих о том, кому достанется серебряный ершик для чистки трубки Жака Дерриды, который знаменитый профессор литературы забыл возле своей тарелки, съев бутерброд.

Я также отвечал за стереосистему книжного магазина. А это означало, что все время звучали песни Синатры. Студенты-старшекурсники закрывали уши руками и умоляли поставить что-нибудь другое. Даже бездомные жаловались. «Слушай, пацан, — крикнул мне как-то бомж, — может, послушаем Кросби для разнообразия?» Однажды зимним днем я сдался и поставил Моцарта. Любимое произведение Бада — квинтет для фортепиано и духовых инструментов ми-бемоль. Я раскрыл томик Чехова, и мне попались строки: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах». Я захлопнул книгу и почувствовал, как эти слова входят в мою кровь, словно картины дяди Чарли. Я успокоился, услышал ангелов, и небо *было* в алмазах — шел снег большими мохнатыми хлопьями, и от этого магазин с его стеклянными стенами напоминал игрушечный стеклянный шар, в котором, если его встряхнуть, кружатся снежинки. Я смотрел, как снег засыпает студенческий городок, потягивал кофе, слушал Моцарта и говорил себе — предостерегал себя, — что это и есть счастье. Возможно, я больше никогда не буду так счастлив. Я оканчивал университет, подавал документы в юридические школы и снова обрел самую главную любовь своей жизни. Даже мама чувствовала себя лучше. Ее

дела по продаже страховок пошли в гору, и она снова встречалась с мужчинами.

К прилавку подошел покупатель. Просканировав его книги и отдавая сдачу, я услышал, как что-то стукнуло об окно. Я, как и все посетители магазина, повернул голову: к стеклу прилип огромный снежок. За окном посреди улицы стояла Сидни, положив руку на бедро и улыбаясь. Я выбежал на улицу, подхватил ее на руки и закружил. Я сказал ей, что минуту назад думал, что никогда не буду более счастливым, а сейчас я еще в два раза счастливее и это все благодаря ей. «Я люблю тебя», — повторяла она снова и снова.

Мне кажется, что уже через пять минут я вышел из библиотеки Стерлинга с черновиком своей дипломной работы в рюкзаке, и на улице снова была весна. Я столкнулся с деканом Франклином Рузвельтом. Он сделал мне комплимент по поводу того, как хорошо я выгляжу, и заметил, что будет очень рад видеть меня в мантии и академической шапочке в день выпуска.

Мы с Сидни поехали купаться голышом в уединенную бухту на Лонг-Айленд, в которой я уже бывал раньше. Мы поплыли к деревянному доку далеко от берега и загорали, лежа на спине, держась за руки и разговаривая почему-то вполголоса, хотя рядом никого не было. Нам казалось, что наступил второй Всемирный потоп и мы единственные, кому удалось спастись.

— Скажи мне правду, — попросил я.

— Конечно, — согласилась она.

— Ты когда-нибудь была так счастлива?

— Никогда, — ответила Сидни. — Я даже не мечтала, что буду так счастлива.

Мама написала мне в письме, что купила билет на самолет и новый синий костюм на мой выпускной. Я прочитал ее письмо под своим раскидистым вязом, потом посмотрел на верхние ветки, на которых распускались новые зеленые листочки, и заснул мирным сном. Когда я проснулся, уже смеркалось. Возвращаясь в свою комнату, я заметил напи-

санное от руки объявление о приглашенных лекторах. Кто будет сидеть в душной аудитории и слушать этих зануд, особенно в самом начале весны? Мое внимание привлекло имя одного из лекторов. Фрэнк Синатра. Бедняга. Чокнутый профессор экономики из Технологического института Массачусетса, которого назвали в честь самого сладкоголосого певца на планете.

Я прочел объявление еще раз, внимательнее. В объявлении говорилось, что Фрэнк Синатра, приезжающий в Йель, и есть тот самый певец Фрэнк Синатра. Его пригласили прочесть лекцию об «искусстве». Шутка, ясное дело. Потом я обратил внимание на дату, первое апреля. Очень смешно.

Мои однокурсники, однако, клялись, что это не шутка. Синатра и впрямь придет, сказали они, хотя им на это наплевать. Я подошел к аудитории в назначенное время. Никакой толпы, никакой суеты. Я сел на ступеньки и увидел студента с огромной связкой ключей, спешащего вверх по лестнице.

— Ты на Синатру? — спросил он.

— Он правда придет?

— В четыре.

— А где все?

— Еще только два.

— Я думал, будет очередь, все захотят занять лучшие места?

— Ну, это же не Джордж Майкл.

Он пустил меня в аудиторию. Я занял хорошее место и стал ждать. Ряды вокруг меня заполнялись. Когда Синатра тихо вошел через боковую дверь, в зале все еще оставались свободные места. Он был без всяких телохранителей и без свиты, в сопровождении своей жены и неряшливого декана. Синатра сел рядом с кафедрой и положил ногу на ногу.

Он оказался не таким, каким я его себе представлял. Он был полнее и выглядел проще. Казалось, он ничем не отличается от декана, суетившегося на сцене, настраивая микрофон, — может, потому что был одет как декан. На фотографи-

ях, которые я видел, Синатра всегда во фраке или в костюме из черной блестящей ткани с тонким галстуком. В тот день на нем был твидовый пиджак, угольно-черные брюки, золотистый галстук и лакированные коричневые мокасины. Чтобы вписаться в обстановку, Синатра пытался выглядеть как студент. Я проникся к нему сочувствием.

Я посмотрел ему в глаза. Сколько раз я видел его голубые глаза на обложках дисков, в кино, но ни одна камера не могла передать яркость этих глаз, которые находились на расстоянии нескольких футов от меня. Его глаза охватывали всю аудиторию, как синие прожекторы, и я заметил, что их синева меняет тон — индиго, васильковый, темно-синий. За этой синевой я заметил нечто еще более удивительное. Страх. Фрэнк Синатра боялся. Он не испугался съесть тарелку макарон с наемным убийцей, но, представ перед аудиторией студентов, потел и нервничал. Его руки дрожали, когда он рылся в карточках с записями, которые затем убрал в нагрудный карман. Он взглянул на жену, и ее улыбка сказала ему: «У тебя все получится». Видя, как он переживает, как страдает тем же желанием понравиться, каким страдал я все четыре года в Йеле, я чуть не закричал: «Расслабься, Фрэнк! Ты всех их стоишь, вместе взятых!»

Декан сказал несколько вступительных слов, и Синатра встал и подошел к кафедре. Он несколько раз кашлянул, прочищая горло, и заговорил. Голос был хриплый. Он звучал как самая старая моя пластинка. Синатра поблагодарил всех за приглашение выступить, и хотя он артист, сказал он, мы должны знать, что прежде всего он певец из салуна. Он любит *салуну*, и ему нравится это слово. Каждый раз, когда он произносил «салун», его голосовые связки расслаблялись, и проявлялся уличный акцент, сводя на нет все его героические усилия говорить, как выпускник университета Лиги Плюща. В салуне родился его голос, сказал Синатра. Он сам родом из салуна. В салун привела его мать, когда он был мальчишкой, посадила его на стойку и попросила спеть для всех присутствующих. Я огляделся. Все поняли? *Фрэнк*

Синатра вырос в баре! Казалось, никто не удивился, но я стукнул себя кулаком по ноге.

Я не думал, что когда-нибудь испытаю еще большую благодарность Синатре. Я уже понимал, что во многом обязан именно тем, что мне удалось вернуть Сидни и закончить университет. Но когда он донес до меня, что нет ничего дурного в том, чтобы любить салуны, что детство, проведенное в салунах, не лишает молодого человека шансов на успех, на счастье или на любовь такой женщины, как Сидни, я чуть не бросился к нему и не обнял. Я хотел поблагодарить Синатру за то, что он был со мной в тяжелый для меня период. Мне хотелось пригласить его в «Пабликаны». Я поднял руку, чтобы задать Синатре вопрос. *Если вы любите салуны, Фрэнк, то у меня есть для вас подходящий!* Но прежде чем он успел вызвать меня, декан вышел вперед и сказал, что нашему почетному гостю пора уезжать.

Синатра поблагодарил нас за то, что мы пришли, и с явным облегчением выскользнул за дверь.

26 | ДЖЕЙ АР МАГВАЙЕР

Когда до выпуска осталось несколько дней, я придумал себе еще одно — последнее — задание. Официально сменить имя. Пора было избавиться от Джей Ара, «Младшего» и Морингера, чтобы оставить в прошлом эти тяготящие меня имена и заменить их нормальным именем, которое не происходило от соседа моего деда. Мне хотелось отречься от отца и от своих имени и фамилии, мне хотелось иметь фамилию, от которой Сидни не сможет отказаться, когда я сделаю ей предложение.

Но нужно было торопиться. Через считанные дни в Йеле начнут печатать дипломы для выпуска 1986 года, и я решил, что имя и фамилия, напечатанные в дипломе, станут моими навсегда. Мне слишком нелегко дался этот диплом, он слиш-

ком много для меня значил, и я должен был позаботиться о том, чтобы в нем стояло мое новое официальное имя. Я не собирался жить под псевдонимом, как Джонни Майклз, также известный под именем Джон Морингер.

Я провел долгие часы в библиотеке Стерлинга, составляя списки возможных имен. Я просмотрел романы, стихи, антологии, бейсбольные энциклопедии, тома «Кто есть кто», выписывая романтические имена, необычные имена, супермужественные имена. Я на пять минут представлял себя то Чипом Оаквудом, то Джейком Макганнинглом, то Клинтонотом Вандемиром. Я пробовал подписываться как Беннет Силверхорн, Гамильтон Голд и Уильям Фезерстоун. Я ложился Морганом Ривезоми, а просыпался Брокотом Манчестером. Я всерьез подумывал о том, чтобы стать Байяром, но, украв рубашку этого парня, я не оставил себе никакого оправдания для кражи его имени. Я экспериментировал с именами бейсбольных игроков девятнадцатого века, таких, как Ред Конкрайт и Джоко Филдз, и расхаживал по студенческому городку после обеда, представляя себя Гловером Лоудермилком. Я примерял на себя разнообразные английские имена, которые нашел в анналах Парламента, вроде Хамдена Ллойда Кадвалладера. В конце концов я понял, что каждое имя, которое мне нравилось, и все имена из моего окончательного списка были такими же мишенями для насмешек, как и Джей Ар Морингер.

В результате я остановился на Чарльзе Малларде. Просто. Ясно. Чарльз — в честь дяди Чарли, Маллард — потому что это ассоциировалось с деньгами и Старым Светом. Чарльз Маллард был мужчиной, который носил галстуки с рисунками фазанов, умел чистить ружья двенадцатого калибра и переспал с каждой хорошенькой девушкой в клубе. Чарльз Маллард был тем, кем, как мне казалось, я хочу стать. И я стал Чарльзом Маллардом. На одни выходные. В последнюю минуту приятель спас меня от этой фантастической ошибки, указав мне на то, что до конца дней моих меня будут звать Чак Дак.

Я решил остаться Джей Аром, но сделать «Джей Ар» своим официальным именем. Тогда мне больше не придется лгать, говоря, что эти буквы ничего не значат. Фамилию я решил взять мамину девичью, Магвайер. Джей Ар Магвайер. Сидни написала это имя своим почерком архитектора на обложке моей йельской тетрадки. Очень красиво, сказала она. Снизу она подписала «Сидни Магвайер». Мы оба согласились, что и это звучит красиво.

Клерк в Верховном суде Нью-Хейвена сказала, что изменить имя очень просто.

— Заполните эту форму, — она подвинула ко мне лист бумаги, — и сможете стать кем угодно.

— Я хочу поменять мое официальное имя на «Джей Ар». Просто Джей Ар. Это можно?

— Просто Джей Ар? Это ничего не означает?

— Нет. В этом-то все и дело. Это законно?

— Меняйте имя хоть на P₂D₂* — штат Коннектикут не возражает.

— Замечательно.

— И какая у вас будет фамилия?

— Магвайер.

— Джей Ар Магвайер, — сказала она. — А как вас зовут сейчас?

— Джон Джозеф Морингер Младший.

Она присвистнула.

Я принес анкету в свою комнату и позвонил матери, чтобы рассказать, что собираюсь сделать. Мама не пришла в восторг — у нее дедушкина фамилия вызывала безрадостные ассоциации, — но она поняла. Смена имени обойдется мне в семьдесят пять долларов, которых у меня нет, сказал я ей. Ухаживание за Сидни требовало больших затрат. Мать сказала, что немедленно отправит мне деньги.

Получив семьдесят пять долларов, я вышел из отделения «Вестерн Юнион» и решил как следует попрощаться с

* P₂D₂ (R₂D₂) — герой сериала «Звездные войны».

Джоном Джозефом Морингером. Я пошел в город и заглянул в бар. Там я увидел свою подружку Бебе, единственную студентку, которая получала такое же наслаждение от баров, как и я.

— Эй, — сказал я ей, — знаешь, кто умер? Джуниор! Да, верно, Джуниор Морингер умер! Да здравствует Джей Ар Магвайер!

Она нервно засмеялась, не понимая, о чем я.

— Позвольте мне угостить мою подругу Бебе, — сказал я бармену, а потом поведал им обоим историю своего имени, как сильно я его ненавижу и почему наконец решил от него избавиться. — Счастливого плавания, Джуниор! — воскликнул я, поднимая бутылку с пивом.

— Пока, Джуниор! — Бебе чокнулась своей бутылкой о мою.

— Салют, придурок! — прокричал бармен.

Я проснулся на следующее утро с разламывающейся головой. Лежа на спине с закрытыми глазами, я пытался справиться с мыслями и вспомнить, что произошло после того, как я вышел из «Вестерн Юниона». Я помнил, как произнес тост. Как Бебе и бармен смеялись и говорили что-то вроде: «Джей Ар Магвайер сегодня в ударе. Чего желаете, Джей Ар Магвайер?» Дальше провал памяти. Я думал позвонить Бебе, спросить ее, что случилось, но потом воспоминания обрушились на меня. Я выпрыгнул из кровати и обшарил карманы джинсов. Семидесяти пяти долларов не было. От них не осталось ничего. Джуниор, этот подлец, эта сволочь, напоил меня и обобрал.

Я сел за стол и увидел анкету. Джей Ар Магвайер. Такое красивое имя — и я все испортил. Даже хуже, я его пропил. Я пошел в ванную, посмотрел в зеркало и сказал себе, что не заслуживаю такого красивого имени. Я заслуживаю идти по жизни Джей Аром Морингером. Что-то среднее между ложью и псевдонимом.

Сидни поцеловала меня и сказала, что ей плевать на мое имя. Через несколько дней я обнаружил, что плевать ей на

самом деле было на меня. Она снова встречалась с кем-то на стороне.

Правду я узнал в ее ванной. На стойке лежал конверт, на котором крупным мужским почерком было написано имя Сидни. Я прочел это письмо несколько раз. «Джуниор все еще с тобой? Если да, то почему? Я не могу дождаться (неразборчиво), когда снова увижу тебя».

Когда я протянул письмо Сидни, она спросила: «Где ты его взял?» Она забрала у меня письмо и рассказала мне то, чего я предпочел бы не знать. Письма ей писал наследник трастового фонда с быстрой яхтой и гораздо более красивым именем, чем у меня. Он был из ее родного города, веселый, умный, — но они просто друзья, уверяла Сидни. Мне хотелось верить ей и простить, но даже она сама не ждала от меня прощения. Я пытался найти какой-то выход, кроме разрыва, но не смог, и Сидни тоже не смогла. За несколько дней до того, как я окончил университет, мы расстались навсегда.

Мне очень хотелось завалиться в «Пабликаны» в день выпуска, чтобы, как обычно, утопить на дне бокала свою тоску по Сидни, но у меня не было времени. В моей комнате, улыбаясь своим мыслям, стояла мама в новом синем костюме, и я знал, что она вспоминает те времена, когда этот день казался нам недостижимым.

Когда я шел через старый студенческий городок в черной мантии и шапочке под звон колоколов башни Харкнесс, я вспомнил, как услышал их впервые. Вспомнил, как страдал тогда, а вот теперь я занимаю свое место рядом с другими выпускниками, все страдания остались позади, а на смену им пришла переполняющая меня благодарность — она казалась мне более важным достижением, чем диплом, который я вот-вот должен был получить.

Лишь один печальный момент омрачил тот великолепный день. Все произошло так быстро, что позже я думал, не пригрезилось ли мне. Сразу после церемонии из толпы вышла Сидни с большим букетом лилий. Она сунула букет мне и поцеловала в щеку. Потом прошептала, что ей очень жаль и

что она всегда будет любить меня, а потом повернулась — короткая юбочка, загорелые ноги, высокие каблуки — и прошла через Нью-Хейвен Грин. Я смотрел, как она исчезает в тени раскидистого вяза — одна святыня поглощала другую.

Я не злился. С неожиданной ясностью я понял, как малыды мы оба — и я, и Сидни. Может быть, всему виной кисточка от шапочки, болтавшаяся у меня перед глазами, из-за которой мои мысли вдруг обрели зрелость, но на короткий момент я осознал, что Сидни, несмотря на всю ее аристократичность, была еще девчонкой. Мы притворялись взрослыми, но в том-то и дело — всего лишь притворялись. Мы искали одного и того же — безопасности, спокойствия, финансовой стабильности, — и Сидни, похоже, жаждала этого сильнее, чем я, потому что с детства была окружена этим. Она действовала, поддавшись панике, а не из злого умысла.

Пока я вез маму в Манхассет, я запретил себе думать о Сидни. Мама изучала мой диплом, а я сконцентрировался на том хорошем, что случилось в этот день.

— Здесь все по-латыни, — сказала мать.

— Кроме моего имени — смесь немецкого и тарабарского.

— *Primi Honoris Academici* — что это означает?

Я покачал головой: понятия не имею.

Диплом, текст которого я не мог прочесть, имя, которое я не мог носить. Наплевать. Диплом был дорог мне как второе свидетельство о рождении. Моя мать провела пальцами по моему имени.

— «Джей Ар Морингер», — прочла она. — Ты уговорил их напечатать «Джей Ар Морингер»? Без точек?

— В последний момент договорился.

— А что случилось с Джей Аром Магвайером?

— Я... передумал.

Она посмотрела на мою руку, лежавшую на руле.

— А университетское кольцо?

— Давай поговорим об этом за ужином.

Йель недавно выслал маме каталог колец, которые поразили ее воображение. У нее появилась странная идея купить мне кольцо в качестве выпускного подарка. Она сказала, что у меня обязательно должно быть кольцо. Кольцо, сказала мама, часть университетских воспоминаний. Как и диплом, считала она, кольцо станет доказательством того, что я учился в Йеле. «Блестящим доказательством».

Я не хотел кольцо. Я сказал матери о своем отвращении к мужским украшениям и отметил, что кольца в Йеле дорогие. Она не слушала меня. «У тебя должно быть кольцо», — настаивала она. «Пришли мне каталог, и я закажу кольцо, — согласился я. — Но заплачу за него сам, взяв дополнительные часы в книжном магазине-кафе».

За ужином в «Пабликанах» мать поняла, что я не сдержал обещания, что деньги на кольцо ушли туда же, куда и деньги на смену имени.

— Ты обещал, что закажешь кольцо, — заметила она разочарованно.

— Я заказал.

Из нагрудного кармана пиджака я достал бархатную коробочку и отдал ей. Мама раскрыла ее. Внутри было йельское кольцо. Женское кольцо. Я объяснил, что Йель был ее мечтой и нашим общим достижением. Я сказал маме, что без нее я не поступил бы в Йель и уж точно никогда бы его не закончил.

— В моем представлении, ты сегодня тоже закончила Йель. И у тебя должно быть какое-то доказательство этого. Блестящее доказательство.

Мамины глаза наполнились слезами. Она попыталась заговорить, но слова застряли у нее в горле.

После ужина мы пошли в бар. «За штурвалом» был дядя Чарли, и в мою честь он весь вечер ставил диски Синатры.

— Вот тебе «Роскошь и обстоятельства», — сказал он, поставив сборник «Так, как я хочу».

Когда молодой парень, изо всех сил старавшийся походить на хиппи, в замшевом пальто с бахромой на рукавах, попросил дядю Чарли поставить что-нибудь другое, тот лишь медленно прибавил звук.

Стив радушно поздоровался с мамой. Сделал ей рыцарский комплимент по поводу кольца и расплылся в улыбке Чеширского Кота. Атлет отдал маме честь и сказал дяде Чарли, что хочет угостить ее.

— Дороти, — обратился к сестре дядя Чарли, — тебя Атлет угощает.

Я попытался шепотом рассказать маме, что Атлет служил во Вьетнаме. Я хотел, чтобы она знала, какую честь оказывал ей Атлет. Но меня перебил Твою Мать.

— Ваш сын, — сказал он маме, — друбит дроги лучше всех в этом тарабаре, особенно когда он плющи-мушит тые тылки, поверьте моего слову!

— Правда? — Она посмотрела на меня в поисках поддержки. — Спасибо.

Пока мама разговаривала с дядей Чарли и с Твою Мать, Атлет хлопнул меня по плечу. Он спросил, какой предмет я выбрал в качестве специализации. Историю, ответил я и рассказал ему, что один из моих профессоров говорил, что история — это рассказы людей, стоящих на распутье, и мне это очень понравилось.

— И сколько теперь стоит обучение в Йеле? — спросил он.

— Около шестидесяти тысяч, — ответил я. — Но большая часть этой суммы покрылась грантами, ссудами и стипендией...

— В каком году была подписана Хартия вольности?

— Хартия? Я не знаю.

— Так я и думал. Шестьдесят штук на ветер. — Атлет закурил «Мерит Ультра» и отпил глоток «Будвайзера». — Хартия вольности — тысяча двести пятнадцатый год. Основание английского законодательства. Оплот против тирании. В вашем гребаном Йеле выдают дипломы тем, кто этого не знает?

Он говорил так, будто мой диплом задел его за живое. И, похоже, не только его. Кольт тоже вел себя заносчиво, как мишка Йоги, который украл корзинку для пикника, а та оказалась пустой. Может быть, такие мужчины, как Синатра, побаивались Йеля? Я не мог допустить, чтобы Йель стал преградой между мной и баром, поэтому постарался намеренно принизить значение диплома, говоря о своих дерьмовых оценках и о том, как нехорошо обошлась со мной Сидни, и настроение у всех, как ни странно, улучшилось.

Когда кухня закрылась, посетители ресторана переместились в бар, чтобы выпить перед уходом, за ними потянулись официанты и официантки, которые закончили смену и готовы были опрокинуть первый за вечер коктейль. Все поздравляли меня, говорили комплименты маме и вспоминали свой собственный выпуск. Приехала моя кузина Линда, у которой было для меня два подарка. Первым оказалась новость о том, что на следующей неделе Макграу вернется домой. Он окончил первый курс в Небраске, где ему дали бейсбольную стипендию, и я не мог дождаться, когда увижу его. Вторым подарком была серебряная ручка от Тиффани. Линда знала, что я лелею надежды стать писателем. Однако моя мама об этом не знала или просто не хотела знать, поэтому Линдина ручка стала началом разговора, которого мы избегали много лет. В конце концов, удобно устроившись в «Пабликанах» и накачавшись виски, я признался матери, что не собираюсь становиться адвокатом. Юридическая школа не для меня. Учеба вообще не для меня. Прости, сказал я. Мне очень жаль.

Мама взяла меня за руку.

— Подожди. Не торопись.

Она не хотела, чтобы я становился адвокатом. Она подталкивала меня в этом направлении только потому, что хотела, чтобы я сделал что-то для человечества, стремился к карьере, а не просто к просиживанию штанов на работе. Она будет счастлива, если я буду счастлив, какую бы карьеру я ни выбрал.

— Чем бы тебе хотелось заниматься вместо поступления в юридическую школу? — ласково спросила она.

Вопрос повис над нашими головами, как синий дым. Я отвел глаза. Как сказать матери, что больше всего мне хотелось поудобнее устроиться на барном стуле в «Пабликанах»? Я мечтал играть в покер в поддавки, смотреть бейсбол, делать ставки, читать. Я желал сидеть в баре, пить коктейли, наслаждаться книгами, которыми у меня не было возможности и времени насладиться в Йеле. Наконец, мне хотелось просто сидеть на стуле и смотреть в небо...

Мама спокойно ждала моего ответа. «Чем бы тебе хотелось заниматься?» Я раздумывал, как бы ей так ответить — дерзко и откровенно. Мама, я не вижу смысла во всей этой теории трудовой этики. Но я боялся, что от такого ответа она свалится со стула. Я думал процитировать Уитмена: «Растянуться в траве, никуда не спеша, и всмотреться в ее побеги». Но матери было плевать на Уитмена.

Я молчал, потому что не знал, чего хочу. Моя неспособность видеть жизнь в каких-либо красках, кроме белой и черной, мешала мне понять противоречивость собственных желаний. Да, мне хотелось «растянуться» в баре, но также бороться, добиваться успеха и зарабатывать деньги, чтобы, по крайней мере, позаботиться о матери. Неудачи были так болезненны для меня, так меня пугали, что я пытался усмирить их, договориться с ними, вместо того чтобы рваться в бой. Оттого, что в летние каникулы я разрывался между матерью и мужчинами, у меня началось раздвоение личности. Одна моя половина хотела покорить мир, вторая хотела от него спрятаться. Будучи не в состоянии понять свои противоречивые импульсы, не говоря уже о том, чтобы объяснить их, я ни с того ни с сего громко заявил матери, что собираюсь написать длинный модный роман о «Пабликанах». Я стану романистом.

— Романистом, — повторила мама самым мрачным тоном, на какой была способна, будто я собирался продавать бутерброды с сыром у входа на концерты «Грейтфул Дед». — Понятно. А где ты будешь жить?

— У дедушки.

На лице ее отразилось отвращение. Тетя Рут и мои двоюродные сестры снова жили у дедушки. Условия в его доме были ужасные.

— Пока что-нибудь не придумаю, — быстро добавил я. — В конце концов, я найду комнату.

Я чувствовал определенную гордость. Мне казалось, я придумал план, который объединяет наши с мамой мечты. На самом деле мой план воплощал в себе то, чего она больше всего боялась. Мама повертела свое новое кольцо на пальце, как будто собиралась отдать мне его обратно, оглядела бар, возможно жалея о том, что в свое время решила отправить меня сюда на лето. Мамино мнение о «Пабликанах» отчасти было основано на моих романтизированных рассказах, но теперь я видел, что ее одолевают сомнения. Мама смотрела на лица сидящих в баре людей, мужчин и женщин, которые сочли бы замечательной идеей написать о них роман, и выражение лица у нее было как у Сидни, когда та впервые вошла в «Пабликаны».

Я тоже осмотрелся. В другом конце бара сидела группа молодых людей моего возраста, и все они, как я слышал, недавно получили свою первую работу на Уолл-стрит. Они получали как минимум по сто пятьдесят тысяч долларов в год, и каждый из них выглядел как сын, которым гордится его мать. Интересно, думал я, заметила ли их мама и не думала ли о том, что с удовольствием променяла бы меня на одного из них.

— Значит, таков твой план? — спросила мать. — Ты хочешь стать нищим писателем, живущим в мансарде?

Я не знал, что такое мансарда, но звучало это здорово.

— Тебе надо найти работу, — сказала мама. — Вот и весь разговор.

— У меня будет работа. Я напишу роман.

Я улыбнулся. Она не улыбнулась в ответ.

— Настоящую работу. Тебе нужно зарабатывать деньги, чтобы оплачивать медицинскую страховку, покупать одежду,

и, если ты намереваешься жить у дедушки, тебе нужно давать ему какие-то деньги на еду.

— С каких пор?

— С тех пор, как тебе исполнилось двадцать один. С тех пор, как ты закончил Йельский университет. Тебе нужны деньги, Джей Ар. Деньги на жизнь. Деньги, чтобы... хотя бы оплачивать выпивку в баре.

Я не стал объяснять, что за выпивку платить не нужно, племянники барменов пьют бесплатно. Я знал, что этот аргумент не убедит маму и не успокоит ее. Я пил виски и по-малкивал, и это было самое разумное решение, которое я принял за последнее время.

27 | АР ДЖЕЙ МОИНГЕР

Я шел по Пландом-роуд, заполняя заявления на работу, представляясь владельцам и управляющим каждого магазина. Дойдя до конца Пландом-роуд, я выбился из сил. День был жаркий, и мне хотелось пить. Я посмотрел на часы. В баре в это время наливали два коктейля по цене одного. Я поднял глаза. Следующим магазином, который я увидел, был «Лорд энд Тейлор». Я сказал себе, что заполню очередное заявление, а потом отправлюсь в «Пабликаны» выпить с дядей Чарли пивка.

Женщина из отдела кадров в «Лорд энд Тейлор» заявила, что вакансий в отделе мужской одежды нет. Уже чувствуя во рту вкус пива, я встал и поблагодарил ее за уделенное мне время.

— Подождите-ка, — остановила меня она. — У нас есть кое-что в отделе «Все для дома».

— Для дома?

— Полотенца. Мыло. Свечи. Замечательный отдел. Позиция на полный рабочий день.

— Не знаю. — Я вспомнил о своем дипломе. О своей гордости. А потом перед моим внутренним взором всплыло выражение лица матери в «Пабликанах».

— Когда... когда я смогу приступить к работе?

— Прямо сейчас.

Мы с женщиной из отдела кадров спустились по эскалатору в подвал — в отдел «Все для дома». Она представила меня сотрудникам отдела, четырем женщинам, которые, наверное, в свое время были суфражистками. Заведующая отделом «Все для дома» отвела меня в подсобку и познакомила с сутью работы, что заняло десять минут, поскольку рассказывать по сути оказалось нечего. В «Лорд энд Тейлор» не было ни компьютеров, ни кассовых аппаратов, ни каких-либо признаков того, что на дворе конец двадцатого века. Каждая покупка записывалась в блокнот для заказов, квитанции писались под копирку, а в редких случаях, когда покупка оплачивалась наличными, сдача выдавалась из металлического сейфа. Заведующая сказала, что покупатели находят свою прелесть в том, что в «Лорд энд Тейлор» такие старомодные порядки. Она выдала мне фартук, сделала бирку с именем — «Ар Джей Моингер» — и отправила меня в отдел.

— Для начала, — сказала она, — протри пыль.

Я поймал свое отражение в одной из зеркальных музыкальных шкатулок, выставленных на продажу в отделе «Все для дома». *Этот парень похож на меня, но не может быть, чтобы это был я, потому что на нем фартук, а в руках щетка из перьев для смахивания пыли.* В мае — Йель, в июне — отдел «Все для дома» в «Лорд энд Тейлор». Я подумал о своих однокурсниках, таких, как Джедд Редукс и Байяр. Я представил себе, какие карьеры у них начинаются, какая замечательная жизнь их ожидает. Учитывая мою «везучесть», один из них обязательно поселится в квартирке на Шелтер-Рок-роуд и зайдет в «Лорд энд Тейлор», чтобы воспользоваться телефоном, — а там я, в фартуке, как кастрат, насквозь пропитанный запахом ароматического мыла.

— Простите.

Я повернул голову. Покупательница.

— Ар Джей, — прочитала она надпись на бирке, — не могли бы вы мне помочь с «Уотерфордом»?

Женщина показала на хрусталь, который желала посмотреть. Я вынул бокалы из коробки и разложил перед ней на мягкой ткани. Поднимая бокалы и рассматривая их на свет, она стала задавать мне вопросы, и хотя я не знал ответов, я сообразил, что в «Лорд энд Тейлор» не ставят оценок. Я сказал покупательнице, что технология, используемая на фабрике «Уотерфорд» в Ирландии, заимствована у друидов. Рассказал о колоколах, которые каждый день бьют на башне Уотерфорд (я описал башню Харкнесс), и заверил, что каждое изделие «Уотерфорд» неповторимо, как человеческая душа. Я не знал, что еще вылетит у меня изо рта, и мне самому не терпелось это узнать, впрочем, как и покупательнице. Вранье получалось вдохновенным, красноречивым и бесстыдным. Я сочинял напропалую, без зазрения совести, и у меня было ощущение, что я вернул себе какую-то часть потерянного достоинства.

Женщина купила хрусталь «Уотерфорд» на шестьсот долларов, что в один день сделало меня лучшим продавцом отдела «Все для дома». Оказалось, что это беспрецедентный случай. Ни один сотрудник отдела не становился лучшим продавцом в первый день работы, сказала заведующая, протягивая мне конфетницу.

— Что это? — спросил я.

— Лучший продавец дня получает приз. Сегодняшний приз — серебряная конфетница.

— Поздравляем, — сказала одна из суфражисток, женщина по имени Дора, носившая очки размером с экран телевизора. По ее неискреннему тону я понял, что ее сегодняшняя прибыль тоже была большой и она уже положила глаз на конфетницу.

На следующий день все повторилось. Я продал товара долларов на восемьсот и получил в качестве приза набор

ножей для мяса. Всю первую неделю мои продажи намного превышали сделки суфражисток, а в воскресенье я побил давний рекорд отдела «Все для дома». Я продавал товар быстрее, чем сотрудники «Лорд энд Тейлор» успевали ставить его на полки, и не только «Уотерфорд». Я продал столько свечей, что можно было осветить стадион «Шиа» для ночного матча, и достаточно полотенец для ванной, чтобы осушить залив Манхассет.

Суфражистки отдела «Все для дома» весь день бросали на меня косые взгляды, будто я оспорил их право на участие в выборах. Я был их самым страшным кошмаром: молодой, полный энергии, не страдающий болезнями ног, которые мучили их оттого, что они десятки лет стояли за прилавком, я лишал их всякой надежды на ежедневные призы. Я тоже смотрел на себя искоса — в одну из зеркальных музыкальных шкапулок. Я согласился на работу, которая, как мне казалось, была меня недостойна. Теперь же мне стало казаться, что это и есть мое призвание. Подобно воде, я пытался найти свой уровень. Может быть, поэтому надо мной смеялись в Йеле? Поэтому Сидни меня бросила? Потому что я метил слишком высоко? Может, мне суждено было стать лучшим продавцом в истории отдела «Все для дома»? Раньше я переживал, что начал находить извращенное удовольствие в неудачах. Теперь меня беспокоил неизменный успех в отделе «Все для дома» и то, что он сулил мне.

Но за этим успехом стояло нечто еще. Нечто ужасное, стыдное. В те вечера, когда я заглядывал в окна домов в Манхассете, меня одолевало страстное желание иметь хороший дом и хорошие вещи. Это в какой-то степени превратило меня в знатока товаров из «Все для дома». Где-то на подсознании моя любовь к дорогим вещам стала культом. Даже когда я не прилагал никаких усилий, я продавал эти вещи лучше всех. На самом деле отсутствие усилий было ключевым фактором. Чем меньше я старался, тем лучше у меня выходило и тем больше я получал нездорового удовольствия. Я привык к своему фартуку, как мул к плугу.

Измученный, сбитый с толку, с очередным призом лучшего продавца в руках, каждый вечер я приходил в «Пабликаны» с двумя продавщицами, женщинами моего возраста. Одна работала в отделе косметики, другая — в отделе белья. Они считали меня веселым и наглым врунишкой — не потому, что я вешал лапшу на уши покупателям, а потому, что продолжал настаивать, что закончил Йель.

— Мне всегда казалось, что если я захочу найти работу, которая погубит мою душу, то я стану адвокатом, — рассказывал я им. — Но, может быть, отдел «Все для дома» — это то, чем мне суждено заниматься. Во всяком случае, это первое, что у меня в жизни получается.

— Не переживай, — утешала меня продавщица косметики. — Я уверена, что это просто временный этап в твоей жизни.

— Правда? — спрашивал я с надеждой.

— Если все, что ты нам рассказал о себе, действительно правда, — заявляла продавщица белья, — то ты снова поднимешься, и очень скоро, черт возьми.

Наступила осень. Я проводил дни в «Лорд энд Тейлор», устанавливая новые рекорды по продажам, а вечера — в «Пабликанах», учась у Атлета и Шустрого Эдди играть в обманный покер. В свободное время я делал наброски романа о «Пабликанах», смотрел с бабушкой Опру и читал, сидя на крыльце. В один такой ясный типично октябрьский день, когда я сидел на крыльце, подъехал почтальон со зловещим розовым конвертом. Я узнал архитекторский почерк с расстояния в двадцать футов. Взяв конверт из рук почтальона, я разорвал его на шесть кусочков. Через минуту вновь сложил их вместе. Она скучала по мне, любила меня и хотела встретиться и поужинать со мной.

Я поклялся себе, что не поддамся. Прочел еще несколько страниц книги, налил себе чашку чаю, позвонил Сидни и сказал, что заеду за ней вечером. Остаток дня я прихорашивался и пробовал разные выражения лица перед зеркалом в ванной. Невозмутимый. Спокойный. Собранный.

По пути на станцию я зашел в «Пабликаны». Единственным знакомым в баре оказался Твою Мать. Он спросил, куда я иду такой нарядный.

— На ужин с бывшей девушкой, — ответил я, закатив глаза.

— А, твою мать.

— Лучше не скажешь, Твою Мать.

— Твою мать. Мать твою.

— А тебе когда-нибудь разбивала сердце девушка? — поинтересовался я.

Твою Мать приблизил свое лицо к моему и улыбнулся улыбкой человека, который выпил девять бутылок пива, а от его дыхания у меня чуть галстук не зашевелился. Но я не отстранился, и это его, похоже, тронуло, будто моя неподвижность была признаком верности. Потом он дал мне отеческий совет, который я никогда не забуду.

— Когда-то я пырил одну молодую вертиплетку. А когда она стала мне худер приндить, я сказал ей, что я этого, мать твою, не потерплю, не дожدهшься, и я ей таких пиндимдилей надавал, что на всю жизнь, мать твою, хватит. Понял м-мою мыссль?

Сидни больше не жила у родителей. У нее была квартира на верхнем этаже дома в Ист-Энде. Когда она открыла дверь, у меня подкосились колени. Она была еще красивей, чем в моих воспоминаниях. Карие глаза, русые волосы цвета осени — прошло всего два месяца, но я забыл. Я сказал себе, что воспоминания всегда проигрывают по сравнению с реальной красотой.

В ресторане я заказал виски. Сидни попросила водку с тоником и сразу перешла к делу. Она извинилась за то, что снова причинила мне боль. Но в этот раз она извинилась иначе. Это не звучало как стандартная прелюдия к примирению, которую я ожидал услышать. Сидни говорила о парне из трастового фонда — о его семье, о яхте, о чувстве юмора, — он был для нее больше чем друг, больше чем просто увлечение.

Она любит его, сказала Сидни, но меня она тоже любит. И не может разобраться в своих чувствах.

Мне было невыносимо слушать про парня из трастового фонда. Всего виски в «Пабликанах» не хватит, чтобы стереть все те подробности, которыми Сидни забивала мне голову. Чтобы сменить тему, я спросил, чем она занимается. Она работала в маленьком рекламном агентстве, и ей это нравилось. Похоже, она отказалась от мечты стать архитектором или режиссером. Я, в свою очередь, рассказал ей про свой роман с рабочим названием «Истории придорожной пивной», про то, что написал уже восемнадцать страниц. Я поведал Сидни, как Вонючка метнул в кого-то разделочным ножом и тот застрял в стене словно томагавк. С этой истории можно было начать книгу. Я знал, что Сидни не в восторге от «Пабликанов», но больше мне не о чем было говорить, к тому же я сознательно избегал темы, от которой у нее точно испортится настроение. Словно почувствовав, что я что-то скрываю, Сидни прервала меня:

— Чем ты зарабатываешь на жизнь?

— Работаю.

— Где?

— Нигде. Не стоит об этом говорить, так, временная работенка.

— Джей Ар, дорогой, где ты работаешь?

— В отделе «Все для дома» в «Лорд энд Тейлор».

— В каком отделе?

— «Все для до-ома».

Пришел официант принять заказ, но Сидни замахала на него руками:

— Нам нужно больше времени. Намного больше времени.

Она аккуратно разложила приборы на белой скатерти, будто это была первая часть речи, которую она собиралась произнести. Затем она начала. Где твои амбиции? Что случилось с твоими мечтами и целями? Какой смысл было поступать в Йель? Почему, черт возьми, ты продаешь свечи и хрусталь?

— Потому, — ответил я с горечью, — что у меня это хорошо получается.

— Ты подавал заявления в газеты? Ты отправил им свои статьи из «Йель дейли ньюс»? Ты связывался с «Нью-Йорк таймс»?

— «Нью-Йорк...»? Пожалуйста, перестань. Тебе нельзя больше пить водку.

— Ты всегда говорил про «Таймс». Ты всегда говорил, что «Таймс» — твоя мечта.

— Правда? — Я этого не помнил. — Послушай. «Таймс» мне не по зубам. «Таймс» — это как... ты. Я чудом попал в Йель, чудом встретил тебя. Молния не ударяет три раза в одно и то же место.

— Тебе нужно пробиваться в этой жизни, Хулиган.

— Я пробивался. С тобой. Посмотри, к чему это привело. — Я втянул голову в плечи.

Она рассмеялась.

После ужина мы пошли прогуляться по Манхассет-авеню, разглядывая витрины магазинов. Сидни взяла меня за руку и прижалась ко мне. Я ненавидел себя за то, что так сильно хочу ее.

Вернувшись в ее квартиру, мы лежали на полу в гостиной и разговаривали, в основном о книгах. Сидни призналась, что теперь читает больше, чем во время учебы в Йеле, и открыла для себя целый ряд интересных молодых писателей. Я завидовал каждому писателю, имя которого она называла, — не столько их таланту, сколько тому, что они произвели впечатление на Сидни. Я догадывался, что их ей порекомендовал парень из трастового фонда. Я потянулся к Сидни и поцеловал ее. Ее губы были мягче, чем я помнил. Я расстегнул ее блузку, положил руку ей на грудь, раздвинул колени своей ногой. Она расстегнула мне пояс, легла на меня и стала стонать и шептать «да». Вдруг резко остановилась и отодвинулась:

— погоди. Сегодня был прекрасный вечер. Давай не будем его портить.

— Портить?

— Я не хочу торопиться.

Внутренний голос сказал мне, что Сидни не хочет торопиться, потому что я околачиваюсь в «Пабликанах» и работаю в «Лорд энд Тейлор». *Если бы я пришел и с порога начал рассказывать о своей работе на Уолл-стрит, мы бы уже разделись.* Я вскочил. Голова кружилась. Я слишком много выпил, но этого было недостаточно. Сидни тоже вскочила, схватила меня за руку, попросила остаться, чтобы она могла все объяснить. Я высвободил руку. Мне нужно было сохранить хоть какую-то гордость. И что важнее, я еще мог успеть на поезд в час девятнадцать и попасть в «Пабликаны» до закрытия.

28 | ТИМ

В баре было полно народу. Я протиснулся между четырьмя торговыми представителями, которые жаловались не то на босса, не то на маленькие премии, и мужчиной, от которого недавно ушла жена. Ушла к женщине.

Дядя Чарли раздавал советы всем одновременно. Увидев меня, он запрокинул голову, так будто кто-то сунул ему под нос ароматическую соль.

— Кто умер?

— Я. Только что ужинал с Сидни.

— Стервы, — прошипел дядя, шарахнув бутылку «Деварза» о стойку. — Все они стервы.

Торговые представители и роконосец крикнули в знак одобрения.

Дядя Чарли что-то долго наливал, а потом поставил передо мной стакан, до краев наполненный виски. Фонтан Треви из виски. Затем дядя начал открывать бутылки пива для торговых представителей и забыл про меня. Я огляделся. Кому-то посетители бара показались бы безликой толпой выпивающих людей, но для меня это были родные лица. Друзья

и родственники. Попутчики. Биржевые брокеры и «медвежатники», спортсмены и инвалиды, матери и супермодели, — мы все были одним целым. Мы все пришли в «Пабликаны», потому что нас обидела жизнь, потому что страдание любит компанию.

Дядя Чарли снова повернулся ко мне:

— Ладно, выкладывай.

Я глубоко вдохнул. Дурацкая затея. От кислорода, попавшего в легкие, мне опять стало грустно, и я не мог говорить связно. Позже дядя Чарли рассказал, что я произнес нечто вроде: «Каждый раз, когда кто-то умирает, люди говорят о том, как хрупка жизнь, но, черт возьми, мне кажется, что по-настоящему хрупкая вещь — любовь, убить кого-то не так просто, а любовь умирает быстрее, чем свежесрезанные цветы, вот так я думаю, бу-бу-бу, твою мать, бу-бу-бу». Дядя Чарли не знал, что ответить, потому что я невольно начал разговор, в котором захотели принять участие все. Мужчины стали выражать свое мнение о женщинах и о самых разных аспектах любви.

Парень в шикарном льняном костюме сказал, что любовь ничем не отличается от любого другого дурмана.

— За любой эйфорией следует депрессия, — утверждал он. — После подъема всегда идет спад. Мера опьянения — то, насколько плохо тебе на следующий день, верно? То же самое относится и к любви. За каждый оргазм мы платим рвотой.

— Спасибо, — поблагодарил его дядя Чарли. — У меня теперь этот образ несколько недель будет стоять перед глазами.

Мужчина рядом с парнем в льняном костюме, волосы которого напоминали большой лист табака, натянутый на череп, вышел вперед.

— Ладно, с красивыми женщинами такой расклад, — начал Лист Табака. — Красивые женщины часто одиноки, но никогда не остаются одни. Понимаете, у них *всегда* есть парень, поэтому даже если они обижены, они никогда не бывают свободны. Это один из жизненных парадоксов.

Дядя Чарли кивнул.

— Парадоксов, — повторил он.

Я услышал голос за спиной. Когда я повернулся, там никого не было. Я посмотрел вниз. На уровне моего пупка был большой орлиный нос. К этому носу был приделан человек с глубоко посаженными голубыми глазами и щеками с ямочками, как у Ширли Темпл. Не подходящим к фигуре басом гном с ямочками заявил, что женщины более развиты, чем мужчины, потому что способны на противоречивые эмоции. Они могут и ненавидеть вас, и любить одновременно. У мужчин же, добавил Гном с Ямочками, либо все, либо ничего.

Дядя Чарли промычал несколько тактов песни «Все или совсем ничего».

— Любовь наполовину никогда меня не привлекала, — сообщил он Гному с Ямочками.

Четвертый мужчина с таким большим белым лбом, что мне захотелось на нем что-нибудь написать, вставил, что если женщины более развиты, то в том же смысле, в каком развиты инопланетяне.

— Вы когда-нибудь замечали периферийное зрение, которым обладают телки? Мужчина, например, видит женщину в поезде, смотрит на нее, как гончая на мертвую утку. Он не может с собой ничего поделать. А женщина способна оценить мужчину, не повернув головы. Когда вы смотрите на женщину, она знает это и тоже на вас смотрит, даже если со стороны кажется, будто она газету читает. Они инопланетянки, точно.

Дядя Чарли пробормотал что-то в ответ, соглашаясь, и указал пальцем на грудь Чистого Лба.

— Есть еще одно качество у женщин, о котором никто не любит говорить, — сообщил Льяной Костюм Листу Табака, Гному с Ямочками и Лбу, — это то, как они исчезают. Как привидения.

Иногда, признался Льяной Костюм, заметив красивую женщину, он идет за ней квартал или два — посмотреть, куда она направляется. Замужем ли она? Собирается на встречу

с любовником? Ходила по магазинам, чтобы купить белье? Но женщина неизменно ныряет в какую-нибудь дверь или в магазин, и когда Льяной Костюм заходит следом, ее там уже нет.

— Ты больной на голову, — объявил пивший кофе полицейский. — Ты себе даже не представляешь, сколько я задерживаю в день таких придурков, как ты.

Льяной Костюм, Лист Табака, Гном с Ямочками и Лоб — все стыдливо опустили глаза, разглядывая свои ботинки.

— Знаете одну очень непривлекательную женщину? — спросил дядя Чарли. — Сигурни Уивер.

— Я ее обожаю! — воскликнул Льяной Костюм. — Я ради нее брошу жену и детей.

— Ты жену и детей бросишь за *Эрла Уивера**, — пошутил дядя Чарли.

— Я на полном серьезе, — сказал Льяной Костюм.

— Похоже, он это серьезно, — подтвердил Гном с Ямочками.

Дядя Чарли поднял руки с барной стойки, будто это была горячая плита, и стал изучать коктейльные стаканы, развешанные над стойкой, словно раздумывая, каким из них разбить голову Льяному Костюму.

— В таком случае, — сообщил он Льяному Костюму, — можно сделать только один неоспоримый вывод. Ничего, что я говорю «неоспоримый»? Если ты думаешь, что Сигурни Уивер сексуальна, то ты гомосексуалист.

Мне Сигурни Уивер тоже казалась сексуальной, и мне нравилось ее имя, сценический псевдоним, выбранный из списка гостей в «Великом Гэтсби». Дядя Чарли, однако, пришел в такое негодование, что я не проронил ни слова. Он продолжал разглагольствовать насчет того, что никому не хочется трахнуть Сигурни Уивер, потом стукнул кулаком по стойке. Дело закрыто. Никому из нас не позволялось встре-

* Эрл Сидни Уивер — бывший менеджер Высшей американской бейсбольной лиги.

чаться с Сигурни Уивер. А если кто-то ослушается, если кто-то из нас все-таки когда-нибудь будет встречаться с Сигурни Уивер, то его не будут обслуживать в «Пабликанах». Затем мы стали спорить о том, что является квинтэссенцией женственности. Какая сирена настолько привлекательна, что с этим согласится без споров любой мужчина? Мы стали голосовать соломинками, и победу одержала Элизабет Шу, хотя старичок с ушами, похожими на абрикосы, настаивал, что мы не отдали должного Мирне Лой*.

— Хватит уже про телок, — объявил дядя Чарли. — От этого депрессия начинается. У меня не было секса со времен ракетного кризиса на Кубе.

Разговор перешел от женщин к бейсболу, как это часто случалось в «Пабликанах». Дядя Чарли начал страстно обсуждать «этих подлецов, у которых семь пятниц на неделе», — «Метрополитанс». «Метс» вошли в Национальную Восточную лигу, и дядя стал анализировать их шансы в повторной игре после ничьей и в серии. Будучи фанатами «Метс», мы жадно слушали прогнозы, но не успел дядя Чарли войти в раж, как шумная толпа студенток колледжа в дальнем углу бара подняла свои пустые стаканы над головами и проскандировала:

— Когда нас обслужат?

— Инопланетянки хотят пить, — пробормотал Льяной Костюм.

Дядя Чарли отправился к девушкам. Я повернулся вправо, где мужчина лет на десять старше меня, облокотившись о барную стойку, читал книгу. У него были большие черные глаза, густые черные усы, а одет он был в стильную черную кожаную куртку, очень модную и дорогую. Мужчина был красив неправдоподобной, почти абсурдной красотой, а стакан с мартини в руке держал так, будто это была роза с шипами.

— Привет, — сказал я. — Что ты читаешь?

* Мирна Лой (1905–1993) — американская актриса, в 1938 году выигравшая титул «Королевы Голливуда».

— Рильке.

Я представился. Его звали Далтон. Он был адвокатом — по крайней мере, так он сказал. Он только что вернулся домой из кругосветного путешествия — или говорил, что вернулся. Он пишет стихи — или утверждал, что пишет. Все, что он говорил, казалось неправдоподобным, потому что он наотрез отказывался называть подробности, например, в какой сфере законодательства он специализируется, где путешествовал или какие стихи пишет. Во всех сферах, отмахнулся он. На Дальнем Востоке, ответил он нетерпеливо. Обычные стихи, пробормотал Далтон и добавил: «Придурок». Я подумал, что, судя по его смелости, скрытности, черной кожаной куртке и внешности Джеймса Бонда, он явно шпион.

При всей своей осторожности Далтон оказался разговорчив. У него был широкий диапазон убеждений, которыми он желал поделиться. Он лучше всех в «Пабликанах» умел поддерживать беседу, чтобы она не оборвалась. Мы разговаривали об искусстве, о кино, о поэзии, о еде и даже о разговорах. Мы оба были согласны с тем, что «Пабликаны» — рай для любителей поговорить.

— В большинстве баров, — заметил Далтон, — люди разговаривают, чтобы был повод выпить, в «Пабликанах» же пьют, чтобы нашелся повод поговорить.

Я сказал ему, что Том Джефферсон, Монтень и Цицерон считали беседу самым мужским из всех искусств, потому как она всегда была лучшим способом узнать друг друга. Далтон схватил мою руку и пожал ее.

— Ты так верно это заметил! — воскликнул он. — Лучше не скажешь, Придурок!

Когда Далтон спросил, почему я так нарядно одет, я ответил, что ездил в город, где моя бывшая девушка вынула мое сердце из груди и съела его у меня на глазах. Он сунул книгу мне за пазуху.

— Тебе нужно познакомиться с моим другом господином Рильке, — объяснил он. — Рильке говорит: «Нам не дано знать, почему то или иное одолевает нас». По словам Рильке:

«Секс — это непростая вещь. Да, но нам в этой жизни поручаются сложные вещи».

Я записал эти и другие цитаты на салфетке, вместе с отдельными полусумасшедшими замечаниями Льяного Костюма и К°. Когда бар закрывался, я чувствовал себя великолепно. Сидни казалась туманным видением, как что-то, что случилось несколько десятков лет назад. Я допил виски, шарахнул стакан об стойку и указал на грудь дяди Чарли.

— Какого ч...? — возмутился дядя Чарли.

Я опустил глаза. Стакан был разбит.

— Оставь его, парень, — успокоил меня дядя, заметив выражение моего лица. — Иди домой.

— Да, — добавил Далтон, глядя на свою кожаную куртку, которую я залил виски. — Ради бога, Придурок. Иди домой.

Я скатился по тротуару в дедушкин дом и вырубился на «двухсотлетнем» диване. Проснувшись на рассвете, повинувшись какому-то импульсу, я собрал все мои статьи из Йеля и сложил их вместе с наскоро напечатанным резюме в конверт, адресованный «Нью-Йорк таймс». Я покажу Сидни. И когда «Таймс» откажет мне, я перешлю ей письмо с отказом. Бросив письмо в почтовый ящик возле «Пабликанов», я отправился в «Лорд энд Тейлор», где продал товаров больше чем на тысячу долларов и выиграл серебряный ножик для писем, который мне хотелось вонзить себе в сердце.

Через несколько дней, когда я брился, готовясь к очередной смене в «Лорд энд Тейлор», к двери ванной подошла бабушка.

— Пата больше нет, — сказала она.

Пат? Пат умерла много лет назад. Я скосил глаза на бабушкино отражение в зеркале.

— Дяди Пата, — объяснила она. — Пата Бирна.

Она говорила об отце моих других двоюродных братьев, мальчиков, которых бабушка всегда считала «настоящими джентльменами».

— Бедные ребята, — всхлипнула она, вытирая глаза полотенцем, которое я ей протянул. — Девять мальчиков без отца. Представь только.

В церкви было жарко, душно и очень многолюдно. Мы с бабушкой сели в заднем ряду и стали смотреть, как сыновья Бирны несут гроб отца. У каждого из сыновей были гладкие черные волосы, розовые щеки и перекатывающиеся под тканью пиджаков мускулы. Они все были словно слеплены из одного теста и очень похожи на своего отца, хотя один сын выделялся. Казалось даже, что на его плечах лежит основная тяжесть гроба. Мне было очень жаль его и всех остальных Бирнов, но все равно хотелось уйти — нет, убежать — в «Пабликаны», поговорить с Далтоном о Монтене, выпить и выкинуть из головы все эти мысли об отцах и смерти. Но после службы бабушка настояла, чтобы я отвез ее домой к Бирнам.

Мы сидели в гостиной с вдовой ляди Пата, тетей Шарлин. Она приходилась двоюродной сестрой моей матери, а мне — двоюродной тетей. Когда я был маленьким, мне казалось, что тетя Шарлин понимает, какая буря мыслей бушует у меня в голове, и потому разговаривает со мной с такой добротой, которая меня сразу успокаивала. В тот день мы долго беседовали, но я помню только одну тему, которую мы обсуждали. Отцов. Тетя призналась, что волнуется, как ее сыновья справятся без отца. Я чувствовал, что она хочет услышать от меня что-то полезное, какую-то мудрость о том, как расти без отца, но я никакой мудрости не знал.

В это время самый сильный сын тети Шарлин, Тим, вышел вперед. Он извинился, что прервал нас. Пожав мне руку, он принял мои соболезнования. Моя рука утонула в его ладони. Мой ровесник, он был в два раза крупнее меня. Тим только что окончил университет в Сиракузах, где играл в футбол, и его руки были толщиной с мои ноги. Он говорил с грубоватым акцентом жителя Лонг-Айленда, от которого я с таким трудом избавился, но, слушая его, я жалел, что говорю чисто. Его акцент звучал так мужественно!

Тим спросил, не нужно ли чего-нибудь тете Шарлин. Попить? Что-нибудь поесть? Спрашивая, он взял ее за руку. Он был так мил со своей матерью, что бабушка взглянула на него со смесью неверия и обожания. Тим наклонился и поцеловал тетю Шарлин, потом принес ей попить, сделал бутерброд и осведомился, не нужно ли чего-нибудь гостям. Бабушка смотрела на него во все глаза, потом повернулась ко мне, и один глаз у нее подергивался, будто она посылала мне сообщение азбукой Морзе.

Ей не нужно было ничего говорить.

Настоящие мужчины заботятся о своих матерях.

29 | СОТРУДНИК «ТАЙМС»

Пока я был занят с покупательницей, на телефонный звонок за прилавком ответила Дора. Рассказывая, как обычно, байки про мыло и свечи, я услышал, как Дора ответила звонящему, что я занят и беспокоить меня нельзя.

— Кто? — крикнула она в трубку. — «Нью-Йорк таймс»?

Я рванулся к прилавку и выхватил трубку у Доры.

— Алло! — заорал я. — *Алло!*

Звонила женщина из отдела кадров. Ее звали Мари. Отослав свои статьи в «Таймс», через несколько недель я забыл, что указал в резюме номер телефона «Лорд энд Тейлор». Мне это казалось более безопасным, чем давать номер телефона дедушкиного дома, где могли бы подумать, что звонивший хочет сделать ставку. Мари сказала, что мои вырезки прочел редактор и они ему понравились. Одна моя половина хотела завопить. Вторая половина думала, интересно, что за умник из «Пабλικанов» лопочет фальцетом, разыгрывая меня. «Вонючка, ты, что ли?» Но эта Мари продолжала говорить словами, которых Вонючка и знать не мог, поэтому я решил, что все-таки это правда. «Таймс» предлагает тренинг для недавних выпускников университета, сказала женщина.

Вы начнете как копировщик, но сможете дослужиться до настоящего корреспондента. Интересно ли мне это? Я пытался подобрать идеальные слова. Мне хотелось, чтобы это звучало небрежно, но не слишком. С энтузиазмом, но не чересчур. Я крепче сжал телефонную трубку и посмотрел на Дору. Никакой поддержки. Я посмотрел на покупательницу, от которой только что сбежал. Ни малейшей поддержки. Я постучал ногой по полу, глядя на часы, и решил ответить просто.

— Мне интересно, — сказал я Мари.

— Хорошо. Как скоро вы сможете прислать еще образцы ваших работ?

— Еще? Я послал вам все, что написал для университетской газеты.

— Хм, в том-то и дело. Редакторы считают, что им нужно увидеть больше, прежде чем принять решение.

— Я думаю, я могу съездить в Нью-Хейвен и поискать копии в библиотеке. Может быть, я что-нибудь пропустил.

— Хорошо, так и поступим. Если что-нибудь найдете, дайте мне знать.

Повесив трубку, я очумел от восторга. Танцевальным шагом я подскочил к покупательнице и продал ей коробку жасминовых свечей, восемь или двенадцать полотенец и зажигалку «Уотерфорд», что позволило мне отобрать у Доры звание лучшего продавца в тот день. Призом был обед на двоих в итальянском ресторане. Когда я отдал Доре сертификат на ресторан, она дотронулась до моей щеки.

— Ты такой хороший мальчик, — проговорила она. — Не знаю, почему тебя ненавидят все наши женщины.

Сидя в поезде на вокзале Гранд-Сентрал, прислонившись головой к окну, я увидел, как сквозь мое отражение в окне идет она. На ней была льняная юбочка цвета загара и кофточка оттенка слоновой кости с короткими рукавами, а в руке она несла кусок пищи на бумажной тарелке. Пытаясь найти вагон, где меньше народу, она наклонилась, чтобы заглянуть в мое окно, потом пошла дальше по платформе.

Через несколько минут вернулась. В этот раз я помахал ей рукой. Она вздрогнула и улыбнулась. Войдя в вагон, села рядом со мной.

— Привет, Хулиган. Куда направляешься?

— В Йель. Нужно найти вырезки для «Нью-Йорк таймс».

— Не может быть!

— Я послал им свои статьи, но они хотят еще.

Сидни сжала мое колено.

— А ты куда? — спросил я.

— Домой, повидать родителей.

Когда поезд двинулся на север, я заговорил о судьбе. Судьба постоянно сводит нас вместе, заметил я. Начиная с лекции по конституционному праву и заканчивая вокзалом Гранд-Сентрал, наши пути пересекались. Очевидно, судьба хотела нам что-то сказать. Как еще можно объяснить эту случайную встречу? Учитывая, что я ехал в Йель по делу, на которое меня вдохновила именно она. Вселенная, сказал я, хочет, чтобы мы были вместе.

Поедая пиццу, Сидни позволила мне приводить аргументы в поддержку своей теории. Закончив есть, она стряхнула крошки и сказала:

— Может, я была неправа.

— Правда?

— Да. Возможно, тебе все-таки стоило поступить в юридическую школу.

Я нахмурился. Сидни погладила меня по руке и сказала, что согласна со мной. Она объяснила, что не хотела рисковать, боясь обидеть меня снова.

— Вот что я пыталась сказать тебе, когда мы ужинали вместе месяц назад. Я запуталась. Я такую кашу заварила. Мне нужно...

— Я знаю. Время.

— Ты всегда так уверен в людях, — сказала она. — У тебя все либо белое, либо черное. Ты совсем не боишься пускать людей в душу.

— Жаль, что я не умею их отпускать.

Сидни промокнула губы бумажной салфеткой.

— Моя станция. Удачи с «Таймс». Расскажешь мне, как все пройдет.

Поцеловав меня, она быстро сошла с поезда.

Когда я приехал в Нью-Хейвен, больше всего мне хотелось найти бар и позвонить матери. Но пришлось заставить себя сидеть в библиотеке Стерлинга и рыться в микрофильмах старых газет, что не улучшило мое настроение. Хотя действительно нашлись статьи, о которых я забыл, у меня были серьезные причины о них забыть. Незначительные заметки ни о чем, несколько сотен слов то здесь, то там о каком-нибудь докладчике или о каком-то мероприятии. Мари из «Таймс» побрезгует даже завернуть в них оставшийся от обеда бутерброд.

Теперь мне точно нужно было выпить. Я позвонил своему бывшему соседу по комнате, который, поскольку учился в юридической школе, поселился в Нью-Хейвене. В баре мы встретили еще одного друга и двух женщин. Выпив несколько рюмок, мы уселись в машину друга и поехали в ресторан. По дороге туда мой друг случайно подрезал машину, набитую молодыми парнями нашего возраста. На них были обтягивающие рубашки и золотые цепи, и наши извинения их не устроили. Как только зажегся красный, они подскочили к нашей машине и распахнули двери. Я был на пассажирском сиденье, а на коленях у меня сидела женщина. Я наклонился к ней, чтобы прикрыть от ударов, сделав себя стационарной мишенью. Один из парней, у которого то ли руки были в кольцах, то ли кастет в кулаке, ударил меня раз шесть, приговаривая что-то вроде «йельский член», а другие в это время мутузили сидящего за рулем. Когда светофор переключился на зеленый, мой друг умудрился нажать на газ и уехать.

Из моей губы сочилась кровь. Шишка на лбу напоминала растущий рог. И мне повредили глаз. Мы поехали в больницу, но нас попросили подождать несколько часов.

— Сами вылечимся, — сказал мне друг и отвел меня в бар за углом. «Интересно, — подумал я, — почему колокола на башне Харкнесс звонят так поздно?» Я спросил бармена.

— Это в твоей башне звонит, герой, — ответил тот. — У тебя, наверное, сотрясение. Лучше всего для такого случая подойдет текила.

Бармен показался мне знакомым. И бар тоже. Не в этом ли баре я пил, когда мать дала мне семьдесят пять долларов, чтобы я стал Джей Аром Магвайером? Я сказал друзьям, что Джей Ар Магвайера бы не избил. Джей Ар Магвайер был слишком умен, поэтому такого бы с ним не произошло. Они понятия не имели, о чем я говорю.

Поспав несколько часов на диване у соседа по комнате, на рассвете я сел на первый поезд до Нью-Йорка. С Гранд-Сентрал я взял такси до «Таймс». Стоя по другую сторону улицы от здания редакции, я восхищался, каким импозантным и величественным выглядел этот дом, с круглыми фонарями вдоль фасада и надписью старинным английским шрифтом. Таким же шрифтом, как вывеска над «Пабликанами». Я стал думать о великих репортерах, которые ежедневно заходили в здание через главный вход, потом вспомнил о жалких вырезках в папке под мышкой. Жаль, что эти головорезы из Нью-Хейвена в обтягивающих рубашках не забили меня до смерти.

В десяти футах от меня стоял мужчина. На нем был клетчатый пиджак, белая рубашка и военный галстук, а густая копна его седых волос напомнила мне Роберта Фроста. Хотя зубов у него не было, он жевал что-то напоминающее бутерброд с копченой колбасой и улыбался мне так, будто собирался предложить кусочек. Я улыбнулся в ответ, пытаясь угадать, кто он такой, а потом заметил, что ниже талии мужчина был абсолютно голый. Его «собственная» колбаска белела в ярком утреннем свете как кусок слоновой кости. Когда я посмотрел на нее, он тоже опустил глаза вниз, а потом поднял их, улыбаясь еще шире, радуясь, что я заметил.

Теперь не осталось сомнений. Сама Вселенная говорила со мной, пытаясь объяснить, что мне не суждено работать в «Таймс». Знаки были всюду, начиная со встречи с Сидни и заканчивая избием в Нью-Хейвене. Теперь еще и вот

это. Вселенная давала мне понять, что для «Таймс» я буду чем-то вроде того, кем был Голый Фрост для Таймс-сквер — непристойным самозванцем. Когда к Голому Фросту подошли полицейские и увели его, мне захотелось защитить его, рассказать полицейским, что Голый Фрост не виноват, что он просто невольный посланник Вселенной. Я испытывал к этому человеку скорее родство, нежели жалость или презрение. Из нас двоих в моей крови, возможно, было больше алкоголя.

В какой-то степени я почувствовал облегчение. Если бы меня взяли на работу в «Таймс», я не смог бы набраться смелости каждый день входить в это здание. Сейчас вся смелость ушла на то, чтобы войти, толкнув стеклянную вращающуюся дверь, в мраморный холл и подойти к охраннику. Я назвал ему свое имя, отдал папку и попросил передать ее Мари из отдела кадров. Погоди, сказал тот. Он позвонил кому-то по телефону, поговорил и повесил трубку.

— Тетий эдаж, — сказал он мне.

— Простите?

— Тетий эдаж.

— Третий — мне? Нет-нет. Я пришел только отдать папку. Мне не нужно с ней встречаться. Я не хочу с ней встречаться.

— Она тебя ждет.

Единственным разумным выходом было сбежать. Сестра на следующий поезд до Манхассета, укрыться в «Паббликах», больше никогда сюда не возвращаться. Но как я мог исчезнуть, если о моем приходе уже доложили? Мари полагает, что я не в себе, а этого я допустить не мог. Лучше пусть она увидит меня растрепанным и не совсем трезвым, чем сочтет меня идиотом.

Поднимаясь на третий этаж, я изучал свое отражение в медных дверях лифта. Я всегда представлял себе, как вхожу в отдел новостей «Нью-Йорк таймс» в костюме с иголки, в начищенных черных ботинках на шнурках, в английской сорочке с золотистым галстуком и с такими же подтяжками.

Вместо этого на мне были потертые джинсы, потрепанные мокасины и футболка с пятнами крови. А правый глаз заплаыл и не открывался.

Когда я вышел из лифта, все повернули головы в мою сторону. Я выглядел как сумасшедший читатель, пришедший свести счеты с репортером. Редактор возле почтовых ящиков подавился незажженной сигарой и вытаращил на меня глаза. Увидев его сигару, я вспомнил о запахе изо рта, который у меня, наверное, был таким же, как у Твою Мать. Я бы отдал десять лет жизни за мятную конфету.

Комната отдела новостей была длинной, как городской квартал, с флуоресцентной прерией металлических столов. Полагаю, что в «Таймс» в 1986 году работали и женщины, но я ни одной из них не заметил. Я не видел ничего, кроме десятков мужчин: элегантных мужчин, умных мужчин, солидных мужчин с наморщенными лбами, которые сутились под клубами огромных грозовых облаков из дыма. *Как все знакомо.* Одного из них я видел по телевизору. Недавно его показывали в новостях, так как ему пришлось отсидеть в тюрьме, чтобы отстоять свои взгляды, и еще он был известен тем, что никогда не расставался со своей трубкой, которой попыхивал и сегодня утром. Мне хотелось подойти к нему и рассказать, как я восхищен тем, что он сидел в тюрьме в защиту первой поправки к конституции, но я не мог, потому что выглядел так, будто тоже отсидел в тюрьме, хотя и не защищал никаких поправок.

В дальнем углу отдела новостей я наконец увидел женщину, одиноко сидящую за крошечным столом. Мари, точно она. Казалось, я шел к этому столу целую неделю. Все, мимо кого я проходил, говорили по телефону, и я был уверен, что они обсуждали меня. Мне хотелось извиниться перед Мари, которая уже встала и бросила на меня такой раздраженный взгляд, что я подумал, не уволила ли она охранника в холле через пять минут после того, как я вошел.

— Джей? — спросила она.

— Джей Ар.

— Да.

Мы обменялись рукопожатиями.

Указав мне на стул, она снова села за стол. Разложила какие-то конверты, положила карандаш в карандашницу и стопку бумаг в корзинку для исходящей документации. Я был уверен, что она также быстро принимала решения по поводу людей, распределяя их по соответствующим местам. Затем Мари повернулась ко мне и стала ждать объяснений. Я подумывал о том, чтобы соврать, но у меня не было сил. Тогда я решил улыбнуться, но мне не хотелось, чтобы рассеченная губа опять начала кровоточить. И мне казалось, что у меня шатается зуб. Поэтому ничего не оставалось, как коротко рассказать о том, как меня ограбили. Когда я закончил, Мари постучала длинным ногтем об стол.

— Да, язык у вас хорошо подвешен. Этого у вас не отнять.

Я заверил ее, что не хотел проявлять неуважение, явившись в таком виде. Объяснил, что охранник меня не совсем правильно понял. Я сказал, что люблю «Таймс», преклоняюсь перед этой газетой, что я прочел каждую книгу, которую смог найти об истории газеты, включая редкие мемуары первых издателей. Пытаясь выразить свои чувства, я сам стал лучше их понимать. До меня неожиданно дошло, почему я с подросткового возраста был очарован «Таймс». Да, газета предлагала черно-белую схему мира, но, кроме этого, она была призрачным мостом между мечтами моей матери и моими собственными. В журналистике сочетались респектабельность и сложность задач. Как адвокаты, репортеры «Таймс» носили костюмы «Брукс Бразерз», читали книги и защищали униженных — но вместе с тем много пили, травили байки и сидели в барах.

Неподходящий момент для хвалебной речи. От усилий, потраченных на то, чтобы объяснить ситуацию, понять себя и принести кучу извинений — и все это, пытаюсь не дышать текилой на Мари, — я побледнел. Из моей губы снова сочилась кровь. Мари протянула мне салфетку и спросила, не дать ли мне стакан воды. Она попросила меня расслабиться.

Просто расслабиться. Молодой человек, который с такой явной небрежностью относится к своему внешнему виду, сказала она, настолько открытый приключениям, влюбленный в «Таймс» и так много знающий о традициях газеты, станет очень хорошим корреспондентом. Между прочим, заметила женщина, я произвожу такое впечатление, будто из меня может получиться военный корреспондент. На стуле возле своего стола она видела нечто большее, чем неудачника с Лонг-Айленда двадцати одного году от роду с фингалом под глазом, страдающим похмельем, принесшим папку, полную отвратительных статей. Каким бы я ни был, добавила Мари, я могу стать «порывом свежего воздуха».

Время шло, а Мари все смотрела на меня в раздумье. Я видел, что она взвешивает два варианта. Затем она дважды моргнула, и стало ясно, что она выбрала второй вариант. И сказала, что у них есть определенный протокол приема на работу. Она не имеет права сразу предложить мне место. Нужно посоветоваться с редакторами. Соблюсти правила.

— Однако, — сказала Мари, — мне нравится твой прикид.

Такого слова я никогда не слышал. Я пытался придумать, что ответить, но Мари уже встала, снова протянув мне руку. Если не случится ничего непредвиденного, заключила она, то скоро ты придешь сюда как новый сотрудник «Таймс».

Когда через два часа я со своей новостью примчался в «Пабликаны», там все просто с ума посходили. Наконец-то, сказали мужики, я начал *делать* что-то со своей жизнью. Поступить в университет — это было прекрасно. Закончить его — тоже неплохо. Но теперь пришла пора для настоящего достижения! Газетчики — Джимми Кэннон, Джимми Бреслин, А. Дж. Либлинг, Грантленд Райс — были богами для посетителей бара, и то, что я принят в их почетные ряды, заслуживало криков «ура» и крепких объятий.

Дядя Чарли сжал мою руку так, что у меня заломило кости, но потом решил, что этого мало. Он вышел из-за стойки и поцеловал меня в щеку.

— Нью-Йорк, твою мать, таймс, — торжественно произнес он.

В последний раз я видел его таким гордым в одиннадцать лет, когда он объяснял мне знаки «больше» и «меньше» и я все понял с первого раза.

Кольт поклонился до пояса и сказал мне то же самое, что и когда я поступил в Йель, то же самое, что он всегда говорил, когда я делал что-нибудь правильно: «Это все благодаря «ворди-горди».

Стив зарычал. Он заставлял меня снова и снова пересказывать некоторые эпизоды собеседования, описывать Голого Фроста и охранника, выражение ужаса на лицах сотрудников, когда я шел через отдел новостей. Он внимательно рассмотрел мой синяк в свете барной лампы, и мне показалось, что он сейчас достанет ювелирную лупу, чтобы лучше его разглядеть. Я не мог понять, что впечатлило его больше: синяк или моя новая работа. Но он был не просто впечатлен. Он был отомшен. Его врожденный оптимизм получил очередное доказательство. Стив верил, что в конечном счете на смену трагедии всегда приходит комедия, что хорошее всегда случается с плохими парнями из «Пабликанов» и вот теперь нечто очень хорошее случилось с племянником его старшего бармена.

— Супер! Супер! — воскликнул он. — Джуниор теперь работает в «Таймс»!

Затем они решили сменить тему. Стив с ребятами снова включили телевизор, где «Метс» застряли на шестнадцатой подаче в напряженной игре с «Хьюстон Астрос» в серии игр чемпионата Национальной лиги. Пока все пили и смотрели матч, я юркнул в телефонную будку и набрал номер мамы.

«Метс» выиграли шестой матч серий чемпионата мира за несколько дней до того, как я начал работать в «Таймс». До последнего удара, хотя в них давно уже никто не верил, они сражались, чтобы вернуть себе былые позиции, и сделали «Бостон Ред Сокс» на десятой подаче. Теперь в «Пабликанах»

все знали, что «Метс» выиграет в финале. «Бедолаги эти ребята из Бостона, — сказал мне дядя Чарли, как раз когда Рэй Найт пересек «дом», забив очередной мяч. — Представь себе бары вроде нашего в Новой Англии. Господи! У меня за них сердце кровью обливается». Дядя Чарли любил проигравших, но ни одна проигравшая команда не вызывала у него столько жалости, как «Сокс». На минуту мне стало стыдно за свою бесшабашную радость из-за победы «Метс».

По моим подсчетам, парад в честь победы «Метс» должен был пройти через Манхэттен именно в то утро, в тот самый момент, когда я буду торжественно входить в «Таймс» в свой первый рабочий день. Из всех знаков, которые я когда-либо получал от Вселенной, этот был самым ясным и ярко выраженным. Несмотря ни на что, мы с моей командой больше не были неудачниками. Наконец-то начиналась моя новая жизнь, моя настоящая жизнь, моя жизнь в роли победителя. Я оставил позади все свои прошлые неудачи, избавился от их опасной сладости и перерос свою мальчишескую нерешительность: пробовать или не пробовать.

Осталась лишь одна тонкая ниточка, соединяющая меня со старой жизнью, с моим самоощущением проигравшего. Сидни. На той неделе я получил от нее еще одно письмо. Она все еще любила меня, все еще скучала по мне, и ей все еще нужно было время. В письмо она вложила свою фотографию. Как раз после окончания шестого матча я стоял в «Пабликанах», читая ее письмо и глядя на фотографию, когда вокруг меня все стали отмечать победу. В баре стоял дым коромыслом. Мы накачались виски, нас переполняла беспричинная вера в самих себя и в будущее, которой заразили нас «Метс», и у меня появилась идея. Я попросил Твою Мать принести мне ручку и марку из кабинета Стива в подвале. Он сказал мне посмотреть на нижней полке или идти к чертовой матери. Ручку и марку мне дал дядя Чарли, и я нацарапал свой адрес на конверте Сидни и отправил его ей обратно. Заклеил конверт, положив внутрь ее письмо и фотографию, и, продираясь сквозь толпу, пошел к главному

входу, у которого стоял почтовый ящик. Мой счастливый почтовый ящик, в который я опустил свои статьи, чтобы послать их в «Таймс».

Мне было совершенно очевидно, что, если бы я написал Сидни, что она может думать столько, сколько ей нужно, я бы в конечном счете получил ее. Я бы продержался дольше не только парня из трастового фонда, но любого, кто пришел бы ему на смену, и Сидни вышла бы за меня замуж. Мы стали бы жить в доме по соседству с ее родителями, у нас родилось бы двое кудрявых ребятишек, и каждый раз, когда она начинала бы звать или говорить по телефону в соседней комнате, у меня бы начинало сосать под ложечкой. Такая жизнь ждала меня, дотошно спланированная и спрогнозированная. Я ее чувствовал, верил в нее благодаря «Метс» и «Пабликанам». Я слышал голоса из этой другой жизни так отчетливо, как голоса в баре за моей спиной. Я вспомнил, как профессор Люцифер читал нам лекцию о противостоянии свободного выбора и судьбы, о загадке, которая мучила великие умы на протяжении многих веков, и пожалел, что слушал невнимательно, потому что, склонившись над счастливым почтовым ящиком с письмом Сидни, я не знал, почему свободный выбор и судьба должны быть взаимоисключающими. Может быть, подумал я, оказываясь на перекрестке судьбы, мы делаем выбор сами, но выбираем мы из двух дорог, предназначенных нам судьбой.

Я опустил письмо в щель. Никогда раньше я не отказывал Сидни. Сидни никто не отказывал. Я знал, что, когда она получит свое собственное письмо и фото с пометкой «вернуть отправителю» без комментариев, она больше не попытается со мной связаться. Я вернулся в «Пабликаны», попросил дядю Чарли налить еще виски и рассказал ему, что я сделал. Он указал на меня пальцем, и мы выпили. За меня. За «Метс». Двадцать пятого октября 1986 года, в тот день, когда я потерял самую большую любовь в своей жизни, дядя Чарли объявил в баре, хотя никто его не слушал, что его племянник — победитель.

Быть копировщиком оказалось не намного сложнее, чем клерком в отделе «Все для дома». Девушка-копировщица объяснила мне все за пять минут. Я отвечал за «покупку бутербродов» и «распределение копий». Поскольку у редакторов нет времени покупать себе еду, сказала она, я буду обходить отдел новостей в течение дня, принимая заказы, а потом мне придется бежать на другую сторону улицы в круглосуточный магазин деликатесов «У Ала». Остальное время я должен собирать и сортировать бумаги из телеграфной комнаты. В «Таймс» были компьютеры, но редакторы, особенно пожилые, отказывались ими пользоваться. Поэтому комната отдела новостей все еще была завалена бумагами. Статьи, эссе, бюллетени, телеграммы, меморандумы, рассказы, краткое содержание статей, предлагавшихся на передовицу завтрашней газеты, — все это со стрекотанием и шипением выползло из больших принтеров в толстых пачках по двенадцать копий, проложенных копировальной бумагой, которые нужно было разделить, сложить определенным образом и быстро раздать. Многие редакторы не знали ключевых новостей, пока бюллетень не оказывался у них на столе, поэтому копировщики представляли собой непропорционально важное звено в информационной цепочке. И еще один важный момент: главные редакторы получали верхние копии, на которых шрифт был самым разборчивым, а редакторы рангом ниже получали самые слепые копии, иногда совсем неразборчивые. «Это вопрос статуса, — сказала копировщица. — Если рядовой редактор получит верхнюю копию, на тебя наорут, но боже упаси тебя дать главному редактору нижнюю копию».

Она театрально закатила глаза и ожидала, что я сделаю то же самое. Но я настолько благоговел перед «Таймс», что не мог стереть с лица выражение переполняющей меня радости. *Вы говорите, что в мои обязанности входит кормить*

всех этих талантливых журналистов? И сообщать этим знаменитым редакторам, что происходит в мире? «Замечательно!» — отвечал я.

После этого копировщица стала избегать меня, и я подслушал, как в разговоре с другой копировщицей она назвала меня «идиотом с Лонг-Айленда».

Более дружелюбные копировщики объяснили мне, как работает тренинг. Это серия унижений, говорили они, за которой следует значительное вознаграждение. Ты приносишь бутерброды, разделял копии, работал по ночам, в праздники, в выходные, пока тебя не замечал редактор. Может быть, ему понравилось, что ты никогда не забываешь, что он любит копченую говядину с острой горчицей. Может, он оценил, как аккуратно ты складываешь его копии. Неожиданно он делал тебя своим протеже и по возможности позволял тебе взять интервью у автора для книжного обзора или написать заметку в раздел недвижимости. Если ты более или менее прилично справлялся с этими заданиями, он давал тебе что-нибудь поинтереснее. Перестрелку, поезд, сошедший с рельсов, утечку газа в Бронксе. Одно из таких заданий станет твоим шансом, статьей, которая создаст тебе репутацию в отделе новостей или испортит ее. Если ты используешь шанс по максимуму, тебя попробуют дежурным по городу. Тридцать дней без перерыва, без выходных, писать и писать — тест не столько на талант, сколько на выносливость. Эта проба была главным призом. В этом заключался весь смысл работы копировщиком. Если ты выживал — как физически, так и морально, и, самое главное, не создав ситуацию, когда газете приходится печатать поправку, — тогда будет созвана секретная комиссия, которая раз и навсегда решит, подходишь ли ты для «Таймс». Если да, то тебя повысят до корреспондента на полную ставку, дадут стол и пожизненную зарплату. Если нет, ты можешь ошиваться здесь, сколько душе угодно, бегать за бутербродами и сортировать копии, пока тебе не исполнится шестьдесят пять, но ты навсегда останешься копировщиком, трутнем, безликим сотрудником отдела новостей.

Учитывая эти условия и жесточайшую конкуренцию, не было ничего удивительного в том, что две дюжины копировщиков, проходивших тренинг, носились по отделу новостей, как крысы по лабиринту. Но все равно мы были спокойнее редакторов, некоторые из которых, казалось, вот-вот тронутся умом. Одни пили пиво во время работы. Другие бегали в бар через дорогу в перерывах между правками, чтобы перехватить что-нибудь более крепкое. И все курили. Курить не только разрешалось, это было необходимо, и, как правило, смог в отделе новостей был сильнее, чем туман над заливом Манхассет. Один печально известный редактор начинал свой день с раскуривания трубки, затем после полудня переходил на сигары, а за час до выпуска курил «Кэмел» без фильтра одну сигарету за другой. Он выглядел на сто пятьдесят лет и из копировщиков вынимал душу. Его прозвали Курящий Дьявол, и несколько копировщиков предупреждали меня, чтобы я держался от него подальше.

Хотя «Таймс» напоминала мне Йель — слишком много умников в одном месте, — меня это не смущало. Я чувствовал себя там как дома. Скорее всего, из-за старой мебели, заляпанного оранжевого ковра и засоренных унитазов. Годы, проведенные в дедушкином доме, стали идеальной подготовкой. Но, конечно, настоящей причиной моего относительного спокойствия были «Пабликаны». Что бы ни случилось в отделе новостей в течение дня, я знал, что вечером меня ждут в баре. Я всегда мог рассчитывать, что ребята из «Пабликанов» подбодрят меня, а женщины подскажут, как лучше одеться. Все корреспонденты «Таймс» носили стильные подтяжки, галстуки того же цвета и ботинки с закругленными носами — большие, без швов, похожие на каноэ, — и хотя у меня не было денег на подобные вещи, мои бывшие коллеги из «Лорд энд Тейлор» подсказали мне, как улучшить гардероб. Они научили меня «одалживать» одежду в универмагах. Подтяжки и галстуки можно взять «померить», а потом вернуть. И я всегда буду благоухать «ароматом успеха», если буду заходить в магазин по дороге на работу и брызгаться пробниками.

Я был безумно счастлив. По многу часов я трудился в отделе новостей и добровольно соглашался работать дополнительно. Даже в выходные я заходил в здание газеты, притворяясь, будто работаю и очень занят. Если я не мог найти себе дела, я шел в «морг», где хранились архивы всех статей «Таймс» со времен гражданской войны, и читал там работы лучших корреспондентов, изучая их стиль. Однажды мне пришлось в голову спросить у женщины, которая заведовала «моргом», нет ли у нее досье на моего отца. Досье имелось. Оно было тоненьким, но захватывающим. Я принес его в отдел и уселся читать, будто это документы Пентагона. Одна статья, написанная как раз после того, как «Битлз» появились в шоу Эда Салливана*, называла моего отца экспертом по рок-н-роллу. Читая, я стал насвистывать «Я хотел бы держать тебя за руку».

— Кто, черт возьми... свистит?! — завизжал Курящий Дьявол.

Толпа корреспондентов и редакторов прервала работу и повернула головы.

— Я! — пришлось мне признаться.

— Свист в отделе новостей может накликать беду, придурок!

Все смотрели на меня. Я не знал, что сказать. Когда все, усмехаясь, вернулись к работе, я взглянул на часы на стене. Полшестого. Если я уйду прямо сейчас, я успею на «счастливый час» в «Пабликанах».

Пристыженный, я шел к Пенн-стейшн и заметил толпу возле отеля «Пента». Пожарные машины. Полиция. Толпы зевак.

— Что происходит? — спросил я у женщины.

— Отель горит!

Вот он — мой шанс. Я бросился в телефонную будку и набрал номер дежурной по городу. Ответил редактор.

* Шоу Эда Салливана — американское эстрадное телешоу (1948–1971), которое вел журналист Эд Салливан.

— Здравсьте, это Джей Ар Морингер! — сказал я. — Я здесь у «Пенты», и похоже, что отель объят пламенем!

— Кто это?

— Джей Ар Морингер. Новый копировщик. Я чувствую запах дыма.

— «Пента»... горит? Ты чувствуешь дым?

— Да, сэ. Жжет мне нос. Густой дым.

— Господи Иисусе! Хорошо, сейчас я тебя соединю с репортером. Скажешь ему, что ты видишь. Опишешь все в красках. Потом найдешь кого-нибудь, кто там главный. Боб, запишешь со слов парня, его зовут Джиллермо Вингер!

Меня соединят с корреспондентом. Как же мне повезло, что «Пента» загорелась! Мои дни беготни за бутербродами и сортировки копий сочтены. Редакторы немедленно организуют мне испытательный срок. Я не мог дожидаться, когда расскажу дяде Чарли и Стиву про свою удачу, сенсацию, материалы о «Пента»-огне, — это вызовет хохот в баре. Зная, что мужчины в баре захотят узнать мельчайшие подробности о пожаре, я стал наблюдать. Пожарники казались на удивление спокойными. Они стояли вокруг, смеялись и болтали. Полицейские тоже. Было такое ощущение, что никто не беспокоится. Я посмотрел на отель. Пламени не было. С другой стороны телефонной будки стояла тележка с кренделями. Продавец болтал с пожарниками и забыл про крендели. Они почернели, и от них отлетали серноокислые облачка дыма, который шел прямо ко мне в нос. Ой-ей-ей! Я повесил трубку и ринулся к пожарнику, у которого был самый большой шлем. Его физиономия так походила на кусок вареной ветчины, что он мог бы быть мэром Манхассета.

— Что здесь происходит, начальник? — спросил я. — То есть я хотел сказать — офицер! То есть я хотел узнать, что случилось? Меня зовут Джей Ар Морингер. Из «Таймс».

— Расслабься, парень. Все в ажуре. Это учебная тревога. Мы ее проводим раз в месяц.

— Гостиница не горит?

— Не-а.

— Это точно?

Услышав разочарование в моем голосе, пожарник наклонился ко мне, проверить, не собираюсь ли я осуществить поджог. Я вернулся к телефонной будке и набрал номер дежурного по городу. Ответил тот же редактор.

— Вингер! — сказал он. — Извини, связь прервалась. Должно быть, рассоединили, когда я пытался перевести звонок. Подожди, сейчас ты услышишь голос, это будет Боб. Он запишет с твоих слов.

— Уже не нужно.

— Что?

— «Пента», похоже, на самом деле... не горит. Совсем не горит.

— Что?

— Это учебная тревога.

— Что?

— Учебная тревога.

— Вингер, бога ради, ты сказал, что чувствуешь запах дыма.

— Верно. Когда я с вами говорил — забавно, честное слово, — я стоял возле тележки с кренделями. И крендели горели.

Я услышал, как редактор тяжело задышал, будто тоже вдохнул дым от кренделей. Он отдышался и закричал, чтобы Боб отошел. Я услышал, как он сказал: «Ложная тревога. Какой-то копировщик... в телефонной будке возле «Пенты»... крендели горели...» Я не слышал, что сказал Боб, но, судя по его тону, он был не очень доволен.

Редактор снова заговорил со мной:

— Спасибо за звонок. Спасибо, что заставил меня врываться, как идиоту, с ложной тревогой на собрание, где обсуждали передовицу. Исчезни на сегодня. Купи себе крендель, ладно, Господин Соленый?

Гудки.

Господин Солёный? Я надеялся, что это прозвище не приживется. Даже Джиллермо Вингер лучше, чем Господин Солёный.

Поезд на Манхассет сломался в грузовом парке сразу за Пенн-стейшн. Свет погас, и мы не двигались в течение двух часов. Сидя в темноте, я снова и снова вспоминал свой день. *Свист в отделе новостей навлекает беду, придурок! Купи себе крендель, ладно, Господин Солёный?* Когда поезд наконец тронулся, когда я очутился у входа в «Пабликаны», было около половины девятого, и я не вошел в дверь — я нырнул в нее.

Бар обслуживал Майкл, двоюродный брат Джо Ди, и я обрадовался. Майкл очень подходил для этой работы, идеальный бармен для моего настроения. Мне нужно было отвлечься, забить голову какими-то новыми темами, а Майкл поставлял новые темы оптом. Будучи единственным трезвым человеком в «Пабликанах» — он много лет не пил, — Майкл всегда четко мыслил и просто искрил интересными фактами и идеями, почерпнутыми из книг. Еще он был известен своей эксцентричностью, и этой эксцентричности я тоже завидовал. Он напоминал мне недавно ушедшего в отставку президента Гранта: грозного, бородатого, с бритой головой, которому до смерти хотелось выкурить сигару. Больше чем когда-либо мне сейчас хотелось посидеть с Генералом Грантом — я надеялся найти у него сочувствие. Не успел я усесться на табуретку, как Генерал Грант выскочил из-за стойки, как пробка из бутылки, и затараторил про Дональда Трампа, Каспара Вейнбергера*, Малыша Рута и Марлу Хэнсон**.

* Каспар Виллард Вейнбергер (1917–2006) — американский политик и министр обороны при президенте Рональде Рейгане.

** Марла Хэнсон — сценарист, в прошлом модель. В июне 1986 года она отвергла сексуальные домогательства владельца дома, где она снимала квартиру, который организовал на нее нападение, изуродовав ее лицо. Об этом в 1991 году вышел телевизионный фильм «История Марлы Хэнсон».

Джона Готта*, Карло Гамбино**, великого герцога Франца Фердинанда, «Ахилла Лауро»***, пробки на дорогах, кварки и истощение озонового слоя. Серный запах створевших кренделей начал рассеиваться.

В другой части бара работал Джо Ди. Я помахал ему рукой, но он смотрел сквозь меня как загипнотизированный. Он вовсю болтал со своей мышкой, только на этот раз было похоже, что мышка ему отвечает. Я спросил Генерала Гранта, что, черт возьми, случилось с его братцем.

— Джози здесь, — ответил тот, протирая стойку тряпкой.

— Только не это, — испугался я. — Она здесь? Сегодня? Он раздраженно кивнул.

Джо Ди недавно развелся с Джози, одной из официанток, и поскольку расстались они не любовно, расписание старательно составлялось таким образом, чтобы их смены не совпадали. В некоторые вечера, однако, из-за больничных или отпусков ничего нельзя было поделывать — Джози и Джо Ди вынуждены были работать бок о бок. В такие вечера Джо Ди был больше похож на владельца похоронного бюро, чем на бармена. Глядя, как Джози двигается между столами, он шепотом рассказывал клиентам, как нехорошо она с ним обошлась. В один такой памятный день, когда работала Джози, вокруг Джо Ди образовалось подобие бермудского треугольника. Люди подходили за выпивкой и пропадали — их засасывал водоворот печальной повести Джо Ди.

Дядя Чарли винил себя. Это они с Пат познакомили Джо Ди с Джози. Самая неудачная ставка в моей жизни, говорил

* Джон Ричард Готт — профессор астрофизики в Принстонском университете. Известен как автор двух космологических теорий с оттенком научной фантастики: «Путешествие во времени» и «Доказательство конца света».

** Карло («Дон Карло») Гамбино (1902–1976) — мафиози, ставший главой клана Гамбино, который и по сей день носит его имя.

*** «Ахилл Лауро» — пассажирский океанский лайнер, захваченный палестинскими террористами 7 октября 1985 года.

дядя Чарли всякий раз, когда Джо Ди стонал и жаловался на Джози. Другие бармены закатывали глаза за спиной у Джо Ди и отпускали шуточки про «Джози и затюканного ею бедолагу». Даже Стив, который любил Джо Ди, периодически терял терпение. Наконец он позвал Джо Ди в подвал и сказал ему, что пора повзрослеть. «Ты не можешь так вести себя в баре, — сказал Стив. — Люди от этого впадают в *депрессию*. Пора стать мужчиной, Джо Ди. Будь мужчиной». Когда я услышал, что Стив вызвал Джо Ди на ковер, я вздрогнул. Я предпочел, чтобы меня повесили, чем вызвали в подвал к Стиву слушать лекцию про то, как быть мужчиной.

Я не мог сказать ни Стиву, ни кому-либо еще, что полностью поддерживаю Джо Ди и сочувствую ему. Если бы я вынужден был работать с Сидни, я бы вел себя не лучше. Кроме того, я не мог плохо думать о Джо Ди, что бы тот ни делал. Я всегда испытывал к нему благодарность за то, что он был добр к нам с Макграу, что учил нас бодисерфингу и беспокоился за Макграу, когда тот заплыл слишком далеко. Также я знал, что Джо Ди присматривал за дядей Чарли. Джо Ди считал себя спасателем и телохранителем дяди Чарли. Переживал, что тот играет в азартные игры. Защищал дядю Чарли в любой барной перебранке. А после того, как дядя отработывал ночную смену за стойкой, Джо Ди оттирал за ним пятна и убирал лужи разлитого спиртного. «Чертов Чаз, — говорил Джо Ди, намывая стойку. — Когда он поймет, что хороший бар — это чистый бар?» Потом Джо Ди брал проволочную щетку и зачищал отметины на стойке — там, куда дядя Чарли шарахал бутылками в гневе или в приливе энтузиазма. Помоему, это была любовь.

Еще мне подсознательно нравилось — и я даже слегка завидовал этому, — как Джо Ди справляется со своим гневом. Если его сердце было разбито, он мог разбить пару голов. Он без извинений срывал свое раздражение из-за Джози на пьяных, которые устраивали беспорядки в «Пабликанах». Для Джо Ди заварушка в баре стала своего рода искусством. В драках он был тем, кем Хемингуэй в бое быков, — практи-

ком, знатоком и защитником. Однажды я спросил Джо Ди, в скольких драках он участвовал за свою жизнь, и он стал считать, медленно и восторженно, как Казанова, вспоминающий, сколько женщин у него было. «По меньшей мере в трех сотнях. И проиграл только одну. — Он помолчал, размышляя. — Хотя нет. То была ничья».

Однажды какой-то крепкий орешек, которого вышвырнули из «Публиканов», вырвал полено из ограды за баром и стал размахивать им в толпе. Джо Ди на лету выхватил у него полено, сломал его пополам об колено, а потом вырубил мужика. «Я не хвастаюсь, не поймите меня превратно, но это был самый, мать твою, крутой поступок в моей жизни». *Самый матьтвою крутой поступок в моей жизни.*

Главная хитрость в драке, сказал мне Джо Ди, расслабиться. Чтобы надрать кому-то задницу, нужно сначала расслабить собственную. Мягкий кулак, говорил он, жесткий удар. Это напоминало философию дзен, которую странно было слышать от простого деревенского увальня вроде Джо Ди. Самое расслабленное выражение на лице Джо Ди я видел в тот момент, когда он спасал меня от серьезнейшей драки в моей жизни. Это случилось, когда какой-то горлопан вступил в перепалку с дядей Чарли. Существовал длинный список прозвищ, которыми нельзя было называть дядю Чарли — Лысик, Полицай, Яичная Голова, Членоголовый, Голый Кумпол, Господин Чистюля, — а горлопан успел перечислить их все в своей возмутительной тираде. Я вышел вперед, чтобы заступиться за дядю, но грубиян схватил меня за рубашку и сжал кулак. От сломанного носа и полета в окно меня отделяли несколько секунд, и тут Джо Ди перескочил через стойку, как победитель открытого чемпионата США. Я никогда не забуду его лица — то же самое невозмутимое выражение, с которым он плыл на спине на пляже в Джилго, — когда он отправил горлопана в нокаут ударом, достойным МакЭнроя*.

* Джон Патрик МакЭнрой Младший (род. 16 февраля 1959 в Висбадене, Западная Германия) — американский теннисист, в прошлом лучший теннисист мира.

Я ушел от Генерала Гранта и отправился пить к Джо Ди. Я сидел возле него, пока он наблюдал за Джози и жаловался своей мышке. Вскоре нас прервала команда «Пабликанов» по софтбоу, ввалившаяся через черный ход. Они выиграли у «Килмид» благодаря великолепной игре Атлета. Я разглядел победную ухмылку на перепачканном грязью лице Атлета, несмотря на низко надвинутый козырек кепки. Он выглядел так, будто только что вернулся с успешного задания. Его козырек всегда напоминал мне шлем с сеткой, а софтбольная бита, которую он нес, была похожа на М60. Я пожал его руку и почувствовал, как тестостерон разошелся по моим венам.

— Купить тебе пива? — предложил я.

— Так вот что выпускники Лиги Плюща называют *рито-рическим* вопросом, — хмыкнул он.

Он спросил, как мои дела на новой работе, и я рассказал ему про то, как звонил из телефонной будки возле тележки с кренделями. Я не знал, зачем я говорю ему все это. Может быть, мне хотелось, чтобы меня пожалели. Я запомнил, что Атлет не мастер сочувствовать.

— Джиллермо Вингер? — закричал он, смеясь и колотя своей битой по полу. — Господин Соленый? Это круто! Это просто офигенно! — Он хохотал так громко, что у него мог случиться приступ астмы. — Тебя, наверное, пополам от смеха скрутило из-за этого крендельного пожара.

И тут я тоже начал смеяться.

— Ну да, я позвонил из-за того, что горели крендели. Что тут такого?

Наверное, не такой уж я неудачник, если смог рассмешить столь крутого парня, как Атлет, так, что у него поджилки тряслись. Теперь мы оба хохотали, хлопали по стойке, мутузили друг друга, и, когда я стукнул Атлета по спине, ощущение было такое, что я ударил по стойке. Чистый дуб. Он не прогибался под ударом.

Когда Атлет наконец отдышался, вытер глаза и сделал глоток пива, он предложил мне расслабиться. Ошибки ошибкам рознь. В армии Атлет как-то случайно взорвал вертолет.

Он стрелял из миномета на учениях по стрельбе, и вдруг миномет засорился. Атлет потряс его, и тут... раздался свистящий звук — эта чертова хреновина выстрелила. На взлетной полосе стоял вертолет без пилота.

— Бум, — сказал Атлет. — Я все еще должен Дяде Сэму что-то порядка шести штук за ту хреновину.

Пришло время оставить все эти бессмысленные разговоры и побеседовать о том, что действительно имело значение: о главном событии вечера, о софтбольшном матче. Остальные игроки собрались вокруг нас, и мы все буквально повисли на Атлете, как игрушки на рождественской елке, пока он рассказывал о победе. Кто-то сделал комплимент по поводу его искусного удара в третьей базе. Пустяки, ответил Атлет с притворной стеснительностью. Больше, чем своей игрой на поле, он гордился одним приколом Стива. После нескольких ударов в «дом», рассказывал Атлет, все мячи упали в пруд за оградой. Атлет крикнул Стиву: «У нас мячи кончаются, нужно вытащить те, что упали в пруд, — ты взял с собой жердь?» — «Не-а, — ответил Стив, — она придет позже с детьми». Стив говорил о своей жене Джорджетте, урожденной Залески. Атлету пришлось объявить тайм-аут до тех пор, пока они со Стивом не прекратили смеяться.

Я оставил Атлета и вернулся к стойке Генерала Гранта. Теперь он был поглощен разговором с банкиром, одетым в синий костюм в елочку, — по всей видимости, процветающим мужчиной за пятьдесят с сединой в усах, которые, казалось, выросли специально для того, чтобы оттенять его черно-белый галстук. Они оба курили сигары, обсуждали гражданскую войну, и я подумал, что разговор на эту тему зашел потому, что Генерал Грант был так похож на генерала Гранта. Но оказалось, что гражданская война — конек банкира. Он рассказал мне и Генералу Гранту некоторые малоизвестные детали о битвах при Шило, Антьетаме и Геттисберге. Он также сказал, что Линкольн в молодости управлял баром и спал в задней комнате.

— Ты это знал? — спросил я у Генерала Гранта.

— Кто же этого не знает? Еще у Линкольна был ликероводочный завод. Там производили очень мягкий кентуккийский бурбон.

Меня перехватил Кольт.

— Ты думаешь, ты очень умный? Так вот тебе. Сколько врагов Бэтмена ты можешь назвать? Должно быть три дюжины, а я знаю только десять. — Он сунул мне листок бумаги.

Я собирался было пошутить, как странно то, что мишка Йоги составляет список злодеев из комиксов про Бэтмена, но Кольт спрашивал настолько искренне и серьезно, что я попридержал язык и взглянул на то, что он уже написал. Джокер, Риддлер, Паззлер, Кинг Тут. Это напомнило мне список имен, которыми нельзя было называть дядю Чарли.

— Как насчет Книжного Червя?

— Книжный Червь! — закричал Кольт, стукнув себя по лбу. — Я забыл про Книжного Червя!

Появился дядя Чарли. Открывая новую пачку «Мальборо», он попросил у Генерала Гранта водки с клюквенным соком, потом прижал руку к виску.

— Джей Ар, — обратился он ко мне. — Я сегодня читал и наткнулся на слово «выводковый». Что это значит?

Я пожал плечами.

Дядя Чарли попросил «Книгу слов». Генерал Грант порылся за стойкой и достал с полки красивый старинный том, который все называли «Книгой слов», часто восторженным шепотом, будто это была «Келлская книга». Генерал Грант положил книгу перед дядей Чарли, тот пролистал ее и объявил, что «выводковая» означало «покидающая гнездо вскоре после высидивания яиц». Он пришел в восторг от этого толкования. Теперь я сидел между дядей Чарли и Банкиром, мы говорили о словах, пиво было прохладным, а я — так счастлив, что мне даже не хотелось двигаться. Но мне нужно было в туалет.

В мужской уборной я решил, что у меня галлюцинации. Оба писсуара были переполнены денежными купюрами. Пятерки, банкноты по доллару и по двадцать пять. Вернувшись в бар, я задал об этом вопрос дяде Чарли. Тот нахмурился.

— Эту ерунду придумал Дон.

Дон, адвокат с принстонским дипломом, работавший в городе, был одним из самых старых друзей дяди. Несколько дней назад, сказал дядя Чарли, Дон решил, что, если он будет отмечать каждый раз, когда приходит отлить, это создаст ему положительную карму.

— Что-то вроде задабривания богов мочеиспускания, — подытожил дядя Чарли со вздохом. — В общем, не важно, теперь это все делают. Новая традиция.

— Люди загадывают желание, кидая туда деньги? Как монетки в фонтан?

— Откуда я знаю? Господи, ну и вопрос. Но я тебе вот что скажу. Дон тщательно отслеживает и записывает, сколько денег накопилось, прежде чем какой-нибудь придурок не запустит туда руку и не выловит их. И кто-нибудь в конце концов их вытаскивает. Человеческая натура, понимаешь. Вот тебе и «грязные деньги».

Бармены не очень-то радовались фонду Дона, добавил дядя Чарли. У них была параноя, что кто-нибудь им заплатит деньгами из писсуара, и, поскольку все знали, что бармены настороженно относятся к мокрым купюрам, скряги и пройдохи мочили свои купюры под краном, прежде чем положить на стойку.

— Попробуй заплатить мокрой пятеркой, — процедил дядя Чарли сквозь зубы, — и, скорее всего, тебя обслужат за счет заведения.

Я расхохотался, обнял дядю Чарли за шею и сказал ему, что чувствую себя великолепно. Нет, даже лучше, чем великолепно. *Вел-л-л-ликоленно*. Еще недавно я чувствовал себя далеко не лучшим образом, но теперь все было великолепно. Почему? Потому что «Пабликаны» отвлекли меня. Ведь всем нам порой нужно отвлечься, правда? Но дядя Чарли меня уже не слышал, потому что внезапно между нами возник Дон.

— Господи Иисусе, — сказал дядя Чарли, — только вспомни черта. Мы как раз о тебе говорили.

Он представил меня Дону, который оказался такого же возраста и роста, как дядя Чарли. Этим сходство ограничивалось. Дядя Чарли когда-то говорил, что в молодости Дон занимался борьбой, и это было видно по его сложению. Также я заметил, что у Дона самое открытое и дружелюбное лицо во всем баре — с высокими бровями и ярким румянцем красных прожилок на каждой щеке, как у игрушечного деревянного солдата. Он казался таким милым, что его невозможно было не любить, и я понял, почему дядя Чарли о нем столь высокого мнения.

Я сказал Дону, что как раз говорил дяде Чарли про «Публиканы», про то, как они удовлетворяют человеческую потребность отвлечься. Вовремя отвлечься — очень важно, объяснил я Дону, и тот ответил, что полностью со мной согласен. Он рассказал мне, как бар помогал ему отвлечься в самые разные тяжелые периоды его жизни, особенно несколько лет назад, после развода, когда он нашел здесь лучшее средство от депрессии. Затем наше внимание неожиданно привлек Банкир, который произносил очень интересную речь о нездоровой любви Линкольна к «Макбету».

— Эта пьеса была ему близка из-за его любви к затмениям, — сказал Банкир.

— Линкольн верил в предзнаменования, — заметил Генерал Грант.

— А кто же в них не верит? — хмыкнул дядя Чарли.

— Линкольн читал «Макбета» за несколько дней до того, как его убили, — продолжил Банкир. — Вы это знали? Можете себе представить, как он сидит в своем цилиндре и читает про «убийство, подлое, как все убийства», прямо перед тем, как его должны убить?

— Ты думаешь, на нем была шляпа, когда он читал? — вмешался Дон. — Не может быть, чтобы Линкольн читал в цилиндре.

— Тебе бы пошел цилиндр, — сказал Банкир дяде Чарли. Представив дядю Чарли в цилиндре, все громко рассмеялись.

— Господи, как я скучаю по своим волосам, — ни с того ни с сего вздохнул дядя Чарли. Дон похлопал его по руке.

— Эй, Кольт! — крикнул кто-то с другого конца бара. — Я только что вспомнил еще одного злодея из «Бэтмена»! Король Часов!

— Молодец, — сказал Кольт, добавив имя в список.

— Как насчет Господина Соленого?

— Нет, — отмел это предложение дядя Чарли. — Не было там Господина Соленого.

— Совершенно верно, — согласился я. — Совершенно верно.

31 | АЛАДДИН

В тот год в День благодарения я работал двойную смену и когда добрался до дедушкиного дома, от ужина не осталось и крошки. Дома было темно. Двоюродные сестры спали. Я дошел до «Пабликанов» и увидел там толпу народу. Вечер Дня благодарения всегда был самым многолюдным вечером в баре: жители города собирались там после ужина, а те, кто когда-то жил в городе, возвращались, ища встречи с бывшими возлюбленными и старыми друзьями.

Прямо в дверях я столкнулся с ДеПьетро, моим одноклассником из школы Шелтер-Рок. Я не видел его много лет. Он работал во Всемирном торговом центре, как он сказал, брокером казначейских облигаций. Он спросил, как я провел День благодарения.

— День благодарения? — переспросил я.

— Что, даже индейки не поел? — удивился ДеПьетро.

Я покачал головой.

— Плохо выглядишь, дружище. Ты похож на мужчину, которому помогли бы «Шелковые трусики».

«За штурвалом» был Кольт, и ДеПьетро попросил его смешать немного «Шелковых трусиков». Когда я поинтере-

совался, что такое «Шелковые трусики», ДеПьетро и Кольт замахали руками, будто я не был должен забивать себе голову такими мелочами.

— Салют, — сказал Кольт, выливая прозрачную жидкость из графина в стакан для виски. Несмотря на прозрачность, она лилась медленно, как сироп.

— На вкус напоминает замороженные персики, — сказал я, потягивая напиток.

— Эта штука тебе все персики отморозит, я обещаю, — сказал Кольт.

— Мне нужно что-нибудь съесть, — попросил я. — Не слишком поздно попросить Вонючку сделать мне бургер?

ДеПьетро настаивал, чтобы я немедленно поехал с ним домой к его родителям. У него для меня был сюрприз. Сил сопротивляться у меня не осталось. «Шелковые трусики» ударили в голову, как коктейль из валиума. ДеПьетро с безумной скоростью проехал через Манхассет-Вудз и резко притормозил у высокого дома в стиле Тюдоров, который показался мне знакомым. Я подумал, что в детстве, возможно, я заглядывал в его окна. ДеПьетро провел меня через черный ход в безупречно чистую кухню и наполнил мне доверху тарелку остатками ужина: индейкой, фаршированной грецкими орехами, и куском тыквенного пирога. Пока я угощался, ДеПьетро рассказывал мне истории, незабываемые истории, в том числе об одном его знакомом парне, который побил рекорд по гольфу в клубе «Пландом кантри» за неделю до того, как ему исполнилось восемнадцать. Выпятив грудь, парень показал свой результат профессионалу, а тот попросил его убраться: чтобы установить рекорд, нужно быть восемнадцатилетним. Через неделю утром в день своего восемнадцатилетия парень вернулся в клуб, позвал мальчика, приносящего мячи, потом пошел и снова побил рекорд. Показав профессионалу свою карточку с результатами, он сказал, что тот может засунуть ее себе в задницу. «Его удар в девятую лунку был произведением искусства, — сказал ДеПьетро. — Кто-то мне говорил, что последний мячик он забил с расстояния сорока дюймов, шельмец».

Я сообщил ДеПьетро, что отдал бы все на свете — кроме этой тарелки с едой, стоявшей передо мной, — за подобную уверенность в себе.

Наевшийся досыта и довольный, я вернулся с ДеПьетро в «Пабликаны» и выпил еще «Шелковых трусиков», а в три часа утра я выпал из его БМВ с откидывающимся верхом на площадку перед дедушкиным домом, перечислив все, за что я благодарен жизни, а именно: ДеПьетро, «Шелковые трусики» и «Пабликаны» — последнее, как потом божился ДеПьетро, я произнес как «Пирог-аны».

По прошествии нескольких недель я сидел в баре с Атлетом и рассказывал ему, что работаю над новой теорией о «Пабликанах». На День благодарения мне было голодно и одиноко? В «Пабликанах» меня накормили. У меня была депрессия из-за Господина Соленого? «Пабликаны» отвлекли меня. Я всегда думал о «Пабликанах» как о приюте, но теперь верил, что этот бар — нечто другое.

— «Пабликаны» — это лампа Аладдина Лонг-Айленда, — сказал я. — Загадай желание, потри руку о стойку бара — готово. Аладдин все исполнит.

— Погоди-ка, — остановил меня Атлет. — Аладдин — это парень, который потерял лампу, или джинн внутри лампы?

— Какая разница!

— «Пабликаны» исполняют желания? — Атлет поднял глаза и сказал, обращаясь к стропилам: — Я хочу, чтобы в Бельмонте первой пришла четвертая лошадь в седьмом забеге.

Дядя Чарли фыркнул.

Мужчина в роскошном верблюжьем пальто вошел в бар и спросил, о чем мы разговариваем.

— Об Аладдине, — ответил Атлет.

— Да, — сказал мужчина, одобрительно улыбаясь. — Он был великолепен в «Шейн».

— Ты имеешь в виду Алана Лэдда*, — уточнил Атлет.

* Алан Волбридж Лэдд (1913–1964) — американский актер, сыгравший главную роль в вестерне «Шейн».

Женщина с кричаще-желтыми, как полицейская лента, волосами услышала наш разговор.

— Я обожала это шоу! — закричала она.

— Какое шоу? — спросил Атлет.

— «Пароль».

— Это шоу с Алленом Ладденом*, — кивнул Атлет.

— Аллен Ладден осуществляет желания? — спросил мужчина в пальто.

— Конечно, — сказал Атлет. Затем наклонился ко мне и пробормотал: — Пароль: «придурки».

Я спросил дядю Чарли, что он думает о моей теории про «Пабликаны» — Аладдина.

— Единственный Аладдин, который меня волнует, находится в Вегасе, — сказал дядя.

Когда в тот вечер народ стал прибывать в бар, я напомнил дяде Чарли о том, что «Пабликаны» становятся все многочисленнее и многочисленнее день ото дня. Каждый вечер был как День благодарения.

— Ты даже не представляешь, — сказал дядя. — Ты представить себе не можешь, как много здесь выпивают за неделю. Миссисипи «Мичелоба», Гурон «Хайнекена».

— Гурон или Понтчартрейн? — уточнил Атлет.

— А что больше? — спросил дядя Чарли.

— Больше Понтчартрейн. Я думаю, ты хотел сказать Понтчартрейн?

— Да я бы никогда в жизни не сказал Понтчартрейн!

Рекордным прибылям той осенью бар в некоторой степени был обязан Уолл-стрит. Фондовый рынок поднимался, что принесло большие выручки почти каждому бару во всех трех штатах вокруг столицы. Но настоящим виновником стремительного подъема «Пабликанов», по мнению дяди Чарли и других барных мудрецов, был Стив. Благодаря ему в бар по-прежнему стягивались люди — по причинам, которые не объяснишь словами.

* Аллен Ладден (1917–1981) — американский телеведущий.

** Понтчартрейн — второе по величине озеро с соленой водой в США.

— Поэтому шеф расширяется, — сказал дядя Чарли. — Это между нами. Сечешь? Все еще не до конца решено. Он открывает еще одно заведение в городе, вторые «Пабликаны», на Саут-стрит Сипорт. — Заметив мою реакцию, дядя округлил глаза: — Ты еще ничего не видел?

Я не знал, где находится Саут-стрит Сипорт, и мое невежество было только на руку дяде Чарли. Мало от чего он получал столько удовольствия, как от рисования карт на коктейльной салфетке. Будучи барным картографом, он нарисовал мне сложную диаграмму Нижнего Манхэттена — порт здесь, финансовый район там — и пометил синим крестиком место, где будет находиться новый бар Стива — «Пабликаны на пирсе». Он будет располагаться на семнадцатом пирсе, а его огромная стеклянная стена будет выходить на Бруклинский мост. Замечательный вид, сказал дядя Чарли. Замечательное место. Много пешеходов. В соседнем здании находился популярный ресторан, которым владел защитник Даг Флюти*, а меньше чем в двадцати футах была волшебная столетняя двухмачтовая шхуна — плавучий морской музей.

— Это в полквартале от Уолл-стрит, — сказал дядя Чарли, — и, может быть, в полумиле от Всемирного торгового центра. Если не меньше. Так же близко к башням, как наш бар к церкви Святой Марии.

Не все считали, что «Пабликаны на пирсе» такая уж замечательная идея. Когда стало известно о новом предприятии Стива, многие в Манхассете признались, что не понимают, зачем Стиву эта головная боль. Он уже владел целым кварталом на Пландом-роуд, где располагались «Пабликаны». Он был самым популярным пабликаном в истории Манхассета, что говорило о многом, учитывая статус Манхассета как алкогольной Валгаллы. Эти ретрограды считали, что Стив как Америка — большой, богатый, сильный, вызывающий восхищение. Ему нужно сидеть дома, говорили они, считать

* Даг Ричард Флюти (род 1962) — в прошлом защитник, игравший в американских и канадских футбольных командах.

деньги и не высовываться. Если внешний мир хочет что-то предложить Стиву, то пусть этот мир сам к нему идет.

У меня было ощущение, что противники нового бара просто не хотят делить Стива с окружающим миром. Они заранее ревновали его к манхэттенской публике — всем этим «шишкам», аристократам, крутым ребятам, которые вскружат Стиву голову и уведут его. Когда Стив станет вторым Тутсом Шором, всемирно известным ресторатором, выпивающим со знаменитостями и водящим дружбу с мэрами, зачем ему будут нужны простые парни? Когда «Пабликаны на пирсе» станут популярным местом, «Пабликаны» в Манхассете превратятся во второсортный бар.

В первые месяцы 1987 года противники нового бара оказывались правы. Стив больше не появлялся. Он все время мотался в город, участвовал в переговорах, подписывал контракты, руководил начавшимся строительством. «Все чаще и чаще мы видим Стива все меньше и меньше», — уныло сказал дядя Чарли.

Без чеширской улыбки Стива бар стал казаться намного мрачней.

В отсутствие Стива мы разговаривали о нем, произносили хвалебные речи в его честь, будто он умер. Но чем больше мы говорили о Стиве, тем больше я осознавал, что совсем не знаю его. Самый популярный человек в Манхассете, Стив был самым непонятым. Люди всегда рассказывали о том, какое влияние он на них оказал, но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь описал его качества. Каждому казалось, что он имеет права на Стива, но все знали о нем только несколько избитых фактов. Он любил хоккей. Обожал «Хайнекен». Жил ради софтбола. Его настроение резко улучшалось, как только он слышал музыку ду-воп*. И он от души радовался хорошему

* Ду-воп (doo-wop) — название стиля, популярного в Америке в 50-х, происходит от слов «ду-воп», подпеваемых бэк-вокалом солисту. Относится к традиции негритянского гармонического пения. Отличительная черта стиля — вокальное исполнение без музыкального сопровождения, то есть а капелла.

каламбур. Мы все знали и пересказывали известные истории про Стива. Например, как он пил всю ночь напролет, а потом сел за руль своего красного «Шевроле-51» и устроил гонки с какими-то панками, — Джеймс Дин* манхассетского разлива. Мы смеялись его коронным фразам. Каждый раз, когда его спрашивали, чем он занимается, он сухо отвечал: «Я независимо богат». Когда ему задавали вопрос, в чем секрет управления баром, он говорил: «Люди приходят в пивную за оскорблениями, и я даю им желаемое!» Каждый раз, когда бармен спрашивал, обслуживать ли его очередную пассию бесплатно, Стив говорил: «Она еще не заслужила повышение в звании».

Дядя Чарли заметил, что, как ему кажется, самое главное в Стиве — его улыбка. Каждый раз, когда Стив входил в «Пабликаны», он дарил посетителям свою улыбку. Люди, бывало, ждали его весь день, сгорая от нетерпения рассказать какую-нибудь историю Стиву и получить в награду одну из его улыбок.

Я в очередной раз выдвинул свою теорию. Я носился со своей метафорой про Аладдина и «Пабликанов», как пес с тряпкой. Я заявил, что все стремятся к Стиву, потому как он — Аладдин и дает людям то, чего они хотят.

— По-моему, желания исполнял не Аладдин, — сказал дядя Чарли с сомнением, почесав мочку уха. — Я думаю, Аладдин был парнем, который написал сказку о лампе и джинне.

В конце концов я пошел в библиотеку Манхассета и взял томик «Тысячи и одной ночи». Я сел с книгой у стойки и выяснил, что Аладдин — это имя безродного нарня, героя сказки. Еще мне стало известно, что однажды волшебник, которого парень считал своим дядей, послал его в пещеру принести «волшебную лампу», а потом закрыл вместе с лампой в пещере. Там Аладдин случайно дотронулся до кольца у себя на руке, которое дал ему волшебник, и таким образом вызвал джинна, предложившего исполнить любое его желание.

* Джеймс Дин (1931–1955) — американский актер, известный по фильму «Мятеж без причины».

Я рассказал все это дяде Чарли, и у нас разгорелся безумный спор о том, кем является Стив — лампой или джинном. Я упорно утверждал, что «Пабликаны» — лампа, а Стив — джинн, а также источник света. Без Стива мы бы слонялись по темному и унылому бару.

Позже я заговорил о своей теории с Далтоном и ДеПьетро, с восторгом поведав им о том, что Аладдин может стать ключом к моему роману о «Пабликанах». Я напишу современную версию «Арабских ночей» и назову ее «Пабликанские ночи». ДеПьетро не слушал, потому что пытался закадрить женщину, которая, как все знали, была слегка не в себе. Ее он тоже не слушал, а только притворялся — замечательно притворялся, потому что женщина была настолько же нудной, насколько сумасшедшей, и каждое предложение заканчивала фразой «как в книгах пишут». Далтон слушал меня вполуха, погрузившись с головой в сборник Эмили Дикинсон. На стойке лежала папка со стихами, которые Далтон написал о «Пабликанах», включая несколько стихов о дяде Чарли.

— Черт, Аладдин, — сказал Далтон, — послушай вот это.

Он прочитал мне «Бывает еще более одиноко». Мы поговорили о Дикинсон, потом о поэтессах, потом вообще о женщинах. Я рассказал Далтону, что заметил, как он смотрит на красивую женщину, которая вошла в бар, — не с вожделением, а с восторгом.

— Ты очень наблюдателен, — ответил он. — Женщины не любят, когда на них смотрят плотоядно, им нравится, когда их разглядывают с восхищением.

— Правда? — поинтересовался дядя Чарли. — Потому что я нахожу это утомительным.

Я рассказал о Сидни и с ужасом узнал, что у Далтона была своя собственная Сидни, женщина, которая разбила ему сердце и теперь стала эталоном, с которым сравнивались все последующие женщины. У каждого мужчины, заверил меня Далтон, есть своя Сидни. Впервые я услышал в его голосе грусть.

— Эмили знала об этом, — сказал он, размахивая книжкой. — Безумная ведьма, которая предпочитала одиночество ужасам любви.

ДеПьетро отвлекся от своей девушки и посмотрел на портрет Дикинсон на обложке книги.

— Да тут смотреть-то особо не на что, — заметил он.

— Кислая у нее физиономия, как в книгах пишут, — сказала его пассия.

— Она была ангелом, — возразил Далтон. — Подумай только, какая чувственность. Представь эту сдержанную страсть. Дорого бы я дал, чтобы попасть в прошлое и поймать эту маленькую стерву. Хорошенько с ней поразвлечься. Вы меня понимаете?

— Если кто и смог бы закадрить девственницу, затворницу и старую деву в Новой Англии в девятнадцатом веке, — сказал я, — то только ты. И если «Пабликаны» — лампа Аладдина, то я бы пожелал иметь хоть каплю твоей власти над женщинами.

— Власть, — объяснил мне Далтон, — это осознание того, что мы против них бессильны, Придурок. Кроме того, ты все неправильно понял. Скорее, мы говорим бару, чего хотим, а бар, как волшебная лампа, освещает то, что нам нужно.

— Лампа — это *Стив*, — сказал я.

— Я думал, что Стив — это джинн, — возразил ДеПьетро.

— Стив — это свет, — настаивал Далтон.

Мы посмотрели друг на друга, сбитые с толку. ДеПьетро снова повернулся к своей девушке, Далтон вернулся к Эмили, а я повернул лицо к двери, ожидая следующего подарка бара — женщины. Я молился, чтобы это была женщина. Я знал, что это будет женщина. Идеальная женщина. Женщина, которая спасет меня. Во мне была непоколебимая вера в бар и в мою теорию. И в женщин.

Но Далтон был прав. Бар не хотел осуществлять желания, он удовлетворял наши потребности, а в тот момент мне нужна была не женщина, а друг определенного рода. Через несколько дней в «Пабликаны» вошел крупный мужчина,

поздоровался, ни к кому не обращаясь, и уселся рядом с автоматом с сигаретами. Он был на два фута выше автомата, а его плечи — на несколько дюймов шире. Я решил, что ему хорошо за тридцать. Заказав коктейль «Отвертка», он уставился перед собой, ни на кого не глядя, как агент секретной службы, ожидающий президентский кортеж.

— Кто такой этот мамелюк? — прошептал я дяде Чарли.

— Мамелюк, — повторил дядя Чарли. — Хорошее слово.

Я согласился, хотя точно не знал, что оно означает.

Дядя Чарли сузил глаза и взглянул на автомат с сигаретами:

— Ах да, точно, он при исполнении.

Я замотал головой, не понимая, что он имеет в виду.

— Коп, — объяснил дядя Чарли. — Легавый. Полиция Нью-Йорка. Недавно купил дом у подножия одного из этих холмов. Хороший парень. Очень хороший парень. — Он понизил голос. — Есть тут одна история.

— Что такое?

— Я не имею права рассказывать. Но он очень крут.

Мужчина подошел к нам.

— Привет, Чаз, — поздоровался он.

— А, — сказал дядя Чарли. — Боб Полицейский, позволь представить тебе моего племянника, Джей Ара.

Мы пожали друг другу руки. Дядя Чарли извинился и юркнул в телефонную будку.

— Ну что ж, — сказал я Бобу Полицейскому, замечая, что во рту у меня ни с того ни с сего пересохло. — Дядя говорит, что ты офицер полиции?

Тот осторожно кивнул, будто говоря раздающему карты при игре в очко: «Дай мне еще одну».

— Ты на каком участке работаешь?

— У пристани.

Целую минуту мы оба молчали.

— А ты чем занимаешься? — спросил он.

Я прочистил горло:

— Я копировщик.

Боб нахмурился. Я сотни раз называл себя копировщиком, но сейчас впервые осознал, как нелепо это звучит. Не многие названия профессий звучали так незначительно. Что-то из разряда «посыльный», «разносчик газет», «помощник конюха». Увидев реакцию Боба, я пожалел, что не назвался оператором копировальной машины. Или хотя бы сотрудником по сортировке копий.

Но неприятным Бобу Полицейскому показалось вовсе не название моей должности.

— Я не большой поклонник газет, — сказал он.

— Правда? Что ж, а я побаиваюсь полицейских, поэтому, думаю, мы просто созданы друг для друга.

Никакой реакции. Прошла еще минута. И опять я прочистил горло.

— А почему ты не любишь газеты?

— Про меня как-то написали в газете. Было не очень приятно.

— Почему про тебя написали?

— Длинная история. Посмотри как-нибудь в архиве.

Он пошел сделать взнос в фонд Дона.

Вернулся дядя Чарли.

— Твой друг, — сказал я ему, — очень немногословен.

— Да, он скуп на слова, — подтвердил дядя Чарли.

— Он вообще молчит.

— Мне это нравится. Люди слишком много болтают.

Боб Полицейский вернулся. Я улыбнулся. Он не ответил на мою улыбку.

Полвечера у меня ушло на то, чтобы сообразить, на какую кинозвезду похож Боб Полицейский. (У меня было полно времени на размышления, так как паузы каждый раз длились по несколько минут.) Наконец я вспомнил — на Джона Уэйна*. Не столько лицом, сколько фигурой и формой черепа. У него было тело Джона Уэйна — широкий торс без бедер — и непропорционально большая прямоугольная

* Джон Уэйн (1907–1979) — американский актер, удостоенный «Оскара». Символ мужественности.

голова Уэйна, которая, казалось, заточена специально под ковбойскую шляпу. Если надеть ковбойскую шляпу на голову Боба Полицейскому, подумал я, он даже не вздрогнет. Он просто протянет руку, дотронется до полей и скажет: «Привет». Он даже нес свое тело так, как Уэйн, слегка покачивающейся походкой, которая давала понять: *«Все апачи мира не смогут захватить этот форт»*. Я почти ожидал, что он вскочит на барную табуретку, как в седло, пока он не уселся на нее.

Выпив и увидев в моем лице внимательного слушателя, тихоня даже рассказал мне несколько историй — одни из самых замечательных, которые я когда-либо слышал в «Пабликанах». Боб Полицейский обожал истории, и работа у него была подходящая. Истории проплывали мимо борта его полицейской лодки ежедневно, особенно весной, когда вода становилась теплой и трупы выскакивали на поверхность, как пробки. Поплавки, называл их Боб Полицейский. Во время первых нежных апрельских дней, когда все думают о возрождении и обновлении, работа Боба Полицейского заключалась в том, чтобы вылавливать специальным крючком трупы из липкой грязи. Убитые в перестрелках бандиты, самоубийцы, пропавшие без вести, — бухты и реки кишмя кишели трагедиями, и Боб говорил о них и говорил, потому что так ему становилось легче.

Все посетители «Пабликанов» были хорошими рассказчиками, но никто из них не обладал способностью Боба Полицейского удерживать внимание. Отчасти это мы слушали его из-за страха. А вдруг он врежет нам, если мы перестанем слушать? Но дело было не только в страхе перед Бобом, но еще и в его особенной манере рассказывать, напоминающей немногословный стиль Хемингуэя. Боб Полицейский не терял попусту ни времени, ни сил. Он описывал сцены и героев, задействовав минимальное количество слов, интонаций и выражений лица, потому что, как и Хемингуэю, ему не нужно было ничего приукрашивать. Боб Полицейский говорил неизменно монотонным голосом, при этом лицо его оста-

валось совершенно невозмутимым, что тоже создавало чувство неопределенности, присущее данному жанру. Никогда нельзя было угадать, трагедию описывает Боб Полицейский или комедию, пока он сам не давал это понять. И, наконец, завершающим штрихом был его резкий нью-йоркский акцент. Его голос как нельзя лучше подходил для описания дна общества, с которым он имел дело, населенного проститутками и мошенниками, порочными политиками и наемными убийцами, похожего на преисподнюю из комиксов, где кто-нибудь всегда допускал ошибку, которая дорого обошлась другому. Описывал ли Боб Полицейский крушение самолета над Вест-Ривер из-за ошибки пилота или идиотскую оплошность секретного агента, упустившего серийного преступника, его акцент всегда приходился к месту.

Моими любимыми историями, однако, были рассказы о его детях. Он поведал мне, как взял своего пятилетнего сына с собой в полицейскую лодку. Предполагалось, что это будет не очень суматошный день, но в реку упал вертолет, и Боб Полицейский поспешил на место катастрофы вытаскивать из воды оставшихся в живых пассажиров. Вечером того же дня, когда Боб Полицейский пришел подоткнуть сыну одеяло перед сном, мальчик был расстроен. «Я не хочу больше ходить с тобой на работу», — сказал ему сын. «Почему?» — спросил Боб Полицейский. «Потому что я не могу спасать людей». Боб Полицейский задумался. «Давай договоримся так, — сказал он сыну. — Ты будешь приходить ко мне на работу, а если случится что-нибудь плохое, я буду спасать больших людей, а ты — маленьких».

Когда Боб Полицейский перестал рассказывать и повернулся, чтобы послушать кого-то еще, я обратился к дяде Чарли.

— Боб Полицейский *действительно* хороший парень, — сказал я. — Действительно хороший.

— Я никогда не вру, — отвечивал дядя.

— Так что за история с ним приключилась?

Дядя Чарли прижал палец к губам.

Дядя Чарли задолжал кому-то кучу денег, такую большую сумму, что едва мог платить вигориш*.

— Что такое «вигориш»? — спросил я у Атлета.

Тот снял кепку и почесал свои рыжие волосы.

— Это как процент по карточке «Виза». Только «Виза» не переломает тебе коленные чашечки, если ты пропустишь платеж.

Дядя Чарли и так, из-за того, что у него болели колени, ходил, как фламинго. Я не мог себе представить, как он будет ходить, если столкнется на крутой дорожке со своими кредиторами. Со слов Шерил, которая расспросила ребят в баре, дядя Чарли задолжал гангстеру сто тысяч долларов. Джо Ди сказал, что где-то половину этой суммы и что кредиторы дяди Чарли не гангстеры, а всего лишь местный синдикат. Интересно, подумал я, в чем разница? И не имеет ли это отношение к тому человеку с наждачным голосом?

Я беспокоился из-за долга дяди Чарли, и особенно меня тревожило то, что сам он отказывался волноваться. Он суетился за барной стойкой и напевал под музыку ду-воп, звучащую из стереосистемы. Как-то вечером я смотрел, как дядя танцующей походкой вышел из-за стойки и протанцевал через весь бар — этаким фламинго, исполняющий танго, — и я подумал, что понимаю его. Потеряв свои волосы и Пат, дядя Чарли больше не искал стабильного счастья — карьеры, жены, детей, — а просто пытался найти небольшие причины для радости. А беспокойство и любые благоразумные мысли, которые могли помешать этим всплескам радости, он просто игнорировал.

Этот принцип радости любой ценой был не только заблуждением, но также стал причиной неосторожности. Двое переодетых полицейских, посланных по чьему-то навету, просидели в баре неделю, наблюдая, как дядя Чарли ве-

* Вигориш — комиссионные букмекерской конторы.

дет свой бизнес оживленнее, чем маклер торговой биржи. Смешивая коктейли, дядя Чарли принимал ставки и делал телефонные звонки. В конце недели полицейские пришли домой к дедушке, на этот раз в форме. Дядя Чарли лежал на «двухсотлетнем» диване. Увидев, как они прошли по дорожке перед домом, он встретил их у двери.

— Вы нас помните? — спросил один из полицейских через сетку.

— Конечно, — сказал дядя Чарли, спокойно прикуривая сигарету от зажигалки «Зиппо». — Виски с содовой, «Сиграм» и «Севен». Как дела?

Его увели в наручниках. Несколько дней дядю Чарли допрашивали, пытаясь узнать имена его начальников и помощников. Когда распространилась новость о том, что он никого не выдал, что не назвал полицейским ни одного имени, в тюрьму стали присылать подарки. «Мальборо», газеты, подушки на гусином пуху. Также приехал дорогой адвокат, чьи услуги были оплачены кем-то, кто предпочел остаться неизвестным. Адвокат рассказал полицейским, что дядя Чарли скорее умрет, чем сдаст кого-нибудь, и убедил их поменять обвинение с «азартных игр» на «бродяжничество». Когда эта новость стала известна в «Пабликанах», нас всех просто перекосило от смеха. Только дядю Чарли могли арестовать за бродяжничество — в его собственной гостиной.

Мне хотелось бы сказать, что арест дяди Чарли потряс меня, смутил или заставил переживать. Но если он и вызвал во мне какие-то чувства, то это была гордость. Он вернулся в бар героем-завоевателем, продемонстрировав силу и несгибаемую волю в тяжелой ситуации, и никто не приветствовал его с большим обожанием, чем я. Гангстеры, которые отслеживали проценты дяди Чарли — «вели его дело», как говорили мужики, — беспокоили меня, а из-за полиции я не волновался, потому что верил барному мифу, что полицейские и азартные люди играют в кошки-мышки и никто эту игру не принимает всерьез. Где-то в глубине души я понимал, что у меня искаженное видение ситуации и поступки дяди Чарли

не стоят того, чтобы ими гордиться. Наверное, поэтому я не рассказал матери о его аресте. Мне не хотелось, чтобы она переживала из-за своего младшего брата или из-за меня.

Вскоре после того, как его выпустили из тюрьмы, дядя Чарли изменился. Он стал делать больше ставок и больше рисковать, — может быть, потому, что, избежав серьезных неприятностей, стал считать себя неуязвимым. Но потом он начал проигрывать, проигрывать так много, что ему пришлось принять свои проигрыши всерьез. В баре он с горечью жаловался на спортсменов и тренеров, из-за которых потерял деньги, перечислял их ошибки и промахи. Он заявлял, что мог бы уйти на пенсию и отправиться в тропики, если бы не менеджер оклендской команды Тони ЛаРусса. Он мог купить «Феррари», если бы не защитник команды Майами Дан Марино!

Хотя я не мог выяснить точный размер долга дяди Чарли, его проигрыши стали легендой. Кольт сказал мне, что дядя Чарли за один вечер проиграл пятнадцать тысяч долларов, играя в обманный покер с Шустрым Эдди. Джо Ди говорил, что дядя Чарли подсел на проигрыши — «чем больше, тем лучше». Атлет подтвердил это, рассказав, что как-то вечером дядя Чарли проговорился, что его заинтриговал один момент в субботнем матче Небраска — Канзас. На Небраску поставили шестьдесят девять очков. «Представь себе, — сказал дядя Чарли Атлету, — ты ставишь на Канзас, матч начинается, и все шестьдесят девять очков твои». — «Нет, — возразил Атлет, — я бы держался подальше от этой игры, Гусь. С таким раскладом те, кто делал ставки, что-то знают, а знают они, скорее всего, то, что Канзас не сможет выиграть у женской юниорской команды по лакроссу. У юниорской университетской команды».

В следующий раз Атлет вошел в бар и задал неизбежный вопрос.

«Я поставил на Канзас шестьдесят девять очков», — сказал дядя Чарли, опустив голову. «И?..» — «Небраска — семьдесят, Канзас в полной заднице». Атлет медленно втянул воздух сквозь плотно сжатые зубы. «Но, Атлет, — сказал

дядя Чарли умоляющим голосом, полным боли, — *я был с ними до конца*».

Рассказав мне об этом разговоре, Атлет воскликнул: «Что тут можно поделывать?»

Атлет был смекалистым игроком, который зарабатывал на ставках реальные деньги, поэтому он предложил дяде Чарли помощь. «Единственный способ улучшить твои результаты, — сказал ему Атлет, — это пойти со мной на ипподром, и мы вместе выберем подходящие варианты для ставок». Дядя Чарли уставился на Атлета: «Разве я, мать твою, что-нибудь понимаю в лошадях?» — «Разве ты, мать твою, что-нибудь понимаешь в лошадях?» — повторил Атлет. — «Разве ты, мать твою, что-нибудь понимаешь в лошадях?»

В мае 1987 года я воочию убедился, как сильно ухудшилось положение дяди Чарли, когда, проснувшись, увидел его стоящим надо мной. «Эй, — сказал он. — Ты не спишь? Эй?» В комнате царил аромат паров самбуки. Я посмотрел на часы: 4.30. «Идем со мной, — позвал дядя. — Я хочу поговорить с тобой».

Завернувшись в халат, я последовал за ним в кухню. Обычно, когда он был в таком состоянии, ему хотелось поговорить о Пат, но в этот раз разговор пошел о деньгах. Конкретную цифру дядя не хотел называть, но не оставалось никаких сомнений, что сумма настолько велика, что он больше не может ее игнорировать. Его иллюзорная радость испарилась. Единственная его надежда, сказал дядя, его последний шанс — это Шугар Рэй Леонард.

Я хорошо знал о предстоящем сражении за титул чемпиона в среднем весе между Шугаром Рэем Леонардом и «Великолепным» Марвином Хаглером. Супербой, как его называли в афишах, уже несколько недель был главным предметом разговора в «Пабликанах». У всех баров есть некоторое сходство с боксом, так как любители выпить и боксеры с тошнотой и головокружением сидят на табуретках и измеряют время раундами*. Но в «Пабликанах» бокс был

* Здесь round (англ.) — порция выпивки.

узами, связывающими завсегдаев всех возрастов и вкусов. Старожилы с нежностью вспоминали, как легендарный Роки Грациано регулярно участвовал в матчах десятки лет до основания «Публиканов», и как-то раз я видел, как двое мужчин в подсобке чуть не подрались, споря о том, был ли Герри Куни настоящим бойцом или неудачником. Предстоящее сражение между двумя боксерами столь высокого класса, как Леонард и Хаглер, было для мужчин подобно приближению редкой кометы для ученых НАСА. Пьяных ученых НАСА.

Леонард, ушедший из профессионального спорта три года назад, с редкими волосами, стал признанным профессионалом, еще когда ему исполнилось тридцать. Сейчас он выглядел солидно, как дипломат. У него всегда был задумчивый блеск в глазах, из-за которого создавалось обманчивое впечатление, что он серьезен, но после одного из последних матчей у него отслоилась сетчатка, и доктора говорили, что один сильный удар может лишить его зрения. Он был совсем не под стать действующему чемпиону Хаглеру — невзрачному, начисто выбритому и жестокому. Как Годзилла, он готов был избить каждого нового соперника. За одиннадцать лет он не проиграл ни разу, но все свои победы, включая пятьдесят два нокаута, он считал лишь закуской перед основным блюдом — Леонардом. Хаглер жаждал сразиться с Леонардом. Он хотел доказать, что он боксер десятилетия, а чтобы сделать это, нужно было выманить Леонарда обратно в большой спорт и унижить его, снять с пьедестала любимчика публики. Хаглер ненавидел Леонарда и хотел его уничтожить. Ему было наплевать, ослепнет ли Леонард, оглохнет или умрет. Принимая во внимание злобность Хаглера и возраст Леонарда, матч должен был стать скорее не матчем, а организованной экзекуцией. В Вегасе Хаглер стал фаворитом с запредельными ставками, но когда солнечные лучи стали пробиваться сквозь окно кухни, дядя Чарли сказал мне, что Вегас не прав. Силы в матче действительно были неравные, но не в том смысле, в каком рассчитывал Вегас. Дядя сделал большие ставки, много больше, чем я мог себе представить, на Шугара Рэя Леонарда.

Я понял, что Джо Ди прав. У дяди Чарли нездоровая страсть к неудачникам. Он не просто ставил на них, он становился одним из них. За всеми нами водится грех отдавать сердце спортсменам. Дядя Чарли отдавал им душу. Видя, как он с пеной у рта говорит о Леонарде, я подумал о том, как опасно олицетворять себя с кем бы то ни было, не говоря уж о неудачниках. И все-таки я больше не мог переживать из-за дяди Чарли, потому что на часах было полшестого утра и у меня были собственные проблемы.

Я проработал в «Таймс» уже пять месяцев и все еще бегал за бутербродами, все еще сортировал копии и до сих пор оставался печально известным Господином Соленым, над которым все смеялись. Я написал несколько микроскопических заметок и несколько банальных строк, посвященных ликованию фанатов после того, как «Нью-Йорк Джайентс» выиграли финал чемпионата по американскому футболу. Дядя Чарли назвал это дебютом с дурным предзнаменованием. Я ожидал, что «Таймс» восстановит мою уверенность в себе, а вместо этого она отбирала ее последние остатки. А хуже всего было то, что газета угрожала отнять у меня мое имя.

Главный редактор вызвал меня к себе в кабинет. Это был крупный мужчина в больших очках и галстук-бабочке. В копировальном отделе ему сообщили, что я настаиваю, чтобы мое имя печатали «Джей Ар Морингер», без точек. Копировальщик *настаивает*? Ерень какая!

— Это правда? — спросил он.

— Да, сэр, — сказал я.

— Без точек? Вы хотите, чтобы ваше имя печаталось «Джей Ар Морингер» без точек?

— Да, сэр.

— Что означает Джей Ар?

Нужно расслабиться, подумал я. Редактор просил меня раскрыть ему самую темную правду, и я знал, что случится, если я это сделаю. Он заявит, что с сегодняшнего дня мое имя станет печататься так, как указано в моем свидетельстве о рождении: Джон Джозеф Морингер Мл. Мужчины

в «Пабликанах» узнают мое настоящее имя, и я перестану быть Джей Аром или Пацаном. Я буду Джонни или Джо — или Младшим. То жалкое подобие репутации, которую мне удалось правдами и неправдами создать в «Пабликанах», растворится. Более того, каждый раз, когда мне посчастливится напечатать что-то в «Таймс», строки будут подписаны именем моего отца, станут напоминанием о нем, заметкой в его честь. Я не мог допустить, чтобы это произошло.

— Джей Ар, — сказал я редактору, почувствовав тошноту, — это ничего не означает.

— Джей Ар — это не твои инициалы? — спросил редактор.

— Нет, сэр.

Я расставил все точки над «i». Я не солгал, сказав, что «Джей Ар» — не мои инициалы.

— Джей Ар — это твое официальное имя по документам? Просто «Джей» и «Ар»?

— Да, сэр.

Зачем я пропил те семьдесят пять долларов, которые моя мать прислала мне для смены имени?

— Мне нужно подумать. Это не очень хорошо смотрится. Джей Ар. Без точек. Мы еще вернемся к этому вопросу.

Вечером того же дня в «Пабликанах» я рассказал дяде Чарли о своей встрече с редактором.

— Почему ты не сказал ему, как тебя зовут? — спросил он.

— Я не хочу, чтобы люди знали, что меня называли в честь отца.

Я умоляюще посмотрел на дядю Чарли. Тот поджал губы. Кольт посмотрел на дядю Чарли. Потом на меня. Дядя Чарли пожал плечами. Я тоже. Кольт кивнул и потерял к нам всякий интерес.

Увидев меня, редактор нахмурился так, будто я принес ему солонину вместо салата с тунцом. Он уже потратил на меня десять минут, в два раза больше, чем обычно тратил на копировщиков.

— Я изучил этот вопрос, — сказал он. — Похоже, что имеются прецеденты. Вы знаете, что Гарри С. Трумэн не использовал точку после своего инициала в середине?

— Нет, сэр. Я не знал.

— «С» не обозначала никакое имя. И Э.Э. Каммингз*. Тоже без точек.

— Понятно.

— Но, видит бог, мы все равно дали им точки. Президент, поэт — они получили точки, хотелось им того или нет. И знаете почему? Потому что это стиль «Таймс». И мы не собираемся менять принципы «Таймс» ради копировщика. Отныне ты будешь Джей точка Ар точка Морингер.

Редактор нацарапал пометку в файле, который, как я понял, был моим личным делом. Он поднял глаза, шокированный тем, что я все еще сижу на стуле.

— Всего хорошего, — сказал он.

Я отправился выпить с другими копировщиками. Мы шли по городу, смеялись, рассказывали анекдоты про редакторов, представляя, что можно было бы сделать с их бутербродами. Мы зашли в «Рози О'Гредис», ирландскую пивную, которая слегка напоминала мне «Пабликаны», потом в местечко напротив «Таймс», подвал с очистками арахиса на полу и мужчинами, уснувшими у стойки, словно малыши в детских стульчиках.

Когда мы вошли в бар, раздались ликующие вопли.

— Что случилось? — спросил я у бармена.

— Леонард только что выиграл четвертый раунд.

Он махнул рукой в сторону радиоприемника, стоявшего на кассе. Из-за всего этого стресса и шума по поводу своего имени я совсем забыл о суперматче. Попрошавшись с копировщиками, я побежал на Пенн-стейшн.

Я успел в «Пабликаны», как раз когда дядя Чарли вернулся из кинотеатра в Сиоссет, где он, Кольт и Боб Полицейский смотрели матч на большом экране.

* Эдвард Эстлин Каммингз (1894–1962), известный как Э.Э. Каммингз, — американский поэт, эссеист и драматург.

— Кто выиграл? — спросил я.

Лицо дяди Чарли блестело от пота. Он покачал головой.

— Джей Ар, — сказал он, закуривая сигарету, — этот матч был венцом всех матчей.

— Кто выиграл?

— Четыре миллиона человек пришли смотреть этот матч, — продолжал дядя. — Все известные люди планеты у ринга. Чеву Чейз. Бо Дерек. Билли Кристал. Эта стерва из «Династии».

— Линда Эванс?

— Другая стерва.

— Джоан Коллинз?

— Бывшая жена?

— Энтони Ньюли.

— Умница. И *это* тебе будет интересно. Там был Синатра.

— Не может быть.

— Поверь моему слову, Джей Ар, никто не обратил на него внимания. Это был скандальный матч. Последний эпизод «Тихого человека»^{*}.

Высокая похвала. Бой в конце «Тихого человека» каждым мужчиной в «Пабликанах» считался лучшим в истории кинематографии, лучше, чем бои в «Рокки», «Злом быке», «Невозмутимом Люке» и «Отсюда в вечность».

Дядя Чарли сел на барную табуретку и заказал водку с каплей клюквенного сока и еще рюмочку самбуки.

— Кто выиграл?

— Хаглер был в синих трусах, — сказал он. — Леонард в белых, с красными полосками по бокам и красными кисточками на ботинках. Они оба были очень... красивыми. Намазанные маслом, сто пятьдесят восемь фунтов блестящих мускулов, в прекрасной форме. Римские гладиаторы. Пер-

* «Тихий человек» (1952 г.) — американский кинофильм режиссера Джона Форда с Джоном Уэйном, Морин О'Хара, Виктором МакЛагленом и Бэрри Фицджеральдом.

вый раунд. Хаглер нападает на Леонарда, Леонард изящно уворачивается. Как Астер. Нет, мать твою, Астер просто козлапый по сравнению с Леонардом. Не было еще мужчины с такой легкой поступью. Хаглер хочет убить этого сукина сына. Небольшая проблемка. Он не может его найти. Леонард бегаёт кругами, Хаглер пытается его догнать, и когда Хаглер останавливается, Леонард тоже останавливается и выдает невесомую комбинацию — удар, удар, подсечка сверху — и ускользает. Счастливо оставаться. Хотелось бы задержаться и еще с тобой поболтать — удар, еще удар, — но извини, друг, спешу. Мы с Бобом Полицейским считаем, что первый раунд был раундом Леонарда, хотя Кольт, кажется, думает, что Хаглер был лучше. Кольт, черт бы его побрал.

— Кто выиграл? — спросил я еще раз.

— Второй раунд. Опять Леонард, без сомнения, лучше. Он гений, мастер. Художник. Останавливается, удар, ускользает. К третьему раунду Хаглер совсем обезумел. Он был просто как сумасшедший.

Дядя Чарли слез со своей табуретки и встал в боксерскую позицию. Разговаривающие вокруг замолчали, поставили на стойку свои напитки и повернулись посмотреть, что он делает.

— Леонард *издевался* над Хаглером, это я тебе говорю, — сказал дядя Чарли. — Подскок и удар, подскок и удар, правой, хук левой, потом он отскакивает от Хаглера, отпуская язвительные насмешки.

Дядя Чарли с сигаретой, болтающейся во рту, подскакивал, наносил удары, отпускал язвительные комментарии теням. Толпа в баре, собравшись в круг, начала обступать дядю Чарли.

— Хаглер защищается, — рассказывал дядя Чарли, — но Леонард — как сосиска на палочке. У него словно пропеллер за спиной. Хаглер всю жизнь готовился к этому бою, но Леонард тренировался ради того, чтобы показать тщетность подготовки Хаглера, чтобы продемонстрировать его беспомощность. Вы не возражаете, если я скажу «тщетность»?

Четвертый раунд. Леонард контролирует бой, он спокоен и так расслаблен, что замахивается изо всех сил из-за спины, его рука пронесется в воздухе — старый трюк — и ударяет Хаглера прямо в живот. Унизительно. Никакого уважения к сопернику. Он смеется над ним. Такое ощущение, что Леонард дразнит дикого тигра. Пятый раунд. Леонард останавливается. Не может больше порхать. Устал. Усталость начинает одолевать его. Хаглер исхитряется ударить Леонарда справа. Бум. Еще раз. Бам. Одного такого удара достаточно, чтобы убить тебя или меня. Хаглер ударяет слева по ребрам. Леонард сжимается. Опять. Собирается. *Еще раз.* У Хаглера целых четыре раунда не было возможности ударить — *теперь у него появилась возможность показать, на что он способен!* Бамс! Он ударяет Леонарда по голове и по лицу! Леонард поражен!

Дядя Чарли размахивал руками, изображая комбинации левых ударов. Все присутствующие в баре замерли: никого не обслуживали, никто не разговаривал, все стояли вокруг моего дяди.

— Леонард зашатался под ударом Хаглера! Но Леонард отскакивает назад, уклоняется от ударов, убегает. Он все еще дразнит Хаглера. *Я все равно круче, ты, подонок. Ты все равно меня не поймашь.*

Дядя Чарли притормозил. Фламинго, идущий по Луне. От напряжения он еще больше опьянел. Как Леонард, он должен был бы упасть, должен был уже лежать без сознания, но какая-то сверхъестественная сила поддерживала его на ногах.

— Шестой, седьмой, восьмой раунд, — говорил он. — Оба боксера так ослабли, что едва держатся на ногах. Однако Леонард не останавливается. Если он остановится, он больше не жилец. По его глазам видно, что бы он сделал, если бы так сильно не устал. Что они оба сделали ли бы. Ты понимаешь, Джей Ар, как сильно все это — весь матч — зависит от усталости? Каждый мужчина видит свою жизнь как суперматч, и не верь, если кто-то скажет тебе иначе. Сечешь? Бокс может научить тебя всему. Поэты знали об этом. О ком я говорю? Кто из поэтов был боксером?

— Байрон? Китс?

— Не важно. Ты понимаешь, что я хочу сказать. Девятый раунд. Один из величайших раундов всех времен. Хаглер швыряет Леонарда в угол, и они стоят нога к ноге. Хаглер подключает тяжелую артиллерию. Он убивает. Я кричу Леонарду: «Выбирайся оттуда! Выбирайся!»

Дядя Чарли сжал кулаки, пытаясь вылезти из угла.

Боб Полицейский поворачивается ко мне и говорит:

— Все кончено. Он сделал Леонарда. Но Леонард, даже не спрашивай меня как, отвечает ударами на удары и выбирается из угла. Он наносит Хаглеру удар сбоку и ускользает, и толпа вскакивает на ноги.

Толпа в баре тоже зашевелилась, раздались одобрительные возгласы, и все подвинулось вперед.

— Десятый раунд. Хаглер наносит Леонарду удар сверху. Леонард отвечает комбинацией ударов: правый хук, левый хук. Одиннадцатый раунд. Хаглер — левый, левый, левый в голову. Господи! Леонард отвечает: шквал ударов, еще один удар, потом опять шквал. Невероятно. Последний раунд, — сказал дядя Чарли. — Звонит колокол, оба боксера выходят и... Что, ты думаешь, они делают? Что, ты полагаешь, они делают, Джей Ар?

— Я не знаю.

— Они дразнят друг друга. Джей Ар, они колотят себя в грудь, бьют себя по голове и манят друг друга руками: «Давай, придурок! Давай!» Можешь себе представить эту смелость!

Мне показалось, что я видел слезы в глазах дяди Чарли, когда он воспроизводил последние секунды матча. Он вертелся, размахивая кулаками перед моим подбородком, изображая правые и левые хуки, каждый из которых проходил в полудюйме от меня. Капельки пота выступили у него на голове. Я подумал о том времени, когда он сломал себе ребра в «Пабликанах», изображая стену в Фэнвей-парке, и молился, чтобы он не сломал кости себе или мне, дерясь с воображаемым Хаглером.

— Когда прозвенел звонок, — сказал дядя Чарли, хватая ртом воздух, — Леонард так устал, что его ассистентам при-

шлось помочь ему дойти до угла. — Дядя Чарли изобразил, как ассистенты помогают ему дойти до барной табуретки. — Объявляют решение. Мнения судей разделились. Один судья был за Хаглера, два за Леонарда. Леонард выигрывает. Самое крупное поражение в истории бокса. Можешь не верить мне на слово. Комментаторы говорят то же самое. Леонард облокачивается о веревки. Он не может стоять на ногах, но когда ему говорят, что он выиграл, — вы бы видели радость на его лице! Он так устал, так устал, Джей Ар, но, когда ты выигрываешь, ты не замечаешь усталости!

Дядя Чарли резко выступил вперед. Бар взорвался аплодисментами. Похоже, каждый понимал, что значил этот матч для дяди Чарли, и это имело мало отношения к уменьшению процентов по его долгам. Я поцеловал его в голову и поздравил.

— Мне было так жаль Хаглера, — сказал дядя Чарли через некоторое время, после того, как вытерся полотенцем и отдышался. — Он казался таким печальным. Таким невеликолепным. Есть такое слово? Ты не против, если я скажу «невеликолепный», правда?

— Ага.

— Ты знал, что Хаглер официально поменял свое имя на Великолепный? Зачем человеку с его деньгами морочить себе голову и официально менять имя? Да еще на такое глупое? Что может заставить человека совершить подобный поступок, Джей Ар? Зачем ему этот геморрой? Что? Что ты так на меня смотришь?

33 | КОПИРОВЩИЦА

Так же искусно, как он смешивал коктейли, дядя Чарли смешивал клиентов. У него был редкий дар знакомить людей. Он показывал на одного человека, потом на другого, потом нахваливал их друг другу, потом буквально приказывал

им стать друзьями или любовниками. Он был катализатором даже тогда, когда не собирался им быть. На званом обеде в Вест-Хэмптоне меня посадили рядом с парой молодоженов. Я спросил, как они познакомились, и они ответили, что встретились в баре, в «замечательном старом баре», когда оба безрезультатно пытались привлечь внимание бармена. Они стали обсуждать этого бармена, то, каким он был грубым и смешным, и вскоре вообще забыли о нем и сконцентрировались друг на друге. Я спросил, не лысый ли, случайно, был этот бармен, и не носил ли он темные очки, и не предлагал ли им попридержать лошадей. Их рты открылись одновременно, будто у птенцов, ждущих червячка.

Одной замечательной парой, образовавшейся благодаря стараниям дяди Чарли, были Дон и Далтон. Никто, кроме дяди Чарли, не подумал бы, что сборщик туалетных денег и барный поэт могут стать друзьями. Но дядя Чарли специально представил их друг другу, потому что оба они были экстраординарными, талантливыми личностями и адвокатами и еще потому, что у него было предчувствие. Вскоре после этого Дон и Далтон решили вместе заняться частной практикой. Официальное открытие их новой адвокатской конторы прошло в «Публиканах», где Дон и Далтон намеревались делать значительную часть своей адвокатской работы. Это был знаменательный вечер для них и триумф дяди Чарли, который предполагал, что, познакомив Дона и Далтона, он получит право на бесплатную юридическую помощь до конца дней своих.

Контора Дона и Далтона располагалась на Пландомроуд, в трех кварталах от бара, прямо над греческим рестораном Луи, и к ней прилагалась маленькая квартирка сзади. Я слышал, как кто-то в баре сказал, что Дон и Далтон ищут жильца. Я спросил Дона, не согласятся ли они сдать квартиру. «Разве ты не хочешь сначала ее посмотреть?» — спросил тот. Я не хотел.

Бабушка умоляла меня не съезжать. Когда она объясняла ситуацию, ее глаз ужасно дергался. Тетя Рут и мои двоюродные сестры снова уехали, поэтому дедушкин дом теперь

будет чище и спокойнее. Будет сколько угодно горячей воды. И подумай, сколько денег ты сэкономишь, — арендная плата так высока. Также, добавила она, ей нравится проводить со мной время. Она будет скучать по мне. Недосказанной осталась еще одна причина, по которой бабушка не хотела, чтобы я уезжал, самая печальная из причин. Я выполнял функцию своего рода «подушки» в ее отношениях с дедушкой. Никогда не брал дедушку за горло, но с годами научился отвлекать его, когда тот начинал мерзко себя вести.

Я сказал бабушке, что должен съехать. Мне нужно было отдельное жилье. Чего я не мог ей сказать — меня постоянно шатало оттого, что по ночам меня будил ее сын. Мне нужна была кровать, которая не находилась бы на пути еженощных хождений дяди Чарли. И кроме того: настоящие мужчины не живут со своими бабушками.

Боб Полицейский помог мне перевезти вещи. Входя в дедушкин дом, он неодобрительно посмотрел на «двухсотлетний» диван и перетянутую клейкой лентой мебель, и мне показалось, я слышу его мысли: «Дома, куда я прихожу с обыском, часто выглядят лучше». Он нагрузил свою машину моим скарбом — шесть коробок с книгами и три чемодана — и отвез меня на Пландом-роуд. Дон вручил мне ключи от новой квартиры. Две крошечные комнатки и маленькая ванная. Ковер был фекально-коричневого цвета, «спальня» располагалась прямо над жаровней греческого ресторана Луи. Запах свиных отбивных, бараньих ног, джиро*, омлетов, жареной картошки с сыром, шоколадного торта и пепси поднимался, как пар, через пол. Здесь воняет, сказал Боб Полицейский.

Он походил взад-вперед, запоминая каждую деталь, будто квартира была местом преступления. Выглянул на улицу сквозь грязные жалюзи заднего окна. Парковка. Мусор. Чайки. Рядом к станции с шумом подошел поезд, от чего стены задрожали. Боб фыркнул: «Из огня да в полымя».

* Джиро — жареное мясо наподобие шаурмы.

Когда Боб Полицейский рассказал ребятам в «Паблицах» о моем новом холостяцком гнездышке и о том, как расположена моя кровать, они стали подкалывать меня, что я должен найти девушку, желающую «прокатиться на сковородке». Они считали, что мне, как и им, очень не хватает секса. Но я сообщил им, что мне одиноко. Мне нужен был кто-то, с кем можно гулять, слушать Синатру, читать. Они в ужасе уставились на меня.

Я признался мужчинам, что влюблен в одну копировщицу из «Таймс». Она напоминала мне Сидни. Хотя внешне девушки были не похожи, в копировщице была та же отстраненность, которая у меня ассоциировалась с богатством и аристократичностью. В любом случае каждый раз, когда она с выражением скуки и презрения на лице рассекала отдел новостей в длинной юбке и обтягивающей шелковой блузке, все копировщики прекращали сортировать копии и все редакторы мужского пола (и некоторые женщины тоже) прекращали чтение и смотрели на нее поверх своих бифокальных очков. За ней, подобно прозрачной розовой ленте, тянулся шлейф аромата духов, и я специально шел за ней по пятам, чтобы вдохнуть его. Я не мог себе представить, как подойти к ней, и меня беспокоили моя беспомощность и смятение. Я боялся, что мои проблемы с женщинами происходят из-за какого-то дефекта личности, и я сам себе поставил диагноз: гиперчувствительность. Меня вырастила мама, в детстве за мной присматривала бабушка, я рос под влиянием Шерил и впитал в себя женский взгляд на жизнь. Все женщины, которые пытались сделать из меня мужчину, добились обратного. Именно поэтому я боялся подходить к женщинам. Они мне слишком нравились, и я был слишком на них похож, чтобы стать хищником.

Вместо того чтобы заверить меня, что все это чепуха, мужчины согласились. Они сказали, что в войне между мужчинами и женщинами я не испытываю достаточного страха перед противником. Я протестовал, говоря, что страха у меня достаточно, через край, но они сказали, что я путаю страх

и благоговение. Также они сказали, что у меня нет плана. Нельзя идти на войну без плана. Большинство мужчин в баре использовали военную терминологию, когда замыслили романтические отношения. Они говорили, что вопрос в том, чтобы забрать что-то, что принадлежит другому, что составляет базовую динамику любых военных действий. Соблазнение как отвлечение. Любые романтические советы от Атлета, например, были результатом его опыта подавления коммунизма. Телки как красные, говорил он. Непонятные. Безжалостные. Нацеленные на насильственное перераспределение твоих денег. Дядя Чарли между тем считал, что викинги, гунны и другие примитивные мародеры были отчасти правы. «Просто хватай телку за волосы и тащи ее из этого долбаного отдела новостей», — посоветовал он. Я думал, что это метафора. По крайней мере, надеялся. Далтон уговаривал меня использовать стратегию, больше напоминающую захват Дрездена, и «закидать» копировщицу стихами про любовь. Он с большим успехом выдавал свои пьяные хайку женщинам. («Сестрички в халатах белых / Вошли в «Пабликаны» несмело. / Сбившись в кучку. / Как спортсменки перед матчем. / Каждая мечтает о своем мачо...») Но он был достаточно хорош собой, чтобы компенсировать витиеватые вирши.

В конце концов я решил просто позвонить копировщице из «Пабликанов» и пригласить ее на свидание. «На свои похороны», — сказал дядя Чарли, туша окурков.

Копировщица удивилась, когда я позвонил, потому что не поняла, кто я такой.

— Объясни еще раз, кто ты, — попросила она.

Я снова назвал свое имя. Напомнил ей, где обычно сижу в отделе новостей.

— Откуда у тебя номер моего телефона?

Поскольку номер я украл у Мари Ролодекс, я притворился, что не расслышал вопрос. Я спросил, свободна ли она в субботу.

— Я думал, мы могли бы...

— Вообще-то, — сказала девушка, — я собиралась сходить на новую выставку клея, про которую все говорят.

— Хорошо, выставка, конечно. Но я думал, мы могли бы...

— Если хочешь встретиться со мной там, я думаю, будет замечательно.

Мы договорились встретиться у «музея». Я понятия не имел ни о какой «выставке клея» она говорила, ни о каком музее. Я позвонил бывшему соседу по комнате в Йеле, студенту юридической школы, который теперь жил в Нью-Йорке, и коротко обрисовал ему ситуацию (симпатичная копировщица, мучительная влюбленность, предстоящее свидание) и спросил его, не слышал ли он о крупной выставке какого-то «клея». «Ну, ты и тормоз, — сказал приятель. — Поль Клее. К-л-е-е. Ретроспектива его работ открывается в музее Метрополитен в эти выходные».

На следующее утро я взял в нью-йоркской публичной библиотеке дюжину книг о Клее и украдкой прочел их в отделе новостей. После работы я приташил их в «Пабликаны». Кольт налил мне стакан виски и поднял бровь, когда я вытащил одну из книжек.

— Этого я и боялся, — сказал Атлет Бобу Полицейскому. — В Йеле узнали, что он не знает ничего о Хартии вольности, и теперь ему придется идти заниматься в летнюю школу.

— Это не для Йеля, — возразил я. — Это для... девушки.

Атлет и Боб Полицейский переглянулись. Было ясно, что они собираются вывести меня на парковку и хорошенько отлупить, чтобы ко мне вернулся рассудок. Потом их внимание привлекли рисунки Клее. Они подошли, чтобы взглянуть поближе. Атлета заинтриговали формы и линии Клее, и он пришел в восторг, когда я рассказал ему, что во время Первой мировой войны Клее был солдатом. Бобу Полицейскому понравилось, как Клее использует цвет.

— Вот это очень мило, — показал он на «Рокочущую машину».

Я рассказал им все, что узнал. Про отношения Клее с Кандинским. Про его восхищение романтизмом. Про то, как он использовал детские рисунки.

— Вот это, — сказал Атлет, — похоже на похмелье.

Мы все вместе рассматривали картины Клее до закрытия, а потом продолжили в моей квартире, пока в четыре утра Луи не включил свою жаровню.

Когда я вошел в музей, мне так хотелось спать, что подкашивались ноги, но я был уверен, что даже кураторы не знают о Клее больше, чем я. Копировщица стояла у входа, на руке ее висел плащ, а зонт от дождя она крутила в руке, как зонтик от солнца. Клее отдал бы жизнь, чтобы нарисовать такую модель, как она, хотя, возможно, он увидел бы ее как пирамиду грудей и ресниц. Я представлял ее примерно так же.

Мы встали в очередь за билетами. Мне было тяжело вести светскую беседу, пока мы ждали, — соображал я плохо, голова была забита фактами о Клее. В конце концов мы вошли внутрь. Я указал на угол, где висел холст, на котором худая фигура рассматривала рыбу. Я объяснил, что это символический взгляд Клее на противостояние человечества и природы. Мы пошли дальше и остановились около карандашного рисунка. Я стал говорить о том, что Клее отдавал должное примитивизму, увлекаясь грубыми формами живописи, такими, как мелки.

— Ты много знаешь о Клее, — сказала копировщица.

— Я его большой поклонник.

Она хмурилась, глядя на картины Клее, и выражение лица у нее было не такое, как у Атлета.

— Тебе разве не нравится Клее? — спросил я.

— Не очень. Я просто хотела посмотреть, из-за чего такая шумиха.

— Понятно.

Мы ушли. В суши-баре мы сидели над тарелкой калифорнийских роллов, и я был так разочарован, что экзамен по Клее отменили, что молчал. Через полчаса копировщица

сказала, что ей нужно куда-то идти, и я ее не винил. Если бы я сам смог сбежать от себя, я бы не упустил такой шанс. Мы расстались, вяло пожав друг другу руки в стиле «Голосуй за меня на выборах».

Когда я вернулся в «Пабликаны», Атлет спросил меня, как все прошло.

— Не так, как я надеялся, — ответил я.

— Это тебе урок. Нечего было заниматься перед свиданием.

— А что еще я должен был делать?

Он повернулся на барной табуретке лицом ко мне и повернул кепку козырьком назад, чтобы я мог видеть его лицо. «В следующий раз, когда телка попросит, чтобы ты отвел ее в музей, черт возьми, — сказал он, — отведи ее в Куперстаун, на родину бейсбола».

34 | ПИТЕР

— Эй, Эдвард Р. Марроу-Рингер, — сказал мне мужчина в «Пабликанах». — Почему я никогда не вижу твоего имени в газете?

— Я пишу под псевдонимом Уильям Сафайер*.

Он рассмеялся и хлопнул рукой по стойке:

— Уилли! Наплевать мне на твою политику.

Этот мужчина знал, почему моего имени не было в газете. Все в «Пабликанах» знали. Как они могли не знать? Они видели меня в баре вечер за вечером, видели, как я вкладывал больше усилий в кроссворды, чем во что-либо, что я писал для рубрики новостей. Ребята спрашивали меня, почему я перестал пытаться. Я сам лишь недавно начал это понимать.

Как и Джей Ар без точек, «программа тренинга» оставалась чем-то из области вымысла. Не было никакой програм-

* Уильям Сафайер (род. 1929) — американский журналист, в прошлом политический обозреватель «Нью-Йорк таймс».

мы и никакого тренинга. Вскоре после того, как я начал работать в газете, редакторы решили, что в программе тренинга нет финансового смысла. Зачем повышать копировщика до корреспондента на полную ставку, если за ту же самую зарплату «Таймс» могла нанять любого корреспондента лауреата национальных премий? Редакторы, конечно, не произносили этого вслух, потому что программа тренинга была почтенной традицией «Таймс» и позволила многим из редакторов в свое время попасть в газету. Как это будет выглядеть, если они выдернут лестницу у себя из-под ног? Кроме того, редакторы не хотели сразу же искоренять программу, они просто решили ее «подкорректировать». Именно это слово использовали они на своих тайных собраниях, слово, которое просочилось в отдел новостей. Они получали удовольствие от того, что несколько дюжин выпускников университетов Лиги Плюща, изо всех сил пытающихся их умаслить, носится туда-сюда по отделу новостей. Их самолюбию льстило, что мы бегаем для них за бутербродами и сортируем копии. Поэтому они просто притворялись, что есть какая-то программа тренинга, продолжая соблазнять нас ложными надеждами на продвижение, а потом приблизительно раз в месяц очередному копировщику или копировщице сообщалось, что прошло заседание секретной комиссии, на котором было решено, что он или она не подходит для работы в «Таймс». «Вы, конечно, можете остаться, — говорили они копировщику или копировщице, — при условии, что смиритесь с тем, что повышения не получите никогда».

Услышав, что повышение им «не светит» — еще одно выражение, которое передавалось из уст в уста, — большинство копировщиков увольнялось. Амбициозные и ожесточенные, они уходили в другие газеты или начинали новые карьеры. Редакторы использовали эти регулярные увольнения, чтобы предотвратить мятеж и освежить ряды сотрудников. Каждый раз, когда увольнялся очередной копировщик, толпы новых кандидатов подавали заявления на открывшуюся вакансию, и таким образом ряды приносящих бутерброды и сортирую-

ших копии постоянно восполнялись. «Программа тренинга» продолжалась.

Никто не должен был этого знать, но в отделе новостей секреты быстро становились общеизвестной информацией. Знали все, и поэтому редакторы среднего звена перестали давать копирировщикам задания по написанию материалов. Зачем вкладывать время и энергию в копирировщиков, к которым главные редакторы совершенно равнодушны? Зачем заводить себе протеже, который все равно долго не продержится? Столкнувшись с неожиданным равнодушием и «корректировкой», копирировщики могли устроить медленную забастовку, демонстративно уволиться или поджечь здание. Вместо этого они продолжали стараться. Мы рылись в корзинах для бумаг в поисках материалов для историй, которые выбросили репортеры, и унижались ради пресс-релизов или отзывов, которые могли превратить во что-то стоящее. Когда мы наконец получали задание, мы шлифовали каждое предложение, как Флобер, и молились, чтобы редакторы увидели лучик надежды в нашей работе. Мы не переставали надеяться, что кого-то из копирировщиков нарекут гением и перестанут презирать остальных.

Несколько месяцев я старался так же сильно, как и другие. Потом, как и в Йеле, перестал. В этот раз, однако, не было угрозы исключения. Единственным результатом того, что я не старался, было слабое чувство сожаления и знакомое сосущее под ложечкой ощущение, что неудачи мне на роду написаны. Любые более серьезные опасения быстро испарялись в «Пабликанах», где толпились люди, которые давным-давно поступили так же. Чем больше я ныл по поводу «Таймс», тем выше становилась моя популярность в баре. Хотя ребята и гордились мной, когда я добился успеха, возликовали они, когда я потерпел неудачу. Я заметил это, а потом перестал обращать внимание, как не обращал внимания на то, что мое похмелье после «Пабликанов» иногда ухудшало настроение, снижало качество работы и уменьшало до нуля мои и без того призрачные шансы на повышение.

Приблизительно в то же время, когда я перестал стараться в «Таймс», я сделал кое-что еще более достойное осуждения. Я перестал звонить матери. У меня была привычка каждый вечер звонить ей из отдела новостей, ища ее совета и ободрения и читая выдержки из того, что я писал. Повесив трубку, я испытывал сожаление — не потому, что она не помогала мне, а потому, что помогала. Слишком много помогала. Мне было двадцать три года. Я не хотел больше зависеть от матери. Кроме того, устал от напоминаний, что это мать должна зависеть от меня. К тому времени я уже должен был помогать ей деньгами. Когда-то я надеялся, что к 1988 году мама переедет в дом, который я для нее куплю, и что ее самой большой заботой будет выбор платья для утреннего урока гольфа. Вместо этого она до сих пор продавала страховки, все так же едва сводила концы с концами и с трудом восстанавливала силы. Я сказал себе, что посмотрю, как у меня пойдут дела, если вместо матери моими наставниками будут ребята из бара, что правильнее для молодого человека, и решил, что буду держать дистанцию между собой и матерью. Но, по правде говоря, я пытался увеличить расстояние между собой, невыполненными обещаниями и ужасным чувством вины, которое я испытывал оттого, что не мог позаботиться о маме.

Когда я объявил матери эмбарго, мне стало проще находить оправдание тому, что я больше не стараюсь в «Таймс», и направлять все свое внимание на то, что моя мать считала наибольшим из зол, — роман о баре, который я перестал называть «Пабликанские ночи». Мотив Аладдина не удался. Теперь роман носил название «Ночные мотыльки и шелковые трусики», или «Коктейли и глупости», или «Вот они обычные люди» — фраза из «Поминок по Финнегану» Джеймса Джойса. У меня была целая куча материала. Многие годы я наполнял коробки из-под обуви коктейльными салфетками, на которых записывал случайные фразы, обрывки диалогов, разговоры, подслушанные в баре, например, как брат Кольта, который подменял того за стойкой, закричал на клиента: «Не смейся надо мной! Не смейся надо мной, дружище. Моя

мама надо мной смеялась, и я ее прооперировал, хоть ей и не нужна была операция».

Каждый вечер я слышал хотя бы одну строчку, которая казалась идеальной для начала или завершения главы. «Чувства меня не переполняют», — говорил мужчина своей девушке. «Да, — сказала та сухо, — потому что тебя переполняет алкоголь».

«Ну, так что, ты ее трахнул?» — спросил этого мужчину дядя Чарли. «Да ты что, Гусь, — сказал мужчина. — Если честно — это она меня затрахала».

Однажды я слышал, как две женщины обсуждают своих парней. «Он сказал мне, что я представляю собой тройную угрозу», — сказала первая. «Что это значит?» — спросила вторая. «Это какой-то спортивный термин, — объяснила первая. — Он объяснил, что я очень умная и у меня замечательные груди». Вторая женщина посчитала на пальцах и громко расхохоталась.

После того как я прекратил стараться в «Таймс», я начал придерживаться строгого режима, откладывая мой ежевечерний поход в «Пабликаны», прежде чем не посвящу хотя бы один час работе над романом про «Пабликаны». Однако мои попытки были изначально обречены на провал — я не понимал до конца, почему мне хочется писать про «Пабликаны», почему я люблю «Пабликаны». Я боялся понять это, поэтому все, что я делал, в основном сводилось к перестановке слов — упражнению, сходному в своей бессмысленности с «ворди-горди».

Когда бессмысленность становилась очевидной, я сидел и смотрел на стену над столом, куда повесил каталожные карточки с любимыми отрывками из Чивера, Хемингуэя и Фицджеральда. Я стал злиться на Фицджеральда. Мало того что он представлял собой недостижимый пример совершенства и написал великий американский роман, так еще и местом действия выбрал именно мой родной город. Я думал о своих любимых романах — «Великом Гэтсби», «Дэвиде Копперфилде», «Приключениях Гекльберри Финна», «Над пропастью во

ржи», — и их великолепие вводило меня в оцепенение. Я не мог понять, что в них общего, что прежде всего привлекает меня в них: каждый герой-мужчина, от лица которого ведется повествование, на первых нескольких страницах упоминает своего отца. В «Гэтсби» это первое предложение. Именно с этого запутавшийся в жизни герой начинает свой рассказ, и с этого стоило начать и мне.

Конечно, если нужно было оправдать мой «писательский ступор», условия над греческим рестораном Луи подходили как нельзя лучше: жара, шум, стены, дрожащие каждый раз, когда поезд подъезжал или уезжал со станции, воздух, вибрирующий от аромата соленых огурцов, жира от бекона, жареной картошки и сыра. Но даже если бы я жил в уединенной писательской колонии в лесах, дела мои лучше бы не шли. У меня был полный набор классических недостатков: неопытность, нетерпение, перфекционизм, смятение, страх. Кроме того, я страдал наивным заблуждением, что писательство — легкое занятие. Мне казалось, что слова придут в голову сами. Мысль о том, что истину можно найти только методом проб и ошибок, никогда меня не посещала. Я впитал в себя идеологию «Таймс», согласно которой огрехи были маленькими неприятностями, которых нужно избегать, и ошибочно применял это правило к своему роману. Когда я писал что-то не то, я начинал думать, что я ни на что ни годен, и терял самообладание и концентрацию.

Когда я оглядываюсь назад, самым удивительным мне кажется то, сколько страниц я написал, сколько черновиков, как много приложил усилий, прежде чем бросить. Такое упорство было совсем не в моем характере, и это доказывает, как сильно заворожил меня бар, как сильно было мое желание описать его. Вечер за вечером сидел я за своим письменным столом над греческим рестораном Луи, пытаюсь рассказать о голосах бара, о тесном союзе мужчин и женщин, собиравшихся там. Я пытался написать о лицах в клубах дыма, о том, что они похожи на привидения в туманном потустороннем мире, и об искрометной беседе, которая могла перескочить

со скачек на политику, потом на моду, астрологию, бейсбол и, наконец, на любовные истории — и все это за время распития одной только бутылки пива. Мне хотелось поведать всему миру о чеширской улыбке Стива, голове дяди Чарли, мышке Джо Ди, козырьке Атлета и манере Шустрого Эдди приземляться на барную табуретку, как парашютист. Я пытался написать про писсуары, переполненные деньгами, про то, как я заснул в туалете и кто-то разбудил меня словами: «Эй, это комната для сранья, а не для спанья». Я пробовал передать словами историю, как Вонючка метнул нож в легендарного защитника Джима Брауна*. Что бы я ни делал — переименовывал героя в Тухляка, менял оружие с ножа на вилку для омаров, — в моей истории Вонючка получался больше похожим на убийцу, чем на смешного злюку.

Я провел значительную часть 1988 года в попытках описать, как Атлет надувал Шустрого Эдди. Вся эта «заварушка», как любил называть ее Боб Полицейский, началась в конце семидесятых или в начале восьмидесятых, когда «Странники в ночи» Синатры стали звучать на стереосистеме в баре. «Замечательная песня, — сказал Шустрый Эдди, шелкнув пальцами. — Наверное, поэтому ей и дали «Оскара». — «Странники в ночи» никогда не выигрывала «Оскара», — сказал Атлет. Они поспорили на сто долларов, откопали альманах и выяснили, что Атлет прав. Прошли годы. Эта песня снова прозвучала на стерео, и Шустрый Эдди сказал: «Замечательная песня, наверное, поэтому ей дали «Оскара». Атлет рассмеялся. Конечно, Шустрый Эдди шутил. Увидев, что Шустрый Эдди серьезен как никогда, Атлет предложил поспорить на несколько сотен долларов. Эдди снова проиграл и заплатил. Прошло еще несколько лет. Атлет пристал с разговорами к дяде Чарли и сказал, что много проиграл и хочет отыграть за один раз. Жертвой будет Шустрый Эдди. «У Шустрого Эдди в голове «черная дыра» по поводу «Странников в ночи», поэтому я сделаю большую ставку. Сегодня вечером, когда

* Джим Браун (род. 1963) — американский футболист национальной футбольной лиги и актер.

он придет, ты поставишь «Странников в ночи», а дальше я уже сам справлюсь и потом тебе отстегну». Но дядя Чарли не стал этого делать, заявив, что не хочет участвовать в темных делишках. Претенциозные речи, заметил Атлет, для человека, который считает «Публиканы» салоном для ставок. Когда пришел Шустрый Эдди, дядя Чарли посмотрел на Атлета. Атлет посмотрел на дядю Чарли. Шустрый Эдди посмотрел на дядю Чарли. Тот налил Шустрому Эдди пива и уставился на него. И тут началось. «Странники в ночи», — сказал Шустрый Эдди, шелкнув пальцами. — Замечательная песня. Наверное, поэтому ей дали «Оскара». Атлет был на высоте. Он дразнил Шустрого Эдди, посмеивался над ним, заявляя всем присутствующим, что Шустрый Эдди ни черта не понимает в музыке, пока у Шустрого Эдди не осталось другого выхода, как сделать большую ставку, чтобы спасти свою честь. Никто из мужчин так никогда и не признался, на сколько они поспорили, но сумма была значительной, и когда Шустрый Эдди проиграл и полез в карман за чековой книжкой, что-то шелкнуло у него в голове. «Черная дыра» в его мозгу открылась и закрылась, как объектив камеры. Он не вспомнил, что дважды проиграл, в его памяти мелькнуло то, как дядя Чарли пел «Какой же я дурак!».

Описывая эту историю в своем романе, я поменял имена. Атлет стал Киллером, Шустрый Эдди превратился в Гоншика Эдуардо, а дядя Чарли стал дядей Бутчи. Я сделал Атлета ветераном корейской войны, Шустрого Эдди — бывшим мошенником, который, вполне вероятно, убил собственную жену Агнес, чье имя я поменял на Далилу. Я использовал песню «Синий бархат», а ставку сделал в сотню тысяч долларов. История казалась совсем неправдоподобной, и я, хоть убей, не мог разобраться почему.

Пока я корпел над очередным черновиком «Странников в баре», зазвонил мой телефон. Это был ДеПьетро.

— Дуй сюда! — закричал он, перекрикивая две сотни голосов. — Бар кишмя кишит женщинами, и я уже отхватил лучшие места. «Променад» и «Парк-плейс»!

Он имел в виду два самых популярных стула возле стойки, прямо возле двери на Пландом-роуд, откуда открывался прекрасный вид на всех, кто входил через главный вход, и откуда легче всего было завладеть вниманием бармена.

— Я не могу, — сказал я. — Я пишу.

— Пишешь? О чем, черт подери?

— О баре.

— Ну и что? Приходи и подбери себе материал. «Променад» и «Парк-плейс».

— Не могу.

ДеПьетро повесил трубку.

Вскоре после этого Луи выключил жаровню. Резкий гудок, потом тихое шипение. Я подошел к окну и закурил сигарету. Моросил дождь. Открыв окно, я вдохнул запах дождя, точнее, попытался почувствовать его сквозь вонь пищевых отбросов из ресторана Луи. В помойку ныряли чайки. Луи вышел через черный ход и прогнал их. Когда Луи удалился, чайки вернулись. Настойчивые, подумал я. У чаек есть настойчивость, а у меня нет. Я выключил компьютер. Резкий гудок, потом тихое шипение.

Я вошел в «Пабликаны» с главой романа под мышкой, успокаивая себя тем, что любой писатель проводит в барах столько же времени, сколько за письменным столом. Выпивка и писательство так же хорошо сочетаются друг с другом, как виски с содовой, заверил я себя. ДеПьетро, как и обещал, восседал на «Променаде», а рядом с ним, на «Парк-плейс», сидел дядя Чарли. «Мой прекрасный племянник», — сказал он, целуя меня в щеку. Он уже выпил пару рюмок. Еще там был Шустрый Эдди, а рядом с ним его жена Агнес, которая работала официанткой в ресторане у Луи. Она, как обычно, пила ирландский кофе. (Она не подозревала, что бармен делает ей ирландский кофе без кофеина, чтобы «подавить ее врожденную болтливость», как говорил дядя Чарли.) Шустрый Эдди рассказывал, как он уговорил Агнес и дядю Чарли соревноваться в беге. Шустрый Эдди хвастался, что Агнес может бегать в несколько раз быстрее, чем дядя Чарли, а дядя

пообещал пустить себе пулю в голову, если не сможет победить «какую-то бесконечно дымящую официантку», поэтому они понеслись к школьной беговой дорожке, и половина бара потянулась за ними следом. Агнес, завернутая в полотенца, как претендентка на медаль, рванула с места на секунду раньше, чем Шустрый Эдди выстрелил из стартового пистолета. (Никому не пришло в голову спросить, откуда Шустрый Эдди взял стартовый пистолет.) Дядя Чарли обогнал Агнес, но дорого за это заплатил. Он завалился в траву, его рвало, и еще несколько дней после этого ему было нехорошо.

Я подумал, что эту историю легче описать, чем «Странников», и сделал себе пометку.

Бармен Питер увидел, как я что-то пишу на салфетке. Из всех барменов в «Пабликанах» Питер был самым добрым. Будучи на десять лет меня старше, Питер всегда морщился, глядя на меня, как добросердечный старший брат. У него был тихий голос, который заставлял собеседников придвигаться ближе, теплые карие глаза, мягкие темные волосы. Я часто видел, как Питер смеялся до колик в животе, — но вокруг него всегда был некий ореол печали. Когда он заглядывал вам в глаза, улыбаясь, вы как будто слышали его мысли: *«Мы в полной заднице, пацаны. Не стоит обсуждать это прямо сейчас, не стоит вдаваться в подробности, но одно я знаю точно — мы в полной заднице»*. В баре было полно шумных и обаятельных мужчин, а Питер казался необыкновенно тихим, что делало его обаяние неотразимым.

— Что это ты пишешь? — спросил он, наливая мне виски.

— Заметки.

— Зачем?

— Да так просто. Кое-что про бар.

Он оставил меня в покое. Вместо этого мы стали обсуждать его новую работу на Уолл-стрит, которую он нашел через клиента «Пабликанов». Я был рад за него, но мне было грустно, что один из моих любимых барменов теперь работает реже. Он продавал акции на полную ставку и стоял за стойкой лишь в свободное время, в основном субботними вечерами,

чтобы заработать дополнительных денег для своей семьи. Его растущей семьи. Его жена, сказал он, беременна.

— Да, — подтвердил он скромно, — мы решили завести ребенка.

— Ты станешь отцом? — воскликнул я. — Поздравляю! Я угостил его.

— Ты, значит, пишешь про наш бар? — Питер показал на мою папку. — Можно? — Я отдал ему папку в обмен на виски.

— «Ночные мотыльки и шелковые трусики», — прочел Питер. — Броское название.

— Меня Кольт вдохновил.

— Кольт носит шелковые трусики?

— Нет! Господи, я думал, что ты знаешь...

Я смотрел, как Питер читает, и анализировал каждое движение мышц на его лице, каждый взмах бровей. Закончив, он облокотился о стойку, нахмурившись.

— Не очень хорошо, — наконец сказал он. — Но что-то в этом есть.

Я объяснил Питеру, что идеи роятся у меня в голове, как запахи от жаровни Луи, витающие в моей квартире, — их невозможно игнорировать и невозможно различить. И сообщил, что собираюсь все это бросить.

— Это будет ошибкой, — услышал я в ответ.

— Почему?

— Потому что бросать — всегда ошибка.

— Что у тебя там? — спросил Питера дядя Чарли.

— Ты знал, что твой племянник пишет о «Пабликанах»?

— Я думал, все, что мы здесь говорим, остается между нами, — полушутя проворчал дядя Чарли.

— Пацан просто графоман, — сказал Кольт. — Я думаю, что это все чертовы «ворди-горди» виноваты.

— Дай сюда, — приказал дядя Чарли.

— Да, давайте посмотрим, — сказал Боб Полицейский.

Питер отдал дяде Чарли мою рукопись, и когда дядя Чарли заканчивал страницу, он передавал ее Бобу Полицейскому, а тот Атлету, и так далее.

— У меня нет шестой страницы, — сказал Боб.

— У кого девятая страница? — закричал дядя Чарли.

— У меня, — отозвался Питер. — Попридержи лошадей.

Глядя, как мужчины образовали пожарную цепочку и передают мои страницы по всему бару, я принял важное решение. Мужчины в «Пабликанах» станут моими новыми редакторами. Тогда как редакторы в «Таймс» обращают на меня все меньше внимания, я буду больше внимания уделять бару. Каждый воскресный вечер я буду сдавать написанное Питеру и мужчинам. Стану сам устанавливать себе сроки и сам организую себе программу тренинга.

Это решение ознаменовало перемену в моих отношениях с баром. Так всегда было заведено, что мы приходили в бар со своими историями, делились ими, передавали их друг другу, обменивались опытом, поэтому с утра ты просыпался с таким ощущением, будто сражался во Вьетнаме, вылавливал трупы в гавани или задолжал сотню тысяч баксов гангстеру. Но теперь мы передавали из рук в руки *мои* версии историй каждого из присутствующих, и искусство рассказа — приемы, риск и вознаграждение — стало главной темой разговоров в то лето. Мужчины оказались требовательными читателями, они настаивали, что слова и сюжет должны быть достаточно яркими и достаточно простыми, чтобы дойти до помутненного алкоголем сознания, — бесценный тренинг для молодого писателя. Если они и не разбирались в литературных правилах так хорошо, как редакторы «Таймс», по крайней мере они никогда не ругали меня за любовь к метафорам и орфографические ошибки.

— Бар — «как «форд» среди пустыни»? — спросил Атлет, тыкая пальцем в одну из страниц. — Почему бар — как «форд» среди пустыни?

— Это опечатка, — сказал я. — Должно быть «форт». Форт среди пустыни.

— А мне нравится, как получилось. «Форд» в пустыне. Что-то в этом есть.

Я заглянул через его плечо и взвесил это предложение.

— А это что? — удивился он. — Там кругом была «царь»?

— Должно быть «была гарь».

— Парень, ты вообще не умеешь печатать. Но в любом случае это клише.

На тренинге в «Пабликанах» относились к ошибкам совсем не так, как на тренинге в «Таймс». Разницу я понял, когда неверно использовал слово «франтовство» в заметке для газеты. Редактор указал мне на это в такой форме, что я просто врос в землю. Позже в тот вечер я рассказал дядя Чарли и Питеру об этом унижении.

— А что значит «франтовство»? — спросил дядя Чарли.

— Точно не знаю, — признался я.

Дядя водрузил на стойку «Книгу слов».

— Разберись, — сказал он и ушел обсудить что-то с Шустрым Эдди.

Я нашел слово «франтовство». Толкование гласило: «Броская элегантность». Кто-то обвел слово в кружок и подписал: «КАК У ЧАЗА». Я показал Питеру. Тот рассмеялся. Когда дядя Чарли вернулся, я показал и ему.

— Хм, как тебе это нравится? — улыбнулся он. Затем прочел толкование вслух. — Но ведь подходит, правда?

35 | ИГРОКИ ВЫСШЕЙ ЛИГИ

Войдя в дедушкин дом, я увидел странного человека, который сидел за столом на кухне и пил из стакана молоко.

— Макграу? — спросил я.

Тот подпрыгнул. Он был на три дюйма выше, чем когда я видел его в последний раз, и на тридцать фунтов тяжелее. Ростом он был шесть футов четыре дюйма и весил как минимум двести двадцать фунтов, а его детская пухлость превратилась в мясистость. Когда он обнял меня, мне показалось, что под рубашкой у него броня, а рука, похлопавшая меня по спине,

больше, чем бабушкины прихватки. Это напомнило мне, как я обнимал своего отца, когда был маленьким, — ощущение, когда не можешь обхватить человека целиком.

— Чем вас там кормят в Небраске? — спросил я.

Бабушка держала в руках пустые пакеты из-под молока и коробку из-под печенья, которые он только что уничтожил.

— Чем бы его там ни кормили, — сказала бабушка, — этого явно мало.

Я вынул бутылку пива из холодильника и сел напротив Макграу. Он рассказал мне и бабушке о своих злоключениях на Великих Равнинах, и мы оба смеялись. Еще он сообщил нам, как учился быть питчером, выходящим на временную замену, о стрессе, об интенсивности тренировок, о толпе болельщиков. Я заметил, что его легкое заикание стало почти незаметным.

Он спросил меня о моей жизни.

— Как там «Нью-Йорк таймс»? Тебя уже сделали корреспондентом?

Макграу произнес это так небрежно, будто мое продвижение было столь же неизбежно, как рост его плеч в ширину. Я пробормотал, что это длинная история.

Слушая Макграу, восхищаясь его ростом и размахом плеч, а также невероятной шириной его туловища и мощностью ног, я испытал то знакомое, давно забытое чувство, которое приходило ко мне каждый раз, когда Макграу и двоюродные сестры уезжали. В этот раз не тетя Рут похитила Макграу — он просто вырос. Макграу был огромным, каким и должен быть мужчина, и я вспомнил о наших поездках в Рохайд, когда мы были маленькими, когда смотрели на ковбоев-манекенов, огороженных цепочкой. Теперь Макграу стал одним из манекенов. А я все еще был зрителем за оградой.

Изо всех, кого я любил, чаще всего мне приходилось прощаться с Макграу. Теперь пора было попрощаться снова. Прощай, толстошекий мальчишка с короткой стрижкой, здравствуй, супермен, который еще наворочает дел. Есте-

ственно и по привычке я смотрел на мужчин снизу вверх, но я не хотел смотреть снизу вверх на Макграу. Это он должен почитать меня, своего старшего брата и защитника! Но единственным для него способом посмотреть на меня снизу вверх было поднять меня над головой.

Через несколько дней, когда я сидел в квартире и работал над романом о «Публиканах», в дверь без стука вошел Макграу.

— Мне нужно потренироваться, — заявил он. — А то рука расслабляется. Ты готов?

Он принес запасную перчатку для меня. Мы отправились по Пландом-роуд до Мемориального поля, где разошлись на расстояние приблизительно восемьдесят футов, и начали кидать мяч туда-сюда, постанывая, как артритики, пока разогревались. Макграу утер пот со лба и размазал его по мячу.

— Медленная подача! — крикнул он.

Мяч, разбрызгивая влагу, как губка, полетел ко мне. Он накренился вправо, затем понесся вниз. Мне еле удалось схватить его. Он сделал еще одну подачу, и мне показалось, что мяч несколько раз резко двинулся в воздухе назад, а потом вперед. У меня мелькнула мысль, что Макграу каким-то образом научился переносить свое заикание на бейсбольные приемы. Когда скорость увеличилась, мяч взорвался в моей перчатке с такой силой, что я подумал, у меня сломались пальцы. Я подал ему мяч, вложив в этот удар все, что мог, и когда Макграу отбил мою подачу, мне стало неловко. Его мяч летел в пять раз быстрее. Его медленная подача была похожа на комету, мяч описывал дугу, как стрелка часов от одиннадцати до пяти. Споткнувшись, я пропустил мяч, который просвистел в футе от меня, и понял: *«Макграу станет профессиональным бейсболистом»*.

Где-то в глубине души я всегда это знал, по крайней мере с тех пор, как Макграу исполнилось шестнадцать и на его школьные матчи стали приезжать люди из «Калифорния Энджелс». Но в тот день я видел и чувствовал своей пульсирующей ладонью, что этот парень, с которым я рос, играя

в мяч и боготворя «Метс», убежал далеко вперед и стоит на пороге осуществления детской мечты. Скоро его примут в Высшую лигу, возможно в «Метс», и его имя станет звучать в каждом доме. Он будет первым игроком в истории «Метс», кто сумеет забросить ноу-хиттер*. Он будет следующим Томом Сивером, в то время как я, Эдвард Р. Марроу-Рингер, Господин Солёный, буду самым старым копировщиком в «Таймс». Портрет Макграу однажды повесят в зале бейсбольной славы, и на торжественной церемонии мужчины из бара будут шепотом обсуждать двоюродных братьев и то, какими разными они выросли.

Я почувствовал укол зависти и волну гордости, но больше всего — стыд. Глядя, как Макграу тренируется, наблюдая его старательность и серьезность, я понял, что двоюродный брат больше чем просто подающий надежды будущий игрок Высшей лиги. Он был упорным ремесленником, и день за днем шлифовал не только медленную подачу. Он шлифовал самого себя. Макграу упорно трудился не просто потому, что был талантлив, а потому, что он знал: тяжелый труд — стезя настоящих мужчин, единственная стезя. Страх совершить ошибку не парализовал его, в отличие от меня. Он экспериментировал, изучал что-то новое, открывал самого себя и путем проб и ошибок находил путь к истине. Как бы глупо он ни выглядел при подаче, как бы сильно ни промахивался, следующий раз он снова концентрировался, снова казался уверенным в себе. Ни разу в тот день не сошло с его лица выражение, которое было у него еще в детстве. Он упорно трудился и никогда не прекращал играть.

Наша игра, которая для Макграу была просто разминкой, стала для меня поворотным пунктом. За один час он научил меня большему, чем все редакторы «Таймс», вместе взятые, за последние двадцать месяцев. Когда Макграу уехал в Небраску, я вернулся в отдел новостей и стал лучшим копиров-

* Забросить ноу-хиттер в бейсболе — не позволить команде противника в течение всего матча сделать ни одного хита (удара по мячу, позволяющего бьющему добежать до базы).

щиком, каким только мог. Я старался, я делал невозможное, и к концу года редакторы решили, что я заслужил испытательный срок. Затем мою работу должны были официально оценить. Как намекнул один редактор, я могу стать чуть ли не единственным копировщиком, которого повысят после этой липовой программы тренинга. Я был вне себя от радости. А потом разнервничался.

— Я просто с ума схожу, — объяснил я Бобу Полицейскому. — У меня так сердце колотится.

— У всех сердце колотится, — заметил он.

— Но мое слишком сильно колотится.

— Скажи мне, когда оно остановится совсем.

— Что-то не то с моим сердцем.

— Выкури сигаретку. Расслабься.

— Что-то не то, я тебе точно говорю.

Боб Полицейский отвез меня в больницу. Доктор в отделении скорой помощи поставил мне капельницу и сделал несколько тестов, включая ЭКГ.

— Стресс, — сказал доктор, когда я застегивал рубашку. — Постарайтесь снизить уровень стресса.

К концу 1988 года моя антистрессовая крепость превратилась в фабрику стресса. Фондовый рынок упал, пережив за один день самое сильное падение со времен Великой депрессии, и работники Уолл-стрит задавали совсем иной тон в «Пабликанах». Брокеры и рейдеры, влиявшие в бар, создавая всем хорошее настроение, теперь сидели в одиночестве в кабинках, бормоча что-то про свои «позиции». Место встречи для миллионеров стало убежищем для бедных. Одна яркая молодая пара, которая раньше шествовала в бар, одетая в вечерние туалеты, по пути в Карнеги-холл или Линкольн-центр — Джеральд и Сара Мерфи* Манхассета, — теперь ко-

* Джеральд и Сара Мерфи — богатая американская пара, поселившаяся во Французской Ривьере в начале двадцатого века, создав определенный социальный круг, в который входили многие художники и писатели «потерянного поколения». Эта пара послужила прототипом героев «Великого Гэтсби» Ф.С. Фицджеральда.

выляла в бар, напивалась и ругалась. Я присутствовал при том, как эта женщина один раз зашвырнула пепельницу мужу в голову и заорала, что он спал с няней их детей, а тот стал кричать, что она спустила все деньги на ветер.

Для меня падение рынка всегда будет ассоциироваться с Господином Выходным. В течение недели он носил сшитые на заказ костюмы, накрахмаленные сорочки и галстуки от «Гермес». С понедельника по пятницу он никогда не повышал голос, и прическа у него всегда была волосок к волоску, а когда я видел его в поезде, он читал «Уолл-стрит журнал» так внимательно, будто собирался сдавать экзамен. Но каждый вечер пятницы без исключения, проведя очередные пять дней в бесплодных попытках вернуть себе потерянное состояние, бедняга входил в «Пабликаны», и бармен кричал: «Черт возьми, ребята, Господин Выходной!» Пока он развязывал галстук, у него отбирали ключи от машины, и следующие сорок восемь часов Господин Выходной прыгал на стульях, вис на столбах, лежал на столах, распевая песни. В какой-то момент он ни с того ни с сего вдруг начинал делать приседания, пока не вырубался в третьей кабинке от двери, будто это была его личная полка в ночном поезде. Я много раз думал представить ему: «Господин Выходной? А я Господин Солёный», — но с Господином Выходным не получалось по-настоящему поговорить. Однако по нему можно было сверять часы, и так же точно, как он всегда появлялся в баре в пятницу вечером, утром в понедельник он с серьезным видом вышагивал по Пландом-роуд, чтобы сесть на утренний поезд. Порой он выглядел как Господин Рабочий День, который только что проснулся от кошмара.

Немногие в «Пабликанах» знали, что человеком, по которому падение рынка ударило сильнее всех, был Стив. У него возникли проблемы с баром в Нижнем Манхэттене. Стив мечтал об «Пабликанах на пирсе» как об эlegantном заведении, где посетители будут использовать шампанское «Кристалл» в качестве жидкости для освежения рта. Но сейчас люди меньше всего думали о сочном бифштексе по завыв-

шенной цене и об изысканной бутылке дорогого вина. Стив рисковал потерять миллионы. Он мог потерять свой дом, если на него начнет нажимать банк. Но самое ценное он уже потерял — уверенность в себе. Бар в Манхассете — это было неплохо, но Стив хотел успеха более крупного масштаба, он хотел стать игроком, ворваться в Высшую лигу. Скорее всего, эти желания у него появились из-за встреч с богатыми людьми в своем баре. Его развратили его собственные клиенты, которые приходили в «Пабликаны», чтобы отпраздновать свое богатство. Стив решил, что бар в Манхэттене — его шанс. И теперь, впервые в жизни, он терпел неудачу, крупную неудачу, и «Пабликаны на пирсе» стали памятником его провалу. Бар стоял в конце пирса, пустой как могила. Хорошо освещенная могила, за аренду которой Стив платил сорок пять тысяч долларов в месяц.

— Стив плохо выглядит, — сказал я дяде Чарли за несколько дней до начала своего испытательного срока.

Мы оба оглянулись на Стива, который стоял в углу бара — злой, с подкашивающимися ногами, со смятением в глазах. Не было больше улыбки Чеширского Кота.

— Он выглядит, — признал дядя Чарли, — как Хаглер в последних раундах.

В новых подтяжках и галстукe того же цвета — рождественский подарок матери — я первым пришел в отдел новостей в тот первый рабочий день 1989 года. Мои ботинки были начищены, волосы приглажены гелем, карандаши отточены, как копыя. Редакторы поручили мне написать заметку про конфликт с определением границ районов в Ист-Сайде, и я набросился на нее, будто это было вторжение в Уотергейт. Я написал восемьсот слов, едва уложившись в срок, и, поскольку сильно нервничал, заметка получилась бессистемной кашей. Она читалась так, будто ее написал Твою Мать. Редакторы внесли много поправок — глобальных, радикальных, в стиле профессора Люцифера — и похоронили заметку где-то в дебрях раздела местных новостей.

Когда я возвращался на поезде в Манхассет, я сказал себе, что нужно найти способ сохранять спокойствие, когда горят сроки. Я вспомнил, как Атлет не спеша примеривался к последней подаче. Я подумал о Макграу, кидавшем чейндж-ап^{*} в разгар игры. О Бобе Полицейском, который вылавливал очередной труп, и о дяде Чарли, танцевавшем танго, когда гангстеры замышляли его прикончить, и о безмятежном лице Джо Ди, избивавшего пьяных до потери сознания. *Расслабься, пацан, простомать твою, расслабься.* Я вспомнил их всех, и это помогло.

В конце недели редакторы отправили меня в Бруклин, где была убита девочка-подросток, которая случайно попала в бандитскую перестрелку. Я поговорил с ее друзьями, учителями и соседями. Она мечтала стать писательницей, сказали мне. Недавно поступила в университет и мечтала стать новой Элис Уокер^{**}. Ее жизнь, как и моя, только начиналась, и я чувствовал, что это честь для меня — писать о ней, а времени нервничать у меня уже не оставалось. Я писал в течение часа, а потом нажал на кнопку «отправить» на своем компьютере. Редакторы сделали несколько небольших поправок и поместили заметку на первую страницу местных новостей. Хорошая работа, сказали они, и в их голосах сквозило удивление.

Мне хотелось остановиться в «Пабликанах» и рассказать мужчинам об этой своей удаче, но я поклялся обходить бар стороной во время испытательного срока. Я старался не заикливаться на этой клятве. Не хотел признаваться себе, что бар может стать препятствием моему успеху, так же как не хотел задумываться о своей неспособности расслабиться в конце трудного дня. Лежа без сна в четыре часа утра, я был взвинчен. Но не только из-за отсутствия алкоголя и стресса. Со мной происходило что-то еще. Может быть, это надежда, подумал я.

* Чейндж-ап — вид подачи в бейсболе.

** Элис Уокер (род. 1944) — американская писательница, феминистка. В 1983 году была награждена Пулитцеровской премией в области литературы за роман «Цвет пурпурный».

Постепенно я научился расслабляться, работая в жестком ритме. Я даже начал получать от этого удовольствие. Первым этапом в обучении должно быть умение забыть все, что знаешь, решил я, избавление от старых привычек и ложных предпосылок. Когда я должен был уложиться в срок, у меня не оставалось времени делать то, что я обычно делал перед тем, как приступить к написанию текста, — составлять список красивых слов и беспокоиться, что из этого получится. Времени хватало только на факты, и забыть старое пришлось по необходимости, почти насильно. Перед тем как написать заметку в «Таймс», я делал глубокий вдох и приказывал себе писать правду, и я находил слова, или они находили меня. У меня не было иллюзий. Я писал не стихи. Я знал, что мои заметки далеки от совершенства. Но тем не менее в материалах, которые каждое утро выходили под моим именем, теперь была ясность, сила, которой раньше мне никак не удавалось добиться.

В середине моего испытательного срока один из старших редакторов «Таймс» отправил записку городскому редактору, который передал ее мне. «Кто такой этот Джей Ар Морингер? — спрашивал старший редактор. — Пожалуйста, передайте ему мои комплименты за хорошую работу».

Когда меня повысят, думал я, когда я стану настоящим корреспондентом, Сидни пожалеет. Когда мое имя будет каждый день появляться в «Таймс», она поймет, что недоценила меня. Она позвонит и будет умолять меня снова встречаться с ней.

И может быть, я соглашусь. В конце концов, я изменился. Вероятно, она тоже. За один год я превратился из завсегдатая бара в корреспондента. Кто знает, кем стала Сидни?

Я вошел в туалет в редакции «Таймс» и встал перед зеркалом. Я выглядел иначе. Мудрее? Увереннее в себе? Не знаю. Я сказал своему отражению: «Скоро я буду получать приличные деньги. Возможно, смогу снять нормальную квартиру, без вони, с отдельной кухней. Может быть, у меня получится отправить маму в университет. Кто знает? Может, денег будет столько, что я смогу ухаживать за Сидни. И однажды куплю ей обручальное кольцо».

За несколько дней до окончания испытательного срока редактор дал мне небольшую вырезку из утреннего выпуска «Таймс». Человека по имени Стивен Келлей застрелили возле его собственной квартиры в Бруклине. Полиция заявила, что это похоже на случай агрессии на дорогах. В статье было триста слов, но редактор уловил пять или шесть. Келлей был черным, а стрелявший — белым. Что еще хуже, стрелявший оказался полицейским, у которого в тот день был выходной. Расистские настроения в городе нарастали, и память о Говард-бич^{*} и Таване Броули^{**} все еще была свежа. Это убийство имело все шансы стать очередной «бомбой». Редактор попросил меня заняться этой темой, выяснить, кто такой Стивен Келлей, и написать что-нибудь о нем.

Я поехал в Бруклин с фотографом, и мы постучали в дверь квартиры Келлей. Когда дверь открылась, мы оказались лицом к лицу с тремя мужчинами размера Макграу — взрослыми сыновьями Келлей, в том числе и Стивеном-младшим. Я сказал, что мы из «Таймс», и нас пригласили войти. Мы сидели в темной гостиной с закрытыми ставнями, и сыновья рассказывали мне хриплыми, резкими голосами о своем отце, который, как выяснилось, вырастил их в одиночку. Он был жестким человеком, сказали они, но в то же время настоящей насадкой, все время волновался и переживал за своих «мальчиков». Недавно сыновья планировали собраться на день рождения старика. Сыновья — всего их было шестеро — жили в разных частях земного шара, и эта встреча должна

* 20 декабря 1986 года в Говард-бич на трех афроамериканцев напали белые местные подростки. Один из мужчин попал под машину и погиб, пытаясь скрыться от преследователей. Инцидент получил широкий резонанс в Нью-Йорке и стал причиной расового напряжения.

** Тавана Броули — афроамериканка, обвинившая шестерых белых мужчин, некоторые из которых были полицейскими офицерами в штате Нью-Йорк, в изнасиловании. Дело получило громкую огласку, но было закрыто из-за отсутствия доказательств.

была стать незабываемой: все сыновья Келлей возвращались домой, чтобы отметить день рождения отца. Но оказалось, что встреча произойдет на отцовской могиле.

Когда настало время уходить, я пообещал сыновьям правдиво изложить в газете все, что они рассказали мне об отце.

— Послушайте, — сказал Стивен-младший, провожая меня до двери. — Несколько газет неверно напечатали нашу фамилию.

— К-е-л-л-е-й, — по буквам произнес я. — Так?

— Да.

— Я прослежу, чтобы ее напечатали правильно. Я понимаю, как это важно для вас.

На следующее утро я сидел в отделе новостей, читая за чашкой кофе свою заметку. Я поднял глаза на редактора, ответственного за выпуски газеты в выходные дни, который присел на краешек моего стола.

— Суперская работа, — сказал он.

— Спасибо.

— Я серьезно. Очень хорошо написано. Я слышал, как про твою заметку говорили сегодня по радио.

— Правда?

— Так держать. Тебя ожидает блестящее будущее.

Редактор ушел, а я поерзал на стуле. Кто бы мог подумать, что я стану репортером «Нью-Йорк таймс»? Интересно, видела ли Сидни мою заметку, прочла ли ее? Мне захотелось позвонить матери и зачитать ей статью. Но прежде всего мне нужно было позвонить семье Келлей.

Мужской голос сразу ответил на звонок. Я узнал голос Стивена-младшего.

— Господин Келлей? Джей Ар Морингер из «Таймс». Я просто хотел позвонить вам и поблагодарить вас за ваше гостеприимство и уделенное вчера время. Я надеюсь, что вам понравилась статья.

— Да. Статья хорошая. Но знаете, вы неверно указали нашу фамилию.

— Что?

— Вы неверно написали фамилию. Она пишется К-е-л-л-и.

— Я не понимаю. В дверях я сказал «К-е-л-л-е-й» и вы это подтвердили!

— Я сказал «да», имея в виду, что так все остальные ее и писали и это неправильно.

— О!

Мое сердце забилося так сильно, что я испугался, что он услышит. Мое сердцебиение казалось мне ненормальным тогда, когда Боб Полицейский возил меня в больницу, но теперь сердце стучало так, будто вот-вот собиралось выскочить из груди.

— Простите, — сказал я. — Мне ужасно жаль. Я вас не понял.

— Все в порядке. Но, пожалуйста, напечатайте поправку.

— Хорошо. Поправку. Конечно. Я поговорю с редакторами. До свидания, господин Келли.

Я пошел в туалет и выкурил четыре сигареты. Затем оторвал ящик для бумажных полотенец от стены и выбросил железки в металлическую урну, потом стал бить кулаком в дверь туалетной кабинки, пока не решил, что уже, наверное, сломал костяшки. Я закрылся в кабинке, пытаюсь решить, что делать дальше. Я подумывал пойти в бар через дорогу и выпить с полдюжины рюмок виски. Затем я решил молчать, надеясь, что редакторы не заметят. Но я пообещал Стивену-младшему.

Вернувшись в отдел новостей, я увидел редактора выпусков выходного дня. Я подошел к его столу. Он накрыл рукой мою руку и спросил других редакторов, суетящихся вокруг:

— Что вы думаете насчет этого Морингера, а?

Он произнес мое имя нараспев, и оно прозвучало почти как музыка.

— Молодец, — сказали остальные.

— Здорово пишет.

— Ты видел, что репортеры срочных новостей тоже пытались про это написать? — обратился ко мне редактор вы-

пусков выходного дня. — Но у них не получилось так здорово, как у тебя. Они не поговорили с семьей. К тому же они неверно написали фамилию. Они написали «К-е-л-л-и». — Редактор издевательски рассмеялся.

— На самом деле, — сказал я, — я только что разговаривал по телефону с семьей. — Мой голос дрогнул. — Как выяснилось, их фамилия пишется «К-е-л-л-и».

Редактор поежился. Я придвинулся ближе к нему.

— Сын вчера сказал мне, что в газетах неверно указывают их фамилию, включая, кстати говоря, и «Таймс». В нашей первой заметке про стрельбу фамилия была указана как «К-е-л-л-е-й». Я спросил сына: «К-е-л-л-е-й, да?», имея в виду: «Так пишется ваша фамилия, верно?» Он ответил «да», имея в виду: «Так ее ошибочно пишут в других газетах». Вот такая вышла путаница.

Редактор взял карандаш, покатал его по столу, потом уронил. Похоже было, что он хочет проделать то же самое со мной. Его взгляд кричал: «*Ты труп, пацан*». Я удерживал его взгляд так долго, как только мог, а потом опустил голову. Я заметил, что у него красивые подтяжки. Бежевые, с изображениями гавайских девушек. Я недавно видел такие в витрине магазина эксклюзивной мужской одежды в Ист-Энде.

— Мы напечатаем поправку, — спокойно сказал редактор.

— Хорошо.

— Я подготовлю поправку и отправлю ее тебе. Посмотришь и скажешь, все ли верно.

Я вернулся к столу и стал ждать задания на день. Единственное, что мне прислали, была поправка: «В заголовке под фотографией и в статье в субботнем выпуске, посвященной встрече в память о погибшем мужчине из Бруклина, его имя было указано неверно. Погибшего звали Стивен Келли».

Позже, впервые за двадцать семь дней сидя в «Пабликанах», я рассказал дяде Чарли, что натворил. Он шарахнул бутылкой о стойку.

— Как такое могло произойти? — спросил он.

Я не мог понять, рассержен он или просто разочарован.

Мне хотелось позвонить маме, но в телефонную будку стояла очередь и никто из ожидающих не замечал, что у телефона кто-то заснул. Ну и пусть. Всего несколько часов назад я представлял себе триумфальный телефонный звонок, я собирался сказать матери, чтобы она выбирала курсы, что я отправлю ее в Аризонский государственный университет. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к новой реальности.

Я был абсолютно пьян, когда ко мне подошел Боб Полицейский.

— Трупы, которых я вылавливаю из гавани, выглядят лучше, чем ты, — заметил он.

Я рассказал ему о случившемся.

— Как такое могло произойти? — удивился он.

— Я не знаю.

Боб вздохнул.

— Ну, что ж. Забудь об этом. Ты же не нарочно. Для этого к карандашам и приделывают ластики.

— Ты не понимаешь, — заговорил я сердито. — Эти несчастные сыновья! Сначала какой-то полицейский убивает их отца, потом появляюсь я со своим дурацким блокнотом и окончательно все порчу. И уже ничего не исправишь. Ошибка растиражирована в миллионах экземпляров. Они повсюду, эти миллионы копий, кричащие о моей некомпетентности. И когда газеты выбросят, ошибка все равно останется. На микрофильме. В копиях. И это не просто ошибка в «Сакраментской пчеле». Я сделал ошибку в газете, которую читают все. Из-за меня придется печатать поправку. И хуже всего то, что я ошибся не в возрасте героя или цвете кожи. Я сделал ошибку в его имени. Уж что-что, а имя-то я должен был написать верно!

Я видел, что Боб Полицейский смотрит на меня во все глаза. Я предполагал, что он внимательно слушает, но теперь понял, что мой монолог его взбесил. Он выглядел оскорбленным, а его взгляд был таким пристальным, что я почти про-

трезвел. Он хотел сказать что-то важное. Но, что бы это ни было, Боб проглотил слова, а вместо этого спросил:

— Почему «что-что, а имя-то ты должен был написать верно»?

— Потому что...

Теперь была моя очередь глотать слова. Я мог бы объяснить ему, почему имена имеют для меня такое значение, но чувствовал, что откровений на сегодня достаточно. Когда я покачал головой и сказал «давай забудем об этом», мы оба уставились на гениталии из цветного стекла авторства Чокнутой Джейн. В конце концов Боб Полицейский положил мне руку на плечо.

— Приходи завтра на работу, — сказал он, — и веди себя как ни в чем не бывало. Нет. Не веди себя как ни в чем не бывало. Они подумают, что ты псих. Веди себя так, будто что-то произошло, но ты выше этого.

— Да.

— Поверь мне. Это не так страшно, Джей Ар. Ты еще не знаешь, что такое настоящие ошибки.

37 | БОБ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

По окончании испытательного срока завершилось мое воздержание от алкоголя. С чувством мести я вернулся в «Пабликаны» на полную смену. Я прятался в баре, как в норе, баррикадировал себя там, став неотъемлемой частью обстановки, как музыкальный автомат и Твою Мать. Я ел в «Пабликанах», оплачивал свои счета в «Пабликанах», делал телефонные звонки из «Пабликанов», отмечал праздники в «Пабликанах», читал, писал и смотрел телевизор в «Пабликанах». Даже на письмах я иногда указывал адрес «Пабликанов» в качестве обратного адреса.

Не меньше, чем в хлебе и воде, я нуждался в ежедневных приветствиях посетителей бара, чтобы все поворачивались ко

мне с таким видом, будто ничего не случилось ни со мной, ни с миром. «Держите меня, — говорил один бармен, — гляньте-ка, чем стошнило кошку!» «Как дела в Глокка Морра?»* — спрашивал другой. «Смотрите. Кто. Пришел», — говорил дядя Чарли, и это было мое самое любимое приветствие.

Однажды вечером, войдя в дверь, я увидел Джо Ди за стойкой. Он поднял глаза от газеты.

— Это место как липучка для мух, — сказал он ухмыляясь. — Ловит всех на лету.

Я показал на Боба Полицейского:

— Наверное, поэтому здесь всегда такое жужжание.

Боб Полицейский усмехнулся, Джо Ди захлопал в ладоши.

— С возвращением, твою мать! — сказал он.

Свозвращением твою мать. И мое настроение сразу улучшилось.

Иногда бар казался лучшим местом в мире, в другие вечера возникало ощущение, что это и есть весь мир. После одного особенно тяжелого дня в «Таймс» я увидел мужчин, собравшихся в круг в той части бара, где работал дядя Чарли. Они расставили украшения для коктейлей в форме Солнечной системы, положив вместо Солнца лимон, и вращали оливки вокруг лимона, объясняя друг другу, почему в Нью-Йорке темнеет раньше, чем в Калифорнии, и почему происходит смена сезонов, и сколько еще осталось тысячелетий до вселенской катастрофы. Я стоял у них за спинами и слушал. В конце концов, что такое «черная дыра»? Такая штука, которая засасывает все на своем пути. Это как моя бывшая? Да-а-а, что-то вроде. Я ей передам твои слова. «Черная дыра» — это как Гранд-Каньон с пертурбацией. Нет, черт, не с пертурбацией. С гравитацией. Так о чем я говорил? Мир держится благодаря гравитации, а твоя бывшая — благодаря пертурбации. Не надо, чтобы оливка была Землей. Я терпеть не могу оливки.

* «Как дела в Глокка Морра?» — популярная песня о выдуманной ирландской деревне. Песня исполнялась многими известными певцами, включая Бинга Кросби и Барбару Стрейзанд.

Что ты имеешь против оливок? В ней дырки — а я не люблю дырявую еду. Кто у нас, черт возьми, Марс? А, вижу, вишня. Извините, если я вижу вишню, я ее сразу кладу в рот. А Земля эта долбаная, она, вообще, какого размера? Двадцать пять тысяч миль в окружности. Похоже, можно пешком пройти. Тебе в лом даже до угла сходить за «Дейли ньюс». Ты хочешь сказать, что все в этом заведении сейчас движется со скоростью шестьдесят—семьдесят миль в час? Не удивительно, черт подери, что у меня голова кругом.

Мужчины перестали разговаривать и удивленно уставились на свою Солнечную систему из коктейльных украшений. Тишину нарушал лишь сухой кашель, звук чиркающей спички и голос Эллы Фицджеральд, лившийся из стереосистемы, и на долю секунды я действительно поверил, что «Пабликаны» рассекают космос.

Мне нужна была непредсказуемость «Пабликанов». Как-то вечером зашел известный актер. Его мать жила неподалеку, и он приехал ее навестить. Мы все не могли глаз от него отвести. Этот актер снимался в классических фильмах со всеми звездами своего поколения, и вот теперь он был здесь, в «Пабликанах», и просил дать ему стакан простокваши. Он сказал дяде Чарли, что всегда укутывает желудок слоем простокваши, прежде чем приступить к более серьезным напиткам. Вечер шел своим чередом, и дядя Чарли дразнил актера по поводу простокваши, говоря, что он наименее мужественный из всех актеров, с которыми ему довелось работать. Актер не понял юмора дяди Чарли. Он обиделся, забрался на стойку и стал делать отжимания, как в армии, пока дядя Чарли не взял свои слова назад, признав, что актер мужественнее любого мужчины на этом свете.

Иногда мне нужно было просто тихо посидеть в «Пабликанах». Я до сих пор лелею теплые воспоминания о тех мрачных, дождливых воскресных днях, как раз после моего испытательного срока, когда в баре было пусто, только несколько человек завтракало в ресторане. Я съедал тарелку яичницы и читал книжное обозрение, пока Мейпз, воскрес-

ный бармен, мыл стаканы в мыльной воде. У меня было такое чувство, будто я вошел в свою любимую картину Хоппера «Полуночники». Мейпз напоминал птицеобразного продавца газировки, склонившегося над раковиной. Потом Мейпз влезал на раскладной табурет и полировал медные буквы, которыми над стойкой было выложено слово «Пабликаны», а я наблюдал за ним, завидуя его сосредоточенности. Если бы я только мог концентрироваться на словах так, как ты концентрируешься на этих медных буквах, говорил я Мейпзу. Прошли годы, прежде чем я сообразил, что Мейпз ни разу не сказал мне ни слова.

В один из таких тихих воскресных вечеров я услышал, как кто-то у меня за спиной закричал: «Джуниор!» Я повернулся и увидел Джимбо, официанта с ангельским личиком, который только что приехал домой из университета. Почему Джимбо решил назвать меня «Джуниор»? Никто, кроме Стива, не называл меня «Джуниор». Потом я вспомнил, что Стив был для Джимбо как отец родной. Джимбо, должно быть, слышал, как Стив называет меня «Джуниор». А все, что говорил Стив, Джимбо, как попугай, повторял. Я бросил на него угрожающий взгляд — что еще я мог сделать? Он был слишком большой, чтобы с ним драться. Он выглядел как молодой Малыш Рут.

Джимбо наклонился, чтобы посмотреть, какую книгу я читаю.

— «Записки фаната»?* О чем это?

То ли потому, что он назвал меня «Джуниор», то ли потому, что я перебрал «Кровавых Мэри», смешанных Мейпзом, я разозлился. Я почти прорычал:

— Терпеть не могу тех, кто спрашивает, о чем книга. Людям, которые читают ради сюжета, высасывая историю

* «Записки фаната» — роман Фредерика Эксли, опубликованный в 1968 году. Это своего рода фантастическая биография, полная черного юмора, основанная на фактах жизни автора, в которой герой проходит через различные психологические испытания, в том числе алкоголизм.

из книги как сливки из коктейля, лучше читать комиксы и смотреть мыльные оперы. О чем книга? Каждая книга, которая хоть чего-то стоит, — об эмоциях, о любви, о смерти и о боли. О том, как человек справляется с жизнью. Ясно?

Мейпз посмотрел на Джимбо, потом на меня и покачал головой.

Джимбо работал в «Пабликанах» с четырнадцати лет. Он вырос, играя в прятки с сыном Стива, Ларри. «Как Гек и Том», — частенько приговаривал он с гордостью. Джимбо, возможно, был единственным молодым человеком в городе, влюбленным в бар больше, чем я. Я пытался писать о баре, Джимбо же просто олицетворял собой бар. Помня все это и понимая, что Джимбо был сыном «Пабликанов» и, соответственно, моим братом, я чувствовал себя отвратительно из-за того, что нагрубил ему.

Ладно, проехали, сказал он, и сказал это всерьез. Еще одно замечательное качество Джимбо.

Вошел Далтон. Он размахивал первым изданием «Человека с огоньком» Дж. П. Донливи, которое взял почитать у дяди Чарли. «Припекало редкое весеннее солнышко, — прокричал он мне в ухо. — Это первая строчка романа. Настоящая поэзия, Придурок. Это английский язык, твою мать, но, честное слово, тебе никогда не написать такое же хорошее предложение».

— Я даже спорить не буду, — ответил я.

— Чувак! — с упреком сказал Джимбо Далтону. — Это грубо.

Я посмотрел на Джимбо. Минуту назад я на него наехал, а теперь он меня защищает. Еще одно замечательное качество Джимбо.

Пришел дядя Чарли. Он прыгнул за стойку, отпустив Мейпза, и сразу же с головой окунулся в нашу литературную беседу. Вскоре мы наперебой цитировали строчки из произведений любимых писателей — Керуака, Мейлера и Хэммета. Кто-то вспомнил культовую классику, роман Ирвина Шоу «Ночной портье». Кто-то сравнил его с рассказом Мелвилла.

— Мелвилл! — воскликнул дядя Чарли. — О, он лучше всех. «Билли Бадд». Все читали? Билли Бадд как Христос! — Дядя Чарли закатил глаза к потолку и разметал руки, будто его распяли. — Билли добровольно идет на виселицу, потому что знает, что совершил ошибку. Сечете? Он убил Клаггарта по ошибке и должен заплатить за это. «Да благословит Бог капитана Вире» — вот что говорит Билл, когда на его шею накидывают петлю, потому что правила нужно соблюдать. Без правил наступит анархия. Билли совершил ошибку и платит за это своей жизнью — платит добровольно, потому что верит в правила, которые нехотя нарушил. Сечешь?

— Я думаю, мы читали это в школе, — сказал Джимбо. — Напомни, о чем там речь?

Он ткнул меня локтем в ребра. Я рассмеялся. Потом заметил рядом с автоматом для сигарет Боба Полицейского. На его лице было угрожающее выражение, и я понял, что он, должно быть, слышал, как я нападаю на Джимбо. И теперь, наверное, решил, что я сволочь.

Вечером следующего дня Боб Полицейский нашел меня у бара. Он затолкал меня в угол и практически приплюснул к автомату для сигарет. Я испугался не на шутку.

— Я слышал вчера, как ты говорил про книги.

— Да, я был не в лучшем расположении духа. Не нужно было мне все это вываливать на Джимбо, но...

— Я университетов не кончал. Ты знаешь. Я сразу после школы поступил в полицейскую академию. Мой отец был полицейским и мой дедушка тоже, поэтому что еще мне оставалось, верно? Я не часто об этом думаю, но когда слышу, как вы, ребята, говорите про книги, я чувствую... я не знаю. Будто мне чего-то не хватает.

Я снова начал извиняться, но Боб выставил ладонь вперед, как полицейский из автодорожного патруля.

— Я полицейский. Я тот, кто я есть. Я не тешу себя иллюзиями. Но иногда думаю, что должно быть что-то еще. Что я должен был сделать больше в своей жизни. Ты заметил, что все называют меня «Боб Полицейский»? И никогда «Боб

Отец» или «Боб Рыбак». И уж точно, черт возьми, никто не назовет меня «Боб Книжный Червь». Это меня задевает. Никто не зовет тебя «Джей Ар Копировщик».

— Спасибо тебе, Господи, за такую милость.

— Ну, так вот, — продолжил Боб Полицейский, — я тут подумал. Вспомнил, как грузил все эти книги в твою квартиру, когда помогал тебе переезжать, и подумал, может... Ну, ты знаешь.

Я покачал головой.

— Я подумал, — подытожил Боб сбивчиво, — вдруг у тебя есть книги, которыми ты не пользуешься...

Моей первой мыслью было, что в строгом смысле слова я не пользовался ни одной из своих книг. Боб Полицейский думал о книгах как об инструментах. Он к большинству вещей относился как к инструментам. Даже у коктейлей, которые он пил, были названия инструментов: «Отвертка» и «Ржавый гвоздь». Мне хотелось объяснить, что у книг нет четкого предназначения, как у инструментов, что нельзя точно сказать, когда книгами пользуются, а когда нет. Я получал удовольствие от того, что они есть, мне нравилось видеть их стоящими на полках. Они были единственным признаком уюта в моей жалкой квартирке. Книги составляли мне компанию, ободряли меня. Книги, которые я читал еще в детстве, были покрыты плесенью или порваны, и теперь я трясся над своими книгами. Я не писал на полях, не загибал страницы и никогда не одалживал их, особенно первые издания, которые получил от редакторов книжных обзоров в «Таймс» за то, что брал небольшие интервью у авторов. Но я не мог рассказать об этом Бобу Полицейскому, потому что это прозвучало бы так, будто мне жалко книг для него. Я сказал ему, что буду рад, если он зайдет завтра и выберет себе что-нибудь из тех книг, которыми я не пользуюсь.

Потом я поступил нехорошо. Я выбрал толстенный анализ Среднего Востока на восьмистах сорока двух страницах и безнадежно скучную историю исследователей Северного полюса на семистах восьмидесяти пяти, и на следующее утро,

когда Боб Полицейский без стука вошел в мою дверь (как и Макграу, он никогда не стучал — привилегия больших мужчин), я заявил ему, что взял на себя смелость выбрать для него две книги. Я знал, что, если я дам Бобу Полицейскому эти огромные тома, сквозь дебри которых пробраться просто невозможно, книг у меня он больше не попросит.

Оба тома вместе весили как мороженая индейка, и когда я вложил их в протянутые руки Боба Полицейского, тот взглянул на меня с такой благодарностью и нежностью, что мне хотелось сказать: подожди, я просто пошутил, я найду книги, которые тебе действительно понравятся, книги Лондона, Хемингуэя и Шоу. Вот, возьми «Ночного портъе». Возьми Ника Адамса. Возьми их все, мой друг. Но было слишком поздно. С двумя нечитабельными книгами под мышкой Боб Полицейский уже спускался по лестнице.

Я две недели не видел Боба Полицейского в «Пабликанах» и знал, что объяснение может быть только одно. Он ломает голову над моими книжками. Человек попросил у меня помощи в самообразовании, а я так его подставил. Уж лучше бы я пришиб его этими книжками, и дело с концом.

В Нью-Йорке начался буран. Большинство магазинов и офисов закрылись. В «Пабликанах», однако, было полно народу. Целые семьи приезжали в бар и оставались до позднего вечера, потому что у них дома не было ни света, ни тепла. Когда пришел Эдди Инвалид, я стоял в баре в длинном шарфе, обернутом вокруг шеи, пытаюсь согреться. «Катится, катится», — пропел Кольт. Кольт всегда пел куплеты из «Нелегкой поездки», когда Эдди Инвалид въезжал на своей коляске в бар, и Эдди Инвалид злился, отчего Кольт пел еще более издевательским тоном. Я рассмеялся, потом вспомнил, что Эдди Инвалид живет через дорогу от Боба Полицейского. Я спросил, не видел ли он в последнее время своего соседа.

— Да, — кивнул Эдди. — Я его только что видел. Он у себя во дворе делает ледяной дом.

— Что-что?

— Ну, этот, как его, ледяной дом, в котором чуваки живут на Северном полюсе.

— Что ты несешь?

— Я не могу вспомнить слово, — люди, которые живут на Северном полюсе?

— Эскимосы?

— Да! И как называются дома, в которых они живут?

— Иглу?

— Верно! Он строит этот иглу-шмиглу, в котором эскимосы живут.

— У себя во дворе?

Я чуть было не сорвался с места, когда Боб Полицейский появился собственной персоной. Он снял перчатки, положил их на стойку и заказал себе выпить.

Я подсел к нему.

— Боб, Инвалид говорит, что ты строишь иглу?

Он шмыгнул носом и высморкался в кулак.

— Я позаимствовал эту идею из книги, которую ты мне дал, — сказал он.

— Там были чертежи иглу?

— Эта книга о жеманных британцах, которые исследовали Северный полюс в 1800 году, и о том, как они мерли как мухи, потому что не хотели поступать так, как эскимосы. Британцы относились к Северному полюсу так, словно это площадь Пикадилли, и не приспособивались к этой, как ее, окружающей среде. Если бы они научились строить иглу, то не умерли ли бы. Недоумки.

— То есть ты прочел между строк, сообразил, как построить иглу, и решил попробовать?

— Послушай, Джей Ар, я не знаю, как тебя благодарить за то, что ты одолжил мне эту книгу. Я читал запоем.

— Правда?

— Не мог оторваться. Поэтому я и не приходил. Я читал.

— А история Среднего Востока?

— Эту я первой прочитал.

Он коротко рассказал мне о палестинском кризисе.

— Я рад, что книга вдохновила тебя на постройку иглу, — сказал я. — Ты *обе* книги прочитал? Тысяча шестьсот страниц? За две недели?

Боб Полицейский пожал плечами. Подумаешь. В этот момент я поклялся себе, что дам Бобу любые книги, которыми не пользуюсь.

Боб и без этого был моим лучшим другом в баре, но открытие нашего книжного клуба все изменило. Мы стали проводить больше времени вместе за пределами бара. Он учил меня разным премудростям — как поменять колесо, надеть наживку на крючок, пить «Ржавый гвоздь» — адскую смесь из виски и ликера «Драмбуи», — а я в свою очередь учил его переписывать полицейские рапорты ясным языком. Это был неравноценный обмен. От наших литературных уроков я получал гораздо больше пользы, чем Боб Полицейский. Я так и не смог убедить его, что лучше писать: «Мужчина сказал», чем «правонарушитель заявил». Но сам всегда замирал, когда говорил Бобу Полицейскому, что забивать отчет высокопарными словами не самая хорошая идея.

Когда у нас обоих был выходной, мы с Бобом плавали на его старой двадцатифуговой лодке «Пенн Ян» в город. Он давал мне один из спасательных жилетов отделения полиции Нью-Йорка, и мы плыли вокруг статуи Свободы, ловили камбалу или просто курсировали вдоль Саут-стрит Сипорт. Я стоял на носу лодки, чувствуя брызги воды на лице, наблюдая, как облака насаживаются на верхушки башен-близнецов. Потом мы оставляли лодку в доке на семнадцатом пирсе и шли перекусить. Мы всегда заглядывали в «Пабликанов на пирсе», но там, как прежде, было пусто. Боб Полицейский качал своей большой головой, глядя на длинные ряды свободных барных табуреток. «У Стива неприятности», — говорил он. «Неприятности», — повторял я, сочувствуя Стиву, но думая о Сидни, с которой у меня ассоциировалось это слово.

Мы мало подходили друг другу, полицейский и копировщик, но в Бобе было столько противоречий. Стоический рас-

сказчик. Грубый книжный червь. Жесткий парень с добрым сердцем. Я как-то слышал, как он говорит о своих детях, и это было так мило, что Атлет вытирал глаза. Через пять минут я спросил Боба Полицейского, не подозревает ли его жена неладное из-за того, что его нет дома по вечерам. «Не-а, — сказал он. — Она знает, что я не какой-нибудь там ирландский прохиндей». Я заметил, что не знаком с этим термином. Боб объяснил: «Ирландский прохиндей — это парень, который пройдет мимо бара, чтобы провести время с телкой».

С тех пор как Боб начал брать у меня книги, он изменился. Стал более разговорчив, смелее высказывал мнения на различные эзотерические темы. Книги давали ему не столько новые взгляды, сколько новую уверенность в своих взглядах. Он не то чтобы был счастливее, но казался менее озабоченным, и даже походка его, на мой взгляд, стала легче. Он больше не входил в бар с таким видом, словно нес весь мир у себя на плечах. Поэтому я удивился, однажды увидев Боба Полицейского печальным и угрюмым. Он залпом пил «Ржавые гвозди».

— Что случилось, коп?

Он посмотрел на меня так, будто мы незнакомы.

— Ты сегодня работаешь? — спросил я.

— Похороны.

Его белые парадные перчатки лежали на стойке.

— Кто-то из знакомых?

Он не ответил.

— У тебя изнуренный вид, — заметил я.

— Я плохо переносу похороны. Особенно похороны полицейских.

Он рассказал мне о церемонии. Гроб, задрапированный флагом. Руки в белых перчатках бодро отдают честь.

— Но ведь ты не знал полицейского, которого убили? — спросил я.

— Я их всех знаю.

Боб протер глаза и выпил остатки «Ржавого гвоздя», будто это был чай со льдом.

— Ты так и не прочитал про меня в архивах «Таймс». Верно?

— Нет.

Он помолчал, будто слова всплывали откуда-то из глубины. Когда он только начал службу в полиции, сказал Боб, и ему было примерно столько же лет, сколько и мне, он патрулировал район и услышал выстрел. «Знаешь, как говорят, будто время замедляет ход? Это правда. Ты бежишь и бежишь, а твои ноги будто приклеены к земле». Он помчался по улице, добежал до тупика и увидел мужчину, который держал другого под прицелом пистолета. Когда Боб Полицейский закричал на него, мужчина с пистолетом повернулся и прицелился в него. Боб Полицейский выстрелил, убив его на месте.

— Господи, — сказал я.

— Но все оказалось гораздо хуже, — продолжил Боб. — Мужчина, которого я убил, был полицейским. Девятнадцать лет службы. Он был в штатском. Пытался арестовать того, второго мужчину.

Друзья убитого полицейского настаивали на увольнении Боба, хотя расследование установило, что перестрелка была несчастным случаем. *Несчастливым случаем*, повторил Боб Полицейский. Друзей это не удовлетворило. Они преследовали Боба, подкарауливали его и устраивали кровавые разборки. Ему нужно было место, где он мог бы залечь на дно и переждать.

— У того полицейского была... семья? — спросил я.

— Сын. Он покончил с собой через год после этого.

В моей памяти всплыли все наши разговоры с Бобом Полицейским. Я подумал, насколько иначе я бы строил каждое предложение, если бы знал о его прошлом. Я вспомнил, как горевал из-за неправильно написанного имени. Как назвал это ошибкой, с которой мне придется жить до конца дней своих, и как долго разглагольствовал о том, что подсыпал соль на рану сыновьям Келли — после того, как какой-то полицейский застрелил их отца.

Я сказал Бобу, что мне жаль. Он отмахнулся.

— Это ошибка без злого умысла. Как я говорил, для этого и приделывают ластики к карандашам. Но, Джей Ар, поверь мне: на пистолетах ластика не бывает.

38 | МИШЕЛЬ И РЫБНАЯ КОРОЛЕВА

Многие считали «Пабликаны» местом сбора манхассетских плейбоев. Так это было или нет, но запах секса буквально витал в воздухе. Люди занимались сексом повсюду: на стоянке, в ванной, в подвале. Нельзя ожидать, что люди, пропивающие свои комплексы, смогут противостоять самому сильному из желаний. Приливом гормонов уносило даже сотрудников. Официантку и повара как-то застучали на том же разделочном столе, где Твою Мать паковал булки для гамбургеров. Потом на эту тему много шутили, говоря, какой странный вкус у бургеров, а дядя Чарли не уставал спрашивать клиентов, действительно ли они хотят бургер «между двух булочек».

Весной 1989 года, однако, сексуальная атмосфера в «Пабликанах» стала еще очевиднее. Разразилась опасная эпидемия весенней лихорадки, и все ходили по бару нетвердой походкой, хотя только внимательный наблюдатель мог определить, что изменилось по сравнению с другими временами года. Каждый вечер на закате мы стояли возле бара группами по двадцать—тридцать человек, мужчины и женщины, глядя, как апрельское небо темнеет, становясь изысканно синим — «королевской голубизны», как сказала одна из официанток. Всю зиму мы вносили с собой слякоть и грязь, а теперь каждый из нас приносил в «Пабликаны» кусочек этого голубого неба.

Снова появился Актер. Он сказал, что приехал домой навестить мать, но солгал. У него было разбито сердце. Его отвергла прекрасная старлетка, сексуальная блондинка, ко-

торуую мы все вожделили. Часто по вечерам Актер приносил в «Пабликаны» гитару и пел печальные испанские любовные баллады — он пел, как Нил Янг, — а Далтон в это время читал стихи Рильке роскошной пепельной блондинке из Верхнего Хадсон-Вэлли, на которой, как он говорил, собирается жениться. Даже у дяди Чарли в ту пьянящую всену была девушка. Он забрался в телефонную будку и спел ей: «Смешной мой Валентин». Он не побеспокоился закрыть дверь, поэтому мы все слышали. Он также не побеспокоился проверить, который час, и его девушка не очень обрадовалась тому, что ее разбудили в два часа ночи. Когда она в очередной раз говорила ему об этом, дядя Чарли прекращал петь и делал ей выговор за то, что она ругает его. Потом пение возобновлялось, и звучало это примерно так: «Смешной мой Вален — заткнись, мать твою! Забавный Вал — закрой свой рот, черт подери! Мне весело с тобой — замолчи, черт подери, пока я пою тебе серенаду!»

Как черемухи и белые акации вдоль залива Манхассет, за одну ночь в баре распустилась целая гроздь свежих женщин. Мы с дядей Чарли смотрели, как они появляются вокруг нас. «Откуда они все взялись? — спросил он. — Откуда они взялись, Джей Ар, и куда направляются?» Многие из них приехали из Хельсинки и Лондона работать нянями в богатых семьях города. Еще приходили новые продавщицы, устроившиеся на работу в «Лорд энд Тейлор». И как минимум дюжина из них работала медсестрами «скорой помощи» в Норт-Шор. Также было много студенток университета и выпускниц, которые жили с родителями, пока не подыщут квартиру в городе. К последним относилась и Мишель.

У нее были угольно-черные волосы и теплые карие глаза с шепоткой корицы в центре. Ее голос был более прокуреным, чем сам бар, и от этого звучал сильнее ее самой, ведь она к тому же была застенчива. Она скромно пятилась при виде дяди Чарли, а потом поворачивалась и бесстрашно дразнила меня за мои «одолженные» подтяжки и галстуки. Мне очень нравилась Мишель. Мне нравилось, как она беззвучно

смеется — ее рот открывался за пару секунд до того, как раздавался звук. Мне импонировала ее улыбка, которую в прошлом тысячелетии называли бы томной. Мне нравилось, что я всю жизнь знаю ее семью — мы с Макграу играли в Малой лиге с ее старшим братом. Уже после нескольких свиданий у меня появились большие надежды по поводу нашего заждавшегося романа — даже после того, как Мишель призналась, что один раз переспала с Макграу.

— Ты и Макграу? — удивился я. — Это невозможно.

— Мы были в седьмом классе, на вечеринке. Пили ром и... молоко, кажется?

— Да. Узнаю Макграу.

Мишель была совершенством. Лучшей девушкой Манхассета. Мне нужно было отдать ей всего себя, направить всю свою энергию на то, чтобы завоевать ее, но я не мог стать мужчиной, которого она заслуживала. После Сидни и нескольких неудачных попыток кем-то ее заменить я сомневался, что до сих пор верю в романтическую любовь. Моей единственной целью в отношениях с женщинами было избежать очередного обмана, что означало оставаться отчужденным и уклончивым, как сама Сидни. Кроме того, я не знал, что делать с такой женщиной, как Мишель, — преданной, доброй, искренней. Ее добродетель наткнулась на мой опыт и заниженные требования.

Я держал Мишель на расстоянии, одновременно встречаясь с женщиной с сильно накрашенными ресницами, которая была одновременно осторожной и независимой — то, что доктор прописал. Когда бар закрывался, она ловила мой взгляд из другого конца помещения и поднимала вверх большие пальцы с недовольным видом. Если я опускал большой палец вниз, она пожимала плечами и махала мне рукой на прощание. Если я поднимал большие пальцы вверх, она соскакивала с барной табуретки и поспешно выходила из бара, а я присоединялся к ней через пять минут у входа в греческий ресторан Луи. Когда дамы с пальцами не было, я безуспешно флиртовал с высокомерной английской няней, которая раз-

говаривала как Маргарет Тэтчер и втягивала меня в долгие дискуссии о битве при Гастингсе и адмирале Горацио Нельсоне. Меня напрягал ее акцент, к тому же я не разделял ее страсть к британской истории, но я был очарован ее белой фарфоровой кожей и сапфировыми глазами. Также я сходил на несколько разочаровавших меня свиданий со студенткой последнего курса университета, которая славилась своим богемным отношением к гигиене. Волосы у нее были спутаны, одежда мятая, ноги грязные. Я не обращал внимания на ее неопрятность из-за других подкупающих качеств — мощного интеллекта и завораживающих грушеобразных грудей. Когда она сказала мне, что пишет диплом о морской жизни Нью-Йорка, я немедленно привел ее в «Пабликаны» и представил Бобу Полицейскому. Она поведала Бобу Полицейскому о том, что плавает в реках и бухтах, а он рассказал ей, что там всплывает.

Когда она в первый раз вышла в туалет, Боб Полицейский отвел меня в сторонку и возбужденно заявил:

— Я не могу поверить, что ты нашел телку с сиськами, которая к тому же разбирается в рыбе!

А вот Атлету моя девушка не понравилась. Он приказал мне немедленно расстаться с Рыбной Королевой.

— Почему?

— Она слишком... умная.

Я усмехнулся.

— Ну, как знаешь.

Через несколько часов я лежал с Рыбной Королевой на полу, слушая голос Синатры.

— Почему ты так любишь Фрэнка Синатру? — спросила она.

Никто никогда не задавал мне подобного вопроса. Я попытался объяснить.

— Голос Синатры — это внутренний голос большинства мужчин. Это парадигма мужественности. В нем есть сила, к которой так стремятся мужчины, и уверенность в себе. Но тем не менее, когда Синатра страдает, когда у него разбито

сердце, его голос меняется. Не то чтобы уверенность исчезает, просто под уверенностью проявляется уязвимость, потому как Синатра полностью обнажает душу, что мужчины делают редко.

Довольный своим объяснением, я сделал музыку погромче. Звучали ранние записи Синатры еще с Томми Дорси.

— Он тебе всегда нравился? — спросила Рыбная Королева.

— Всегда.

— Даже в детстве?

— Особенно в детстве.

— Интересно. — Она провела пальцем по волосам, наткнувшись на узел. — Я хотела спросить. Твой отец оставил что-нибудь после себя, когда твои родители разошлись? Фотографии?

— Моя мать выбросила все фотографии.

— Одежду?

— Он оставил несколько водолазок. Что-то в этом роде. Хлам.

— Что-нибудь еще?

Я закрыл глаза.

— Помню какие-то итальянские кулинарные книги с красными пятнами соуса на обложках.

— И?..

— Помню большую стопку старых альбомов Сина... — Я повернул голову.

Рыбная Королева смотрела на меня печально, но с гордостью, почти с торжеством, будто угадала развязку детектива, прочитав первую страницу.

— Вот именно. У тебя была причина.

Должно быть, я стал слушать Синатру, когда не мог найти голос своего отца по радио.

Я встал и начал ходить по комнате.

— Я все испортила?

— Ты хочешь сказать, что как психотерапевт вынула из меня болезненные для меня признания? Нет.

Почти всю ночь я лежал без сна, а утром распрошался с Рыбной Королевой навсегда. Кто знает, до какой еще неприятной правды она докопается в следующий раз? Единственным досадным моментом было то, что мне пришлось рассказать об этом Бобу Полицейскому, который надеялся чаще встречаться с Рыбной Королевой. Но когда я объяснил ему, что произошло, тот понял. Боб Полицейский верил, что все, что покоится на самом дне гаваней нашей души, должно всплывать лишь тогда, когда придет время, само по себе.

Я поблагодарил Атлета за предупреждение и извинился за то, что не доверял ему.

— Встречайся лучше с дурочками, — сказал он. — Встречайся с дурочками, пацан.

Он сказал это полусуто, но в тот момент я решил перестать звонить Мишель. Я решил, что для Мишель будет лучше, если я уйду из ее жизни. Я не мог предложить ей больше, чем зря потраченное время. Она заслуживала самого лучшего, а я не заслуживал никого лучше своей жестикулирующей дамы.

Вскоре после того, как я принял решение насчет Мишель, мы выпивали вместе с Далтоном и его новой девушкой. За стойкой стоял Питер, который читал страницы моего романа. Я заявил Питеру, что, хотя его редакторские навыки улучшаются, мое мастерство как автора становится все хуже и хуже. Вообще, все из рук вон плохо, сказал я ему. Питер стал говорить что-то ободряющее, но я как сомнамбула пошел к телефонной будке и набрал номер Сидни.

Было два часа ночи. Трубку взял мужчина. Парень из трастового фонда? Я молчал. Я слышал его дыхание. «Кто это?» — раздался вдалеке голос Сидни. Я собирался попросить к телефону Сидни, а потом спеть «Смешной мой Валентин». Я был достаточно пьян и достаточно смел, но не уверен, что пение — лучший способ вернуть Сидни, и пока уверенность и уязвимость боролись в моей душе, на том конце провода повесили трубку.

В ту же весну я снял эмбарго на общение с матерью, которое сам же на себя наложил. Я снова стал регулярно звонить ей из отдела новостей. Она никогда не спрашивала, почему я перестал звонить и почему вдруг начал делать это снова. Мама понимала все еще лучше, чем я, и продолжила наше общение с того же места, на котором оно оборвалось, ободряя меня и давая мудрые советы. Иногда я цитировал ее в баре — не уточняя, что это ее слова, — и ребята восхищались моей мудростью.

Продолжай писать, говорила мама. Продолжай стараться. Может быть, если я забуду про ляп с Келли, в «Нью-Йорк таймс» тоже про него забудут. Я следовал ее совету, потому что не мог придумать ничего лучше.

Каждую неделю на страницах о недвижимости «Таймс» печатали невразумительный раздел «Если вы планируете жить в...». Каждое воскресенье рассказывалось о новом городе, и я предложил написать обзор о Манхассете. Редакторы кивнули в ответ, и несколько недель я носился взад-вперед по Пландом-роуд, расспрашивая людей о своем родном городе. Мне приятно было вновь почувствовать себя репортером, и я с удовольствием узнавал новое о городе, где вырос, как, например, то, что братья Маркс приезжали туда специально, чтобы напиться. Однако, когда я сидел со своими записками в отделе новостей, на меня находил больший ступор, чем когда я пытался написать роман про бар. Меня преследовал голос Стивена Келли-младшего, и я маниакально проверял и перепроверял написание каждого слова и имени и не мог сдвинуться с первых двух абзацев. В конце концов тихим воскресным днем я взял статью с собой в «Пабликаны» и сидел с Мейпзом, шлифуя слова, пока тот полировал медные буквы. Я написал статью в баре, поэтому, наверное, последним словом в ней было «Пабликаны».

Статья вышла в апреле 1989 года. Когда в тот вечер я вошел в «Пабликаны», меня ждал Стив. Он подошел ко мне, и

лицо его было необычно красным. Мне показалось, что он выглядит взбешенным. Может быть, я неверно написал название бара?

— Джуниор! — закричал он.

— Да?

Он улыбнулся мне своей самой замечательной улыбкой Чеширского Кота, которую приберегал для близких друзей и больших побед в софтболе, и заключил меня в объятия.

— Какой же ты молодец! — сказал он.

Я увидел свою статью, расстеленную на стойке, придавленную бутылкой «Хайнекена» как пресс-папье.

Не считая краткого упоминания о баре, статья была тривиальной: достаточно сухой обзор Манхассета — школ, цен на дома и все такое. Но Стив вел себя так, будто я написал «Поминки по Финнегану». Он сказал, что у меня «индивидуальный писательский стиль», и я отступил назад, понимая, что это один из самых лучших комплиментов Стива. Стив любил слова. Это сказывалось и в том, с какой тщательностью он выбирал название для бара, в тех прозвищах, которые он нам придумывал, и в той публике, которую привлекал бар: рассказчиков с хорошо подвешенными языками, любителей травить байки и авторов цветастых небылиц. Также, — может быть, больше всех остальных мужчин — Стив уважал газеты и был счастлив видеть, что про его бар написали в «Таймс». Я ненадолго отвлек его от вторых «Пабликанов», умирающих «Пабликанов», которые почти обанкротились. Он был так мне благодарен, так добр, что я увлекся и рассказал Стиву, что однажды надеюсь написать о «Пабликанах» роман.

Он ответил с таким же энтузиазмом, как моя мать, когда я впервые объявил ей об этом почти на том же самом месте в баре. «Угу», — сказал он. Его реакция озадачила меня, и, вспоминая о ней позже, я подумал, что, может быть, Стив считал, что «Пабликаны» уже были книгой. Когда я открывал дверь бара, мне всегда казалось, что я попадаю в литературное произведение. Может быть, Стив и имел в виду это ощущение, когда назвал бар «Диккенс». Он создал свой

собственный мир Диккенса, похожий на диккенсовский туман, — волны сигарного и сигаретного дыма. Он даже придумал имена своим героям. Может быть, «Пабликаны» были великим американским романом Стива и он не видел смысла, чтобы кто-то писал о них еще один роман.

Да и вообще, решил я, мало ли о чем еще думал Стив.

Редакторам понравилась моя статья про Манхассет, но не настолько, чтобы забыть мои прошлые грешки. Мне сказали, что мое дело скоро рассмотрят и примут окончательное решение. Соберется секретная комиссия, которая раз и навсегда решит, подходит ли Джей Ар Морингер на должность корреспондента «Таймс». Чтобы помочь им в принятии решения, я должен был в письменном виде ответить на единственный вопрос: «Почему у выпускника Йеля хромает орфография?»

Боб Полицейский покачал головой, когда я рассказал ему об этом унижительном задании. Я подумывал о том, чтобы написать секретной комиссии письмо с использованием нескольких тщательно отобранных слов из трех букв, каждое из которых будет написано без ошибок, но он сказал мне держаться до конца и делать все, что попросит секретная комиссия. «Пока что медленно, но верно, — сказал он, — твой мяч катится в лунку».

Как-то поздно вечером, когда я работал в отделе новостей над письмом в стиле «Простите, что я такой идиот», мне позвонила Бебе, моя университетская подруга — любительница баров, единственная из моих друзей, которая «встречалась» с Джей Ар Магвайером. Она пригласила меня выпить в баре на Бродвее, который нам обоим нравился. Когда я вошел, она обняла меня и предложила:

— Давай напьемся!

— Без вопросов.

Мы заказали мартини. Его подали в стаканах, которые были большими, как перевернутые клоунские колпаки. Бебе рассказала мне последние сплетни про однокурсников.

Я спросил про Джедда Редукса. Она недавно видела его на вечеринке, и он выглядел великолепно. Рассказывая, она одним глазом следила за барменом. Как только наши стаканы пустели наполовину, она делала ему знак принести еще по одной.

— Ого, — сказал я. — Я сегодня не ужинал. Скоро упаду под стол.

Бебе попросила бармена не обращать на меня внимания и продолжать приносить мартини.

Когда я допил свой третий мартини, она качнулась вперед и спросила:

— Ты пьян?

— О господи, да.

— Хорошо. — Бебе качнулась назад. — Сидни выходит замуж.

В человеческом теле двести шесть костей, и внезапно я ощутил каждую из них. Я посмотрел на пол, потом на ноги Бебе, потом на бармена, который стоял, сложив руки на груди, сузив глаза и изучая меня внимательно, будто Сидни заранее предупредила его, что произойдет.

— Лапушка, я не знала, стоит ли говорить тебе, — произнесла Бебе сквозь слезы.

— Нет, ты правильно поступила. Расскажи мне все, что знаешь.

Она знала все. Она выведала это у подруги лучшей подруги Сидни. Сидни выходила замуж за парня из трастового фонда.

— Они уже назначили дату?

— В выходные на День памяти павших на войне.

— Хорошо. Этого достаточно. Больше я ничего не хочу знать.

Мне захотелось заплатить по счету и сбежать в «Публиканы».

В пятницу перед Днем памяти я сортировал копии в отделе новостей, думая о Сидни и о том, как пережить следую-

шие семьдесят два часа. Когда я поднял глаза, передо мной стояла секретарша редактора, отвечавшего за программу тренинга.

— Он тебя искал, — сказала она, указывая карандашом в сторону стеклянного кабинета редактора.

— Я был здесь.

— Я искала. Тебя здесь не было.

— Должно быть, я выходил съесть бутерброд.

— Жаль. Он хотел тебя видеть.

Секретарша сделала большие глаза, давая понять, что желание редактора было важным и беспрецедентным.

— Но сейчас его нет. Он уехал на выходные. Ты свободен во вторник?

— Это хорошая новость?

Ее глаза еще больше расширились, она поджала губы и повернула невидимый ключ.

— *Это хорошая новость?* — повторил я.

Она снова повернула ключ и кинула его через плечо. Потом улыбнулась мне теплой поздравительной улыбкой.

— Меня повысят!

— До вторника, — ответила секретарша.

Как замечательно! Как вовремя! В тот же выходной, что Сидни стала миссис Трастовый Фонд, я стал репортером «Нью-Йорк таймс». Если бы только я оказался за своим столом, когда редактор искал меня! Тогда я бы мог все выходные возвращаться мыслями к этой счастливой сцене, вместо того чтобы вновь и вновь представлять Сидни, идущую по проходу церкви к своему жениху.

Нет, сказал я себе, все будет еще лучше. Предвкушение даже слаше.

Когда я заявил, что меня повысили, в «Пабликанах» как будто снова случился шестой раунд. Мужчины бросали салфетки в воздух и кричали «ура». Они ерошили мне волосы и умоляли дядю Чарли оказать им честь заплатить за первый коктейль новоиспеченного корреспондента. Стив настаивал,

что мое повышение связано со статьей про Манхассет, которую он продолжал называть «статьей про «Пабликаны».

Я решил провести последние выходные в должности копировщика, съездив в гости к университетским друзьям из Нью-Хейвена. Когда я сел на поезд рано утром в субботу, у меня все еще кружилась голова от пирушки в «Пабликанах». Мне было грустно, когда поезд остановился в родном городе Сидни, но с этой грустью я мог справиться. У нас обоих все складывалось прекрасно. Мы шли разными дорогами и одновременно достигли разных мест назначения, каждый своего. Все логично. Что ни случается, все к лучшему. Если бы я страдал по Сидни и все последние три года сражался бы за то, чтобы отвоевать ее у парня из трастового фонда, мне бы не хватило сил стать корреспондентом «Таймс». Но все равно я думал о том, как она, с высокой прической из светлых волос, наверное, хорошо смотрелась в церкви, когда парень из трастового фонда поднял ее вуаль. Я даже представить не мог, насколько болезненнее были бы эти видения, если бы до моего собственного счастливого дня меня не отделяло всего несколько часов.

Перед тем как встретиться со старыми приятелями в Йеле, я навестил своего самого старинного и верного друга — раскидистый вяз. Я сел под деревом со стаканчиком кофе и стал думать о том, какой путь я проделал. Я походил по студенческому городку, останавливаясь у каждой скамейки, у каждого камня, где мучился отчаянием, будучи студентом. Я посетил дворы и переулки, где мы с Сидни смеялись, целовались или строили планы на будущее. Я послушал колокола на башне Харкнесс, пообедал в своем старом книжном магазине-кафе и почувствовал себя более благодарным, более живым, чем в тот день, когда я окончил университет, потому что мой сегодняшний выпуск, переход из копировщика в корреспонденты, был куда большим чудом.

Утром во вторник я предстал перед секретаршей редактора ровно в девять утра. Она сделала мне знак подождать, потом пошла в кабинет редактора. Тот говорил по телефону.

Я увидел, как она показала на меня. Редактор улыбнулся и махнул мне рукой: «Проходи, проходи».

Он указал на стул напротив стола. «Международный звонок», — прошептал он, показывая на телефон. Я сел.

Главный редактор программы тренинга был бывшим военным корреспондентом. На его умудренном опытом лице отразились многолетние скитания по миру. Он наполовину облысел, но остатки русых волос по периметру головы были достаточно густыми. Его загорелая лысина казалась шикарнейшей, ей хотелось завидовать. Костюм был сшит на заказ — в Лондоне, без сомнения, — а ботинки на шнурках шоколадно-коричневого цвета явно сделаны вручную в Италии. Кто-то говорил мне, что этот редактор много лет покупает ботинки у одного и того же сапожника. «Интересно, правда ли это?» — подумал я. Еще я слышал о его романе с известной своей распутностью кинозвездой и о его глубоком разочаровании, когда позднее он обнаружил, что грудь у нее искусственная.

Повесив трубку, редактор сложил руки на столе и спросил, как я провел праздничные выходные. Я рассказал ему, что ездил в Йель.

— Я и забыл, что вы из Йеля.

— Да, — подтвердил я.

Он снова улыбнулся. Улыбка почти как у Стива. Я тоже улыбнулся.

— Ну что ж, — начал он. — Как вы, наверное, уже догадались, редакторы тщательно изучили ваши работы — и они потрясающие. Честное слово, некоторые из материалов, которые вы написали для нас, действительно выдающиеся. Поэтому жаль, что у меня нет для вас лучшей новости. Как вы знаете, когда собирается комиссия, чтобы обсудить новичка, некоторые редакторы его поддерживают, некоторые нет. Проводится голосование. Я не имею права сказать, кто как проголосовал и почему. Но боюсь, что по результатам голосования я не могу предложить вам позицию корреспондента.

— Понимаю.

— Мы считаем, что вам нужно больше опыта. Больше зрелости. Возможно, в менее крупной газете, где вы сможете учиться и расти.

Он ничего не сказал про горящие крендели и неправильное написание фамилии Келли. Он не упомянул мою нестабильную производительность труда, не вспомнил мое письмо «Простите, что я такой идиот». Он был образцом сочувствия и такта. Он подчеркнул, что я могу оставаться в «Таймс» так долго, как пожелаю. Однако, если я решу уйти, если я хочу приобрести настоящий писательский опыт, который можно приобрести только путем ежедневного написания статей в режиме жестких сроков, «Таймс», конечно, поймет, и редакторы пожелают мне удачи и отпустят меня с блестящими рекомендательными письмами.

Как глупо и самонадеянно с моей стороны было думать, что у меня достаточно квалификации, чтобы стать корреспондентом «Таймс»! Мне необходим был опыт, даже больше опыта, чем он думал. Я поблагодарил редактора за уделенное мне время и потянулся через стол, чтобы пожать ему руку. Я обратил внимание на его длинные наманикюренные пальцы, гладкую и приятную на ощупь кожу. Это были руки концертирующего пианиста, волшебника или хирурга. Руки солидного мужчины, в отличие от моих — с заусенцами и табачными пятнами на пальцах. Мои были руками мальчишки. Его руки печатали срочные репортажи из зон военных действий и ласкали грудь кинозвезды. Мои же совершали ужасные ошибки, допускали нелепые опечатки и регулярно превращались в когти, когда на меня находило творческое оцепенение. Жаль, что мы не могли поменяться руками на денек. И волосами. Потом я стал презирать себя за такое желание. Этот человек только что сказал мне, что я не гожусь в корреспонденты, но все равно продолжал мне нравиться, и я желал поменяться с ним частями тела. Когда он говорил мне какие-то последние ободряющие слова, я не слушал. Я говорил себе: «Разозлись!» Нужно было накричать на редактора или стукнуть его. Джо Ди повалил бы этого парня прямо на

стол ногами вперед. Джо Ди схватил бы этого редактора за волосы, за эту блестящую шелковую прядь — сколько же он тратит на бальзам для волос? — и повозил бы его мордой по столу. Жаль, что я не Джо Ди.

Несколько часов я ходил по Манхэттену, пытаюсь сосредоточиться. В конце концов я позвонил матери из бара на Пенн-стейшн. Она сказала, что гордится тем, что я не сдаюсь.

— Почему бы тебе не приехать в Аризону? — предложила она. — Начнешь все заново.

— Я иду в «Пабликаны».

— Я имею в виду в будущем.

Но «Пабликаны» на тот момент были моим единственным обозримым будущим.

40 | СЕКРЕТАРЬ

Я взял в «Таймс» неделю выходных и заперся у себя в квартире. Выходил я дважды в день — позавтракать в греческом ресторане Луи и в сумерках отправиться в «Пабликаны». Остальное время я сидел в трусах, пил пиво и смотрел старые фильмы с Кэри Грантом по черно-белому портативному телевизору. Никогда я не был так благодарен за свои две комнаты над рестораном. Я больше ничего не имел против шума и того, что Далтон приходит вздремнуть на моей кровати, когда меня нет дома. При всех ее недостатках эта квартира была моим домом, поэтому для меня стало тяжелым ударом, когда Дан и Далтон сообщили мне, что расширяют свою практику и им понадобится больше места. Взяв в качестве платы несколько книг, Боб Полицейский помог мне переехать обратно к дедушке.

Дом был переполнен — тетя Рут и двоюродные сестры снова жили там, — но я сказал себе, что все не так плохо. Я экономлю деньги на аренде. Буду в нескольких шагах от

«Пабликанов». Смогу чаще встречаться с Макграу, который на лето приедет из Небраски. Мы снова будем спать в одной комнате.

Самое приятное заключалось в том, что Макграу наконец-то мог официально пить спиртные напитки. Законодательство штата Нью-Йорк сделало все возможное, чтобы держать Макграу подальше от «Пабликанов», поднимая планку минимального возраста, с которого разрешается потребление алкоголя, каждый раз, когда приближался его очередной день рождения. Но в 1989 году законодатели остановились на возрасте двадцать один год, позволив Макграу, которому только что исполнился двадцать один, спокойно приходить в бар. В его первый же вечер дома, через неделю после того, как я снова переехал к бабушке, мы понесли в бар, съев перед этим одну из желеобразных бабушкиных запеканок и побрызгавшись одеколоном. Я придержал дверь для Макграу.

— После вас.

— Нет, после вас.

— Пожалуйста.

— Я настаиваю.

— Сначала взрослые, потом красивые.

Мы вошли вместе, бок о бок. По бару пронеслись ответственные выкрики.

— Смотрите. Кто. Пришел.

— О боже, — сказал Атлет. — Плавание для взрослых закончено. В бассейне детское время.

Мужчины вытащили банкноты из своих стопок и стали махать ими дяде Чарли. Напоминало налет на банк.

— Племянники! — воскликнул дядя Чарли. — Вас угощают все.

Мужчины закидали Макграу вопросами. Как твоя рука, силач? Как прошел сезон? Трахнул какую-нибудь фермерскую дочку? Макграу отвечал на каждый вопрос гладко и четко, будто давал пресс-конференцию в раздевалке. Я отступил в сторону, ушел в тень. Макграу был звездой в Небраске, и все знали, что он установил университетский рекорд

по количеству сыгранных матчей за один сезон, в которых участвовал в качестве питчера. Дядя Чарли хотел знать все подробности этого рекорда. Сколько матчей? Каков был предыдущий рекорд? Дядя Чарли сказал, что через три года Макграу станет профессионалом. Его возьмут в Высшую лигу и заплатят крупный бонус, он купит себе спортивную машину, будет мочить игроков низшей лиги, и вскоре мы все будем встречаться в «Пабликанах», чтобы сесть на поезд и ехать на стадион «Шиа» смотреть, как Макграу косит нападающих низшей лиги.

Несмотря на оказанный теплый прием, мужчины, казалось, не совсем понимали, что делать с этим новым Макграу. Как и я, они и гордились им, и побаивались одновременно. Они то дурачились с ним, будто ему все еще было десять лет, то обращались с ним почтительно, будто он был их королем. Иногда мне казалось, что сейчас они сплетут ему корону из вишен и соломинок. Атлет прошел через минные поля в Ку Чи, Боб Полицейский уворачивался от пуль в Бруклине, Шустрый Эдди пикировал на землю со скоростью сто пятьдесят миль в час, но в ту ночь они все отошли на задний план из-за Макграу, потому что профессиональный бейсболист — это вершина успеха. Мужчины уважали бы Макграу больше, только если бы он собирался стать чемпионом по боксу в тяжелом весе.

Никто не обнял Макграу крепче Стива. Он закричал, когда увидел Макграу, и побежал к нему, как линейный защитник к защитнику поля. «Только посмотрите, каким большим стал этот пацан!» — завопил Стив. Стив всегда любил Макграу. Его звонкий смех всегда приводил Стива в восторг, а летом 1989 года смех был жизненно необходим хозяину «Пабликанов». Он с ума сходил от беспокойства. Многие мужчины говорили о том, как много Стив пьет. А чтобы люди в «Пабликанах» заметили, сколько ты пьешь, нужно было пить действительно много.

Стив не только поприветствовал Макграу, но и принял в клуб больших мужчин. Будучи сам большим мужчиной, Стив

любил других больших мужчин, и то, как легко ему было с Макграу, наводило на мысль о родстве душ и превосходстве больших мужчин. Я — мужчина средних габаритов, но, стоя в тот вечер рядом со Стивом и Макграу, Атлетом и Бобом Полицейским, Вонючкой и Джимбо, я чувствовал себя травинкой среди сосен.

Стив спросил Макграу, приходится ли звезде спорта посещать занятия. Макграу побледнел. Я люблю учиться, сказал он. Он говорил о своей учебе, о том, что читает со страстью, как будто защищаясь, что напомнило мне Боба Полицейского. «В этом семестре я прочитал «Шум и ярость», — сказал Макграу. — Всю книгу. Это тяжелая книга. Запутанная. Например, эпизод, когда Бенджи засекает, как Кэдди занимается сексом на подвешенной к дереву шине. Профессор вызывает меня и спрашивает: «Как вы думаете, что означает эта сцена?» Я сказал ему: «Секс на качелях из шины — не легкое дело», и профессор заметил, что никогда не слышал подобного толкования Фолкнера».

Развернулись две параллельные дискуссии, одна про Фолкнера, другая про шины со стальным ободом.

А что, Фолкнер был алкашом, а? Мне давно пора поставить зимние шины на мою «Шеви». Все писатели — не дураки выпить. Почему сегодня новые шины? Может, мне тогда писателем стать, если все, что для этого требуется, — бухать. Тебе нужно сначала читать научиться, а потом уже писать, Придурок. А что вообще означает это название — «Шум и ярость»? Мне кажется, я видел «Мишлен» со скидкой. Макграу говорит, это из Шекспира. Если там все время трахаются на шинах, может быть, книгу нужно было назвать «Шум и «Файрстон»? Как «Файрстон» мог так запросто присвоить строчку Шекспира? Ты хотел сказать «Фолкнер». А я что сказал? Ты сказал «Файрстон», Эйнштейн. Это было бы неплохим псевдонимом — Файрстон Эйнштейн. Если ты

* «Файрстон» — фирменное название автомобильных шин филиала американской компании «Файрстон Тайр энд Раббер Ко» (Firestone Tire & Rubber Co).

когда-нибудь попадешь в программу защиты свидетелей, сможешь взять себе такое имя. Он не присвоил строчку Шекспира — это литературная *аллюзия*. Мне пора бросать пить. Я завтра схожу посмотреть на эти «Мишлен». Я не помню, черт возьми, ни одной пьесы Шекспира, которая называлась бы «Шум и ярость».

«Это из «Макбета!» — чуть не закричал я, но мне не хотелось быть низкорослым ботаником, разглагольствующим о Шекспире. Мужчин волновал Макграу, а не Макбет, поэтому я курил, страдал и помалкивал.

Когда коронация завершилась, Макграу нашел меня в другой части бара, где я разговаривал с Бобом Полицейским.

— Так вот, мужик приходит на свою яхту, — начал Боб Полицейский, — и видит трупы, привязанные к моей полицейской лодке, и кричит: «Эй, ты, на какую наживку ловишь?»

Мы с Макграу рассмеялись. Боб Полицейский пошел сделать взнос в фонд Дона, и Макграу спросил, что нового в моей жизни. Я рассказал ему о своих злоключениях, начиная с инцидента с Господином Соленым и опровержения про Келли и заканчивая свадьбой Сидни и моим несостоявшимся повышением.

— Жестоко, — сказал Макграу. — Особенно Сидни. Она твоя Дейзи Боннон.

— Бьюкенен.

— Не важно.

На меня произвело впечатление, что Макграу читал «Гэтсби», запомнил сюжет и ссылается на него. Он сказал, что у него тоже есть своя Дейзи, девушка в Небраске, которая играет с его сердцем. Она так красива, но иногда бывает просто безобразна. Понимаешь, о чем я?

Мы спросили Боба Полицейского, когда тот вернулся, была ли у него Дейзи в прошлом. Он выглядел озадаченным. Я сделал себе пометку принести в бар «Великого Гэтсби» для Боба Полицейского. Бог свидетель, подумал я, этой книгой я не пользуюсь.

В то лето я с нетерпением ждал, что буду проводить время вместе с Макграу, но не мог себе представить, что он станет моей тенью. Вместо того чтобы поднимать гантели, отдыхать и поддерживать форму для финального сезона, Макграу вечер за вечером просиживал рядом со мной у стойки в «Паббликах». Когда я спросил, зачем он пытается побить мой рекорд посещаемости «Паббликанов» в отдельно взятом сезоне, он ухмыльнулся, а потом поморщился. Затем потерял свое плечо, и на лице у него появилось такое выражение, будто он сейчас заплачет. Что-то было не так.

Макграу впервые заметил это в начале года, когда подбрасывал бейсбольный мяч. Приступ боли. Мяч уходил вбок, и он знал это. Он не обращал внимания на боль и на все последующие приступы, играл, несмотря на боль, и установил рекорд, но потом боль стала невыносимой. Он не мог поднять руку. Он не мог спать. Тетя Рут водила его к нескольким специалистам, и все поставили диагноз: разрыв вращательной мышцы. Единственной надеждой Макграу снова стать питчером была операция, которую он делать не хотел. Слишком рискованно, сказал он. После нее рука могла полностью потерять подвижность.

А потом Макграу ошарашил меня, признавшись в главной причине, по которой он не хочет идти на операцию. Он потерял любовь к игре.

— Я устал, — сказал он. — Устал от тренировок, устал от поездок, устал от боли. *Устал*. Я не уверен, хочу ли вообще снова прикасаться к бейсбольному мячу.

Ему оставалось еще два семестра в университете. Макграу сказал, что хотел бы посвятить их чтению, улучшить успеваемость и, может быть, поступить в юридическую школу.

В юридическую школу? Я попытался скрыть свое ошеломление. Когда я наконец снова обрел дар речи, то сказал Макграу, что буду поддерживать его, чем бы он ни решил заниматься.

— Спасибо, — сказал он. — Но проблема не в тебе.

— В твоей матери?

Он сделал глоток пива.

— Рут вышла на тропу войны.

Макграу сообщил сегодня матери то, что только что узнал я, и та пришла в ужас. Как только мы вернулись к дедушке, я понял, что Макграу не преувеличивал. Тетя Рут не спала — она поджидала нас. Зажав нас в угол в кухне, она поинтересовалась, рассказал ли мне Макграу про руку.

— Да.

— И что ты ему ответил?

— Что буду поддерживать его, чем бы он ни решил заниматься.

Неверный ответ. Рут подняла руку и стукнула кулаком по кухонному столу так, что в буфете задрожали стаканы из «Паб-бликанов». Она метала гневные взгляды то влево, то вправо, пытаясь найти что-то, что можно бросить. Потом она заговорила, и это была самая язвительная речь, которую я когда-либо слышал. Все крики тети Рут за последние двадцать четыре года оказались просто репетицией к этому вечеру. Она кричала, что мы с Макграу трусы, самые презренные трусы, потому что боимся не провалов, а успеха. Мы такие же, как все мужчины в нашей семье, сказала она, и даже сквозь страх я сочувствовал ей, потому что понимал, как много мужчин разочаровали ее, от отца и брата до мужа и единственного сына. Даже сжимаясь от страха, я сочувствовал ей и понимал ее, потому что она, так же как и я, желала лучшего Макграу. Она не хотела, чтобы он бросал играть только из-за боли. Она хотела, чтобы он боролся через боль, продолжал стараться. Как и моя мать, тетя Рут всю жизнь боролась, несмотря на боль. За ее спиной были годы неудачных работ, бедности и разочарования, постоянных унижительных возвращений в дедушкин дом, и иногда единственным, что ее поддерживало, была надежда на то, что у ее детей будет иная жизнь, что они станут другими. Теперь же она чувствовала, что Макграу будет *таким же*. Когда Макграу сказал, что хотел бы бросить бейсбол, она слышала не его голос. Она слышала хор мужских голосов, твердящих «Я сдаюсь», и от этого срывалась

на крик, от чего я в конце концов сбежал с кухни, а за мной и Макграу.

Мать Макграу преградила ему дорогу. Он проскочил под ее поднятой рукой, но она прижала его к стенке. Он опустил голову, как борец, собирающийся идти на таран, но тетя Рут была не из тех, кого можно протаранить. Она изливала на него поток слов. Она называла его ничтожеством, дураком, неудачником, уродом и даже хуже. Я попытался встать между ними, уговорить ее прекратить, но после их долгого отсутствия я забыл, что гнев тети Рут как ветер. Если он дул, ничего поделать было нельзя. Только когда он прекращался, наступало затишье. И, несмотря на то, что, когда мы были мальчишками, нам некуда было спрятаться, теперь мы чувствовали себя еще уязвимее. Квартиру я потерял, «Пабликаны» уже закрылись, машины ни у одного из нас не было. Мы не могли обратиться за помощью ни к бабушке, ни к дедушке. Они, даже когда были моложе, предпочитали не связываться с тетей Рут, а теперь, состарившись, и вовсе старались держаться от нее подальше.

У нас с Макграу не осталось иного выбора, кроме как забраться в свои постели в дальней спальне и переждать шторм. Полчаса без передышки тетя Рут кричала на нас, стоя в дверном проеме, а потом резко замолчала и хлопнула дверь. Мы лежали на спине, пытаюсь выровнять дыхание и успокоить сердцебиение. Я закрыл глаза. Прошло пять минут. Я слышал, что Макграу все еще тяжело дышит. И тут дверь распахнулась, и тетя Рут начала все по новой.

Утром мы нашли ее за кухонным столом, где она поджидала нас, чтобы повторить свою речь.

Каждый вечер было одно и то же. Тетя Рут ждала, когда мы вернемся из «Пабликанов», и начинала кричать, как только мы входили в дверь. Оставался лишь один выход: вообще не уходить из «Пабликанов». Мы прятались в баре до рассвета, и даже тетя Рут не могла бодрствовать так долго. Наша стратегия оказалась безупречной. Тетя Рут знала, что мы прйдемся от нее, и знала где, но была бессильна. Даже в

своем встревоженном эмоциональном состоянии она осознала, что бар неприкосновенен, как швейцарское посольство. Она знала, что дядя Чарли и мужчины не позволят матери выслеживать сына в баре, хотя иногда по вечерам тетя Рут посылала младших сестер Макграу в бар поговорить с ним. В такие моменты стыд Макграу, его ощущение дежавю, его страх, что он официально превратился в своего отца, становились почти осязаемыми, и все пили немного больше.

К середине лета мы с Макграу стали строить более радикальные и долговременные планы побега из «Пабликанов». Он бросит университет в Небраске, я брошу «Таймс», и мы отправимся с рюкзаками путешествовать по Ирландии, жить в студенческих общежитиях или ночевать в роскошных зеленых полях под звездами, в зависимости от того, будут ли деньги. Мы станем подрабатывать в пабах, а потом найдем постоянную работу и больше никогда не вернемся. Мы набросали схему нашего плана на коктейльных салфетках с большой важностью, будто это была благородная затея. Мы рассказали про план мужчинам, и они решили, что идея неплохая. Джо Ди вспомнил о своей поездке на Карибы с дядей Чарли. Колдунья взглянула на дядю Чарли и заявила: «Он — плохая магия». От этих воспоминаний у Джо Ди слезы выступили на глазах, и ему пришлось вытирать их одной из коктейльных салфеток, на которой мы записали план побега.

Я позвонил маме и рассказал ей про Ирландию. Она вздохнула. Тебе не нужен отпуск, сказала она, тебе нужно снова брать быка за рога. Ищи работу в маленьких газетах, делай так, как тебе посоветовали в «Таймс», а потом через пару лет снова попытайся устроиться туда. Все это звучало как старые наставления о том, что нужно пытаться, пытаться и еще раз пытаться, которые ни к чему меня не привели и с которыми я решил распрощаться. Я объяснял маме, что устал, повторяя слова Макграу и забыв, как много значит для нее эта фраза. Ее усталость длится уже двадцать лет, сказала она. С каких пор усталость стала оправданием тому, чтобы перестать пытаться?

Теперь у нас с Макграу было нечто общее. Кроме того, что у нас обоих не состоялась карьера, мы не ладили с матерями. В то лето мы снова и снова обращались за помощью к мужчинам из «Пабликанов», и они прятали нас, как в подzemелье для блудных сыновей, — не только в баре, но и на стадионе «Шиа», в Джилго, дома у Стива и особенно в Бельмонте, где мы прошли ускоренный курс королевского спорта у короля Бельмонта — Атлета.

Атлет любил скачки. Он жил ради скачек. Атлет говорил о скачках романтическим языком, который мы с Макграу жаждали выучить, и иногда я делал пометки на обороте своего листочка со ставками, стараясь запомнить слова Атлета, его интонации, голос. «Видишь тренера на той белой лошади? Он хорошо работает с двухлетками, поэтому мне нравится номер пять, я, пожалуй, поставлю двадцатку на этого парня, но седьмой номер, ребята, он просто срывается с места, и это неплохая цена за такого шустрого жеребца, поверьте моему слову. Внутренний голос говорит мне: «Ставь на седьмой номер, ставь на седьмой», но *потом* на утренних тренировках я увидел четвертого, и он несся со скоростью сорок девять миль в час, пока мы все еще пытались стряхнуть с себя последствия бурной ночи в «Пабликанах», он просто парил. С другой стороны, девятый номер, скорее всего, прорвется, потому что он всегда любил слякоть, а ты видишь, какой дождь начинается? Он уже «Будвайзер» будет попивать на финише, поджидая, пока все эти поросята вернутся. Итак. Я думаю, я поставлю еще десять долларов на девятый номер и на четвертый или поставлю на пятый и на девятый и еще десять долларов на седьмой. Что вы думаете, парни? Пойдемте к окошку кассы, потому что, знаете, как говорится, скачки — это единственное место, где не люди чистят кассы, а кассы обчищают людей!»

Как-то мы опоздали на скачки, и Макграу нервничал, что мы пропустим первый заезд. Когда мы подходили к центральному входу, Атлет остановился перед гигантской ста-

туей Секретарю*, чтобы отдать ему дань уважения. Макграу прыгал с ноги на ногу, будто ему нужно в туалет.

— Первый заезд вот-вот начнется, — сказал он.

Атлет, не отрывая глаз от статуи, спокойно заметил:

— Существует два правила, которым должен подчиняться каждый игрок, первое из которых гласит: «Никогда не спеши потерять деньги».

— А какое второе правило?

— Всегда оставляй немного на горячий крендель.

Через три заезда Атлет выиграл несколько сотен долларов. Мы с Макграу выиграли по сотне. Мы видели, как Атлет спрятал выигрыш в нагрудный карман рубашки.

— Что ты собираешься делать с этими деньгами? — интересовался Макграу.

— Вложить их.

— Правда?

— Да. В «Будвайзер».

Между заездами Атлет положил ноги на сиденье напротив и спросил, что мы собираемся делать со своей жизнью. Мы рассказали ему про Ирландию. Сообщили ему, что надеемся выигрывать на бегах и накопить на паломничество на нашу историческую родину.

— А что потом? — спросил Атлет. — Нельзя же просидеть в пабе всю оставшуюся жизнь. Погодите — что за чертовщину я несу?

Макграу сказал, что он подумывает о юридической школе или, может быть, об армии. Я сказал про Юкон. Я слышал, что в «Анкоридж дейли ньюс» ищут корреспондентов, и я послал им вырезки своих статей и получил ободряющее письмо от редактора. Атлет качнулся вперед — я молился, чтобы пиво не полилось у него из носа. Потом осторожно сказал, что я не продержусь на Юконе больше десяти минут.

* Секретарь — чистокровная американская скаковая лошадь, выигравшая в 1973 году Тройную Корону и ставшая первым чемпионом Тройной Coronы за 25 лет, установив поныне действующий рекорд в двух из трех заездов в Сериях, в Кентукки Дерби (1:59 2/5), и в скачках в Бельмонте (2:24).

Мы наблюдали, как лошадей повели к старту и надели на них упряжь. Жокеи, стоявшие в ряд, склонившись над лошадиными загривками, были похожи на мальчиков, убирающих посуду со столов в баре. Я спросил Атлета, помнит ли он, как Секретарь прискакал к своему легендарному финишу в Бельмонте.

— Как будто это произошло сегодня утром, — ответил он. — Я там был.

Атлет описал те скачки, каждую волнующую восьмую часть мили, и хотя я читал об этом статьи и видел фильм, ничто не могло сравниться с рассказом Атлета. У меня просто мурашки поползли по телу. Атлет говорил о Секретаре почтительным тоном, которым говорил только о двух людях — Стиве и Никсоне.

— Даже *статуя* Секретаря может победить всех этих лошадей, — заявил Атлет.

Он указал точное место, где Секретарь оторвался от основной группы. Я увидел призрак лошади, мчащейся к финишу, увеличивая разрыв между собой и соперниками до размеров нескольких футбольных полей. Я слышал рев толпы и видел тысячи глаз, устремленных на летящее животное.

— У людей слезы стояли в глазах, — сказал Атлет. — Он был быстрее других в тридцать один раз! В *тридцать один*. Он был *здесь* — остальные были *там*. Как он был великолепен! Каждый раз, когда кто-то из спортсменов отделяется от соперников на подобное расстояние, у меня мороз по коже. Какая отвага.

Я заметил, что Атлет выделил это слово — *отвага*, — и подумал о том, что отвага могла компенсировать многое другое. Качество дорожки, скорость, талант, вес, погоду — все эти факторы, которые определяют, кто выиграет и кто проиграет, не имели значения. Жаль, что у меня нет такой отваги, как у Секретаря. Я чувствовал себя нелепо, завидуя лошади, и все-таки, человек ты или животное, приятно добиться уважения такого парня, как Атлет. Нужно ли мне для этого стать победителем, спрашивал я себя. Или можно просто оторваться от основной группы?

К последнему заезду мы с Макграу проиграли все деньги.

— Вы надеялись выиграть достаточно, чтобы скопить на Ирландию, — сказал Атлет, — а у вас не хватает на ирландский кофе. Это скачки, ребята.

— Но у нас хватает на крендель, — гордо сообщил ему Макграу, показывая три помятые долларовые банкноты.

Возле тележки с кренделями за воротами ипподрома Макграу повернулся ко мне.

— Вот этот, похоже, подгорел, — сказал он, показывая на дымящийся крендель. — Не хочешь позвонить в «Таймс»?

Позже в тот вечер, после закрытия бара, мы с Макграу попытались вернуть часть денег, играя в обманный покер в «Пабликанах». Нашими соперниками были Атлет, Кольт, Дон, Шустрый Эдди, Джимбо и Питер, стоявший за стойкой.

— Как твой роман? — поинтересовался Питер.

— Хорошо, как никогда.

— Правда?

— Нет, но лучше, чем обманный покер. Понял?

Они с Макграу посмотрели на меня с жалостью.

Вытащив банкноту из пачки, дядя Чарли прикладывал ее ко лбу, как Карнак Великолепный*.

— Не глядя, — говорил он, — я ставлю три четверки. — Потом он смотрел на купюру, зажигая спичку, чтобы получить ее разглядеть, потому что весь свет в баре был потушен.

— Четыре пятерки.

— Пять восьмерок.

— Это вызов.

На рассвете к задней двери подъехал грузовик с молоком.

— Последняя партия, — сказал Атлет.

Мы с Макграу дали чаевые Питеру, подсчитали деньги и поняли, что много выиграли. У нас все еще не хватало на Ирландию, но теперь мы могли снова поехать в Бельмонт. Когда мы шли домой, я нес наш выигрыш, сотни долларо-

* Карнак Великолепный (медиум) — одна из ролей Джонни Карсона в «Вечернем шоу с Джонни Карсоном».

вых купюр, как груды осенних листьев. Я посмотрел на луну. Луна красивая, сказал я Макграу. Да бог с ней, ответил он. Нам нужно дать луне на чай за то, что она такая красивая. Я кинул банкноты в луну, подбросил их так высоко в небо, как только мог, потом встал посреди Пландом-роуд, раскинув руки, кружась, пока банкноты падали вниз.

— Какого *черта!* — воскликнул Макграу, бегая вокруг меня кругами и собирая банкноты.

Когда он погнался за долларом, который полетел за двойную желтую линию, то чуть не попал под грузовик с молоком.

— Макграу погиб, бросившись под грузовик с молоком, — сказал я. — *Это* было бы иронией судьбы.

Через несколько часов Макграу нашел меня на заднем крыльце, где я пил кофе, поддерживая голову руками.

— Чувак, — начал он, зажигая сигарету, — таким пьяным я тебя еще никогда не видел.

Он еще ничего не видел.

41 | ХЬЮГО

Разозленная нашей стратегией укрывательства в «Паблканах», тетя Рут открыла второй фронт. Она стала звонить в офис в городе, где работала секретаршей в приемной, и говорить, что заболела. Теперь она могла кричать на Макграу все утро и весь день. Макграу умолял оставить его в покое, но она пообещала не успокаиваться, пока он не согласится сделать операцию на плече и продолжить играть в бейсбол. Макграу сказал матери, что не может больше выносить ее крики и хочет вернуться в университет. Она заявила, что он никуда не поедет. Она не купит ему билет на самолет, пока он не сделает чертову операцию.

В конце августа Макграу сдался. Все, что угодно, лишь бы она не кричала, простонал он, сидя между мной и Джимбо

за стойкой. Она победила, сказал Макграу, и мы с Джимбо заметили, что он снова начал заикаться.

Через несколько дней, душным жарким утром, тетя Рут отвезла Макграу в больницу. Тот выглядел помертвевшим, когда уезжал, и испуганным, когда вернулся днем. Он был уверен, что больше никогда не сможет шевелить рукой. Меня больше беспокоило, сможет ли он когда-нибудь смеяться. Он хотел прилечь отдохнуть, но у тети Рут нашлось для него задание. Она настояла, чтобы он пошел в какой-то грязный бар в Порт-Вашингтоне и заставил отца подписать какие-то бумаги.

В тот вечер за ужином в «Пабликанах» мы встретили Джимбо. Макграу, шатающийся от обезболивающих таблеток, чуть не плачущий от стресса, который ему пришлось пережить, едва мог поднести вилку ко рту. Я вспомнил, как Джедд рассказывал мне, почему на кактусах вырастают дополнительные ветки. «Потеряв» руку, Макграу лишился равновесия. «Иди домой, — сказал я ему. — Ложись спать». Но он объяснил, почему ему *нужно* быть в этом баре. Теперь, после того как он сделал операцию, тетя Рут будет приставать к нему, чтобы он ходил в клинику лечебной физкультуры. Она будет ныть, чтобы он готовился к бейсбольному сезону. Она никогда не остановится. Ему нужно уехать из Манхассета, бормотал он. Немедленно. Сегодня же ночью. Он снова заговорил об армии. Говорил, что поедет в Небраску автостопом.

Макграу стал собирать вещи через десять минут после того, как мать ушла на работу. За нами заехал Джимбо на джипе, и мы понеслись по дороге, нервно поглядывая в заднее окно, будто тетя Рут могла притаиться в кустах, готовая выскочить и побежать за нами, как гепард за тремя газелями. У газелей было похмелье.

До отлета самолета у нас было шесть часов, и мы решили убить время на стадионе «Шиа». Шел дневной матч с «Падрес». Наступила летняя жара. Стоял один из тех авгу-

стовских дней, которые напоминали отрывок фильма про осень. Мы купили места над третьим «домом» и позвали разносчика пива.

— Не оставляйте нас надолго, — сказал я ему, вторя эху дяди Чарли.

Первые бутылки холодного пива были выпиты, как молочные коктейли. К шестой подаче мы чувствовали себя прекрасно, а «Метс» играли здорово. Толпа встала, поддерживая их, и было приятно слышать, как люди кричат от радости, а не от злобы.

— Нам пора идти, — печально сказал Макграу, глядя на часы на табло.

Приближалось время его рейса. Когда мы спускались по ступенькам стадиона, Макграу обернулся в последний раз. Прощаясь. Не с «Метс». С бейсболом.

В ту ночь я лежал в постели в дедушкином доме, глядя на пустую кровать Макграу и чувствуя себя брошенным.

Дверь отворилась. Тетя Рут, за спиной которой горел свет в коридоре, стояла в дверях и кричала:

— Тебе это так просто не сойдет с рук! Подлецы! Труссы! Вечно лезете, куда вас не просят! Вы с Джимбо думаете, что помогли ему? Вы *ломаете* ему жизнь!

Она не замолкала больше часа.

Каждый вечер повторялось одно и то же. Когда бы я ни приходил домой из бара, как бы тихо я ни пробирался в свою спальню, через минуту открывалась дверь и начинался крик. Через неделю мои нервы были на пределе. Я позвонил Бебе из «Пабликанов» и попросил помощи. Через несколько часов Бебе нашла подругу в верхней восточной части города, которая сдавала комнату. Она маленькая, сказала Бебе, и тебе будет по карману.

Я не стал обращаться к Бобу Полицейскому. Переехать на этот раз мне помог Джимбо. Я разыскал его в баре с наполовину выпитым стаканом «Рок а Л'Оранж», коктейлем, который он сам изобрел («Роллинг Рок» и капля «Гран Марнье»). Он заявлял, что коктейль имеет магические и медицинские

свойства, которые лечат разбитое сердце. У Джимбо была своя Сидни — девушка из университета.

— Джимбо, — попросил я, положив руку ему на плечо, — окажи мне большую услугу.

— Выкладывай.

— Я не вынесу больше ни одной ночи криков. Мне надо эвакуироваться.

Без колебаний, не допив свой коктейль, он отправился со мной к дедушке.

По дороге я краем глаза поглядывал на Джимбо. В то лето я провел с ним много времени и знал, что могу на него рассчитывать. Я хотел поблагодарить Джимбо за то, что он всегда приезжал мне на помощь в своем ржавом джипе, и сказать, что на машине стоит нарисовать большой красный крест. Мне нужно было сказать ему, как много он значит для меня, что он мне как брат, что я люблю его, но я упустил свой шанс. Такие вещи мужчины могут говорить друг другу только в баре.

Войдя в дальнюю спальню, Джимбо огляделся и спросил:

— Как ты хочешь с этим разобраться?

— Пакуй, будто в доме пожар.

Джимбо отвез меня по адресу, который дала мне Бебе, и помог занести вещи в квартиру. Поскольку он заблокировал машину, стоявшую у дома, у него не было времени на долгие прощания. Мы обнялись.

— Возвращайся поскорее, — сказал Джимбо, отъезжая.

Джип исчез в потоке машин.

— Я вернусь, — пообещал я. — Обязательно.

Подругой Бебе была студентка юридической школы из Колумбии по имени Магдалена, которая почти каждое предложение начинала с риторического вопроса, состоящего из одного-двух слов.

— Правда? — сказала она, открыв дверь в мою комнату. — Это не совсем комната, а переделанная уборная.

— Уборная?

— Честно? Это туалет. Но здесь есть кровать и... ну, в общем, кровать. Но тут действительно уютно, как видишь.

Я заверил ее, что это очень уютный туалет.

Она объяснила, что почти все ночи будет проводить у своего парня. Он повернулась и показала на своего парня, как на приложение номер один. Он был такой тихий, что я успел забыть о его существовании.

— Ты хочешь сказать, что я в квартире буду один? — спросил я.

— Да? — сказала она. — Конечно, может приехать моя мама.

Ее мать жила в Пуэрто-Рико, но иногда прилетала в Нью-Йорк походить по магазинам и навестить друзей. Она ночевала у Магдалены на диване.

— Откровенно говоря? — сказала Магдалена. — Она тихая, как мышка.

Я поблагодарил Магдалену за то, что она сдала мне комнату, и сообщил ей, что приму горячий душ и лягу спать.

— Серьезно? — удивилась она. — Чувствуй себя как дома. Если тебе что-нибудь понадобится, мы в кухне.

Действующая ванная была в другом конце квартиры. Чтобы попасть туда из моей спальни-туалета, нужно было пройти через кухню. Завернувшись в полотенце, я скромно улыбнулся Магдалене и пошутил с ее парнем.

— Просто проходил мимо, — произнес я.

Тот не ответил.

Я включил горячую воду на полную мощность и присел на край ванны, пока та наполнялась. «Джимбо сейчас, наверное, в «Пабликанах», — подумал я. — Дядя Чарли открывает самбуку. Генерал Грант закуривает свою первую сигару за этот вечер, а Атлет переключает каналы телевизора в поисках хорошего матча. Кольт, наверное, в телефонной будке, Шустрый Эдди и Агнесс заказывают ужин, Вонючка мечет ножи для мяса в ленивых мальчишек, убирающих посуду». Я посмотрел в зеркало над раковиной. Перед тем как

мое лицо поглотил пар, я спросил себя: «Возможно ли это и разумно ли — тосковать по бару?»

Я встал под душ. Горячая струя немедленно открыла мои поры и расслабила сознание. Я подставил лицо под струю воды и вздохнул от удовольствия. Сквозь шум воды слышался крик. Тетя Рут. Ну конечно! Она проследила за Джимбо и теперь была здесь, в ванной. Я тоже закричал, как Джанет Ли*. Отпрыгнул назад, поскользнулся и потянулся к занавеске, чтобы удержать равновесие. Сорвав ее с петель и согнув перекладину, на которой она висела, я выпал из ванны на пол, уверенный, что сломал локоть. Подняв глаза сквозь клубы пара, я увидел на рассекателе душа попугая размером с шимпанзе. Он расправил свои крылья с таким звуком, будто открылся зонтик.

Я завернулся в полотенце и побежал в кухню.

— Я забыла рассказать тебе про Хьюго, — сказала Магдалена, покусывая ноготь на большом пальце.

— Хьюго?

— Хьюго живет в ванной. Он любит пар.

Абсолютно мокрый, прижимая полотенце к талии, я попросил ее убрать Хьюго из ванной комнаты.

— Я не очень комфортно себя чувствую голым в ванной, наедине с диким животным, у которого клюв как разделочный нож!

— Честно? — удивилась она. — Я не могу этого сделать. Хьюго живет в ванной.

В поисках помощи я взглянул на ее парня. Безрезультатно.

Я отправился прогуляться, а когда вернулся, Магдалена с парнем ушли. Однако Хьюго все еще был там. Я просунул голову в ванную комнату, и он злобно взглянул на меня. Я чувствовал, что он рассержен и взбешен оттого, что я собирался его выселить. Я лег в постель, но не мог заснуть, потому что меня мучили кошмары с кричащими тетями и попугаями.

* Джанет Ли — актриса, сыгравшая одну из главных ролей в триллере Альфреда Хичкока «Психоз» (1960 г.).

Войдя в отдел новостей с коробкой бутербродов, я услышал, как синоптик по телевизору говорит, что в Атлантическом океане назревает крупный шторм. «Ураган «Хьюго», — уточнил синоптик. Я посмеялся над собой. Наверное, я ослышался. У меня в голове был сплошь Хьюго. Потом синоптик повторил: «Ураган «Хьюго» крепчает, сгущаясь над Атлантикой». Что именно сейчас пыталась сказать мне Вселенная?

В ту ночь я спал плохо, а когда проснулся, незнакомая женщина варила на кухне кофе. Мать Магдалены, догадался я. Она плохо говорила по-английски, но мне удалось понять, что она в спешке покинула Пуэрто-Рико. Почувствовала приближение урагана.

В течение нескольких следующих дней я читал о «Хьюго», следил за его продвижением, беспокоился о хаосе, к которому он может привести. Я не знал, почему шторм превратился для меня в навязчивую идею, почему я боялся его так же, как люди, жившие в прибрежных домиках на сваях. Может, дело было в недосыпе, может, в том, что жил я в туалете, или в том, что я принимал душ в атмосфере страха, но ураган «Хьюго» поглотил мою жизнь целиком. Шторм поднял со дна все мое недовольство из-за Макграу, тети Рут, Сидни и «Таймс» и закрутил в бешеном вихре. С утра до поздней ночи я не мог думать ни о чем, кроме «Хьюго».

Когда «Хьюго» выплеснулся на берег в конце сентября 1989 года, я был в «Таймс»: читал телеграммы, проверял обстановку по телевизору как копировщик для Национальной метеорологической службы. Я оставался в отделе новостей до полуночи и смотрел Си-эн-эн, а когда дворники начали пылесосить, пошел в квартиру Магдалены и стал смотреть телевизор с ее матерью, которая была так же потрясена, как и я. Даже Хьюго, казалось, был потрясен «Хьюго». Слыша, как его имя снова и снова повторяют по телевизору, попугай начинал неистово кричать. С его криками, завываниями ветра и стонами матери Магдалены по-испански это была совершенно душераздирающая ночь.

Когда на следующее утро тучи над Южной Каролиной рассеялись и было объявлено о масштабах ущерба, я скорбел по всем, чьи жизни и дома унес шторм. Хотя сочувствие — вполне естественное состояние, то, что испытывал я, было чем-то другим, чем-то иррациональным и несоизмеримым. Мне пришло в голову, что я, возможно, на грани срыва.

Через несколько дней после того, как разразился «Хьюго», мы снова смотрели телевизор с матерью Магдалены, пили виски и непрерывно курили, когда я заметил, что у нас кончились сигареты. Я пошел в супермаркет купить новую пачку и по пути зашел в бар. Шел сильный дождь, остатки «Хьюго» теперь заливали Нью-Йорк-Сити. Вернувшись в квартиру, я обнаружил гостиную в руинах: мебель сломана, подушки на диване разорваны, по деревянному полу разбросано битое стекло. Я позвал мать Магдалены и услышал всхлипы из спальни. Она лежала на животе на полу спальни, в которой царил беспорядок. Я присел рядом с ней на колени и спросил, все ли с ней нормально.

— Я всем звонить, — ответила она. — Никого нет дома. Никто меня не любит.

Она держала телефонную трубку в одной руке, записную книжку в другой и дрыгала ногами, как ребенок, бьющийся в истерике.

— Это *вы* сделали? — спросил я. — Вы устроили этот беспорядок в квартире?

— Я всем звонить, — заплакала она, и тушь растеклась по ее щекам. Она бросила записную книжку об стенку. — Всем на меня наплевать!

Испытав облегчение оттого, что на нее никто не напал, я пошел в кухню принести нам обоим по стакану воды. Я услышал, как женщина продолжает бить стекло, и сообразил, что она может себя поранить. На холодильнике был номер телефона парня Магдалены. Я позвонил и сообщил девушке, что ее мать плохо себя чувствует, и посоветовал ей прийти домой. Она не стала спрашивать, что случилось, и я предположил, что мать выкидывает такой номер уже не в первый раз.

Пришла Магдалена со своим парнем, который пассивно стоял в углу, пока та подбиралась к матери.

— Мама? Мама, что случилось?

Теперь ее мать что-то бормотала. Магдалена набрала девять-один-один, и вскоре квартира наполнилась полицейскими и санитарами. Они осмотрелись и, возможно, заметили, как и я, что разрушенная квартира напоминает кадры, которые целый день мелькали по телевизору.

— Кто вы? — спросил меня полицейский.

— Я снимаю туа... свободную спальню.

Все смотрели на женщину, находившуюся в прострации, рвущую свою записную книжку на кусочки, которые она потом рвала на еще более мелкие части. Полицейский спросил у нее, что случилось, и она повторила то, что говорила мне. Она позвонила всем, кого знала, потому что хотела с кем-нибудь поговорить об урагане «Хьюго», но никто не брал трубку.

— Вы хотите, чтобы ее отвезли в больницу? — спросил полицейский Магдалену.

— В больницу? — закричала мать. — Ни в какую больницу вы меня не возить, долбаные негритянские придурки!

Это стало последней каплей. Полицейские сделали гигантский шаг назад, и санитары набросили на женщину смиренную рубашку. Она билась, вырывалась, сражалась с ними, но через десять секунд ее крепко связали. Хьюго каркал, Магдалена плакала, ее парень не проронил ни слова, а я суетился рядом, когда санитары подняли мать Магдалены и унесли ее через дверь, как елку на следующий день после Нового года. Они отправили ее в больницу Бельвью.

Я, Магдалена и ее парень сели за кухонный стол. Я сказал, что сожалею о ее проблемах, а она не стала говорить мне, чтобы я ушел. Это и так было ясно.

— Серьезно? — спросила Магдалена. — Куда ты пойдешь? Бебе сказала, что тебе некуда идти.

Перед тем как вернуться к дедушке в Манхассет, я несколько недель спал на диване у Бебе. К тому времени ураган «Тетя Рут» утих до размера шквального ветра. Моя тетя была относительно мирно настроена и оставила меня в покое, и я тоже был спокойнее. Вид матери Магдалены в смиренной рубашке возымел на меня отрезвляющий эффект.

Также меня успокаивало то, что я снова был в ста сорока двух шагах от «Пабликанов». В баре никогда не было веселее, чем в ту осень, каждый вечер случалась очередная корпоративная вечеринка, семейное торжество или просто подбиралась необычно любопытная смесь характеров. В первый ноябрьский вечер я едва смог протиснуться в дверь. Зал ревел от смеха. Единственным, кто не смеялся, был стоявший в центре бара Стив, который только что вернулся с игры в боулинг. Я видел, как он навалился на стойку, будто она или он падали, и я, наверное, смотрел на него слишком пристально, потому что он поднял глаза, будто кто-то его окликнул. Он улыбнулся, но от улыбки Чеширского Кота не осталось и следа. Что-то случилось с его улыбкой. Он махнул мне рукой.

Мы поговорили о Макграу, по которому оба скучали, и о руке Макграу, которая не стала лучше после операции. Вопрос о том, сможет ли Макграу играть в бейсбол, был поставлен на обсуждение. Мы оплакали потерю Джимбо, который несколько дней назад переехал в Колорадо. Я видел, как сильно Джимбо скучал по Колорадо. Стив старался удержать Джимбо в Манхассете, предложив найти ему работу на Уолл-стрит. Одним звонком любому из пятидесяти мужчин, которые регулярно посещали «Пабликаны», можно было пристроить Джимбо на всю жизнь. Но Джимбо хотел стать лыжником. Стив понимал.

Во время нашего разговора я был напряжен, боясь, что Стив припомнит нашу встречу недельной давности. Сразу же после того, как я вернулся из квартиры Магдалены, Стив

вызвал меня в свой кабинет в подвале. Мы сели друг против друга за его столом, и он протянул мне стопку чеков, которыми я расплачивался в баре летом, на каждом из которых стояла печать: «Недостаток средств на счете». Стив думал, что я нарочно платил в баре чеками, с которых нельзя было снять деньги, и боялся за меня, а не за себя. Его тревога не имела никакого отношения к его собственным финансовым проблемам. Стив считал, что людям нужно доверять. Каждый счет в его баре выписывался от руки, а когда напиток был готов, его название выкрикивали. Не было ни компьютеров, ни записей, и как служащие, так и сотрудники подчинялись этой сумбурной системе доверия. Когда мальчика, убирающего посуду, поймали на том, что он взял бутылку дорогого шампанского в баре, сотрудники Стива устроили «внутреннее» разбирательство. Они хорошенько его отколошматили.

Я сказал Стиву правду. Я потерял способность мыслить четко и не всегда точно знал, сколько денег у меня на счету, с которого я выписываю чеки. Я был просто разгильдяем, а не мошенником. «Джуниор, — произнес Стив, откинувшись назад в старом скрипучем кресле, — мы все иногда сбиваемся с пути. Но это нехорошо. Совсем нехорошо. *Не таким человеком ты хочешь стать*». Его слова отозвались эхом в подвале и в моей голове. «Да, сэр, — подтвердил я, — совсем не таким». Я ждал, что он скажет что-то еще, но больше ничего не нужно было говорить. Я посмотрел в водянистые серо-голубые глаза Стива. Он выдержал мой взгляд — мы никогда так долго не смотрели друг другу в глаза, — и когда Стив увидел то, что, как мне казалось, хотел увидеть, то отправил меня наверх, в бар. На следующий день я оставил в баре конверт с наличными, чтобы покрыть неоплаченные чеки и штрафы, наложенные банком. Я был официально разорен, но рассчитался со Стивом, а это было самое главное.

Тогда, в первый ноябрьский вечер, Стив ни словом не обмолвился о той неприятной истории. С его точки зрения, это было делом прошлым. Когда мы закончили разговоры про «мальчиков», как он называл Джимбо и Макграу, он по-

трепал меня по плечу, попросил Кольта «купить Джуниору коктейль», а потом ушел, пошатываясь. «Пацан, — сказал Кольт, — тебя угощает Шеф». Я почувствовал всплеск любви к Стиву, к Кольту и ко всем мужчинам в «Пабликанах», потому что наконец кое-что понял. Мужчины, конечно же, слышали, как Стив называл меня «Джуниор». Они просто не приняли это прозвище, потому что знали, какое оно имеет для меня значение. Мужчины позволяли Стиву называть меня «Джуниор», но сами никогда меня так не называли. Ни разу. Это было нарушением протокола, проявлением нежности, которую я сначала не распознал. Пока не наступил тот вечер.

Я сел у стойки в том конце, где работал дядя Чарли, и попытался рассказать ему про Стива и про чеки, которые вернулись неоплаченными. «М-да», — произнес дядя будто в трансе. Он смотрел в телевизор. Внезапно он застонал. Его команда, кажется, это были «Селтикс», проиграла легкий матч со счетом 3:1. Дядя закрыл глаза. «На этой неделе, — сказал он, — я поставил *большие* деньги, и моей команде нужно было всего лишь согнуть колени и хорошенько побегать». Необъяснимым образом они попытались забить гол, который был перехвачен, а потом совершили душераздирающее касание. Дядя Чарли налил себе самбуки и сказал: «Все меня *имеют*».

В баре голос Стива становился все громче и громче. Его лицо было похоже на Гранд-Каньон — бороздчатые полосы красного, оранжевого и фиолетового, подчеркнутые зияющей фиолетовой дырой его рта. Это то, что я давно заметил в его улыбке, но не мог или не хотел признать. Многолетнее употребление спиртного испортило зубы Стива, и он собирался сделать стоматологическую операцию. А пока он должен был носить протезы, но от них у него кровоточили десны, поэтому в тот вечер он сидел за стойкой с бутылкой «Хайнекена» без протезов. Он разговаривал с Далтоном, который сидел за бутылкой вина. Далтон налил Стиву бокал, и это добило Стива. Вино, смешанное с десятью или двенадцатью бутылками «Хайнекена» и двадцатью четырьмя месяцами стресса,

сделало свое дело. Речь Стива стала абсолютно невнятной и такой воинственной, что дядя Чарли заставил его замолчать. Стив не мог в это поверить. *Ты... затыкаешь мне рот в моем собственном баре?* С тебя на сегодня достаточно, ответил дядя Чарли. Сладких снов, Шеф.

Джо Ди предложил отвезти Стива домой. Стив отказался. Джо Ди ускользнул, что-то уныло бормоча своей мышке. Уборщик посуды предложил Стиву подвезти его. Стив согласился. Уборщик провел его через ресторан. Когда они выходили через заднюю дверь, Кольт заметил зубы Стива на стойке. «Ты забыл свои жевалки!» — закричал Кольт. Но Стив уже ушел. Кто-то заметил, что Стив оставил на стойке свою улыбку. Она лежала напротив нас и улыбалась. Невозможно было не вспомнить Чеширского Кота из «Алисы в стране чудес», который появлялся и исчезал без предупреждения и чья улыбка всегда появлялась первой, а потом уже возникал сам кот.

Через несколько минут зазвонил телефон. Жена Стива, Джорджетта, сказала, что Стив пришел домой без зубов. «Они тут у нас лежат», — объяснил ей дядя Чарли. Телефон снова зазвонил. Снова Джорджетта. Стив упал, сказала она. Он ударился головой. Его забирают в больницу Норт-Шор.

В «Публиканах» люди часто падают, думал я, пожелав доброй ночи дяде Чарли и бредя домой к дедушке.

Рано утром на следующий день меня разбудил голос дяди Чарли из гостиной. Я завернулся в халат и пошел выяснять, почему он поднялся в такую рань. Он сидел на краешке «двухсотлетнего» дивана. Его лицо казалось белым как бумага. Было заметно, как пульсируют вены у него на черепе. Он глубоко и судорожно затягивался «Мальборо» и тарашился на меня, сквозь меня, сквозь стену позади меня, повторяя то, что рассказал бабушке. Стив в коме, и врачи считают, что он не выживет.

Вот как все произошло: когда Стив вернулся домой, Джорджетта разогрела ему еду. Он поел, выпил стакан молока и поговорил с ней о том, в какую катастрофу превратились

«Пабликаны на пирсе». Безутешный, Стив встал со стула и отправился спать. Джорджетта услышала грохот. Она побежала и увидела Стива лежащим у лестницы.

— Сколько ему лет? — спросила бабушка.

— Сорок семь, — сказал дядя Чарли. — На год старше меня.

На тротуарах вдоль Пландом-роуд люди стояли в три ряда, будто на параде. Пробки тянулись на несколько миль. Скорбящие спускались в разные стороны от церкви Христа в конце Пландом-роуд, которая располагалась по диагонали от церкви Святой Марии. Церковь была большая и вмещала двести человек, но в тот день в ее двери вошло в пять раз больше людей. Джо Ди выполнял обязанности швейцара, хотя в этом не было надобности. За несколько часов до похорон все скамейки заполнились. Я протиснулся в боковую дверь и сразу же увидел Джорджетту, опирающуюся на руки своих детей, Брендю и Ларри. У дальней стены я заметил дядю Чарли. Внезапно он возвел очи к небу, как Билли Бадд*, и упал на спину. «Мужчине плохо!» — закричал кто-то. Несколько человек помогли дяде выйти из церкви. Я пошел за ними и видел, как они положили дядю Чарли на траву, головой на надгробие, на котором был большой кусок зеленого пушистого мха. Рядом был могильный камень XVIII века с едва различимой эпитафией: «ПУСТЬ НАШ ЛЮБИМЫЙ СПИТ СПОКОЙНО».

Вернувшись в церковь, я пробрался сквозь толпу и поймал взглядом гроб Стива. Стоял гул, как от разбивающейся о берег волны, оттого, что люди всхлипывали, ловили ртом воздух и плакали. Процессия крупных мужчин поднялась к алтарю и зачитала вслух отрывки из Библии. За ними поднялся Джимбо, который говорил, с трудом сдерживая слезы. Глядя на Джимбо, переживая за него, я кое-что понял с такой силой, с такой пронзительной ясностью, что мне захотелось выйти на улицу и лечь в траву рядом с дядей Чарли.

* «Билли Бадд» — новелла Германа Мелвилла, упомянутая в тридцать седьмой главе.

Мне всегда казалось, что Стив — это наш Гэтсби, богатый и таинственный, устраивающий шумные вечеринки для сотен незнакомцев на Золотом Берегу Лонг-Айленда. Его жестокая и преждевременная смерть только укрепила этот образ. Но настоящий характер Стива, так же как и характер Гэтсби, проявился во время его похорон, и именно речь Джимбо помогла мне понять его. Стив был для Джимбо как отец, и в той или иной степени он приходился отцом всем нам. Даже я был членом его семьи. Пабликан по профессии, Стив был патриархом в душе, и, может, поэтому он так стремился дать нам всем имена. Может, поэтому дядя Чарли лежал, положив голову на надгробие, и поэтому каждый мужчина из «Пабликанов» был похож скорее на сироту, чем на скорбящего.

Когда служба закончилась, мы гуськом вышли на улицу, бормоча молитвы и обнимаясь, а потом поехали на кладбище. Похоронный кортеж медленно двигался мимо «Пабликанов». Хотя бар был не по дороге, казалось, что Стиву нужно в последний раз пройти мимо него. Когда тело Стива опустили в землю, мы вернулись в «Пабликаны» всей толпой, сотни и сотни людей. Некоторые предлагали Джорджетте закрыться на весь день, чтобы отдать дань памяти Стиву, но она сказала, что Стив бы этого не захотел. Стив всегда клялся, что «Пабликаны» будут открыты, что бы ни случилось: ремонты, кризисы, сбои электричества, бураны, пурга, падения рынка и войны. Больше всего он боялся, что придется закрыться. Кто-то сказал, что этот страх и стал причиной его смерти. Большинство считало, что он умер оттого, что упал с лестницы, и некоторые жители Манхассета будут думать так всегда. Джорджетта тоже сначала так подумала. Но доктора заверили ее, что Стива погубила аневризма, а не падение.

В память о Стиве Джорджетта не только открыла бар после похорон. Она объявила бар *открытым*. Никто не будет платить, никто не посмеет произнести слово «закрывается», и все будут пить до тех пор, пока не останется никого, кто сможет удержаться на ногах. Этот роскошный, экстравагантный жест был в то же время тревожным. Открытый

бар в Манхассете? В городе, где алкоголь глушат как сельтерскую? Мне и всем остальным эта идея показалась рискованной. Все равно что разжечь костер в городе пироманьяков. Джорджетта, однако, не допускала возражений. Она наняла барменов из других баров на Пландом-роуд, чтобы они работали в тот день, а бармены Стива были свободны, и предложила — приказала — всему городу пить. Джорджетта угощала Манхассет.

В «Публиканах» никогда не было так многолюдно, так шумно, так весело и в то же время так грустно. Выпивка текла рекой, и с ней по бару растекалась тоска, а смех звучал все громче, и начиналось что-то вроде истерики, хотя одной из причин этой истерии мог оказаться недостаток кислорода. Воздух был таким душным и горячим от пота и дыма, что посетители дышали с трудом. Внутри бар выглядел как Манхассет в стиле Данте. Глаза у всех были выпучены. Языки высунуты. Каждые пять минут кто-нибудь ронял бутылку, и на полу оседали груды битого стекла и растекались лагуны алкоголя. Вдоль стен стояли столы с едой, но никто к ним не подошел. Все были слишком заняты выпивкой. «Они пьют так, будто их утром посадят на электрический стул», — сказал Кольт. И все равно я слышал, как кто-то жаловался, что алкоголь не действует. Похоже, в этом море печали все виски на свете казалось всего лишь каплей.

Я пробирался сквозь толпу, и у меня было ощущение, что я нахожусь в музее восковых фигур, наполненном желтоватыми статуями самых важных людей в моей жизни. Я видел дядю Чарли или воскового двойника дяди Чарли со сбившимся набок галстуком, сгорбленной спиной, все еще испытывающего слабость после потери сознания. Он был более пьяным, чем после смерти Пат, более пьяным, чем когда-либо. Он достиг нового уровня опьянения, трансцендентного опьянения, и в первый раз в жизни меня напугало то, что он пьян. Я видел, как Дон и Шустрый Эдди разговаривали заговорщицким шепотом, а за ними стоял Томми с многозначительно наморщенным лбом. Черты его лица тонули в водосточной канаве

его подбородка. Он выглядел на семьдесят пять лет старше, чем в тот день, когда отвел меня на поле стадиона «Ши». Я смотрел, как Джимбо успокаивает плачущего Макграу. Я видел Боба Полицейского с Атлетом, а за ними Далтона, прислонившегося к столбу. Далтон явно казался потерян-ным без книги стихов, которую можно было бы почитать, или женщины, за которой можно было бы приударить. Джо Ди разговаривал с Джози — в их конфликте наступила временная передышка в связи со смертью Стива, — а его двоюродный брат Генерал Грант стоял рядом в черном костюме, и его единственным утешением была сигара. Твою Мать тоже надел костюм и причесал волосы, и он, пожалуй, был самым трезвым человеком в баре. Я слышал, как он разговаривал с биржевыми брокерами, и речь его звучала почти внятно. Красноречие от горя. Я видел Кольта и Вонючку, прислонившихся друг к другу, а между ними ДеПьетро в кабинке, беседовавшего с коллегами с Уолл-стрит. Я избегал взгляда и пальцев Королевы Жестов. Заметил Мишель, хорошенькую и, как всегда, горевшую желанием уйти. В какой-то момент мне на глаза попалась Чокнутая Джейн, дизайнер гениталий, установленная за барной стойкой, — она поднималась из подвала, откуда за ней тянулся запах травки. Я видел людей, которых узнавал, но не мог вспомнить их имен. Людей, говоривших об услугах, которые им оказал Стив, о благотворительных акциях, которые он поддерживал, о еде, которую он раздавал, о ссудах, которые он разрешал выплатить позже, о его островах, об организованных им проказах, о студентах, которых он тайно отправил в университет. Я подумал, что за последние несколько часов мы узнали о Стиве больше, чем за все те часы, когда мы разговаривали с ним у барной стойки.

Увидев Питера, я с облегчением заспешил к нему. Я уселся рядом с Питером — моим редактором, моим другом, — нуждаясь в его особой доброте и здравом смысле. Я стал придумывать, как мне ухитриться просидеть здесь весь вечер и всю ночь и не надоест ему. Он спросил, как мои дела, и я начал отвечать, но Бобо утащил меня в сторону. Мы не виде-

лись с Бобо много лет. Он рассказывал историю про Стива, но я не смог ее понять. Он был пьян и до сих пор страдал от последствий своего падения с лестницы в баре, а лицо его все еще было частично парализовано. Интересно, думал я, сравнил ли он свое падение с падением Стива. Когда Бобо отпустил меня, я сказал Питеру, что в «Пабликанах» слишком часто падают. Не успел Питер ответить, как мы оба услышали Джорджетту, стоявшую у задней двери. Она плакала и повторяла снова и снова: «Мы потеряли нашего Шефа. Что же мы будем делать без нашего Шефа?»

Стерео играло траурную классическую музыку. Кто-то закричал, что мы должны слушать музыку, которую любил Стив. Элвиса. Джонни Престона. Один из барменов откопал диск со всеми любимыми песнями Стива. От этих песен всем стало веселее, но это было ужасно, потому что песни как будто оживили Стива. Конечно, Стив здесь. Мы бы с ним от души посмеялись над тем, как нелепо все происходящее, если бы нам удалось разыскать его в этой пьяной толпе.

Я заказал еще виски и встал рядом с Бобом Полицейским, который пил «Ржавые гвозди».

— Как долго, ты думаешь, продержится это заведение?

— Ты считаешь, «Пабликаны» закроют? Боже! Я об этом не задумывался.

Эта мысль пожирала меня. Я просто не хотел себе в этом признаться. Однако, когда Боб Полицейский произнес это вслух, я осознал как собственную скорбь, так и скорбь всех остальных. В ней присутствовал элемент эгоизма. Мы скучали по Стиву и оплакивали его, но также знали, что без него «Пабликаны» тоже могут умереть.

Ноги у меня подкашивались. Я поискал место, куда бы упасть, но мест не было. Казалось, что меня сейчас стошнит. Все в баре внезапно стало вызывать во мне отвращение. Даже от длинной полированной деревянной барной стойки у меня крутило в животе, потому что она напоминала мне гроб Стива. Я пробрался сквозь толпу к задней двери и поковылял к дедушкиному дому, где упал в дальней спальне. Когда я от-

крыл глаза через несколько часов, я понятия не имел, где я нахожусь. В Йеле? В Аризоне? У Сидни? В моей квартире над греческим рестораном Луи? В квартире с Хьюго? Постепенно кусочки сложились в целостную картину, и я понял, что я у дедушки. Опять.

После долгого горячего душа я надел чистую одежду и вернулся в «Пабликаны». Было уже три или четыре часа утра, и все были там же, где я их оставил. Я пробрался в центр толпы и на том же самом месте у стойки нашел Боба Полицейского и Атлета. Они не поняли, что я сходил домой и вернулся. Они не знали, который час или какой день, и им было наплевать. Я пил с ними до рассвета. Они, похоже, не собирались уходить, но мне нужны были воздух и еда.

Я дошел до греческого ресторана Луи. За стойкой сидели пассажиры утреннего поезда, сосредоточенные и готовые начать новый день после восьмичасового сна. Я увидел английскую нянечку, с которой встречался, ту самую, которая разговаривала как Маргарет Тэтчер. Волосы у нее были мокрые, а щеки как красно-коричневые яблоки. Она откусывала маленькие кусочки от кекса и пила горячий чай из чашки. Она уставилась на меня:

— Ты откуда?

— С похорон.

— Черт возьми, радость моя, с чьих? Со своих собственных?

43 | ВОНЮЧКА

Через несколько недель, идя по Пландом-роуд, я увидел бледную, одутловатую луну, поднимавшуюся над «Пабликанами». Луна мелко подрагивала, будто ей слишком много налили. Я всегда искал знамения и старался распознать их значение, поэтому без труда смог найти объяснение этому знаку. Даже луна покидает бар. Но я проигнорировал его. В течение нескольких недель после смерти Стива я ни на что

не обращал внимания, относясь к любым знакам и неприятным страхам так же, как Джо Ди относился к крикунам. Просто делал вид, что их не существует.

Но все равно смерть Стива — образовавшуюся пустоту, чувство утраты — невозможно было долго игнорировать. Хотя бы раз в день я думал о Стиве, о том, как он умер, и о том, что бы он сказал теперь, когда знал ответы на все вопросы. Я всегда придерживался романтической идеи о том, что в «Пабликанах» мы прятались от жизни. После смерти Стива я не мог избавиться от его голоса, звучавшего у меня в ушах, спрашивая, прятались ли мы от жизни или заигрывали со смертью. А может, это одно и то же?

В ноябре того года я часто смотрел по сторонам в баре, видел впавшие глаза и лица землистого цвета и думал, что, может быть, мы уже умерли. Я вспоминал Йейтса: «Пьянчуга — мертв, / А все мертвые пьяны». Я вспоминал Лорку: «А смерть все выходит и входит / И все не уйдет из таверны»*. Совпадение ли это, что два моих любимых поэта изображали смерть завсегдатаем бара? Однажды я поймал собственное отражение со впавшими глазами и землистым цветом лица в одном из серебристых кассовых аппаратов. Мое лицо было, как луна, бледным и одутловатым, но, в отличие от луны, я так и не ушел. Бар представлялся мне подводной лодкой, застрявшей на дне океана, запас воздуха в которой заканчивался. Это образ, навевающий клаустрофобию, стал ярче, когда кто-то дал дяде Чарли кассету с песнями китов, и он вновь и вновь проигрывал ее на стереомагнитофоне.

От этих скрипов и шелчков, казалось, лопнут барабанные перепонки, и было такое ощущение, что киты где-то за дверью и плывут по Пландом-роуд, словно переднее окно бара было входом в порт. «Какое сладкозвучие! — говорил дядя Чарли. — Вы не возражаете, если я скажу «сладкозвучие», правда? Разве это не мило — как они общаются между собой?»

Мы между собой общались далеко не так мило. Бар, полный виртуозных рассказчиков, теперь превратился в

* Перевод А. Гелескула.

эхо-камеру долгого и утомительного молчания, потому что сказать можно было только одно, но ни один из нас не находил смелость, чтобы произнести это вслух. «Все переменялось. Смерть Стива стала первым звеном в цепочке *перемен*, к которым мы были не готовы. Его смерть изменила нас и изменила бар до такой степени, что мы не могли этого отрицать. Смех стал более резким. Толпа поредела. Люди больше не приходили в «Пабликаны», чтобы забыть свои проблемы или утолить печали, потому что «Пабликаны» напоминали им о смерти, о смерти Стива, о самом печальном событии в истории Манхассета. Боб Полицейский сомневался, сможет ли бар пережить смерть Стива. Бар еще стоял, но наше восприятие «Пабликанов» как безопасного убежища ушло навсегда. За столь же короткое мгновение, за какое упал Стив, бар превратился из убежища в тюрьму, что, впрочем, с убежищами случается нередко.

Чем больше терзали и раздражали меня эти мысли, тем крепче я задумывался. Пьянство по поводу похорон Стива продолжалось для большинства жителей Манхассета два дня, но у меня и через месяц осталось ощущение попойки. Сидя в поезде по дороге в «Таймс», страдая от очередного парализующего похмелья, я разговаривал сам с собой, с пристрастием допрашивал сам себя. Все эти интервью неизменно заканчивались одним и тем же тяжелым вопросом: *Я алкоголик?* Я так не думал. Если у меня и была какая-то зависимость, то это была зависимость от бара. Я не мог представить себе жизни без него. Я и помыслить не мог, что когда-нибудь перестану туда ходить. Куда же я пойду? И если я уйду, кем я стану? Я размышлял об этом все утро, а день проводил на работе, где из меня уже ничего не могло получиться, и к вечеру я начинал с нетерпением ждать момента, когда вернусь в «Пабликаны», чтобы утопить на дне бокала свои противоречивые чувства. Иногда я начинал потягивать коктейли еще на Пенн-стейшн и заказывал пару-тройку высоких бокалов «Будвайзера» «на дорожку». Иногда я отключался в поезде, просыпал свою остановку, и кондуктор будил меня среди ночи, когда поезд

останавливался в депо. Тряся меня за плечо, кондуктор всегда говорил одно и то же: «Поезд зашел в тупик, парень».

Я больше не притворялся, что пью ради того, чтобы чувствовать себя своим в кругу мужчин, чтобы забыть тревоги дня или потому, что это был некий мужской ритуал. Я пил, чтобы напиться. Я пил, потому что мне не приходило в голову, чем еще можно заняться. Я пил так, как в последнее время пил Стив, чтобы забыться. В холодный декабрьский вечер 1989 года, за несколько дней до или через несколько дней после своего двадцать пятого дня рождения, я был в двух шагах от забытья.

Я сидел с Атлетом и Вонючкой. «У штурвала» стоял Генерал Грант. Было около трех часов ночи, и мы, кажется, говорили о войне. Я сказал, что мы часто говорим о войне, даже если якобы говорим о чем-то другом. Атлет заметил, что это естественно, потому что война — популярная тема для разговора. Жизнь и война. Бесконечная череда сражений, конфликтов, засад, разборок, перемежающихся слишком короткими периодами перемирия. Или, может быть, это сказал Генерал Грант. Атлет начал что-то говорить о Среднем Востоке, и я стал оспаривать его мнение не потому, что был не согласен, а потому, что опасался, что если не буду продолжать говорить, то стукнусь лбом о стойку.

— Почему бы тебе, черт подери, не заткнуться? — заявил Вонючка.

Все замолчали. Атлет попросил Вонючку расслабиться.

— Нет, — сказал Вонючка, — достал меня этот придурок, который считает, что все знает. Он учился в Йеле и поэтому он, мать твою, господин Всезнайка? Да ни черта он не знает.

— Успокойся, — обратился к нему Генерал Грант.

— Не дожدهшься! — отрезал Вонючка.

Демонстрируя свою бычью шею и болтающийся живот, он обошел Атлета и приблизился ко мне.

Какой проводок в мозговом предохранителе Вонючки я случайно оборвал? Я пытался сказать что-то в собственную

защиту, но в тот момент словами Вонючку было не остановить. Даже пули не остановили бы Вонючку. В два шага он преодолел разделяющее нас расстояние в шесть футов — с удивительной грациозностью для человека его телосложения. Выставив обе руки вперед, он схватил меня за шею так, будто это был канат, на который он собирался влезть. Я почувствовал, как сжалось горло, и подумал, что Вонючка помнет мне гортань, и если не лишит меня способности говорить, то моя речь станет дребезжащей и грубой, как у человека с наждачным голосом, и это испугало меня больше, чем более вероятная перспектива — задохнуться.

Вонючка еще сильнее скрутил мою шею. От его рук разило мясом и чесноком. *Руки Вонючки воняли.* Я надеялся, что это не станет последней мыслью в моей жизни. Я вытягивал руки, пытаясь ослабить его хватку, но она была железной, а ладони — скользкими. Я подумывал дать ему в глаз, но не хотел злить его еще больше. Я посмотрел в глаза Вонючки — в них не было глубины. Глаза героя мультфильма — черные точки. Между ними в форме идеальной буквы «V» вибрировали рыжие брови — так же, как рыжие усы и рыжие волосы на голове, его брови блестели от пота. Он был слишком толстый, слишком взвинченный, слишком пьяный и такой же рыжий, как стакан лимонада. И это, я был уверен, уж точно станет моей последней мыслью, потому что Вонючка намеревался меня убить.

Даже когда Вонючка сворачивал мне шею, я не испытывал к нему ненависти. Я любил Вонючку не меньше, чем всех мужчин в баре, и когда я начал терять сознание, то почувствовал ненависть лишь к самому себе, потому что я любил его, любил любого мужчину, который уделял мне внимание, даже когда это внимание приобретало форму убийства.

Вонючка встал. Он взмыл к потолку, как ангел мести, и я подумал, что этот образ был явно первым признаком надвигающейся смерти. Потом через плечо Вонючки я заметил Атлета. Он держал Вонючку за пояс штанов в классическом толчке тяжелоатлета. Вонючка отпустил мою шею, и воз-

дух ворвался в легкие. Мои голосовые связки задрожали. Я упал на землю, и через секунду за мной полетел Вонючка, его приземление было намного жестче: Атлет вонзил его в пол, как копье.

Атлет стоял над Вонючкой, засучив рукава.

— Еще раз тронешь его, и я убью тебя.

Лежа на спине, держась за шею, я поднял глаза на Атлета. Никогда я не любил этого человека сильнее. Он поправил козырек бейсболки, вернулся за стойку и сделал глоток пива.

— Итак, — сказал он, — о чем я говорил?

Я дошел до дедушкиного дома опустив голову, считая шаги — сто семьдесят. *Это на двадцать восемь шагов больше, чем обычно, что означает, что я шел зигзагами.* На столе в дедушкиной гостиной я нашел для себя подарок. Он был от Шерил, которая недавно вышла замуж. В приливе ностальгии сестра стала рыться в дедушкиных домашних роликах, переписывая самые интересные из них на видео. Она оставила мне кассету с прикрепленной запиской: *«Я думаю, тебя это развеселит».*

Я вставил кассету в видеомэгнитофон и развалился на «двухсотлетнем» диване, прижимая банку пива к шее, где все еще ощущал пальцы Вонючки. Экран побелел, потом появилась картинка. Изображение было таким чистым и ярким, словно запись сделали сегодня утром. Но крыша не просела, краска не облупилась, деревья казались совсем молодыми, а на дорожке перед домом не было трещины от молнии. Теперь по экрану шел дядя Чарли с высокой прической, и я понял, что действие происходит в доисторические времена.

Камера дергалась как сумасшедшая слева направо, потом назад, пока не остановилась на хорошенькой маленькой женщине, сидящей на крыльце. У нее на коленях сидел младенец. Она подкидывала его, качала, шептала ему что-то на ухо. Какой-то секрет. Мы с мамой двалцать четыре года назад. Женщина взглянула на своего десятимесячного сына, потом посмотрела прямо перед собой на меня, пьяного двадцатиче-

тырехлетнего сына. Я чувствовал, что попался, будто она заглядывала в будущее, чтобы посмотреть, что со мной стало.

Эти кадры явно были сделаны в то время, когда мама вернулась к бабушке, вскоре после того, как мой отец пытался убить ее, но это казалось невозможным, потому что в глазах моей матери не было ни капли страха. Она выглядела счастливой и уверенной в себе, как женщина с деньгами в банке и прекрасным будущим на горизонте. Она скрывала свои чувства от бабушки с дедушкой, подумал я. Не хотела их беспокоить. Потом я понял. Это не их она пыталась обмануть.

Моя мать впервые лгала мне, и это было запечатлено на пленке.

Как ей это удавалось? Не имея ни образования, ни денег, ни перспектив, как моя мать умудрялась выглядеть такой энергичной? Она едва успела оправиться после того, как отец душил ее подушкой, а потом набросился с лезвием, и, хотя она, должно быть, испытывала облегчение оттого, что ей удалось сбежать, мама не могла не осознавать, что ждет ее впереди: одиночество, тревоги из-за безденежья и «дерьмовый домишко». Но эти кадры не наводили на подобные мысли. Мама лгала вдохновенно, великолепно, она лгала также и себе, отчего ее ложь вдруг предстала передо мной совершенно в ином свете. Я понял, что мы должны время от времени лгать самим себе, говорить, что мы сможем, что мы сильные, что жизнь прекрасна и что тяжелый труд будет вознагражден, а потом пытаться сделать так, чтобы эта ложь сбылась.

Женщина повозилась со своим десятимесячным сыном, потом подняла его на руках, любуясь им, и двадцать четыре года спустя я смотрел на нее совершенно иными глазами. Я всегда верил, что быть мужчиной значит уметь настоять на своем, но как раз маме это удавалось лучше всех, кого я знал. И в то же время она всегда знала, когда пора уходить. Она ушла от моего отца, переехала от бабушки, уехала из Нью-Йорка, а я всегда извлекал пользу из ее неутомимой отваги. Я был так сосредоточен на том, чтобы проникнуть в мир избранных, что не сумел оценить способность матери вовремя

уйти. Наклонившись вперед на «двухсотлетнем» диване и глядя в ее зелено-карие глаза, я понял, что все достоинства, которые ассоциировались у меня с мужественностью, — твердость, настойчивость, целеустремленность, надежность, прямота, отвага — присущи моей матери. В глубине души я всегда знал это, но в тот момент, впервые увидев за ничего не выражающим лицом матери лицо воина, я понял это окончательно и впервые выразил словами. Я так стремился разгадать секрет, понять, как стать хорошим мужчиной, а все, что нужно было сделать, — это последовать примеру одной очень хорошей женщины.

Я отвел взгляд от матери и посмотрел на себя десяти-месячного. Как этот беспомощный младенец превратился в беспомощного алкоголика? Почему я уехал так далеко, а оказался всего в ста сорока двух шагах отсюда, где мою шею чуть не свернул Вонючка? И что с этим делать? Кассета заканчивалась. Моя мать еще что-то сказала своему десяти-месячному сыну, что-то важное, и он скорчил вопросительную гримасу. Я знал, что это была за гримаса. Я встал и проверил в зеркале над камином — гримаса так и осталась на моем лице. Я еще раз посмотрел на экран: моя мать держала своего сына за руку и махала ей в камеру. Она опять что-то зашептала ему в ухо, и его личико снова скривилось. Хотя он слышал ее голос, ее слова, он не мог понять их смысл.

Но я понял. Через двадцать четыре года я понял четко и ясно, что сказала мама. «Скажи «до свиданья».

Когда в 1990 году под Новый год я говорил, что ушел из «Таймс» и уезжаю из Нью-Йорка, все реагировали по-разному. Шустрый Эдди отнесся к этому беспечно. Дон — по-доброму. Кольт спокойно. Генерал Грант выпустил дым из трубки и сказал, чтобы я им всем там показал. Атлет гордился мной. Питер попросил присылать ему время от времени главы моего романа. Джо Ди переживал и смотрел на меня так, как он смотрел на Макграу, когда тот плыл к отмели: я заплыл слишком далеко от берега. Я заверил его, что со мной

все будет в порядке, и поблагодарил за все, а он наговорил целую кучу сентиментальностей про «вас, молодежь» своей мышке, хотя мне бы тоже хотелось послушать.

Вонючка если и отреагировал как-то, то я этого не заметил.

Боб Полицейский посмотрел на свои большие ступни и покачал большой головой.

— Без тебя здесь уже не будет так, как прежде.

Мы оба знали, что, со мной или без меня, здесь уже никогда не будет так, как прежде, в том-то все и дело.

Твою Мать обнял меня и сказал:

— Ты там бдишь зевать о себе снуть, мой яный дурк? И полегче на температуртах. И поосторожней, чтобы перзень не шибукнулся. Твоя дарча иногда будет с тобой, а в другие дни все будет пареново. Лучешь? Но что бы ни привылось — ты сулшаешь? — чтобы я не слышал, что ты пynuл свой брондик в полмя, все из-за твоего добатого рвана! Понял? И запомятуй, всегда запомятуй: Твою Мать. Чтоб тебя.

Реакция Далтона была более неожиданной.

— Ты даже не представляешь, какие кошмары там тебя ждут, — сказал он, указывая на окно. — Ты знаешь, что в некоторых районах страны бары закрывают в час ночи? В час! Там, в таких местах, как Атланта и Даллас, они подходят к тебе и забирают бокал с мартини прямо у тебя из рук — прямо с *недопитым коктейлем*.

— Я постараюсь об этом помнить, — сказала я.

Он не шутил. И рассердился, что я не принимаю его всерьез.

— Смейся сколько хочешь! Но знаешь, говорят: «Люди всюду одинаковые, куда ни поедешь». Так вот, это не так.

— Но они — те самые испытания, которые посланы нам, — сказал я. — Рильке.

Лицо Далтона просияло.

— У тебя все будет хорошо, — сказал он, пнув меня в бок. Чтобы придать своим словам большую значимость, ради нашей прошлой дружбы, он нежно добавил: — Придурок.

Дядя Чарли работал. Мы выпили по рюмке самбуки, и я сказал ему, что собираюсь навестить мать, пожить у нее какое-то время, а потом заехать к отцу, который жил в Северной Каролине и работал в ток-шоу на радио. Когда дядя Чарли спросил почему, я сказал ему, что со мной что-то не так и я хочу выяснить, что именно, а для этого нужно вернуться к истокам.

Из ноздрей дяди Чарли повалил дым. Он прижал ладонь к виску.

— Твой отец как-то приходил сюда. Я тебе не рассказывал?

— Нет.

— Он приехал в Манхассет поговорить с твоей матерью сразу после того, как они расстались. Я думаю, он искал примирения. Возвращаясь на станцию, он зашел к нам выпить виски. Осторожный такой. Сидел где-то здесь.

Я посмотрел на табуретку, куда показывал дядя Чарли. Я спросил, о чем они разговаривали, во что был одет мой отец, какое у него было настроение.

— Забавно, — сказал дядя Чарли, положив локти на стойку, — но единственное, что я помню, — что у твоего старика был удивительный голос. Просто бесподобный. Странно, правда?

— Да нет. Я тоже только это и помню.

Дядя Чарли закурил очередную «Мальборо». Он не мог бы выглядеть или говорить еще более похоже на Богарта, даже если бы старался, но, что поразительно, он *старался*. Это сходство было неслучайным. Наверное, дядя открыл для себя «Касабланку» тогда же, когда и я, и попал под очарование Богарта, и полюбил его, стараясь вести себя так же, как он, пока притворство не стало его второй натурой. Значит, мои периодические подражания дяде Чарли были, в свою очередь, второстепенными подражаниями Богарту. Я понял, какими запутанными могут быть эти звенья подражания. Мы все кому-то подражаем — кто Богарту, кто Синатре, кто Хемингуэю, Дьюку, или мишке Йоги, или Улиссу Гранту. Или

Стиву. Поскольку все бармены в какой-то степени подражали Стиву, а мы все в какой-то степени подражали барменам, может быть, «Пабликаны» были просто чередой зеркал, наполненных отражениями Стива.

Я не остался до закрытия. Мне нужно было собирать вещи, потому что я улетал утренним рейсом. Я поцеловал дядю Чарли на прощание. Он стукнул кулаком по стойке и указал на мою грудь. Я прошел по бару, пожимая руки, и в горле у меня стоял комок. Я обнял Боба Полицейского и Атлета, но они не умели обниматься. Это было все равно что обнимать два старых кактуса.

— Давай о себе знать, — сказали они.

— Обязательно, — пообещал я, выходя за дверь. — Обязательно.

44 | ОТЕЦ

Мне до смерти хотелось выпить, но я не мог сделать заказ. Мой отец не пил много лет, и я не желал показать неуважение к нему, выпив у него на глазах двойное виски. Мы сидели в углу ресторана, потягивая колу, и я рассказывал ему про похороны Стива, про то, как я уехал из Нью-Йорка, про мою недавнюю поездку к матери. Было здорово с ней встретиться, сказал я, но в то же время неловко, потому что, прожив с ней несколько недель, я почувствовал себя дядей Чарли, и в результате мне стало стыдно и за себя, и за дядю Чарли.

Я не стал рассказывать отцу про нашу с мамой длинную прогулку, когда я в слезах просил у нее прощения за то, что не помогал. Я плакал у нее на плече, а она уверяла меня, что я не обязан заботиться о ней и должен, прежде всего, позаботиться о себе. Я бы рассказал отцу, но мне не хотелось ворошить прошлое.

Вместо этого я говорил про Макграу: про то, что он окончил университет в Небраске и переехал в Колорадо жить в горах вместе с Джимбо. Я сказал, что завидую их дружбе и свободе. Отец пробормотал что-то невнятное. Я продолжал говорить, стараясь не думать о том, каким приятным было бы на вкус виски, и пытаюсь не беспокоиться о том, что отец не очень-то участвовал в разговоре. Он не слушал. Ковырял заусенцы, ломал хлебные палочки на кусочки, пялился на попку нашей официантки. Наконец он потянулся к ней. Я думал, он схватит ее за попу, но он положил ладонь на ее руку.

— Можно двойную водку с мартини? С двумя оливками.

Я уставился на него.

— Ах да, — начал он. — В самом деле. Я забыл сказать тебе. Время от времени я позволяю себе насладиться коктейлем. Видишь ли, я понял, что я на самом деле не настоящий алкоголик. М-да. Это хорошо. Когда у меня соответствующее настроение, я могу *насладиться коктейлем...*

Он все время повторял фразу «насладиться коктейлем» — может быть, потому, что она казалась ему банально обнадеживающей.

Сначала я встревожился, но когда мой отец насладился половиной своего коктейля, он начал наслаждаться и моим обществом. Неожиданно он стал принимать участие в разговоре. Слушать. Более того, он стал давать мне советы, смешить меня, говорить разными голосами. У меня на глазах он превратился в другого человека, в одного из завсегдатаев «Публиканов», поэтому я уговорил его насладиться еще одним коктейлем.

— Черт, — сказал я официантке, как будто эта мысль только что пришла мне в голову, — я, пожалуй, тоже не откажусь от коктейля.

Я неделю провалялся на диване в квартире отца, читал его книги, курил его сигары, слушал его шоу по радио. Я осу-

шестьвил свою детскую мечту: слышать его голос и знать, что, отработав свою смену, он вернется домой. Потом мы шли ужинать, наслаждались коктейлями и, пошатываясь, брели домой рука об руку. Мы слушали Синатру, выпивали еще по рюмочке перед сном, иногда смотрели телевизор. В квартире висели рекламные фотографии отца, и я обратил внимание на то, что в лучшие годы он был немного похож на Джеймса Гарнера*.

Он все еще прекрасно готовил и был гурманом, и после вечера в баре с удовольствием занимался каким-нибудь десертом, например творожным пудингом с амаретто или трубочками с кремом. Десерты получались великолепными, но большим наслаждением для меня было помогать ему на кухне, учась у него готовить. Мы учились друг у друга, как Рокфорд и его отец. Я знал, что причиной нашей вновь обретенной близости стали коктейли. Ну и что? Коктейли помогали нам расслабиться и преодолеть чувство вины, которое стояло за нашей любовью друг к другу. Коктейли помогали нам забыть то, что он сделал, и то, чего не сделал. Как же можно было не пить коктейли, если они нам так помогали?

На выходных отец сказал, что хочет познакомить меня со своей подругой. Мы выпили несколько коктейлей в придорожном баре перед тем, как ехать к ней домой, в ее низкую деревянную лачугу. Она открыла дверь, челюсть у нее отвисла при виде нас, и она обвила нас обоих руками, расплывшись в улыбке.

— Я вижу, вы уже начали праздновать без меня, — сказала она.

Она была болезненно худой и состояла из сплошных острых углов и костей. Не хорошенькая, но сексуальная. Ее стоящая рядом двенадцатилетняя дочь была, напротив, такой пухленькой, будто съедала все, что не доедала мать.

* Джеймс Гарнер (род. 1928) — американский теле- и киноактер, удостоенный премии «Эмми» и номинированный на «Оскара».

Мы прошли в кухню, где дочь снова уселась за стол и склонилась над книжкой. Она сказала мне, что книжка называется «Выбери себе приключение». Каждый раз, когда наступал поворотный момент в ее жизни, эта книга помогала ей сделать выбор. Хочешь отправиться в неизведанную пещеру? Открой страницу тридцать семь. Хочешь сплавиться вниз по реке? Открой страницу сорок два.

— Я читаю только книги из серии «Выбери себе приключение», — заявила девочка. — Потому что предпочитаю сочинять свои собственные истории.

Пока отец готовил ужин, его подруга показала мне дом, что заняло минуты три, поскольку дом был не больше, чем «Пабликаны». В коридоре в рамке висела покрытая лаком, собранная из кусочков головоломка. Папина подруга продемонстрировала мне ее так, будто это подлинник Ван Гога. Возвращаясь в кухню, мы оба поняли, что что-то произошло. Мой отец изменился. Его щеки пылали. Может быть, девочка ему что-то сказала? Может, она болтала про книжки «Выбери себе приключение» и это раздражало отца?

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего.

Папина подруга вполголоса объяснила мне, что у отца бывают «перемены настроения». Зря она это сказала. Он выругался. Девочка попросила его не разговаривать так с ее матерью. Тогда отец и ее обозвал. Я попытался вмешаться, попытался успокоить его, но он сказал мне:

— Заткнись, придурок.

Слишком много мужчин говорило мне, что я придурок и чтобы я заткнул свой рот, и в тот момент все изменилось навсегда.

Он бросился ко мне. Как у Вонючки, у моего отца была бычья шея, отвисший живот, и он был на удивление проворным. Я отступил назад и приготовился. «В этот раз все будет по-другому», — пообещал я себе. Когда на меня набросился Вонючка, я оказался не подготовлен. В этот раз я был взбе-

шен и настроен на драку. Образы всех известных мне драчунов промелькнули у меня в памяти. Боб Полицейский, Джо Ди, Атлет, даже дядя Чарли, боксирующий с воображаемыми Хаглерами. Я пытался вспомнить советы, которые мне давал Джо Ди по поводу барных драк, и все, что Дон рассказывал мне о борьбе. Интересно, думал я, будем ли мы с отцом сражаться на кулаках или бороться? Я посмотрел на его руки, чтобы проверить, начал ли он сжимать кулаки, и увидел раздельный нож.

Где-то в глубине душе я помнил, что именно с этим однажды пришлось столкнуться матери: мой безумный отец сжимал тогда в руке лезвие. Мне всегда казалось, что я понимаю, как страшно ей тогда было, но я не имел ни малейшего понятия, каково это на самом деле, пока не увидел оружие в руке отца. Может, это мой шанс отомстить за нее? Я знал, что мать не хотела бы, чтобы я совершил что-то подобное. *Если бы она была здесь, она предложила бы мне бежать.* Но я не мог. Пути назад не было. Как только отец сделает первое движение, случится нечто нехорошее, но что бы это ни было, я знал наверняка лишь одно: я буду стоять до конца.

Он бросил нож на пол. Лезвие ударилось о кухонный пол с тошнотворным клацаньем. Отец выскочил на улицу, прыгнул в свою спортивную машину и уехал. Его подруга посмотрела на меня. Я — на нее. Мы оба посмотрели на девочку, которую трясло. Мы все затаили дыхание, ожидая, что он вернется. Когда он не вернулся, я спросил женщину:

- Вы сможете отвезти меня в аэропорт?
- Конечно.
- Можете сначала отвезти меня к нему? Забрать вещи?
- Он же будет там!
- Нет. Его там не будет.

Я точно знал, что через несколько минут мой отец окажется в каком-нибудь баре и застрянет там надолго.

Мы поехали в квартиру отца. Дверь была заперта, но я влез через боковое окно. За ту неделю, что я прожил у него, я практически не распаковался, поэтому у меня ушло не-

сколько минут на то, чтобы кинуть вещи в свою единственную сумку. Потом мы помчались по темным дорогам. Как в фильме ужасов, постоянно смотрели в зеркало заднего вида, ожидая, что сзади появится преследователь. Девочка лежала на заднем сиденье и то ли спала, то ли была парализована страхом. Ночь была безлунной и необычно темной, и я не видел ничего, кроме звезд, но знал, что мы проезжали фермы, потому что чувствовал запах свежескопанной земли и навоза и через каждые несколько ярдов различал вдалеке желтые огоньки фермерских домов. Когда мы доехали до аэропорта, подруга отца подъехала к бордюру и потянула на себя ручной тормоз. Мы несколько минут посидели, пытаюсь собраться с мыслями.

— Знаешь, — сказала она наконец, — ты совсем не похож на своего отца.

— Если бы только это было правдой! — Я поцеловал ее на прощанье и пожелал удачи.

Аэропорт был закрыт, все рейсы отменены до утра. Все магазины и бары тоже были закрыты. Уборщик тащил мою машину. Я растянулся на пластмассовых стульях в зале ожидания и закрыл глаза.

Когда я снова их открыл, уже светало. Я почувствовал запах печенья и свежесваренного кофе. Магазины открывались. Я купил бритву и крем для бритья и пошел в туалет. В зеркале я увидел совсем другое лицо. Оно было привычно нахмуренным, но глаза — более осмысленными, чем обычно. Почему? Я сам не знал.

Я вспомнил Билла и Бада. Они предупреждали меня, что разочарование — одна из самых больших опасностей, ожидающих меня впереди, и оказались правы. Но в то утро, избавившись от иллюзий по поводу отца, иллюзий, которые тянулись за мной всю жизнь, я вдруг заметил, что насвистываю, взбивая на щеках крем для бритья. Отказавшись от иллюзий, я остался один. Мне некого было боготворить, некому подражать. Конечно, я не оставил все свои иллюзии в том туалете в аэропорту. Пройдет еще много лет, прежде чем некоторые из

них развеются окончательно. Но процесс пошел. *Твой отец не очень хороший человек, но ты — не твой отец.* Говоря это в зеркало молодому человеку с бородой из крема для бритья, я чувствовал себя независимым. Свободным.

Я купил чашку кофе и сидел с ней в центре аэропорта, под табло прилетов и вылетов. Как много городов, как много мест, где можно все начать заново! Может быть, я вернусь в Аризону и расскажу матери о том, как я не испугался отца. Может, вернусь в Нью-Йорк и посмотрю, какие лица будут у мужчин, когда я войду через главный вход «Пабликанов».

Потом у меня в голове промелькнули три слова, показавшиеся странно бодрящими: «*Выбери себе приключение*».

Я позвонил Макграу и Джимбо в Колорадо. Когда я рассказал Макграу про стычку с отцом, он захихикал. Смех вернулся к нему. Услышав его смех, я тоже рассмеялся и понял, куда мне хочется поехать.

— Джуниор! — сказал он, обняв меня, когда я сошел с самолета.

— Джимбо! — воскликнул я. — Ты спас мне жизнь.

С тех пор как я его не видел, прошло всего восемь месяцев, но его едва можно было узнать. Он стал крупнее, старше, он больше не был похож на молодого Малыша Руга, а выглядел как Стив в молодости. В нем была эта знакомая развязность, умение все брать в свои руки, и у него начала проявляться улыбка Чеширского Кота.

— А где Макграу? — спросил я.

— На работе. Твой двоюродный брат недавно устроился на работу раздатчиком полотенец в местном отеле.

Я рассмеялся, потом одернул себя: «Над чем я, собственно, смеюсь? Им не нужен еще один раздатчик полотенец?»

Стоял великолепный июньский день. Небо было темно-синего цвета, воздух на вкус как вода со льдом. Джимбо опустил крышу своего джипа, и мы поехали в горы за Денвером, а наши волосы развевались на ветру. Взбираясь на крутой склон, джип резко загрохотал. Обернувшись назад, я понял:

это грохотал не джип. Звук издавало стадо быков, бегущих вдоль шоссе. Потом, прямо перед собой, я впервые увидел Скалистые горы. По сравнению с ними Спина Верблюда казалась просто прыщиком. Я застонал, и Джимбо улыбнулся так, будто это он поставил туда эти горы. Я надеялся, что горы, в отличие от некоторых мужчин, не кажутся более впечатляющими, чем есть на самом деле, если смотреть на них издалека.

Перекивая шум мотора, Джимбо спросил меня о ребятах из «Пабликанов». Я уже собирался рассказать ему про Вонючку, но я купался в лучах горного солнца, и мне не хотелось говорить ничего такого, что могло омрачить этот прекрасный момент. Кроме того, позднее мы должны были встретиться с Макграу в баре. Тогда я и расскажу им обоим.

Я откинулся на сиденье, слушая кассету Джимбо, игравшую в магнитофоне. «Оллман Бразерс» — «Голубое небо».

Ты — мое небо голубое,
Ты — день летний мой,
Господи, счастье какое,
Когда любовь твоя со мной!

Джимбо изображал руками, будто играет на гитаре, и держал руль коленями, и мы оба пели, пока джип спускался в луга у подножия гор. Бараны, стоящие на высоких валунах как высокомерные балерины, смотрели на нас сверху вниз. Моя голова была как воздушный шар на веревочке. Джимбо сказал, что дело в высоте. Джип взревел, преодолевая крутой поворот, который, как я понял, был Большим перевалом.

— У меня для тебя сюрприз, — сказал Джимбо.

Он вытащил кассету с «Оллман Бразерз» и вставил другую. Из колонок зазвучал голос Синатры. Джимбо рассмеялся, и я стукнул его по плечу.

Через несколько миль джип начал шипеть. Джимбо посмотрел на приборную доску.

— Черт! — Он вывернул руль вправо и, остановившись на обочине, выпрыгнул и открыл капот. От мотора поднимался дым. — Похоже, нам придется долго здесь проторчать, — сказал он, глядя на солнце, заходящее за горизонт.

В его голосе звучала тревога. А я в кои-то веки был спокоен. Пока голос Синатры раздавался эхом по горным скатам, я был счастлив сидеть здесь, наверху, рядом со звездами, и наслаждаться солнцем. Меня не волновало, как скоро оно исчезнет за склонами гор. На одно прекрасное мгновение — а кто может просить от жизни большего? — мне ничего не хотелось от жизни.

ЭПИЛОГ



Не давай мне портер и виски
И песен грустных не включай — а то заплачу.
Мне нужно уходить, мой друг,
Не спрашивай зачем — я не могу иначе.

Ван Моррисон, «Мне нужно уходить»

ЭПИЛОГ | ОДИН ИЗ МНОГИХ

11 сентября 2001 года мама позвонила из Аризоны. Мы держали в руках телефонные трубки и смотрели телевизор, и когда снова обрели дар речи, стали спрашивать друг друга: сколько людей из Манхассета могло быть в этих башнях?

Действительность превзошла все опасения. Почти пятьдесят человек из Манхассета погибло во время терактов во Всемирном торговом центре. Среди них — Питер Оуэнз, бармен, который был мне таким добрым редактором и другом; и мой двоюродный брат Тим Бирн, сын двоюродной сестры моей матери, Шарлин, сильный и харизматичный. Тим работал в «Сандлер О'Нил»: он находился в офисе на сто четвертом этаже южной башни, когда первый самолет врезался в северную. Он позвонил матери и сказал, что с ним все в порядке, чтобы она не беспокоилась. Потом второй самолет врезался в южную башню, и больше о Тиме никто не слышал.

В то время я был в Денвере. Я поехал на машине в Нью-Йорк на похороны и богослужение в память о погибших. По дороге я слушал по радио передачу, которая принимала звонки от слушателей, и был поражен тем, сколько людей звонило не для того, чтобы поговорить, а чтобы поплакать. За Сент-Луисом я попытался найти передачу с Макграу: он участвовал в ток-шоу на КМОКС, одной из самых крупных радиостанций в Соединенных Штатах. Мне хотелось услышать, что он скажет про теракты, да и просто хотелось услышать его

голос, который, мне казалось, немного меня успокоит. Мы с Макграу давно не виделись. Когда бабушка с дедушкой заболели через несколько лет после моего отъезда из Нью-Йорка, моя мать и тетя Рут ругались, кто будет за ними ухаживать. В конечном итоге дело дошло до суда, и осадок остался даже после смерти бабушки и дедушки в 1997 году. Родственники разделились на два лагеря. Макграу и его сестры, включая Шерил, больше не разговаривали со мной, потому что они поддерживали свою мать, а я свою. Когда ночью я ехал на машине через Миссури и крутил ручку приемника туда-сюда, на секунду мне показалось, что я нашел Макграу в этом океане рыданий и голосов. Но тут же потерял.

Я выключил радио и стал звонить всем, кого знал в Нью-Йорке. Мой университетский сосед по комнате рассказал мне, что Дейв Беррей — исключительно уверенный в себе студент Йеля, которого я окрестил Джеммом Редуксом, — погиб во время теракта. У него остались жена и двое маленьких детей. Я позвонил Джимбо, который жил в пригороде Нью-Йорк-Сити. «Помнишь Мишель?» — спросил он. Я много лет не разговаривал с Мишель, но видел ее лицо так же четко, как рекламный щит «Кока-Колы» впереди. «Ее муж числится среди пропавших», — сказал Джимбо.

— У нее есть дети? — спросил я.

— Сын.

Когда я приехал в Хантингтон, Лонг-Айленд, в квартиру, которую Тим купил для своей матери, тетя Шарлин плакала навзрыд. Я провел у нее неделю, пытаюсь помочь, но единственная помощь, которую я мог предложить тете Шарлин и Бирнам, — это выразить их потерю словами. Я написал статью для газеты, в которой работал, «Лос-Анджелес таймс», про Тима, о том, как он стал главой семьи после того, как умер его отец. Я все еще помнил похороны его отца, когда Тим взял на свои плечи гроб отца и ответственность за благополучие матери. Он продолжал выполнять эту роль, помогая тете Шарлин как материально, так и эмоционально, и был

таким сыном, каким мне всегда хотелось стать. Кроме того, он заботился о братьях. Он заменил им отца и действительно стал их отцом, а самым невероятным из леденящих душу совпадений оказалось то, что день рождения его отца был одиннадцатого сентября.

В конце той тяжелой недели я встретился с Джимбо и мы отправились на поминальную службу по Питеру. Когда Джимбо подъехал к моей гостинице, я потерял дар речи. Я давно с ним не общался, так же, как и со всей остальной компанией из «Пабликанов», и едва мог поверить в метаморфозу, которая произошла с ним, — это была краснолицая копия Стива. Казалось, он и сам не мог понять, где кончалась личность Стива и начиналась его собственная. Он сказал мне, что уже открыл один бар «Диккенс» и бизнес не пошел, но он подумывает попробовать еще раз.

По дороге в церковь мы разговаривали о Стиве, потому что ситуация очень напоминала его похороны. Скорбящие стекались со всех сторон, и людей было намного больше, чем могла вместить в себя одна церковь. Там была сотня знакомых лиц, в том числе человек, похожий на постаревшего Кольта. Конечно, это и *был* постаревший Кольт. Почему-то он шел посередине улицы. Мы с Джимбо помахали ему, и поседевший Кольт помахал нам в ответ, будто во сне.

Джимбо поставил машину на стоянку, и мы побежали к церкви. Но все места были уже заняты, и люди стояли в дверях. Верхняя ступенька церкви выглядела как стойка бара в «Пабликанах» времен 1989 года: Атлет, Джо Ди, Дон. Я обнял их и пожал им руки. Мы услышали голос отца Питера, он пытался произнести речь. Мы встали на цыпочки, чтобы увидеть его. Когда чувства взяли верх и он не смог продолжать, мы отвернулись и вытерли глаза.

После Джимбо я встретился с вдовой Стива, Джорджеттой, на том месте, где раньше были «Пабликаны». Стив оставил после себя больше долгов, чем мне казалось, и бизнес пришел в упадок быстрее, чем мы думали. Джорджетта

продержалась дольше, чем все ожидали, и перепробовала все, включая живые выступления рок-н-рольных групп, прежде чем продать заведение в 1999 году. Задолго до закрытия, однако, ей пришлось уволить дядю Чарли. Он не мог работать ни на кого другого, кроме Стива, сказала она. Его откровенная грубость уже не казалась смешной, а стала просто неприятной.

Хозяин дома из него тоже оказался никудышный, еще хуже, чем из дедушки. Пока он жил один, он случайно устроил пожар, или, может быть, кто-то из его кредиторов сделал это нарочно. В городе говорили всякое. Когда после пожара дом был продан, дядя Чарли уехал в Нью-Йорк, превратившись в беспокойного пенсионера, а потом и вовсе куда-то пропал. Полагаю, что где-то в глубине души я всегда подозревал, что дядя Чарли станет очередным членом нашей семьи, пропавшим таинственно и драматично. Но его внезапное исчезновение все равно стало для меня неожиданностью.

Новые владельцы «Пабликанов» переименовали бар в «У Эдисона» и полностью переделали помещение. У меня было такое чувство, будто я встретил старого друга, которому без необходимости сделали пластическую операцию.

— По крайней мере, стойка на месте, — сказал Джимбо, потирая дерево.

— И табуретки те же, — заметил я.

Мы сели за ту часть стойки, где работал Питер, и стали пить за память о нем. Я пил имбирный эль.

— Ты не пьешь? — спросил Джимбо.

— Нет.

— С каких пор?

— Десять лет. Хочешь — верь, хочешь — нет.

Я не стал пускаться в длинные объяснения. Мне не хотелось перечислять причины, по которым я не пил, а также почему меня перестали привлекать азартные игры, сигареты и другие пороки после того, как я покинул «Пабликаны». Я не хотел рассказывать Джимбо, что протрезвление было

взрослением, и наоборот. Я не хотел объяснять, что *пить* и *прилагать усилия* вещи взаимоисключающие и что как только я перестал делать первое, я автоматически начал совершать второе. Я не хотел говорить ему, что иногда, просыпаясь среди ночи, я вспоминал Стива и у меня холодело в желудке, потому что я думал: не умер ли он за наши грехи? Если бы Стив выжил, я бы так и продолжал проводить целые дни у него в баре. Один ветеран «Пабликанов» как-то рассказывал мне, что умение выпить — единственное мастерство, которое не оттачивается от того, что ты делаешь это регулярно, и когда я ушел из «Пабликанов», я наконец-то понял разумность этого замечания. Ничего этого я не сказал Джимбо, потому что не знал, как объяснить ему. И до сих пор не знаю. Решение бросить пить было не самым легким в моей жизни. Но рассказывать, почему я это сделал, — гораздо тяжелее.

Основной причиной, по которой я не стал ничего рассказывать Джимбо, было то, что я не хотел осквернять «Пабликаны». После одиннадцатого сентября я чувствовал благодарность за каждую минуту, проведенную в этом баре, даже за те минуты, о которых сожалел. Я знал, что это — противоречивое утверждение, но от этого оно не становилось менее верным. Сидя в черном костюме в этом месте, которое раньше было «Пабликанами», я любил старый паб больше, чем когда-либо.

Я попросил Джорджетту рассказать мне про последний вечер «Пабликанов».

— О, все плакали, — сказала она, — особенно Джо Ди, который был так расстроен, что ему пришлось раньше уйти. Джо Ди стал учителем в школе в Бронксе. Преподает в четвертых классах. В первый день работы в школе Джо Ди, как он потом рассказал мне, написал свое имя на доске, потом развернулся: «Все смотрели на меня во все глаза, и я подумал, ладно, у меня получится».

Уменяполучится. Он провел остаток жизни, глядя в океан лиц, жаждущих знаний. Из него выйдет хороший учитель,

подумал я. Дети будут в восторге от его мышки. И горе тому маленькому хулигану, который устроит потасовку на детской площадке у Джо Ди.

Шустрый Эдди настоял на том, что будет последним, кто закажет напиток в «Пабликанах», рассказала мне Джорджетта. Когда был выпит последний стакан и потушена последняя сигарета, Генерал Грант выключил свет и запер двери. Я представил себе его сигару, плывущую по темной комнате, как тормозная фара мотоцикла на проселочной дороге. Я посмотрел на кабинки и табуретки — они были пусты, но я слышал смех. Я слышал голоса из вчерашнего вечера, каждого вечера десятилетней давности. Я подумал: «Мы почти не покидали этот бар, и теперь он никогда не покинет нас».

Джорджетта заказала еще один бокал вина. Мы с Джимбо заказали по чизбургеру. Они были другими на вкус, потому что Твою Мать и Вонючка больше не паковали здесь булочки. Твою Мать умер, а Вонючка работал в баре в Гарден-Сити. Я спросил про Бобо. Ни Джимбо, ни Джорджетта не знали, куда он делся и что с ним стало.

Джорджетта спросила меня о матери. Я рассказал ей, что у матери все хорошо, она по-прежнему работает в Аризоне и, хотя все еще сражается с усталостью и другими проблемами со здоровьем, надеется вскоре выйти на пенсию. Потом Джорджетта спросила, что я делал все эти одиннадцать лет. Я рассказал ей, что в 1990 году, прожив несколько лет с Джимбо в Скалистых горах, мы с Макграу переехали в Денвер. Я нашел работу корреспондента в «Роки маунтин ньюс», где проработал четыре года, изучая основы, которых мне не хватало в «Нью-Йорк таймс». Макграу вернулся в Небраску и устроился на работу на маленькую радиостанцию, где поборол заикание и нашел свое призвание.

— Он всегда был разговорчив, — заметила Джорджетта с улыбкой.

— Он очень обаятельный, — подтвердил я.

— Он переигрывает, — сказал Джимбо.

Но теперь он звезда. Его смех слушают в сорока штатах.

В 1994 году я стал корреспондентом «Лос-Анджелес таймс», а в 1997-м меня сделали национальным корреспондентом в штаб-квартире газеты в Атланте. В 2000 году я получил стипендию в аспирантуру на факультете журналистики в Гарварде. В Гарварде я еще раз попробовал написать книгу о «Публиканах», которую решил писать как публицистику. Как и раньше, книга от меня ускользала. Когда мое обучение закончилось, редакторы «Таймс» пригласили меня стать их западным корреспондентом, чтобы писать о районе Скалистых гор из Денвера. Я только приехал в Денвер, чтобы посмотреть, смогу ли снова там жить, когда башни подверглись теракту.

— Будущее нельзя предсказать, — произнесла Джорджетта почти шепотом.

— Я думал, что могу.

В ту ночь, когда я ушел из «Публиканов» навсегда, я хвастал Атлету, Далтону и дяде Чарли, что знаю две вещи наверняка: я никогда не буду жить в Калифорнии или на юге. Когда я стал южным корреспондентом «Лос-Анджелес таймс», я понял, что Вселенная подслушала нас в «Публиканах» и что у нее своеобразное чувство юмора. Джорджетта грустно улыбнулась.

— Верно, — согласилась она.

Темнело. Джорджетте нужно было собираться домой. Мы с Джимбо проводили ее на стоянку. Она поцеловала нас обоих и сказала, что Стив гордился бы тем, чего мы добились.

— Давайте о себе знать, — попросила она.

— Обязательно, — пообещали мы. — Обязательно.

Я не мог переехать в Денвер. Пока не мог. Я не мог уехать с Восточного побережья, не написав что-нибудь о своем родном городе и о том, как он изменился после терактов. Я оставил за собой квартиру в Гарварде, но в основном жил в Манхассете, в гостинице за городом, и днями слонялся по Пландом-роуд, беря интервью у незнакомых людей, встре-

чаясь со старыми товарищами. Бóльшая часть компании из «Пабликанов», как мне сказали, собиралась в новом баре на Пландом-роуд. Я расположился там в «счастливый час», и один за другим они стали входить в дверь, немного поседевшие и погрустневшие. Я снова читал «Дэвида Копперфилда», чтобы отвлечься, чтобы успокоиться, и вспомнил строчку в конце романа, когда Дэвид оплакивает «беспорядочные останки» суррогатного дома своего детства.

Вошел ДеПьетро в черном костюме, возвращаясь с двадцатых по счету похорон. Дон, тоже в черном костюме, сказал, что он знал человека, который побывал на пятидесяти похоронах. Мы проговорили несколько часов, и кто-то в баре рассказал мне, что пепел от башен приплыл сюда по воде. Я подумал о болотистом участке земли возле Манхассета, который Фицджеральд назвал Долиной пепла. Описание теперь казалось ужасным пророчеством.

Я спросил про Далтона. Их с Доном пути разошлись, и теперь Дон вел частную практику в офисе над греческим рестораном Луи. Последнее, что Дон слышал о Далтоне, — что он где-то на Миссисипи и пытается издать книгу своих стихов.

Вошел Атлет, совсем не изменившийся, его по-прежнему рыжие волосы все так же выбивались из-под того же самого козырька. Он пожал мне руку и спросил, как мои дела и хожу ли я все еще на скачки.

— Нет, — ответил я. — Я перестал заниматься тем, что у меня совсем не получается.

— Но тем не менее ты все еще пишешь! — Атлет похлопал меня по спине, предложил угостить меня и не стал дразнить, когда я заказал колу.

Мы говорили о международной ситуации, и все мужчины в баре присоединились к нам, а по телевизору в это время показывали горящие башни и людей, держащих фотографии своих любимых, о которых ничего не было известно. Я заметил, как быстро наш разговор вернулся к восьмидесятым го-

дам, и не только потому, что это нас связывало. Мы все были мастера идеализировать разные места, а после одиннадцатого сентября осталось только одно место, которое можно было идеализировать, только одно место, которое нас никогда не сможет разочаровать. Прошлое. Только Кольт отказался осуждать прошлое, потому что он его не помнил.

— Не говорите со мной о восьмидесятых, — сказал он. — Меня там не было.

Позднее в тот вечер, стоя между Атлетом и Кольтом, я почувствовал тяжелую руку на своем плече. Я обернулся. Боб Полицейский. Его волосы стали совсем седыми, и он выглядел замученным.

— Ты откуда? — спросил я.

— С места теракта.

Конечно.

Он сел рядом со мной и заглянул мне глубоко в глаза.

— Как ты? — спросил я.

— Я прослужил в полиции двадцать пять лет и думал, что повидал все. — Он продолжал смотреть на меня, потом закрыл глаза и медленно покачал головой из стороны в сторону.

Со временем я набрался храбрости позвонить Мишель. Я сказал ей, что слышал о ее муже, и спросил, могу ли чем-нибудь ей помочь. Она ответила, что не прочь выпить. Я подъехал к дому ее родителей, где после теракта она жила со своим одиннадцатимесячным сыном. Мишель открыла дверь. Она совсем не изменилась. У Мэтью, прятавшегося за ее ногой, были такие же, как у нее, карие глаза с пятнышком корицы в центре. Он посмотрел на меня так, будто мы знали друг друга, и в какой-то степени так и было. Казалось, что кто-то только что вышел из комнаты и Мэтью ждал, когда этот кто-то вернется.

Я отвез Мишель поужинать в Порт-Вашингтон, и она рассказала мне про своего мужа, Майка Ландена, брокера.

Он любил галстуки-бабочки, сигары, хоккей, свадьбы, Чикаго, хорошие вина — и ее. Она рассказала, как он ухаживал за ней и какой у них был счастливый брак. Хотя они жили в однокомнатной квартире с новорожденным ребенком, сказала она, они ни разу не устали друг от друга. Пока Мишель говорила, я вспомнил, что она тоже выпускница Академии рассказчиков «Пабликанов». От ее рассказов мне хотелось то плакать, то смеяться.

Она спросила обо мне. Женился ли я? Я сказал ей, что пару раз был близок к этому, но сначала мне нужно было повзрослеть. И у меня ушло много времени на то, чтобы забыть свою первую любовь.

— Верно, — сказала она. — Что случилось с?..

— С Сидни. — Я прочистил горло. — Она позвонила мне ни с того ни с сего, когда я был в Гарварде. Мы поужинали вместе.

— И?..

— Она совсем не изменилась.

— И?..

— Изменился я.

Сидни объяснила мне свое решение, свой выбор не в мою пользу, сказав, что молодой человек, который был столь очарован баром, вызывал у нее опасения. И Сидни была права в своих опасениях.

После ужина я пригласил Мишель выпить на месте бывших «Пабликанов». Мы сидели в ближайшей от двери кабинке, и я видел, что настроение Мишель улучшалось по мере того, как возвращались воспоминания о прошлом. Но ее мысли быстро вернулись к мужу.

— Он был таким хорошим человеком, — сказала она мне, повторив эти слова, «хорошим человеком», несколько раз. — И он обожал Мэтью. Теперь Мэтью будет знать Майка только по письмам, фотографиям или рассказам.

Она беспокоилась, что ее сын будет расти без отца, что с отцом будет ассоциироваться пустота.

— По крайней мере, у него есть дяди, — сказала она со вздохом. — И двоюродные братья и сестры. Он с ума по ним сходит. И в школе он встретит много других детей, которые потеряли отцов, поэтому он не будет чувствовать себя... не таким, как все.

Я резко откинулся на спинку кабинки. Раньше мне не приходило это в голову. Манхассет, где я когда-то чувствовал себя единственным мальчиком без отца, стал теперь городом сирот.

Несколько месяцев я писал статью про Манхассет, мотаюсь туда-сюда между своей квартирой в Гарварде и гостиницей возле Манхассета, и мое время, сказали мне редакторы, истекло. Я был нужен им в Денвере. Тогда я сел и наконец написал. Я написал о бесконечных похоронах, которые проходили и несколько месяцев спустя. Я написал о настроении людей, идущих по Пландом-роуд, где бары и церкви были необычно переполнены. Я написал про вдову, которая не могла заставить себя забрать машину мужа со стоянки у железнодорожной станции. Неделю за неделей машина стояла там, покрытая свечами, лентами и записками в знак любви и поддержки. Время от времени вдова пыталась увезти машину, и люди на Пландом-роуд смотрели, как она сидит за рулем, глядя прямо перед собой, не в силах повернуть ключ. Я писал о родном городе в лихорадке, в трансе, я впервые писал в состоянии катарсиса. Слова лились сами собой, их не нужно было искать. Сложнее было перекрыть этот поток.

Закончив черновую версию, я поехал прогуляться. Я начал с Мемориального поля, где сел на солнце, и голова моя закружилась от ностальгии и усталости. Глядя на ромб бейсбольного поля, я вспомнил, как смотрел в первый раз на игроков в софтбол из «Диккенса», когда мне было семь лет. Я вспомнил игры Малой лиги с Макграу и как мы перебрасывались мячом, когда нам было двадцать. Я отвлекся от воспоминаний, когда поиграть в бейсбол пришли четве-

ро — трое мужчин моего возраста и мальчик лет одиннадцати в очках с толстыми стеклами. Глаза у мальчика были большие и блестящие, рот расплывался в улыбке, и то, как он вел себя с мужчинами, говорило мне о том, что никому из них он не приходится родственником. Они разбились на две команды. Мальчик не очень владел техникой, но двигался проворно, выглядел целеустремленно и умел за себя постоять. Мужчины просто вышли поразмяться, а мальчик приобретал важный опыт, который запомнит на всю жизнь. Он, может быть, думал то же самое и поэтому не заметил, как один из мужчин, не глядя, подал ему мяч. Мяч ударил мальчика по лицу, сбив очки, и тот замер на месте. Мужчины побежали к нему. «С тобой все в порядке?» — спросили они. «В порядке», — ответил мальчик, застенчиво улыбаясь и потирая место, где осталось красное пятно от мяча. «Ну вот, — сказал один из мужчин, — он у нас крепкий». И остальные мужчины зааплодировали и похлопали его по спине, а мальчик посмотрел на них на всех, на каждого по очереди, с такой неистойвой любовью и благодарностью, что у меня слезы на глазах выступили.

Я снова сел в машину и поехал по Шор-драйв, глядя на воду. Владелец самого роскошного дома в Манхассете погиб во время теракта. За несколько минут до смерти он позвонил жене. Говорят, теперь она живет одна в этом дворце в стиле особняка Бьюкененов и ее преследует голос мужа. Я поехал по той дороге, по которой мы когда-то ездили с мамой в нашем «Ти-Берде», от Шор-драйв по Пландом-роуд к Шелтер-Рок, и в каждом окне видел американские флаги, и на многих деревьях были завязаны желтые банты. Я поехал дальше на восток к тете Шарлин и провел остаток дня у нее, — мы пили кофе и смотрели видеозапись церемонии окончания Тимом университета в Сиракузах.

Пока я ехал обратно в гостиницу в красивых зимних сумерках, я слушал радио. Местная радиостанция классической музыки передавала «Лунный свет» Дебюсси. Меня всегда тро-

гала эта вещь, ее открыл для меня Бад. Но в ту ночь она казалась невыносимо грустной. Я знал от Бада, что «Лунный свет» был музыкальным портретом луны, который нарисовал Дебюсси, но внезапно мне показалось, что это песня о памяти, о мистических звуках, которые производит прошлое, когда возвращается к нам. Покрутив ручку приемника, я услышал мужской голос, объясняющий, как готовить «самые лучшие трубочки с кремом». Голос был забавный и объяснял рецепт с нарочито итальянским акцентом. Я рассмеялся. Мой отец. Мы много лет не разговаривали. Я слышал, что он живет в Нью-Йорке, но не знал, что он ведет кулинарные передачи воскресными вечерами. Мне захотелось позвонить, но потом желание отпало. Через три недели он умер.

Я не смог заставить себя прийти на похороны по многим причинам, но особенно потому, что не мог вынести вида открытого гроба. Вместо этого через несколько дней я пошел на национальное кладбище в Калвертоне, в восточной части Лонг-Айленда, в заросли белых крестов. Стоял холодный февральский день, с океана дул жгучий ветер. Контора была закрыта, но справочный автомат сообщил мне, что мой отец лежит в секции 23, участок 591. Никогда еще мне не было так легко его найти.

Двадцать третья секция оказалась самой новой на кладбище. У меня засосало под ложечкой, когда я увидел огромное количество открытых могил, застывших в ожидании. Я шел дальше, читая имена, пока не дошел до свежей могилы, на которой было написано: ДЖОН ДЖОЗЕФ МОРИНГЕР, рядовой, военно-воздушные силы. Мой отец говорил мне, что он официально сменил имя на Джонни Майклз и что он служил в морском флоте. Две лжи, развенчанные одним могильным камнем. Я засунул руки в карманы и поднял воротник, прячась от ветра. Посмотрел на имя своего отца, на свежие следы могильщиков, которые его хоронили, и пытался придумать, что сказать, но не смог. Я простоял с полчаса, ожидая, что слова — и слезы — придут, но они не приходили. «Ну что

ж, — сказал я, поворачиваясь, чтобы идти, — я надеюсь, с тобой все хорошо, папа. Надеюсь, ты обрел... *покой*».

Почему именно от этого слова потекли слезы, я не знаю, но они хлынули так неожиданно, так стремительно, что мне пришлось присесть. Раскачиваясь взад-вперед, обхватив лицо руками, я почувствовал, что этим слезам нет конца, что я бы мог так проплакать весь день и всю ночь, если бы не заставил себя остановиться. Эмоции смутили меня. «Прости, — сказал я, — за то, что я устроил такую сцену на твоей... за то, что устроил такую сцену».

Ветер шуршал пожелтевшими листьями на ветвях деревьев. Этот звук был похож на радиопомехи. Где-то среди шума твой старик. Я пытался поверить в это. Я пытался слышать голос отца, который говорил мне... что? Что ему было жаль? Что он все понял? Что он гордился мной? Что это нормально — чувствовать тоску по отцу? Что мы все ее чувствуем и что эта тоска — часть тяжелой мужской доли? Все это были мои выдумки — но, уходя с кладбища, я тешил себя ими.

Я попрощался с ребятами из «Пабликанов». По многим причинам в этот раз было намного тяжелее сказать «прощай», чем много лет назад.

— Когда ты вернешься? — спросили они.

— Не скоро, — сказал я печально.

— Не пропадай на этот раз.

— Я не пропаду, — пообещал я. — Не пропаду.

Я пообещал редакторам сдать статью про Манхассет к концу недели. Перед тем как сдать ее, осталась еще одна вещь, которую мне нужно было сделать. Одно последнее интервью. Мужчина из Манхассета по имени Роко Камадж был мойщиком окон во Всемирном торговом центре и работал, когда самолеты протаранили башни. Его двадцатитрехлетний сын Винсент до сих пор живет в Манхассете, за церковью Святой Марии.

Я позвонил ему и сказал, что пишу о своем родном городе и о том, как он изменился навсегда.

Он не захотел разговаривать. Репортеры уже писали о его отце, и большинство из них все переврали. Они даже его фамилию напечатали неверно. Я пообещал, что по крайней мере это я сделаю правильно. Я умолял его встретиться со мной. Он вздохнул:

— Хорошо. Где?

Я назвал несколько ресторанов в Порт-Вашингтон. Я предложил греческий ресторан Луи. Я называл места возле его дома, места подальше. Он замолчал. Я тоже замолчал.

Наконец он сказал:

— Есть место, куда мы любим ходить с друзьями.

— Говорите.

— Помните то место, где раньше были «Пабликаны»?

БЛАГОДАРНОСТИ

Как и ее автора, эту книгу не раз спасало большое количество необыкновенных людей.

Прежде всего, Слоан и Роджер Барнетт. Их любовь и щедрость, когда все только начиналось, сделали большое дело. Когда эта книга существовала только на уровне идеи, они познакомили меня с Морт Джанклоу, архангелом литературных агентов, который сразу же понял, какую мысль я пытаюсь донести. Он принял меня с распростертыми объятиями, вдохновил меня — и потребовал, чтобы я написал заявку на книгу. Более того, он объяснил мне, как это делается, — я навсегда его должник.

Морт Джанклоу направил меня к Джеффу и Трейси Смит, Нику и Норе* «Водяной Мельницы». Они вырезали для меня цитаты из Сомерсета Моэма и повесили у меня над компьютером, который позволили мне поставить в их пустом домике у воды. Там, наблюдая, как на пруду тает снег, я написал черновую версию своей книги.

Пока я гостил у них, я писал статьи в газету, бесчисленное множество раз приезжал в Манхассет и брал интервью почти у всех людей, появившихся на этих страницах. Приношу огромную благодарность Бобу Полицейскому, Атлету, Кольту, Далтону, ДеПьетро, Дону, Джорджетте, Джо Ди и Мишель. Они, как и многие другие завсегдатаи «Публика-

* Ник и Нора — семейная пара из романа «Худой человек» Дэшила Хэмметта, по которому был снят одноименный фильм, поставлены радиопередача и бродвейский мюзикл.

нов», провели долгие часы, подтверждая или корректируя мои воспоминания и помогая мне восстановить разговоры давно минувших дней. Они также разрешили мне использовать их настоящие истории и настоящие имена. (Только три имени в книге были изменены: Лана, Магдалена и Сидни.)

По мере продвижения работы над черновиками я показывал их группе внимательных и вдумчивых читателей. Джеки Григз, Билл Хастед, Джим Лок, Макграу Миллхейвен, Джим Ньютон, Эмили Нанн и Эми Уоллас — каждый из них помог мне по-своему, и эта помощь оказалась очень существенной. Выражаю особую благодарность профессору Гарварда Джону Стауфферу, который предоставил мне список редких старинных мемуаров, которые следовало прочесть, а потом сидел со мной в своем кабинете в студенческом городке длинными зимними вечерами и объяснял мне, что такое американские мемуары. Это были одни из самых приятных часов в моей жизни.

С самого начала мои редакторы в «Лос-Анджелес таймс» — Джон Кэрролл, Дин Бакет и Скотт Крафт — поддерживали меня в моем начинании и даже предоставили мне отпуск для написания книги в совсем не подходящий для них период. Я никогда не смогу до конца их отблагодарить.

В один особенно беспокойный момент мне посчастливилось встретиться с главным редактором «Гипериона», Виллом Шволбе, который направил меня в нужное русло, прочитав мне краткую лекцию об «архитектуре» повествования. Еще одна поворотная встреча с редактором «Лос-Анджелес магазин» Китом Раклисом, Его Величеством Мастером, помогла мне в конце концов закончить мой труд.

На стадии проверки фактов представитель Йельского университета Дори Бейкер и декан колледжа Сэйбрук Лиза Коллинз были добры, милы и неутомимы. Именно такие люди олицетворяют Йель.

На протяжении всего этого пути меня подталкивала, наставляла, поддразнивала, обучала, изумляла и редактировала невероятно волшебная Питернелль ван Арсдейл, мой редак-

тор из «Гипериона». Такая же изысканная и мелодичная, как ее имя, она сделала две вещи, которые не удавались никому: она заставила меня поверить в свою историю и продолжать писать.

И, наконец, моя мать. Она честно и удивительно старательно ответила на сотни моих вопросов. Она позволила мне описать некоторые из ее самых тяжелых дней и поделилась со мной семейными дневниками, фотографиями, кассетами и письмами за многие десятилетия, без которых эта книга не стала бы возможной. Кроме того, когда я терял ориентир, она была моим маяком, напоминая мне о словах, о простых словах. Я обязан ей появлением этой книги, так же как и своим появлением на свет.

Дж.Р. Морингер

Нежный бар

Издатель Анастасия Маркелова

Редактор *Н. Дудучава*

Художественный редактор *О. Адаскина*

Оформление обложки *В. Воронина*

Верстка *С. Чоренького*

Корректоры *Е. Туманова, О. Иванова*

Подписано в печать 22.01.10. Формат 60×90 1/16

Тираж 5000 экз. Заказ № 185.

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2; 953000 — книги, брошюры

GELEOS Publishing House Ltd

Chrysantou Mylona, 3, P.C. 3030 Limassol, Cyprus

www.geleos.ru

ООО «Кэпитал Трейд Компани»

117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 42. Тел. (499) 124-82-11

Отпечатано в ОАО «Тулская типография».

300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

*Новый роман Тони Парсонса — автора
культовых книг «Man and Boy» и «Man and Wife»*



Три сестры. Кэт. Джессика. Меган. Мать бросила их, когда старшей было одиннадцать. И теперь, через много лет, Кэт дорожит свободой, мечтая отдохнуть от воспитания младших девочек и бесконечных забот по хозяйству. Младшая Меган, расставшись с бойфрендом, проводит ночь с незнакомцем и — о ужас! — спустя месяц обнаруживает, что беременна. Как такое могло случиться с ней, специалистом по планированию семьи?! А вот Джессике, мечтающей о ребенке от любимого человека, забеременеть никак не удастся... Мужчины. Женщины. И вечная дилемма отношений.

Романы Тони Парсонса отличают доброе и немного насмешливое отношение к жизни, ирония, философия, умение откровенно, но справедливо рассуждать о современных чертах общества, проблемах тридцатилетних и их детей. Они помогают взрослым мысленно вернуться в детство и заново пересмотреть правильность своих поступков.

Бернар Вербер, Анна Гавальда и наконец...

Гийом Мюссо!



guillaume musso
MЮССО
ГИЙОМ

**КНИГИ ГИЙОМА МЮССО ВХОДЯТ В 10 ЛУЧШИХ
РОМАНОВ ПО МИРОВЫМ РЕЙТИНГАМ!**

www.gmusso.ru
www.ru_musso.livejournal.com

Новые, ошеломляющие бестселлеры от талантливого французского писателя!

Романы Гийома Мюссо «Ты будешь там?» и «После...» переведены на многие языки и вышли в Бразилии, Китае, Хорватии, Германии, Венгрии, Италии, Ливане, Японии, Корее, Литве, Македонии, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, Испании, Турции, Тайване, Вьетнаме **и наконец... в России!**



«Ты будешь там?» — это любовный экстаз и драма одновременно, мистика и реальность в одном флаконе. Порыв свежего ветра, от которого распахнется окно, озноб, пробирающий до костей, запах теплой и сухой осенней листвы под ногами, предрассветные часы забвения и тишины. Все это — в нем... Прочитав его до конца, хочется рыдать от любви и боли. Хочется любить кого-то и быть любимым с той же силой. Хочется отдать все самое лучшее дорогим людям и удержать их во что бы то ни стало. Просто хочется жить...

Отзыв читателя, ozon.ru

www.gmusso.ru
www.ru_musso.livejournal.com

Михал Вивег

Михал Вивег — самый популярный современный писатель Чехии, автор двадцати книг, которые переведены на 25 языков мира. Поклонниками его таланта стали более 3 миллионов человек! Михал Вивег, так же как и Милан Кундера, известен российским читателям благодаря блистательным переводам Нины Шульгиной.

Главная героиня «Романа для женщин» — Лаура, двадцатидвухлетняя девушка, красивая, умная, влюбчивая, склонная к плотским удовольствиям. Случайная встреча Лауры и Оливера, сорокалетнего рекламного креативщика, остроумного и начитанного, имеет продолжение: мимолетные переглядывания в гостиничном ресторане выливаются в серьезный роман. Возвратившись в Прагу, они сближаются, и Лаура до поры до времени счастлива в объятиях Оливера. Однажды в квартире молодой женщины неожиданно появляется ее мать, Яна, и — о ужас! — узнает в Оливере своего возлюбленного по прозвищу Пажоут, с которым встречалась еще до замужества. Так начинается этот удивительно интеллигентный и умный роман про женщин, роман про любовь...

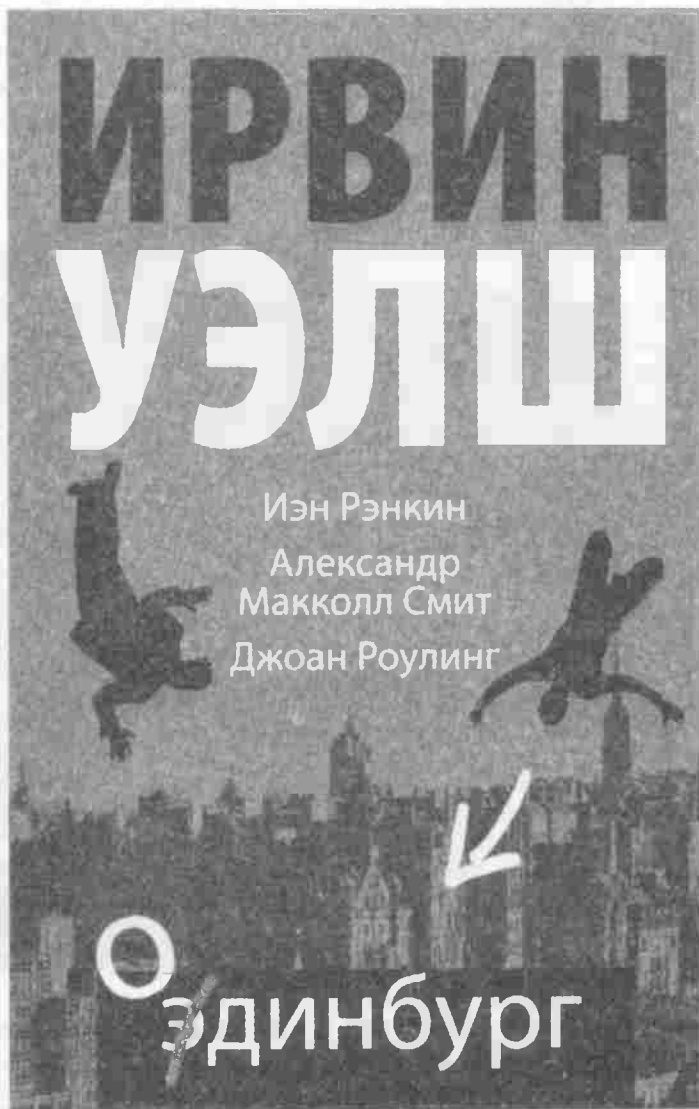


В издательстве Geleos также вышел роман Михала Вивега «Игра на вылет».

В романе «Игра на вылет» Вивег пишет о том, что близко каждому человеку: об отношениях между одноклассниками, мужем и женой, родителями и детьми. Он пытается понять, почему люди сходятся и расходятся, что их связывает, а что разрушает некогда счастливые союзы.

Впервые на русском языке!

Невероятная встреча авторов мировых бестселлеров, лауреатов международных премий, культовых писателей нашего времени!

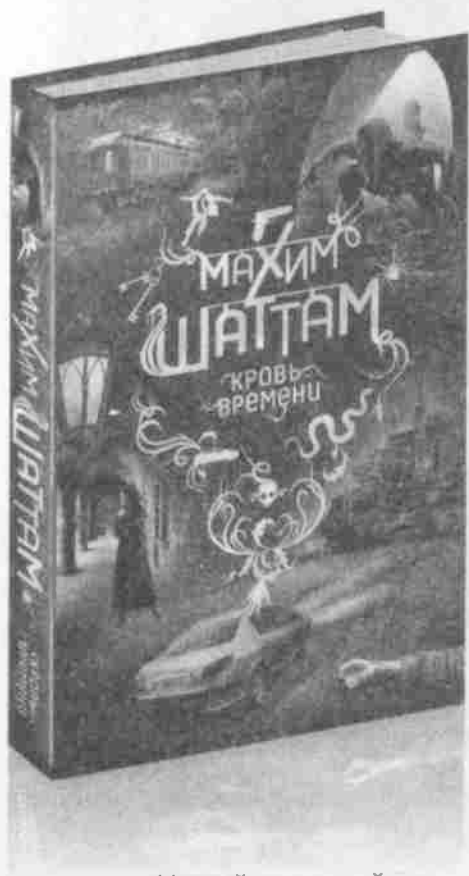


Четыре новых произведения от жителей ОДНОГО города, самых популярных авторов культовых бестселлеров:
«На игле», «Крестики-нолики»,
«Первое женское детективное агентство», «Гарри Поттер».



Максим Шаттам — автор более тридцати бестселлеров. Премия за лучший роман 2009 года во Франции!

СКОРО в России!

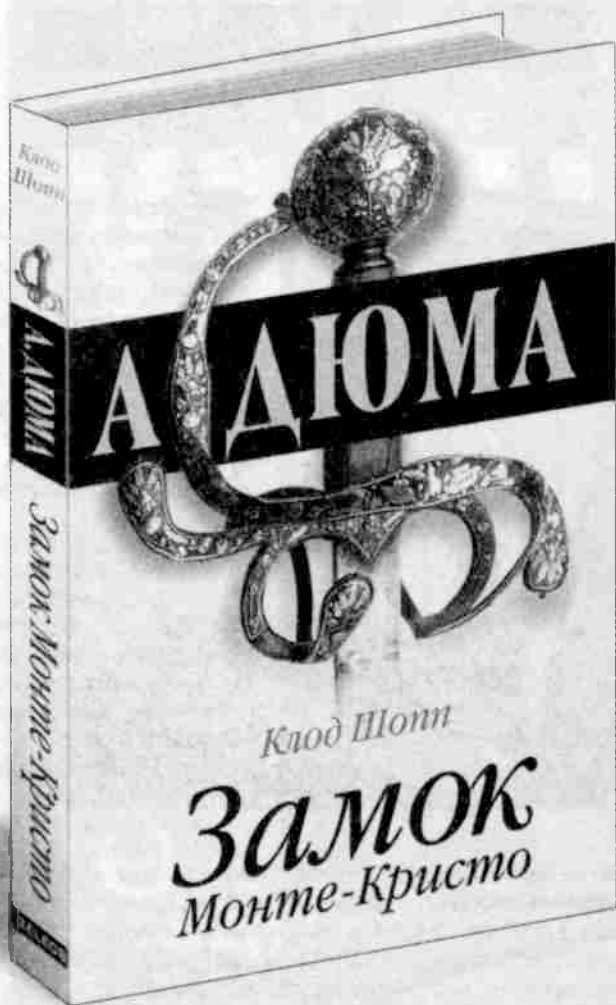


► Осень 2005 года. Марион вынуждена срочно бежать из Парижа. Ей угрожает смертельная опасность. Агенты французских спецслужб тайно доставляют женщину в старинное аббатство Мон-Сен-Мишель, где ее принимает монашеская община. Однако вскоре Марион начинает чувствовать, что за ней кто-то следит...

► Март 1928 года. В Каире посреди ночи из домов пропадают дети. Их истерзанные тела находят на поверхности расположенных вблизи древних погребений. Распространяются жуткие слухи: демон из сказок «Тысячи и одной ночи» вернулся в наш мир. Впрочем, английский детектив Мэтсон в это не верит...

Читайте новый,
поражающий воображение роман
«Кровь времени»!

Граф Монте-Кристо? Нет! Замок Монте-Кристо! Александр Дюма построил его на берегу Сены в своем старинном загородном поместье. Здесь, в стенах этого таинственного замка, происходили события столь же интересные и волнующие, как и в романах великого писателя. Далеко не каждому было дано проникнуть за эти высокие каменные стены.



Замок Монте-Кристо.

Замок великих тайн, обманов и мистификаций!

10 000 000
читателей

Роберто Савьяно
ГОМОРРА

Впервые о каморре —
самой засекреченной
и влиятельной преступной
группировке в мире

«Гоморра» — бескомпромиссное журналистское расследование, проливающее свет на деятельность одной из самых больших и влиятельных преступных группировок Европы — неаполитанской каморры. Эта организация заправляет всем — от торговли людьми до индустрии моды. Годовой оборот — 150 миллиардов евро. За последние 20 лет каморра уничтожила более 10 тысяч человек по всему миру. Мафия назначила денежный приз за голову Савьяно. Однако писатель продолжает обличать мафиози. Сейчас Савьяно находится под защитой итальянской полиции. Известный писатель Умберто Эко считает Савьяно героем, а также одним из наиболее выдающихся документалистов Италии.

По вопросам оптовой и мелкооптовой покупки книг
издательства «GELEOS Publishing House»
обращаться по адресам:

ООО «Кэпитал Трейд Компани»
(эксклюзивный дистрибьютор издательства)
117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 42
Тел. (499) 124-82-11
e-mail: ctc@geleos.ru, ktk@geleos.ru

**Магазин
«Москва»**
119332, ул. Тверская, д. 8
тел. (495) 797-87-17
www.moscowbooks.ru

**Сеть магазинов
«МДК»**
121019, ул. Новый Арбат, д. 8
тел. (495) 789-35-91
(здесь же можно узнать
номера телефонов
36 магазинов сети «МДК»)
www.mdk-arbat.ru

ТД «Библио-Глобус»
101861, ул. Мясницкая, д. 6
тел. (495) 928-85-38
www.biblio-globus.ru

**Магазин
«Молодая гвардия»**
109180, ул. Б. Полянка, д. 28
тел. (499) 238-50-92
www.bookmg.ru

**Сеть магазинов
«Новый книжный»**
www.nk1.ru

**Сеть магазинов
«Республика»**
www.respublica.ru

**Сеть магазинов
«Союз»**
тел.: (495) 543-91-29, 543-91-30
www.soyuz.ru

Интернет-магазин
www.ozon.ru

**Дом книги
«Медведково»**
тел. (495) 476-16-90
www.bearbooks.ru

**«Мир книги»
(каталог)**
111116, г. Москва, а/я 30,
«Мир книги»
тел. (495) 974-29-74
www.mirknigi.ru
e-mail: order@mirknigi.ru

**«Миланор»
(каталог)**
тел. (495) 411-77-81
www.womanjournal.ru

www.geleos.ru

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

47960C





Пуллитцеровская премия

Лучшая книга года по версии *The New York Times, Esquire, The Los Angeles Times Book Review, The Wall Street Journal.*

Принято считать, что бар — не лучшее место для юноши. Особенно если у него нет отца. Ореховый аромат барной стойки, сигарный смог и хмельные пары...

Десятки мужских голосов — умопомрачительные байки обо всем на свете: машинах, женщинах, работе... Все, что нужно, чтобы стать мужчиной.

Именно здесь наш герой впервые услышит Синатру, узнает любовь и почувствует горький привкус взросления.

«Я понимал, что придуманный отец даже лучше настоящего, если я смогу его видеть. Мужская сущность рождается в подражании. Чтобы стать мужчиной, мальчик должен наблюдать за мужчиной».

*«Из призрака,
которого
едва замечают,
я превратился
в реального человека».*

Сайт книги — www.tenderbar.com



www.geleos.ru

